

# ВОЛЯ

ВОЛЯ

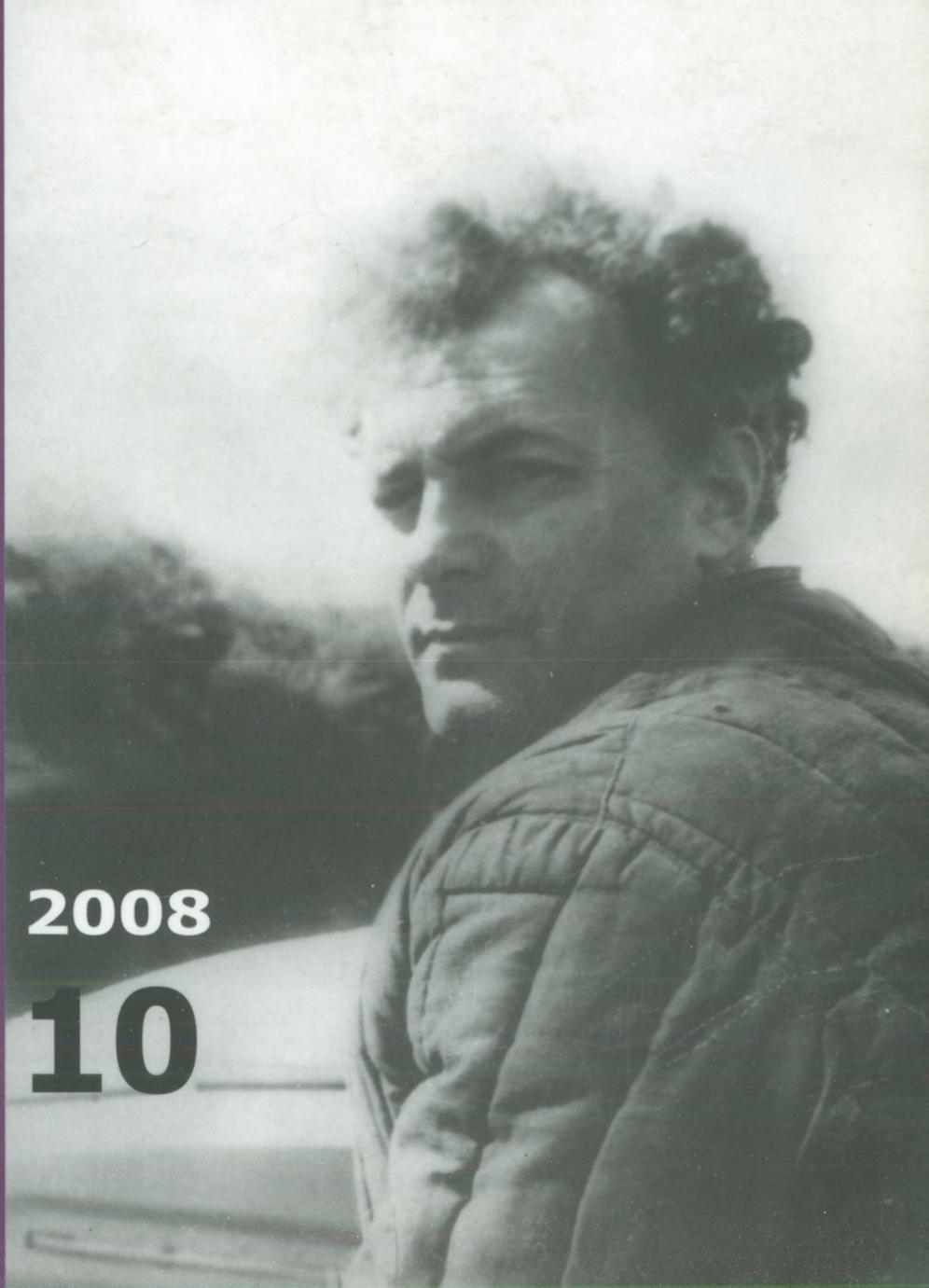
10

2008

АЛЬМАНАХ

2008

10





# ВОЛЯ

10

альманах

*Возвращение*

Москва  
2008

ББК 84 Р7

В 68

Воля: альманах /гл. ред. Семен Виленский;  
ред. колл.: Татьяна Балаховская, Диана Немец-  
Игнашева, Александр Мордвинцев, Татьяна  
Сергеева. – М.: Возвращение, 2008. – 536 с.

ISBN 978-5-7157-0218-0

На фотографии на 1-й странице обложки – узник ГУЛАГа, писатель  
Александр Коноплин

На фотографии на 4-й странице обложки – открытие 1-й Международной  
конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе» 19 мая 1992 г.

Московское историко-литературное общество «Возвращение»,  
123436, Москва, ул. Маршала Бирюзова, 34, к. 58.  
Тел./факс 8 - 499-196-02-26.  
e-mail: [vozvrashenie@bk.ru](mailto:vozvrashenie@bk.ru)

Верстка Е. Окунь

Сдано в набор 01.08.2008. Подписано в печать 11.09.2008.  
Формат 60X90 1\16. Печ. л. 33,5. Печать офсетная.  
Тираж 1000 экз. Заказ 1602.

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»,  
121099, Москва, Шубинский пер., 6.

ISBN 978-5-7157-0218-0

© «Возвращение», 2008.

## СОДЕРЖАНИЕ

5.....От редактора

### ЗНАКОВЫЕ ФИГУРЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

8.....Борис Пискарев

40..... Памяти Александра Базарова

### ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ

74.....*Даниил Аль.*

Глава из книги «Хорошо посидели»

90.....*Елена Берковская.*

Глава из книги «Судьбы скрещенье»

119....*Михаил Шангин.* Невыдуманные рассказы

145....*Стефан Грюнберг.* Из Освенцима в ГУЛАГ

181....*Виктор Рубанович.* Начальник Раммо

196....*Дмитрий Погребняк.* Допрос

225....*Александр Коноплин.* Шаги

246....*Аркадий Рохлин.* Ведро мусора

248....*Евгений Вишневский.*

«Рыбачье» счастье полярных зайцев

262....*Рена Яловецкая.* Музыкантши

### ЕСТЬ ВСЮДУ СВЕТ

275.... О хрестоматии «Есть всюду свет.

Человек в тоталитарном обществе»

286....*Милица Милонова.* Усеченная история

291....*Семен Виленский.* К тринадцати

### ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ВЫБИРАЛИ

294....Театр «Возвращение»

301....*Татьяна Шипошина.* Записки помощника

### СРЕДЬ ДРУГИХ ИМЕН

#### СТИХИ УЗНИКОВ ГУЛАГА

310....*Борис Зубакин*

313....*Дмитрий Усов*

317....*Лазарь Шерешевский*

- 318... *Алексей Прядилов*  
319... *Юлия Панышева*  
320... *Александр Бершадский*  
321... *Семен Виленский*

#### МЕЧЕННЫЕ ГУЛАГОМ

- 322... *Рафаэль Гольдберг*. Ссылка Абеля  
332... *Валерий Осипов*. Дважды умерший  
342... *Эдуард Алкнист*.

Большой террор в малом масштабе

#### ПО ОБЕ СТОРОНЫ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

- 368... *Сергей Шейбухов*. Письмо сыну из лагеря  
370... *Леонид Титов*. Письма разлуки  
398... *Мина Вольф*.

О Гале Вольф, долгожительнице ГУЛАГа

- 409... *Наталья Шестакова*. «Живу я усиленно...»

#### ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

- 448... *Лев Нетто*. Пятьдесят три года спустя  
461... *Леонид Трус*. Загадка норильского восстания

#### ДАВ РУКУ МНЕ

- 474... *Михаил Лев*.

Литературный архив Иосифа Рабина

- 485... *Леонид Гуревич*.

«Неосталинизм»: миф или реальность

- 490... *Владимир Петрицкий*. Записки библиофила

#### К ИСТОРИИ «ВОЗВРАЩЕНИЯ»

- 505... *Лазарь Шерешевский*.

И участники, и летописцы

- 510... *Руфь Зернова*. Конвой ждет

- 520... Международный конгресс  
«Соппротивление в ГУЛАГе»

#### ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- 534... *Федор Михайлович Нарнца*

## От редактора

В 70-е годы мне довелось, в качестве журналиста, посетить не-вдалеке от Ташкента лагерь, вернее сказать, огромную лагерную больницу, состоящую из многих строений. Больные размещались в них не в соответствии с диагнозом заболевания (терапия, пульмонология, глазные болезни...), а по определенному им режиму содержания: общий, усиленный, строгий, тюремный...

Мне представляется, что современные историки в массе своей рассматривают события, происходившие в большевистской России в XX веке и захватывающие век нынешний, не по существу, не по болезням, а по режимам. Тоталитарное сознание не дает исследователям вырваться из круга представлений, сложившихся в 30-е годы прошлого века. В ту пору многомиллионное население ГУЛАГа делили на осужденных по 58-й статье «врагов народа» (лживый и злобный синоним «политзаключенных»), на уголовных и так называемых бытовиков. Между тем, с людьми, которые не признавали власть большевиков, боролись с этой властью, было в основном покончено в 20-е годы. Их, по большей части расстрелянных, можно с полным основанием называть «политическими заключенными».

Те же, кто позже был осужден по 58-й статье, политическими противниками режима не являлись. Абсолютное большинство их клялось в верности советской власти и считало свой арест недо-разумением либо, по меньшей мере, заявляло о своей лояльности.

Деление заключенных на «врагов народа» и «социально близких» помогало сталинскому режиму манипулировать людьми. В действительности подавляющее большинство осужденных по 58-й статье и огромная масса «бытовиков» были просто ни

в чем не повинными жертвами. Характерный пример: в начале 30-х годов на «сталинские стройки» были отправлены десятки тысяч осужденных горожан, непривычных к тяжелому физическому труду, которые быстро погибали от голода, холода и непосильной работы. Подневольных «работяг» стало катастрофически не хватать, и чекисты заволновались: спущенные им промышленные планы оказались под угрозой срыва. И вскоре последовал так называемый «закон 7/8» от 7.08.1932, по которому мелкая кража государственного имущества приравнивалась к хищениям в крупных размерах. Рабочий, унесший с производства пару гаек, или колхозница, собиравшая в убранном поле колоски, чтобы накормить голодных детей, получали длительный срок – так на сталинские стройки хлынула рабочая сила.

Человек, на которого донесли, что он рассказал анекдот о вожде, и тот, кто унес с производства хозяйственную мелочь, которую невозможно купить в магазине – оба они в одинаковой мере жертвы режима. Но на одних распространяется закон о реабилитации, а на других – нет. Так что напрасны старания поборников авторитарной власти приуменьшить количество политзаключенных в сталинских лагерях. Не так уж важно, по какой статье осуждали невиновных. Важно, что все они – жертвы.

Вопреки реальности, вопреки очевидным фактам эта сталинская, разобщающая народ классификация, используется до сих пор. Между тем не только заключенные, но и граждане, находившиеся по другую сторону колючей проволоки (на лагерном языке – «вольняшки»), были ослепленными жертвами режима.

Историки не могут выбраться из проторенной колеи и вязнут в привычной фальшивой терминологии. Так о какой просветительской деятельности можно говорить, если сквозь нее просвечивает сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)»?

Видимо, надо чаще оглядываться на Германию, где нацистская партия и все ее карательные службы давно признаны преступными, а лица, связанные с ними, лишены права работать в государственных учреждениях, школах, университетах, то есть разлагающе влиять на молодёжь. Мало того, граждане Германии созна-

ют приемственность поколений, берут на себя ответственность за содеянное в XX веке. Конечно, двенадцать лет существования нацистского режима – это не семьдесят лет советской власти, за которые тоталитарное сознание укоренилось и изощрилось. Задача альманаха «Воля», продолжающего традиции одноименного журнала, бороться с таким сознанием, где бы ни прорастали его всходы.

Без прозрения, которое и есть покаяние, без нравственных усилий не возродить Россию.

*Семен Виленский*

# ЗНАКОВЫЕ ФИГУРЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

**БОРИС ПИСКАРЕВ**



*Здравствуйте, Семен Самуилович!*

*Пишет Вам вдова Пискарева Бориса Андреевича Силантьева Татьяна Петровна. Я пообещала Вам написать немного о Боре, но это оказалось невыполнимой задачей.*

*Когда такие люди уходят из жизни, они оставляют в душе любящих их людей не след, а глубокую борозду, которая, наверное, зарастет очень нескоро.*

*Прошел почти год, а я не могу поверить в эту трагедию, переживаю, что ничего не могла ему дать за 30 лет, прожитых вместе. Он во всем был таким самодостаточным человеком, что его очень трудно было чему-то научить, он умел все. Это был человек с золотой головой и золотыми руками.*

*К нему не могли присосаться плохие и подлые люди, какого бы ранга они ни были, он их отбивал сразу и навсегда. Он очень многому меня научил, но не научил жить без него. Мне все время хочется ему что-то рассказать, что-то спросить.*

*Посылаю Вам некролог из «Магаданской правды».*

*Как лучший юрист области он принимал непосредственное участие в разработке Ельцинской конституции. И остался экземпляр Конституции, подписанный Ельциным, с его благодарственным письмом.*

*Я очень жалею, что Вы не смогли с ним встретиться, поговорить, поработать.*

*Семен Самуилович! Простите меня, не могу я про Бору писать.*

*До свидания, всего Вам доброго.*

С Борисом Андреевичем Пискаревым я познакомился в 1996 году, когда вместе с небольшой группой бывших узников колымских лагерей прилетел в Магадан на открытие мемориала «Маска скорби».

Тогда же в Магадане проходила научно-практическая конференция на тему «Колымский ГУЛАГ». В своем выступлении

я не согласился с приведенными ее организаторами явно заниженными данными о погибших на Колыме заключенных. Никто не поддержал меня кроме нескольких бывших лагерников. И вдруг из зала раздался голос: «Что, два миллиона учетных карточек, хранящихся в архиве МВД, и пятьсот тысяч личных дел заключенных с неба упали?» Это был голос магаданского прокурора-криминалиста Б.А. Пискарева. Убедительно, со знанием дела он говорил о необходимости передать эти материалы из ведомственных архивов в государственные, призывал к сохранению исторической памяти и покаянию.

«Конспект четырех десятилетий» – это составленный Борисом Андреевичем многостраничный большеформатный том, содержащий сведения о прокуратуре Магаданской области и ее работах. Несколько разделов в нем посвящены лагерной Колыме.

В 1997 году по указу Ельцина отмечалось 275-летие Российской прокуратуры. В связи с этим прокуратуре Магаданской области были выделены средства на проведение праздничных мероприятий. «Не будем пропивать эти деньги, устроим банкет вскладчину, а на эти издадим книгу», – предложил Борис Андреевич областному прокурору. Тот согласился при условии, что всю работу над ней Борис Андреевич возьмет на себя.

Книга была издана тиражом 300 экземпляров. Их раздали и разослали работникам прокуратуры.

Ниже публикуются материалы из этой книги.

*С. Виленский*

## КОНСПЕКТ ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ\*

### Из предисловия

Дальстрой\*\* умирал вместе со Сталиным. Уже в марте 1953 года он был передан из МВД СССР в Министерство цветной металлургии и, продолжая оставаться загадочным монстром, перешел все-таки в разряд обычных производственных объединений. Тогдашний его начальник И.Л. Митраков из заместителя всесильного министра внутренних дел стал в одночасье просто одним из хозяйственных руководителей.

А через несколько месяцев, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1953 года была образована Магаданская область, безразмерная власть Дальстроя стала сокращаться подобно шагреновой коже.

В январе 1954 года появилось бюро обкома КПСС и вслед за ним все структуры власти сверху донизу (Советы, исполкомы, комсомол, профсоюзы и т. д.). По существу на Колыме устанавливалась советская власть.

В это же время (конец января 1954 г.) начала работу и прокуратура области. Ее деятельность базировалась, как и положено, на безусловном соблюдении общесоюзных законов, что немедленно вошло в противоречие с устоявшимися многолетними привычками, традициями и амбициями самовластных дальстроевских чиновников...

*Б.А. Пискарев*

---

\* Прокуратура Магаданской области: Конспект четырех десятилетий: Док.-публ. сб. / Авт.-сост. Пискарев Б.А.; Под общ. ред. Нейерди А.А. – Магадан: ОАО «МАОБТИ», 1997, 438 с. - 300 экз.

\*\* Дальстрой – Главное управление строительства Дальнего Севера (ГУСДС), одно из крупнейших подразделений ГУЛАГа. В 1932 году был наделен правами самостоятельного административно-территориального образования. Его территория составила около 450 тыс. кв. км, в 1941 году она была расширена до более чем 2.2 млн. кв. км, а к 1950 году составила около 3 млн. кв. км. В 1953 году Дальстрой стал хозяйственной организацией в структуре Министерства металлургической промышленности СССР (здесь и далее, если не оговорено особо, прим. ред.).

## Письмо в Президиум Совета депутатов

В президиум областного  
Совета народных депутатов

Реабилитация жертв политического произвола 20–50-х годов продолжает оставаться одной из жгучих нравственных проблем нашего общества. Для Магаданской области она особенно велика и значима, т. к. наша территория была местом гибели и страданий неисчислимых жертв. Память о них будет постоянно тревожить ум и сердце всех совестливых людей и взывать к справедливости.

Невозможно вернуть отнятую жизнь, так же как исправить покалеченную судьбу, но можно и обязательно нужно сказать правду.

Исполнить этот долг выпало нам.

Разгребая завалы лжи, реабилитируя уничтоженных, оболганных и затравленных, мы ищем прощения и себе перед собственной совестью и перед потомками.

Сотни тысяч заключенных прошли через лагеря Дальстроя, 120000 зарыты безымянными на поселковых и лагерных кладбищах. Многие тысячи расстреляны, но истинную цифру до сего времени, к стыду нашему, никто назвать не может. Также неизвестно точное количество репрессированных за так называемые «контрреволюционные преступления», и лишь ориентировочно оно определяется в 60–80 тысяч человек.

На территории области находилось около 50 000 спецпоселенцев (военнопленные и др.), подавляющее большинство которых никакого преступления не совершали и должны быть реабилитированы.

Архивная алфавитная картотека УВД Магаданского облисполкома содержит около 2 000 000 карточек, а в архиве хранятся 500 000 дел со многими миллионами документов, никем еще не изученных (протяженность стеллажей 3211 погонных метров), не обработанных и тем более не систематизированных.

Масштабы этого уникального собрания документов громадны и не всегда поддаются реальному осмыслению. Например, чтобы просмотреть всю картотеку, тратя на карточку по одной секунде, потребуется четыре рабочих месяца.

Объем информации архива столь велик, что на его элементарную обработку традиционными для нас ручными способами нужно затратить не менее 150 лет.

Хранилище это, по-видимому, не имеет аналогов по своей исторической значимости и уже сегодня, несомненно, представляет ценность государственного значения.

Штат сотрудников архива (5 человек) установлен для обеспечения его повседневной работы и никак не рассчитан на иное.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.89 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х годов и начала 50-х годов» и Указа Президента СССР от 13.08.90 г. «О восстановлении прав жертв политических репрессий 20–50-х годов» резко увеличилось количество писем и заявлений граждан. По сравнению с 1988 г. их стало поступать в 10 раз больше, и соответственно увеличились сроки их рассмотрения.

В ожидании очереди лежат месяцами сотни писем и в каждом из них надежда на правду, а она сегодня такова: за два года реабилитировано 4000 человек (из 80 000!).

Следует откровенно признать, что работа по реабилитации в настоящее время полностью парализована по причинам правового, организационного и технического порядка, словно какие-то неведомые силы на всех уровнях власти согласованно нажали на тормоза.

Так, несмотря на прямое предписание названного выше Указа Президента СССР, до сего времени (прошло 6 мес.!) законодательно не установлен порядок восстановления прав репрессированных и, следовательно, не могут оформляться документы.

Количество работников УВД и прокуратуры, занятых реабилитацией, явно недостаточно и даже в малейшем приближении не может

обеспечить в разумно приемлемый срок объем предстоящей работы.

Техническое обеспечение даже по нашим более чем скромным меркам находится на пещерном уровне (в архиве нет пишущих машинок, нет ксерокопировального аппарата, высококвалифицированные прокуроры большую часть времени тратят не на изучение документов и принятие решений, а на чисто секретарскую работу и т. п.).

Элементарные расчеты показывают, что при существующем положении дел реабилитация всех репрессированных может быть закончена не ранее чем через 15–20 лет, и мало кто из ныне еще живых жертв произвола дождетя желанного документа. Горько сознавать, что государство наше, уничтожая морально и физически миллионы своих беззащитных сограждан, чувствовало себя куда более уверенно, чем сегодня, когда пришло время покаяния и расплаты.

Если мы действительно хотим не только громогласно заявлять о нашей приверженности совести и справедливости, но и реально работать на них, нужно безотлагательно искать принципиально новые способы решения сложной и болезненной проблемы.

В качестве первоочередных мер комиссия предлагает:

1. Признать, что реабилитация безвинно пострадавших от политических репрессий – забота и дело не только соответствующих ведомств (МВД, КГБ, прокуратура), но и всего общества.

2. Обратиться к Президенту СССР с просьбой-напоминанием о том, что его Указ от 13.08.90 г. в части установления законодательного порядка реабилитации пострадавших от репрессий до сего времени не выполнен.

3. Обратиться к руководителям и трудовым коллективам ведущих предприятий области – правопреемника Дальстороя с просьбой: во исполнение нравственного долга перед памятью многих тысяч невинных заключенных УСВИТЛа принять на себя материальные затраты по их реабилитации.

4. Обязать облисполком, УВД облисполкома безотлагательно обеспечить работу по реабилитации необходимым штатом сотруд-

ников и техническими средствами (создание информационно-поисковой системы на базе персональной ЭВМ, установка отдаленного терминала в облпрокуратуре, пишущие машинки в архиве, копировальный аппарат и т. п.).

Предложенный комплекс мер позволяет закончить работу по реабилитации в течение 3–4-х лет.

Необходимые расчеты прилагаются.

Председатель депутатской комиссии  
по изучению и оценке деятельности Дальстроя  
Б.А. Пискарев  
26.02.91.

## **Об отправке детей матерей-заключенных**

СОВ. СЕКРЕТНО  
Экз. № \_\_\_\_\_

Секретарю Магаданского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза тов. АБАБКОВУ Т.И.

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

*(О крайне безответственном отношении руководящих работников Дальстроя к отправке детей матерей-заключенных в центральные районы СССР в ноябре 1952 года. Извлечения)*

В течение ряда лет, предшествовавших массовой отправке детей матерей-заключенных в центральные районы СССР (ноябрь 1952 г.), эти дети в домах младенца НТЛ Дальстроя содержались в неудовлетворительном состоянии:

а) в Верхне-Семчанском доме ребенка до ноября 1952 года в трех ветхих, деревянных, временно приспособленных здани-

ях, не выдерживающих санитарно-гигиенических норм для нормального размещения и содержания детей, постоянно размещалось 90–100 детей.

В изоляторе с площадью 20 кв. м постоянно содержалось 15–20 детей с заболеваниями бронхоаденитом и сифилисом.

К ноябрю 1954 года в этом доме ребенка из общего количества детей 30% страдали рахитом, 23% гипотрофией, 10 детей больных сифилисом, 13 хронической дизентерией, 6 острой дизентерией;

б) в Тосканском доме младенца содержалось 212 детей, размещенных в 3 двухэтажных, деревянных зданиях. Физическое состояние детей было плохое. Более 50% детей страдали тяжелыми формами рахита и дистрофии, 15 детей с обострениями хронической дизентерии и 5 с тяжелой гипотрофией. Дети больные гриппом и воспалением легких не изолировались от общих групп;

в) в Эльгенском доме младенца размещалось 405 детей, из которых 40 бациллоносителей, 20 дизентерийных хроников, 29 с открытой формой туберкулеза легких. Все эти больные дети находились вместе со здоровыми детьми;

г) в доме младенца «Снежная долина» в восьми зданиях было размещено 395 детей, из которых 28% гипотрофики и больные рахитом, 46 детей с острой и хронической формой дизентерии. Больные дети также не были изолированы от здоровых детей. 96 детей были больны скарлатиной.

Несмотря на большое количество детей, находящихся в ИТЛ Дальстроя, бывшее Санитарное управление Дальстроя (т. Щербаков, Пухаченко, Свердлова) не решали вопросов строительства домов младенца, а систематически ходатайствовали перед МВД СССР о вывозе детей матерей-заклученных в центральные районы СССР. Больше того, бывший начальник Санитарного управления Щербаков, при поддержке заместителя начальника Дальстроя генерал-лейтенанта Жукова, открыто возражал против расширения и строительства домов младенца в ИТЛ Дальстроя...

Вследствие этого в г. Магадан было свезено 450 детей с матерями-заклученными, из которых 50% детей были больные

разными болезнями, в т.ч. инфекционными. Все дети находились перед отправкой в транзитном отделении УСВИТЛа. Первая партия детей с матерями в количестве 186 была доставлена на пароход «Ф. Дзержинский» 20 июля 1952 года и размещена в твиндеке, оборудованном трехъярусными железными койками.

Начальником эшелона являлся зам. начальника сануправления Дальстроя Чухаленко. Медицинское обслуживание детей проводилось под руководством только одного врача Трифоновой. Лично Чухаленко обязанности начальника эшелона выполнял недобросовестно, пьянствовал.

25 июля 1952 года этап прибыл в бухту Ванино. Комиссией врачей транзитно-пересыльного пункта УСВИТЛ Хабаровского края были выявлены следующие заболевания среди детей: 132 ребенка с изентерией и неустойчивым стулом, 5 детей с пневмонией, 5 с гипотрофией, 9 детей с бронхоаденитом, 13 с бронхитом и с прочими заболеваниями.

Второй этап женщин с детьми в количестве 258 был отправлен также пароходом «Ф. Дзержинский» в начале сентября 1952 года. Эти дети с матерями, перед отправкой, длительное время находились в транзитном отделении УСВИТЛа. Медицинское обслуживание этих детей осуществлялось только тремя врачами. Заболеваемость среди детей второго этапа была очень высокой. Транзитное отделение к приему детей не было подготовлено.

Летом окна в бараках отделения были разбиты. В тот период ежедневно в транзитном отделении на амбулаторный прием врача матери-заключенные приносили по 50–60 детей с жалобами в основном на простудные заболевания и неустойчивый стул.

Во время посадки на пароход второго этапа среди детей было очень много больных (около 60%). На просьбу ст. врача эшелона Семеновой оставить больных в г. Магадане (особенно имеющих подозрение на инфекционных) начальник сануправления Щербаков и его заместитель Чухаленко ответили отказом.

В результате беспорядочного пьянства начальника эшелона ст. лейтенанта Демидова режим содержания заключенных женщин был резко ослаблен, они имели контакт с пассажирами

парохода, в том числе с бывшими заключенными мужчинами и спецпоселенцами.

С первого дня пути на пароходе почти все дети оказались больны простудными и кишечными заболеваниями.

По заявлению сопровождающего детей врача Семеновы и других лиц, в этом этапе оказалось двое детей больных корью, с которыми все этапированные дети имели контакт.

При приеме детей в Ванино врачебной комиссией было зарегистрировано следующее количество больных детей: простой диспсией – 34 ребенка, токсической – 13 детей, с обострением хронической формы дизентерии – 7 детей, с энтеритами – 97 детей, с корью – 15 детей, пневмонией – 17 детей, бронхитом – 34 ребенка, гриппом – 5 детей, гнойными отитами – 2 детей, тяжелой гипотрофией – 5 детей, туберкулезными бронхоаденитами в стадии обострения – 17 детей.

Безответственное отношение к отправке детей из Дальстроя в центральные районы СССР привело к тому, что из прибывших в Ванино детей на первых же днях приезда в Ванино умерло 48 детей...

В настоящее время проверкой облпрокуратуры установлено, что виновные наказаны.

Весь материал расследования начальником следственного отдела 1 Управления УСВИТЛ т. Уфлянд в начале 1953 года направлен начальнику особой инспекции Главка тов. Юрченко, а последний этот материал положил в архив.

Чухаленко П.А. 11 мая 1953 года по сокращению штата демобилизован в запас Советской армии и выехал в п. Яремца, Станиславской области.

Демидов М.И. суду не был предан. 15.I.1953 года представлен к награждению орденом «Красной Звезды», а 3.VIII. 1953 г. по сокращению штата демобилизован в запас Советской армии и выехал в г. Ярославль.

Бывший начальник дома младенца «Снежная долина» Мушкатин А. С. вместо снятия с работы переведен на должность начальника санотдела Западного ИТЛ.

Областной прокуратурой по этим материалам продлится дальнейшая проверка.

Об изложенном сообщаю на Ваше распоряжение и принятие мер в партийном порядке.

Прокурор Магаданской области  
Старший советник юстиции  
А. Беляев  
08.08.1954.

## О «суках»

СОВ. СЕКРЕТНО

Экз. № \_\_\_\_

Секретарю Магаданского областного  
комитета Коммунистической партии  
Советского Союза Т.В. ТИМОФЕЕВУ

### СПРАВКА

О результатах расследования грубейших фактов нарушения социалистической законности работниками Чаунского и Чаун-Чукотского ИТЛа МВД СССР

Проведенным Облпрокуратурой расследованием установлено, что за последние годы (1951–1952–1953–1954) преступная деятельность в Северо-Восточных ИТЛ резко активизировалась в связи с расслоением уголовно-бандитствующего рецидива на две основные взаимно-враждующие между собой лагерные группировки.

Руководство Чаун-Чукотского и Чаунского ИТЛ УСВИТЛа МВД СССР в лице подполковника Варшавчик и майора Ульшина, а также многих других руководящих работников лагерных подразделений этих лагерей... допускали грубые факты нарушения социалистической законности.

Администрация ИТЛ и лаготделений в лице Варшавчик, Ульшина, Бакулина, Данилина, Александрова и других умышленно приближала к себе наиболее бандитствующий элемент из числа

лагерной группировки «С» (на лагерном жаргоне «суки») и создала им необходимые условия, при которых бандиты, не работая, вели паразитический образ жизни за счет ограбления остального работающего контингента заключенных. Тем самым создавалась обстановка в лагере разделения заключенных на отдельные взаимно враждующие между собой группировки и разжигалась между ними вражда, приводящая в конечном счете к дерзким убийствам (т. е. уничтожению одних бандитов другими бандитами) и «волынкам», массовым неповиновениям в лагерных подразделениях.

С ведома и молчаливого согласия, а во многих случаях и по указанию руководства Чаун-Чукотского и Чаунского ИТЛ в лагподразделение этого ИТЛ на низовую производственно-административную работу и лагерную службу (бригадиры, нарядчики, инженеры по организации труда, зав. пекарнями, зав. банями, старосты и т. п.) назначались заключенные бандиты-рецидивисты из лагерной группировки «С», которые по существу были «полновластными хозяевами» лагерных подразделений.

Бригадиры, нарядчики и другие лица лагерной службы из числа этого бандитствующего элемента проводили рецидив по нарядам производственных бригад как работающим, начисляли себе и другим бандитам зачеты, а фактически эта категория заключенных не работала.

Бандитствующий элемент, состоявший в низовой лагерной администрации и хозобслуге и не состоявший в ней, подвергал жестокому избиению заключенных, подозрительных в принадлежности к противоположной лагерной группировке, и избиению честно работающих заключенных, проявляющих недовольство в отношении бандитских действий рецидива. Эта бандитствующая группа заключенных (из лагерной группировки «С»), которую приближало к себе руководство лагеря и лагподразделений, держа в постоянном страхе и повиновении основную массу заключенных, физически принуждала ее к интенсивной работе (принуждались к работе и больные и здоровые), беспрекословному подчинению им и тем самым обеспечивала для руковод-

ства лагеря и лагподразделений выполнение производственной программы и относительный видимый порядок в зонах заключенных.

Такую антисоветскую линию в деле перевоспитания заключенных проводили на протяжении ряда лет следующие лица: бывший начальник Чаун-Чукотского ИТЛ – Варшавчик, бывший начальник Чаунского ИТЛ – Ульшин, начальники 1 отделов – Васильев и Ильин, начальники лаготделений Бакулин, Александров, Краковский, Кравец, Жаров, оперработники – Данилин, Антонов, Зайцев, Васильев, Чувькин и др. Эту группу ответственных работников практически поддерживали в их действиях бывший заместитель начальника Дальстроя генерал-лейтенант Кравченко и другие руководящие работники УСВИТЛа МВД СССР.

Эти перечисленные работники лагерей в своей деятельности не только не пресекали расслоение рецидива, но даже умышленно разделяли заключенных на взаимно враждующие между собой лагерные группировки с их определенными «правилами поведения» в лагере.

«Правила поведения», которые, по существу, прививались и воспитывались руководством ИТЛ у заключенных, в основном сводятся к следующему:

**1-Я ОСНОВНАЯ ЛАГЕРНАЯ ГРУППИРОВКА – «С» («суки»),** поддерживаемая руководством и начальствующим составом ИТЛ УСВИТЛа.

а) «Вор»\*, попадая в лагерь, обязан «втереться» в низовую лагерную администрацию или лагерную обслугу (нарядчиком, бригадиром, зав. баней и т. д.);

б) работая в лагобслуге на перечисленных выше должностях, «воры» должны создавать обстановку помощи лагерной администрации в отдельных бытовых вопросах, вести борьбу с отказчиками из числа заключенных, исполнять и другие поручения лагерной администрации, не ущемляющие «воровские» интересы, для того, чтобы полностью войти в доверие лагерной администрации, оперативному составу и охране;

\* Имеется в виду «ссутившийся вор», то есть «сука».

в) войдя в доверие и заняв все основные так называемые «жизненные должности» в низовой лагадминистрации и лагерной службе, «вор» должен фактически командовать лагерем и обеспечить остальным содержащимся в данном лагере «ворам» хорошую жизнь в лагере за счет работающей части заключенных;

г) при прибытии в лагерь нового этапа заключенных эта лагерная группировка рецидива подвергает прибывших заключенных так называемому «трюмлению» (физическому насилию, т. е. обращению в свою веру), однако же заключенные, которые добровольно переходят на сторону этой группировки физическому насилию не подвергаются.

2-Я ОСНОВНАЯ ЛАГЕРНАЯ ГРУППИРОВКА – «В» («честные воры»), не поддерживаемая руководством и начальствующим составом ИТЛ и преследуемая первой лагерной группировкой. «Правила поведения» этой группировки почти диаметрально противоположны «правилам» первой группировки, т. к. они складывались, по существу, в борьбе с первой группировкой и в основном сводятся к следующему:

а) будучи арестованным за какое-либо преступление, совершенное в лагере или на свободе, «вор» не имеет права выдавать своих сообщников и давать правдивых показаний на следствии. Самым большим нарушением «правил» этой группировки является связь с оперативно-следственными органами. Это карается только смертью.

б) находясь в лагере, «вор» должен уклоняться от всех видов работ, существуя за счет честно работающих заключенных, и в удобный момент бежать из лагеря;

в) категорически запрещается:

работать в низовой лагадминистрации и лагослужбе, за исключением бригадира и дневального в бараке,

выходить на работу по строительству зоны лагеря, изоляторов и понуждать других к работе,

оказывать какую-либо помощь лагадминистрации;

г) «воры» должны укрывать или содействовать беглецам;

д) за нарушение этих «правил» каждый подлежит уничтожению.

Следствием установлено, что вместо ликвидации вышеуказанных лагерных группировок с их антисоветскими «правилами поведения» руководство и начальствующий состав ИТЛ поддерживали и приближали к себе первую лагерную группировку с ее «правилами», систематически являлись организаторами и вдохновителями массовых избиений заключенных, циничных издевательств над заключенными, дерзких многочисленных убийств, умышленных заражений заключенных венерическими болезнями и т. д. В результате этого за 1951–1952–1953 гг. было убито 690 человек заключенных, 2450 человек заключенных получили тяжелые ранения и травмы, 110 человек было заражено венерическими болезнями.

Вышеизложенное подтверждается полностью материалами уголовного дела, показаниями многочисленных свидетелей и, в частности, нижеследующими фактами:

1. В 1951 году при прибытии этапов заключенных на пароходах в порт Певек, и при их выгрузке на берег руководство Чаун-Чукотского и Чаунского ИТЛ для устрашения прибывших заключенных организовали массовое их избиение. Для этой цели бывший подполковник Варшавчик, майор Ульшин и другие офицеры МВД привели в порт большое количество заключенных из лагерной группировки «С», переодетых в комбинезоны и фуражки войск МВД со звездочками. Эти переодетые заключенные производили в порту раздел вновь прибывших заключенных на «авторитетов» и «мужиков» и обыскивали их. Кроме того, непосредственно в порту многих вновь прибывших заключенных эти заключенные из группировки «С» жестоко избивали палками, резиновыми шлангами и т. д.

В пути следования нового этапа заключенных от порта до ОЛПа в п. Певек около сопки в ряды этих заключенных врезалась автомашина, на которой сидели заключенные из группировки «С», и заключенные были подвергнуты избиению вновь.

2. Варшавчик, Ульшин многие другие офицеры ИТЛ при приеме новых этапов заключенных организовывали массовое «трюмление» заключенных, т. е. физическое насилие,

истязание, осуществляемое лагерной группировкой «С»...

В частности, в июле 1951 года по письменному указанию Варшавчика (л. д., том 6) в тюрьму на прииск «Красноармейский» был направлен 91 чел. из вновь прибывших заключенных, относящихся к группировке «В». Вслед за ними на прииск «Красноармейский» выехал и Варшавчик. По прибытии туда в кабинете начальника лаготделения Бакулина и совместно с последним и другими офицерами, Варшавчик провел совещание с «авторитетами» лагерной группировки «С», где были даны необходимые установки о предстоящем «трюмлении» вновь прибывших заключенных.

Начальник надзорслужбы Кравец и начальник лагпункта Жаров во исполнение указаний Варшавчика и Бакулина ввели в тюрьму около 10 человек так называемых «авторитетов» из группировки «С», и вновь прибывший этап там был подвергнут «трюмлению». Это истязание вновь прибывших заключенных заключалось в следующем. Вооруженные ножами так называемые «авторитеты» из группировки «С» вошли в одну из камер тюрьмы и туда вводили по одному заключенному из вновь прибывшего этапа. Там эти «авторитеты» предлагали заключенным целовать ножи, и если кто поцелует нож, тот считается принятым в группировку «С». А заключенных, которые отказывались от этого, до шести раз подбрасывали кверху и отпускали книзу, они падали, таким образом, ударяясь всем телом об пол. Или же некоторых бросали на пол, ложили на них две доски и с верхних нар несколько человек на них прыгали. После этого «трюмления» в тюрьме более 50 человек были тяжело избиты и длительное время находились на излечении в больнице, и из них многие впоследствии были сактированы из лагерей...

Свидетель старший лейтенант Гилев С.И., член КПСС (т. 2, л. д. 6), показал: «В июле 1951 г. по прибытии нового этапа заключенных Ульшин и Варшавчик выпускали из зон заключенных из числа лагерной группировки «С», которые переодевались в комбинезоны и фуражки со звездочками и дерзко избивали вновь прибывших заключенных, а также «трюмили» их. Мне из-

вестно, что на 26-м км от Певека переодетые заключенные жестоко избивали вновь прибывших заключенных и там «трюмили» их. В результате «трюмления» и избиения многие заключенные были искалечены. Известно также, что в порту авторитетов «воров» отбирали «суки» для «трюмления».

Свидетель лейтенант Полетаев А.А., член КПСС (л. д. 17, т. 2), показал: «При приеме этапов заключенных в 1951 года как в Певеке около 10-го ОЛПа подошла автомашина, на которой сидели заключенные, переодетые в форму МВД, за рулем сидел заключенный Халеев, а рядом с ним Ульшин».

Свидетель младший лейтенант Евдокимов, член КПСС (л. д. 19, т. 2) показал: «На руднике «Западный» заключенные, переодетые в форму МВД, буквально издевались над вновь прибывшими заключенными, били, «трюмляли», многих искалечили».

Свидетель заключенный Скачков (л. д. 128, т. 2) показал: «Избиения и «трюмления» заключенных на Чукотке проводились ежегодно. В 1951 году накануне прибытия этапа заключенных, на прииск «Красноармейский» прибыл Варшавчик и в кабинете начальника лаготделения № 3 ст. лейтенанта Бакулина провел совещание с представителями «сук» по вопросу приема новых заключенных и их «трюмления».

Свидетель лейтенант Варивода (л. д. 107, т. 3) показал: «Подполковник Варшавчик летом 1951 года давал мне такие указания: «Надо готовиться к приему нового этапа, будем также «трюмить», но это говорит не Варшавчик».

Свидетель мл. лейтенант Данилин (т. № 6, л. д. 50) показал: «О «трюмлении» и избиении заключенных мне и начальнику лаготделения Александрову давал указания майор Ульшин. По прибытии этапа всех заключенных на «Северном» «трюмили» «суки».

Свидетель мл. лейтенант Кравец, член КПСС (л. д. 20, т. 6) показал: «Заключенных «трюмили» ежегодно. При прибытии этапа на прииск «Красноармейский» я взял около 10 человек из бригадиров «сук» и привел их в тюрьму, предварительно договорившись с начальником лагпункта лейтенантом Жаровым. Эти при-

веденные мною заключенные «обработали» вновь прибывший этап в количестве 91 человека. Как конкретно проходила «трюмиловка» я не видел, а там находились надзиратели».

Свидетель надзиратель Москалянов (л. д. 35, т. 3) показал: «Во время приема нового этапа в июле 1951 г. присутствовало все лагерное начальство прииска «Красноармейский». Примерно в 8 часов вечера я и другие надзиратели увидели следующую картину. Камера тюрьмы, которая до этого несколько дней была свободной, была в тот момент занята какими-то людьми и там слышался какой-то шум. Посмотрев в волчок двери, то мы увидели в камере около 10 человек воров «сук» из лагпункта № 3. Среди них я увидел заключенных-рецидивистов Светенко, Газизова, Суворова и др. Туда по одному человеку вводили заключенных из нового этапа. Оттуда выходили эти заключенные и говорили: нас вот как избивают «суки». Офицеры же нам говорили, чтобы мы заключенным не мешали».

При расследовании настоящего уголовного дела уже допрошено более 200 человек заключенных, которые все как один подтверждают факты «трюмления», массовые избияния заключенных и т. д.

Более 50 человек офицеров также подтверждают эти творимые беззакония.

Систематическое трюмирование заключенных производилось и на приисках «Северный», «Западный» и «Восточный».

Так, надзиратель Вьюнов, член КПСС, (л. д. 121–122, т. 3) показал: «Примерно в июле 1951 года нас, надзирателей, собрали к лагерному отделению прииска «Северный». Около ворот мы увидели переодетых заключенных из лагерной группировки «С», которые на автомашине приехали из Певека. В это время начали принимать вновь прибывший этап. По 5 человек обыскивали и вталкивали в зону и там переодетые начинали избивать их и «трюмить». Сильных заключенных «трюмили» в сушилке, а слабых в бараках зоны. Увидев как принимается этап, я обратился к начальнику лаготделения лейтенанту Александрову и оперуполномоченному Данилину: – Зачем вы нас привели

сюда, ведь здесь без нас все обойдется, – а те отвечали: – Так, на всякий случай».

Такие показания давали многие заключенные и некоторые офицеры. Так, оперуполномоченный Данилин, член КПСС, (л. д. 20, т. 6), показал, что он действительно принимал участие в «трюмлении» и избиении через заключенных «сук», но это делалось по указанию майора Ульшина. Одновременно Данилин показал, что он считал «трюмления» и избиения заключенных вопиющим беззаконием и об этом лично докладывал генерал-лейтенанту Жукову, начальнику управления полковнику Маркову (ныне 1-й секретарь Тенькинского РК КПСС), начальнику 1-го управления УСВИТЛа подполковнику Бабенко и другим, но вышеперечисленные лица никак не реагировали.

Оперуполномоченный Антонов (л. д. 68, т. 2) показал, что о массовых избиениях заключенных, издевательствах над ними, о «трюмлении» заключенных он неоднократно докладывал Варшавчику и Ульшину и возражал против бесчинств, творимых в ИТЛ. Варшавчик ему ответил, что «он занимается не своим делом», а Ульшин заявил: «не суйте палок в колеса, в противном случае сотру в порошок».

Многочисленные заявления коммунистов поступали к начальнику Политотдела т. Борису (ныне работает заместителем начальника Политотдела Теньлага), однако со стороны политотдела никаких мер не принималось.

Следователем установлено, что по инициативе бывшего подполковника Варшавчика и начальника лаготделения прииска «Красноармейский» на этом лаготделении в пос. Красноармейский в 1951 году была создана так называемая бригада № 21, в которой находились больные сифилисом заключенные из лагерной группировки «С».

В тех случаях, когда при «трюмлении» заключенные из группировки «В» не переходили на сторону лагерной группировки «С», офицеры ИТЛ этих заключенных отправляли в бригаду, где их с применением физической силы насиловали в задний проход заключенные, больные сифилисом, в результате чего разви-

валось мужеложство, люди умышленно заражались сифилисом и тем самым навсегда становились калеками.

По примерным подсчетам таким образом было изнасиловано более 100 человек.

Так, врач-венеролог Кривошея Т.Г. (л. д. 95, т. 2) показал, что в лаготделении № 3 (прииск «Красноармейский») заключенные умышленно заражались венерическими болезнями, главным образом сифилисом путем мужеложства, и такие заключенные навеки становились калеками.

Врач Русина Т.А. (л. д. 116, т. 2) показала, что о массовом заражении заключенных сифилисом путем мужеложства систематически докладывалось руководству ИТЛ, но они мер не принимали, а наоборот это безобразии поощряли.

Заключенный Ситанов (л. д. 61, т. 2) показал: «При прибытии в 1951 году нас зверски изнасиловали и «трюмили» в Певеке, что лично видел сам Варшавчик. Затем нас отправили на прииск «Красноармейский», где меня и других посадили в тюрьму. Затем меня посадили в вензону, хотя я был здоров. Венбольные меня заставили целовать нож, но я отказался, тогда они начали меня «подбрасывать» вверх. Я вырвался и бросился из зоны, но тут стояли офицеры Бакулин и Лесных, они меня снова втолкнули в зону. Там мне полотенцем затянули шею и изнасиловали. Таким образом меня заразили сифилисом и сделали калекой».

Грубейшие нечеловеческие издевательства над заключенными систематически допускались и в 1952–1953 гг.

Кроме того, при побегах заключенных, последние с ведома руководства ИТЛ расстреливались, у них отрубались кисти рук и приносились в лагподразделение для устрашения остальных заключенных (материалы следствия, том № 5).

О грубейших фактах нарушения социалистической законности было хорошо известно ответработнику МВД СССР генерал-лейтенанту Кравченко, приехавшему в 1951–1952 гг. в п. Певек; больше того он сам допускал произвол в отношении заключенных, однако он никак не был наказан. Материал в отношении Кравченко в 1952 году поступил начальнику Дальстроя тов. Ми-

тракову, но последний совместно с начальником политуправления т. Булановым этому материалу никакого хода не дали.

Руководитель следственной группы  
по расследованию нарушений  
социалистической законности  
заместитель прокурора Магаданской области  
Г. Сажин

## Реабилитация с укороченной правдой\*

В июле 1989 г., когда в сквере перед зданием Магаданского горисполкома велись подготовительные работы для установки бюста первого директора Дальстроя Берзина, прокурор-криминалист областной прокуратуры (теперь – депутат Магаданского облсовета) Борис Пискарев направил в редакцию «Магаданской правды» открытое письмо председателю горисполкома Г. Дорофееву.

Цитирую заключительную часть этого письма:

«Кому же ставят памятник сегодня? Легендарному чекисту? Вынужден повторить еще раз: чекистом, т. е. разведчиком или контрразведчиком Берзин никогда не был и лишь однажды принял участие в одной из контрразведывательных акций ЧК того времени в роли завербованного агента.

Что же касается созданной им и руководимой на протяжении шести лет системы Дальстороя, рабами и крепостными которой построен Магадан и проложена колымская трасса, то память об этом должна быть сохранена, но только в смысле проклятья».

Это письмо газета не опубликовала, сославшись на то, что, коль уж решено воздвигнуть памятник, «поезд ушел». Действительно, в скором времени бюст Берзина был установлен. Так и осталось загадкой кому этот памятник: жертве политических репрессий или одному из их исполнителей. И стоит он в центре города,

---

\* Материал для «Магаданской правды».

примелькавшийся терпеливым магаданцам, и повергая в шок приезжих, знающих историю нашего края.

А за городом – на сопке Крутой – возводят еще один памятник – жертвам политических репрессий. Ну, не символично ли: комендант Колымы – в центре города, под окнами городского и областного Советов, а «крепостные», как и положено, – на сопке!

Борис Андреевич Пискарев с недавнего времени возглавляет утвержденную малым Советом Комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий, которая действует при администрации области.

*Б.П.:* Создается впечатление, что нам поскорее хотелось бы отгородиться от прошлого памятниками – гранитными, бронзовыми, письменными, а торопливости, размаха и самонадеянности нам не занимать. Если уж революция – то мировая, пятилетка – так в четыре года, коллективизация – сплошная, коммунизм – к 1980 году, реабилитация – раз плюнуть.

Человек я по складу мышления неверующий, но не могу отделаться от мысли, что и к престолу господнему умудримся предстать мы, запыхавшись, и с очередным лозунгом в руках.

В моем понимании реабилитация – это прежде всего нравственное очищение. Своего рода общественный катарсис – через покаяние.

Пересмотр дел, выдача справок о восстановлении прав и скудная компенсация – всего лишь техническая часть сложного психологического процесса. А идет он ох как трудно!

Вы, наверное, заметили, что лишь в прошлом году был наконец-то официально и публично признано: начало кровавого террора – 1917 год. Во всех предыдущих документах с привычным бесстыдством говорилось лишь о репрессиях, «имевших место в период 30–40-х и начале 50-х годов». И как лукаво-то: «имевших место...»

Кстати, делается это с разной степенью изощренности или непонимания. Посмотрите последние номера «Вечернего Магадана». Вот заголовок перед списком расстрелянных: «Жертвы сильной власти, жертвы диктатуры. Список реабилитированных граждан, в отношении которых приговор к высшей мере наказания приведен в исполнение на территории Магаданской об-

ласти». Здесь что ни слово, то вопрос, если не сказать резче. Во-первых, как можно откровенную уголовщину называть «диктатурой» и тем более «сильной властью»? Мир знал множество диктатур и сильных властей, отнюдь не самых плохих и уж во всяком случае не кровавых.

Во-вторых, о каких «приговорах, приведенных в исполнение», говорится? Безвинных людей умерщвляли десятками, сотнями тысяч бессудно и тайно, как водится у преступников, достигших олимпийских вершин негодяйства, и это называется «исполнение приговора»? Так ведь и бывшую власть нашу можно назвать «советской».

В-третьих, о какой «мере наказания» идет речь? С каких это пор и в каких патологических координатах убийство стало именоваться «наказанием»? Не мешало бы вспомнить «Бесов» Достоевского. Так и подмывает спросить: «Вы, ребята, на самом деле... или, как бы помягче сказать, притворяетесь?».

*Вопрос:* Борис Андреевич, а как вы оцениваете недавнее утверждение Александра Николаевич Яковлева, бывшего соратника экс-президента, в должности председателя Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий?

*Б.П.:* Надеюсь, и президент России, и правительство понимают, что реабилитация – не просто какой-то вопрос, требующий лишь технического и организационного решения, а серьезная социальная проблема. Чтобы оценить ее сложность, масштабность, справиться с ней, нужны долгие размышления, зачастую мучительные. Процесс этот должны постоянно генерировать люди мыслящие и совестливые. Яковлев представляется мне именно таким человеком.

Почему я вижу реабилитацию как проблему социальную? Давайте проследим, как она началась.

Сталин еще пребывал в предсмертной агонии, а эмиссары Берии уже мчались на спецпоезде в Закавказье спасать мингрелов. Спасать своих. Вот когда реабилитация уже началась. Дальше – Хрущев. Он активно поддерживал тайную реабилитацию избранных, но становился крайне осторожным, как только речь заходила о публичном осуждении террора. Во-первых, потому что

сам был замешан в беззакониях и не желал, чтобы эти факты стали достоянием гласности. Во-вторых, против детального расследования сталинских репрессий восставали партийные и государственные бонзы, и с этим Хрущев не мог не считаться. Брежнев тоже считал недопустимым переписывать победоносную историю партии ради какой-то там справедливости.

Как они все сопротивлялись! Не хотели выворачивать наизнанку свое преступное нутро. Но корни этих преступлений гораздо глубже. По-моему, основой сталинских репрессий стал революционный террор, когда человек переводился в разряд классовых врагов и сразу переставал быть человеком. Жестокость же, какой бы социальной демагогией она ни оправдывалась, остается жестокостью.

Почему же почва для нее оказалась столь питательной? Вспомните повальное доносительство, отречение детей от родителей, демонстрации с кровавыми лозунгами. Это явление и сейчас не осмыслено. И я задаю себе вопрос: что же с нами произошло? Быть может, в нашем национальном характере что-то есть «такое»? Почему-то ни в одной стране за всю историю человечества ничего подобного не было. Протiwоестественно, чтобы народ сам себя уничтожал.

*Вопрос:* Несколько лет назад известный советский социолог профессор Бестужев-Лада направил Генеральному прокурору нашей страны письмо, в котором предложил квалифицировать деяния Сталина, исходя из действовавшего уголовного законодательства. Как вы относитесь к подобного рода судебным процессам?

*Б.П.:* Я не сторонник этого. Постараемся быть если не мудрыми, то хотя бы рассудительными.

Есть этика убеждений, и поступаться ими – отвратительно. По этой причине я бы ратовал за судебный процесс, так как давно убежден, что в нашей стране десятилетия бесчинствовала банда уголовников.

Но есть еще этика ответственности. А она обязывает каждого из нас думать, что произойдет в обществе, что последует за этим.

Раздаются предложения: давайте опубликуем списки стукачей, есть же, мол, картотеки, личные дела. По убеждениям я за то, чтобы все они были высвечены. Но что за этим последует? Знаю: злом победить зло невозможно!

И потом, право – это лишь маленькая часть жизни общества, официальная часть. Можно ли только с помощью права исправить жизнь общества, сделать человека Человеком? Безусловно, нет. И если вернуться к началу нашей беседы, нам, прежде всего, надо реабилитировать себя в собственных глазах. Осмыслить, что с нами произошло, выработать иммунитет к любым поползновениям тоталитаризма.

*Вопрос:* Но не станем ли мы на тропу жестокости, если начнем делить пострадавших от сталинского террора на жертв и палачей, занимаясь реабилитацией? Быть может, она и «уравнивает» всех потому, что причинники тоталитарного режима оказались и его заложниками?

*Б.П.:* Дело в том, что в русском языке слово «реабилитация» имеет несколько значений, и том числе правовое и нравственное. В узко правовом смысле реабилитация предполагает отмену неправосудного решения и восстановление всех прав личности. При этом вопросы морально-этического порядка уходят на второй план и даже самому последнему негодяю не может быть отказано в справедливости. Реабилитация в плане нравственном, как я уже говорил, – более сложный процесс, требующий восстановления чести, доброго имени.

Когда речь идет о реабилитации истинно жертв произвола, то оба понятия сливаются воедино, и противоречий не возникает. В случаях же пересмотра дела бессудно расстрелянного палача, он реабилитируется не как палач, а как жертва беззакония. И оправдывается не его малопочтенная деятельность, а аннулируется лишь факт допущенного в отношении него произвола. Палач, он и мертвый, и реабилитированный остается палачом.

Вот задумали в Магадане в знак покаяния перед жертвами Дальстроя создать памятный список фамилий и опубликовать его в виде специальной книги-мартиролога. Это будет письменный

памятник скорбящих (и кающихся) потомков о загубленных душах и покоренных судьбах, или, иными словами, вещественное воплощение тезиса «никто не забыт и ничто не забыто».

Излишне говорить о нравственном значении этой задумки, да вот как ее осуществить? В решении горсовета сказано вполне определенно: «мартиролог реабилитированных граждан», то есть всех, кто подвергнут репрессиям, и, значит, независимо от того, жертва он или палач... Когда Александра Белобородова, одного из убийц царской семьи, волокли в 1938 году по коридорам Лубянки, он кричал: «Я Белобородов! Передайте в ЦК – меня пытаются!». Так кто же он, Белобородов, палач или жертва? Предать его анафеме или занести в письменный памятник?

И потом, я не уверен, что мы поступим справедливо, помещая в эту книгу только фамилии расстрелянных.

А тот тамбовский крестьянин, нареченный кулаком, которого вышвырнули из родного гнезда, искорежили судьбу его детей, обрекли на мучительную смерть и даже прах не обозначили, он что, не достоин памяти?

Так что книгу такую, безусловно, создавать надо. Но пусть она будет справочной и недвусмысленно отвечает на вопрос, кто есть кто.

*Вопрос:* Вы решительно против монументов и памятников?

*Б.П.:* Я за честную историю.

Любой монумент или памятник – это наша история. Разрушать их так же нелепо и безнравственно, как бездумно устанавливать или создавать.

Прошлое – самоценно! Вспомните: в Санкт-Петербурге – «Петру I – Екатерина II». Почтительно и с достоинством. В Москве – «Н. В. Гоголю – от советского правительства». Глупо, но откровенно. Вот и в Магадане бы: «...от Вечканова, Дорофеева, Свеколкина, Кобеца... со товарищи». Было бы, по крайней мере, хоть не трусливо.

Что же касается жертв большевистского террора, то память о них мне представляется в виде храма скорби и покаяния, храма надежды и уверенности, что подобного не повторится.

*Вопрос:* Сбор сведений о жертвах репрессий требует работы с архивами. Но многие из них ведомственные, а значит, подчинены не обществу, а отдельному руководителю. Архивы МВД, Министерства безопасности России закрыты для общественности.

*Б.П.:* Еще года два назад в порядке законодательной инициативы Магаданский областной Совет по моему предложению просил Верховный Совет изменить статус ведомственных архивов.

С тех пор кое-что сделано, но окончательного решения проблемы пока нет. А ведомственные архивы хранят много неизвестно даже для их владельцев, так как они научно не обработаны.

К примеру, в последние годы во всем мире обсуждается вопрос о судьбе материалов следственного дела об убийстве большевиками Николая II и его семьи. Следователь Омского окружного суда Н.А. Соколов вывез документы в Париж и там после его смерти в 1924 году они затерялись, как считалось, безвозвратно. Недавно на аукционе Сотбис появились какие-то копии и опять анонимно исчезли. Казалось, остается только сокрушаться о потере частицы истории России.

Но сегодня я могу сообщить, что подлинные материалы дела об убийстве царской семьи найдены. Их отыскал прокурор-криминалист Прокуратуры России Владимир Николаевич Соловьев. Недавно, будучи в Москве, я держал в руках и читал эти уникальнейшие документы. Оказывается, во время войны немцы захватили их в Париже и поместили в «архив Гитлера», намереваясь, видимо, использовать в пропаганде против Сталина. Наши после Победы, как водится, все засекретили и поместили... в архив Главной военной прокуратуры. Архивисты, журналисты, ученые всего мира с ног сбились, а чиновники помалкивали. Вот что такое ведомственные архивы. Они, безусловно, являются национальным достоянием и в кратчайший срок должны стать государственными.

*Беседу вела Елена Шарова, 1989 г.*

## Обращение

Президиума Магаданского областного  
Совета народных депутатов  
к Верховному Совету РСФСР  
**о снятии секретности с материалов по  
реабилитации жертв репрессий**

Мы, члены президиума Магаданского областного Совета народных депутатов, обращаемся к вам по вопросу, имеющему серьезное политическое значение для граждан нашей республики и для страны в целом.

Как известно, одной из самых жгучих проблем современности является проблема реабилитации жертв репрессий.

Сегодня идет процесс восстановления имен безвинно репрессированных. Магаданская область, по известным причинам, занимает в этом процессе особое положение. Именно здесь в так называемые «дальстроевские» времена находилось сердце печально известного ГУЛАГа.

Мы понимаем, что реабилитация носит не только правовой, но и политический и морально-нравственный характер. Лишь при условии полной, а не частичной реабилитации возможно покаяние, а значит и гарантии необратимости исторического процесса, демократизации и гуманизации нашего общества.

Вместе с тем мы видим, что проходящая ныне реабилитация имеет зачастую всего лишь декоративный характер. Главная причина – засекреченность этого процесса и сохранение за ним узко ведомственного характера.

Восстановление имен безвинно репрессированных ведут работники системы МВД, КГБ и прокуратуры, то есть тех самых ведомств, которые имели непосредственное отношение к самим репрессиям в 20–50-е годы.

Более того реабилитируются не дела людей, их жизнь и судьбы, а только имена. Происходит это потому, что на всех делах репрессированных и по сей день сохраняется гриф «Секретно», закрывающий доступ к ним обществен-

ности, средств массовой информации и даже историков.

Между тем в этих делах и документах скрываются ценнейшие исторические материалы, являющиеся не собственностью названных ведомств, а национальным достоянием всего народа.

К сожалению, имеющиеся ныне при исполкомах областных Советов народных депутатов комиссии по реабилитации жертв репрессий не наделены соответствующими правами и полномочиями, которые позволили бы открыто вести процесс очищения нашего общества. Фактически эти комиссии занимаются лишь увековечением мест захоронений бывших политзаключенных, не имея доступа к самим документам репрессированных. А отсутствие полной гласности в процессе реабилитации репрессированных и доступа к документам приводит к весьма существенным искажениям истории нашего Отечества, когда она «пишется» на основе не фактов, а догадок, слухов, предположений.

С другой стороны, вопрос о снятии секретности имеет не столько исторический, но и политический, морально-этический аспект. Пока общество не будет полностью информировано о судьбах безвинно пострадавших людей, никто не может гарантировать необратимость процесса гуманизации и демократизации общества. Многих волнует вопрос, почему, открывая имена жертв, ведомства и по сей день скрывают их палачей.

Только покаяние способно по-настоящему очистить наше общество, а покаяние тайным быть не может!

В связи с этим президиум Магаданского областного Совета народных депутатов обращается к вам, членам Верховного Совета РСФСР, со следующими предложениями:

Первое: безоговорочно снять секретность с процесса реабилитации жертв репрессий. В работе над документами и во всем процессе реабилитации должны участвовать не только работники КГБ и МВД, но и независимые квалифицированные специалисты.

Второе: ведомственные архивы МВД и КГБ, относящиеся к периоду 1917–1985 годов, должны быть переданы этими ведомствами в систему государственных архивов.

Третье: необходимо выработать и принять Закон о государственной и ведомственной тайне на территории РСФСР. Максимальный срок секретности согласно международной практике должен составлять не более тридцати-сорока лет.

Только приняв эти решения, мы можем быть уверены в невозвратимости жестоких времен репрессий!

Просим внести наши предложения на осеннюю сессию Верховного Совета РСФСР.

От имени президиума Магаданского областного Совета народных депутатов

Заместитель председателя областного  
Совета народных депутатов  
А.А. Макеев

## **Вместо послесловия**

Любой, прочитавший эти потрясающие материалы поймет, почему хороший и сильный человек, принципиальный борец за справедливость, юрист (вот уж когда слово «юстиция» выступает в своем истинном значении «справедливость»), профессионал высочайшего класса Борис Андреевич Пискарев, посвятивший себя делу реабилитации жертв репрессий на территории Дальстроя, рано ушел из жизни. «Сгорел», как говорили в старину. Ведь приходилось прошибать несокрушимую, казалось, стену, которая устояла при первой реабилитационной волне, начавшейся после смерти Сталина.

Глядя на сегодняшнее коррумпированное, пронизанное высокомерием и национализмом общество, трудно представить, что двадцать лет назад, многие из этих людей, не говоря уже о тогдашней молодежи, призывали к гуманности, покаянию, к тому, чтобы «жить не по лжи».

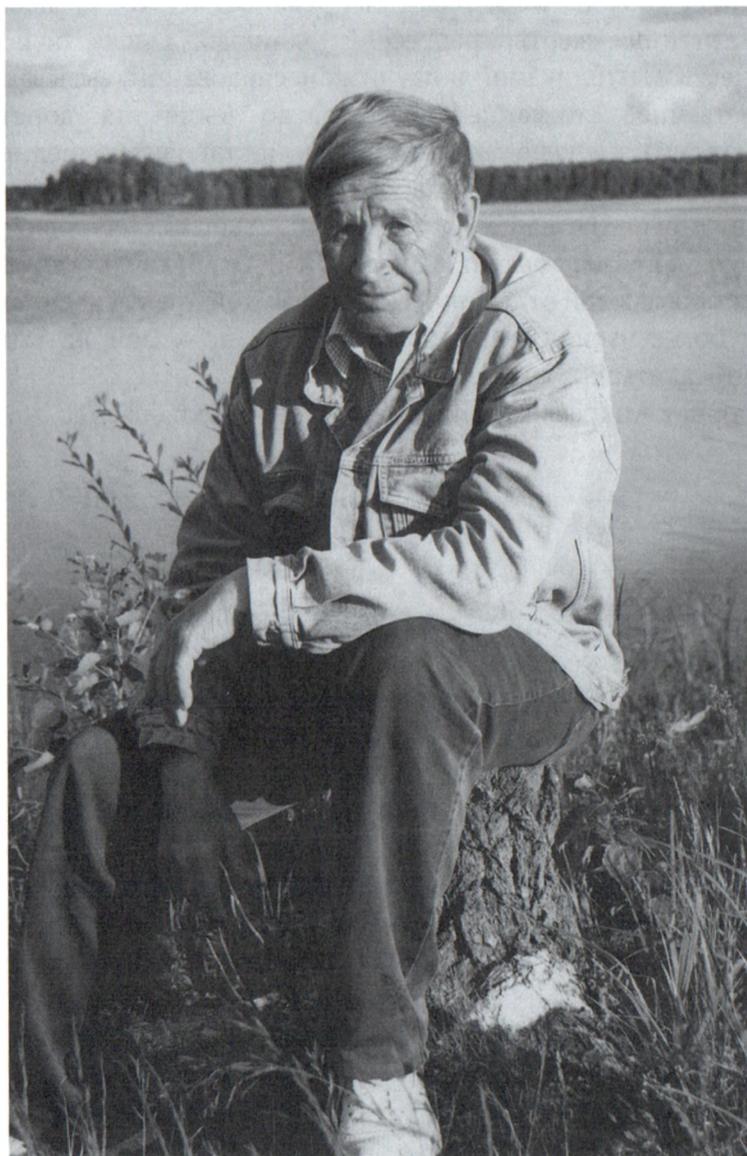
Приходится признать, что в стране, где несколько поколений сформировалось в условиях тоталитарного государства, такая неустойчивость в сознании и духовной сфере закономерна. Но это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки.

В каком же состоянии находится сегодня дело, которому отдал себя без остатка магаданский прокурор? Далеко не в лучшем. Совершенно ясно, что бывшие репрессивные ведомства и не собираются передавать свои архивы на государственное хранение. Более того, если в девяностые годы процесс реабилитации жертв репрессий сопровождался большим количеством публикаций и научных исследований, вызывавших сочувственное внимание общества, то ныне эта поистине больная тема все чаще замалчивается или становится предметом политических споров и спекуляций. Телевидение привычно манипулирует сознанием аудитории, выдавая чудовищные преступления за «эффективный менеджмент». В результате вместо сочувствия каждой отдельной судьбе, каждой преждевременной, а тем более насильственной смерти, мы получаем на выходе то же тоталитарное сознание.

А Борису Андреевичу Пискареву за его уроки спасибо.

*С. Виленский*

# ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БАЗАРОВА



\*\*\*

Весной 2006 года мне позвонил из Кургана Александр Базаров – экономист, историк, автор книг: «Кулак и Агрогулаг», «Дурелом, или Господа колхозники», «Хроника колхозного рабства». Последняя выпущена обществом «Возвращение».

– Меня оперировали, – сказали: «Жить будешь».

– У тебя талант Гоголя, – ошарашенно произнес я. – Пиши роман.

Через несколько дней Базарова не стало. Но свои «Мертвые души» он написал: горькая улыбка Гоголя не сходит со страниц его книг о трагедии крестьянства.

*С. Виленский*

\*\*\*

Александр Александрович Базаров родился 23 декабря 1940 года в селе Половинском Курганской области. Отец погиб на фронте. Александра воспитывала мама Таисия Ананьевна, которой и посвятит он свой главный труд.

После окончания сельской школы – ремесленное училище. Потом пришлось поработать в сверхсекретном атомном объединении «Маяк». Далее – экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, аспирантура, защита кандидатской диссертации.

В 1988–2001 гг. Базаров заведовал кафедрой экономической теории в Курганском сельхозинституте (ныне – сельхозакадемия). Это были наиболее плодотворные и творчески яркие годы. Научный и личный интерес ученого склонялся к экономической истории колхозной деревни нашего региона. Его аналитические статьи и очерки появляются в областных газетах Челябинска, Свердловска, Тюмени, а также в журналах «Аграрный вестник Урала», «Югра», «Диалог», «Родина», «Грани», «Посев»...

В 1991 году в нашей писательской организации зачитывались только что вышедшей базаровской монографией «Кулак и Агрогулаг». Книга поражала плотной документальной насыщенностью, честностью, бескомпромиссностью суждений. А еще образ-

ность, неожиданность сравнения, афористичность языка! Эта художественная публицистика будила и тревожила душу читателя.

В 1997 году в Кургане вышла его вторая книга в двух томах «Дурелом, или Господа колхозники».

В 2004 году в Москве издательство «Возвращение» выпустило последнюю и главную книгу Базарова «Хроника колхозного рабства» – более 800 страниц. Двадцать лет работая в десятках региональных и центральных архивов, ученый выявил сотни неизвестных ранее, засекреченных документов. Потому и выводы автора-аналитика, на первый взгляд порой страшные, всегда точны и хорошо аргументированы.

Однако скажем прямо: за то, что Базаров в глаза резал правду-матку, некоторые его сторонились, упрекали в непатриотичности, считали «очернителем» советского строя, чуть ли не клеветником, ненавидящим свою страну и свой народ.

Словно бы отвечая своим хулителям, Базаров писал:

«Мы – дети Страны Советов, не помнящие родства. У полстраны оно с треском оборвалось в тюрьмах, лагерях и ссылках. Но мы – внуки и правнуки России! И это вселяет надежду. В нас гены великого народа, где честь и достоинство рода были надежной гарантией служения Родине. Осознавшие или не забывшие, что единство российской истории состоит не в хронологической смене благонамеренных тиранов и реестра подвластных территорий, а в живой, не выпадающей из памяти связи поколений, даже в глухой старости торопятся оживить древо своего рода, очистить его от помоев большевизма».

Вот эти «помои большевизма» ему до сих пор не прощают.

Масштабности Александра Александровича по-настоящему еще не раскрыт и не оценен. Но остались его книги, в которых беспристрастный читатель найдет поучительный и глубокий срез нашей трагической истории. И это главное.

*Борис Карсонов, журналист  
Курган*

## **ИСТИНА УТВЕРЖДАЕТСЯ БЕЗ НАСИЛИЯ**

...Некоторые указывают на родство книг Александра Базарова с сочинениями Солженицына и даже Герцена. Может быть, это и покажется преувеличением, но только до тех пор, пока не прочитаешь ту же «Хронику колхозного рабства», где глубина научного проникновения в историю крестьянства подкреплена блестящим, афористичным литературным языком. И никакого вранья, никакого «художественного вымысла». «Хроника» содержит более тысячи ссылок на архивные материалы и на имеющие документальное подтверждение свидетельства частных персонажей колхозной драмы.

Александр Базаров так заканчивает свою главную книгу:

«Путь от собственника до действительного хозяина много дольше. Значительную часть аморально приватизированного обязательно просадят в изошрённом чревоугодии. Ведь личный и общественный опыт предпринимательства – дело многих-многих десятилетий. Так что от естественного хода вещей нам никак не увернуться. Начнём сызнова, с личного труда, лежащего в основе текущего благополучия. Со временем придёт понимание собственности как исключительного продукта труда, ахне житейского случая... Вспыхнут, уверен, национальным достоинством и подлинной верой наши души... Истина и духовное совершенство утверждаются без насилия, для этого достаточно гражданской свободы, веры и добросовестного труда».

*Валерий Портнягин, журналист  
Курган*

## **ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС. ПОЧЕМУ-ТО...**

«История общероссийской крестьянской ссылки когда-то будет написана. Пусть даже под влиянием медленной экологической эволюции ленивые постулаты большевизма из башки выветрятся. Вспомнятся и дорожные муки ссыльных прародителей...» – написал Александр Базаров в главе «Рождество колхозное» двухтомника «Дурелом, или Господа колхозники»... В книге же «Кулак и Агрогулаг» происшедшее в период раскулачивания, коллективизации и в начале масштабной общесоюзной крестьянской ссылки описано как болезнь века. Автор – оптимист. Он считает, что российское общество выздоравливает. А выздоравливающему не вредно показать историю его болезни.

«30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило документ «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», на основании которого началась практически ликвидация кулачества как класса... «Мероприятия» открыли путь массовому раскулачиванию и жуткой трагедии выселения».

Автор приводит огромное количество документов, многие из которых десятки лет были засекречены. Они подтверждают и со всей очевидностью раскрывают ужасающую картину уничтожения народа. Только на север Урала и Тюменской области только в 1930 году сослано 25 тысяч семей (а семья – это 10–15 человек, вместе со стариками и малыми детьми). И это было лишь начало.

Многие тоболяки сегодня начинают задумываться о своём происхождении, о своих истоках и корнях. Базаров приводит массу фамилий и документов, касающихся появления этих семей в Сибири и на Урале. Много страниц уделено Тобольску, который ещё с царских времён (с Угличского колокола) был местом ссылки и главным пересыльным пунктом.

«Кулак и Агрогулаг» будет интересен не только простому читателю, но и учителям истории школ и других учебных заведений

– именно материалами по новейшей истории России, учебники по которой не могут удовлетворить думающих, ищущих педагогов.

Безусловно, книга эта не только о временах прошедших. Она наталкивает на раздумья и о сегодняшнем дне. Мизерные пенсии россиян, проработавших по полвека в колхозах, – это ли не геноцид? Повальные пьянство и наркомания, насаждаемая центральными государственными телеканалами бездуховность – это не уничтожение нации? Пусть без тюрем, концлагерей и страшных ссылок. Пока для россиян мало что изменилось.

Курганский ученый-публицист предупреждает нас: «Завременным помешательством на человеконенавистнической идее должно вернуться чувство стыда и раскаяния... Трагедию, когда преступная власть измывалась над естественной собственностью, мы пережили. Впереди время, когда преступно сколоченная собственность будет топтать первые ростки политической демократии».

А разве это время еще не настало?

*Д. Северин, журналист  
Тобольск*

## **СТРАШНАЯ ПРАВДА**

Закрыв последнюю страницу книги Александра Базарова «Кулак и Агрогулаг», я долго искал наиболее точный эпитет к слову «правда», и самым подходящим сочетанием показалась пара: «страшная правда». Когда прочитан Солженицын, когда, казалось бы, знаешь все о трагедии разорения крестьянства, когда уже не читается ни «художественная», ни «историческая», ни «приключенческая» литература, – вдруг оказываешься в плену у книги, написанной твоим земляком, кандидатом экономических наук из нашего сельхозинститута. Каждая ее страница кричит и плачет, гневается и зовет к справедливому возмездию, каждая страница обличает и выносит приговор. Я читал ее и испытывал опасное сердцебиение; в ее плену я вдруг отрешился на какое-то время от сегодняшней сму-

ты, несколько дней жил только этой книгой, лишившись сна.

Вспомнилось мне как несколько лет назад «Советское Зауралье» опубликовало серию моих заметок о сегодняшней деревне «Куда ни поеду, куда ни пойду...». В одном из очерков коллективизацию я назвал «небезгрешной», а трудодень – «пустым», только и всего. О, как всполошились тогда «бывшие», с какой злобой они дружно встали стеной против автора... Я понимал подоплеку их беспокойства: они страшились малейшей правды, боялись обнажения кончика той ниточки, которая поможет размотать клубок их преступлений перед крестьянством. Они боялись потерять почести и привилегии, нажитые на народном горе. Это они были соавторами и исполнителями геноцида своего народа. Десятилетия они держали правду за крепкими запорами и печатями. Это они вывернули все наизнанку, наставивobelisksов и памятников «жертвам кулацких злодеяний». Но время и история расставят все по своим местам. То, что происходит сегодня в стране, в том числе и на селе, никакая ни случайность, а историческая закономерность. Иначе и не могло быть: крестьянство на земле нашей давно уничтожено. А те, кто еще сеет хлеб и выращивает скот (низкий поклон им), – просто сельские труженики. Крестьянство низведено как сословие, давно подрезаны и выкорчеваны его корни – особый уклад жизни, таинственное и священное отношение к земле и к каждой былинке на ней. И никакие реформы, никакие финансовые инъекции уже не возвратят утраченного. В конце концов, можно решить продовольственную проблему, но крестьянство в самом широком понятии уже не воскресить.

Ошибочно считать, что эпоха раскрестьянивания началась с коллективизации. Нет, она началась тогда, когда вождь мирового пролетариата заявил, что для достижения цели революции все способы хороши, а мораль – удел слюнтяев. И пошло: гражданская война, продразверстка, военный коммунизм, продналог, самообложение, займы, раскулачивание...

Думаю, что в настоящее время в стране вряд ли можно найти еще одно столь глубокое, истинно научное исследование, которое могло бы стать вровень с книгой Александра Базарова «Кулак

и Агрогула». И хотя в основу ее легли документальные данные по Уральской области (а это ныне Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Пермская области), в них, как в зеркале, отражена картина народной трагедии во всем огромном государстве.

Листаю страницы, вижу цифры, взятые из документов, читаю авторские комментарии к ним, и вновь и вновь содрогается сердце, разум отказывается верить, что это не сон. У повествователя о горьких истинах и стиль особый – художественная публицистика высокого класса.

Цитирую автора: «После самообложения, – указывается в директиве курганского окружкома ВКБ(б) от 13 февраля 1928 года, – приступить к широкой разъяснительной кампании... Цель – добиться от общих собраний одного: одобрения с их стороны мероприятий правительства, а к этому времени подготовить и зарядить контрагентуру, женщин-делегаток, комсомол, пионеров, учительство и др. и приступить с места в карьер к подписке (на заем)...»

«В документе просматривается недолгий, но содержательный военно-экономический опыт гражданской. К очередной психической атаке на мужика приглашаются, нет – обязываются все от мала до велика... Сумиляющей революционную душу кавалерийской лихостью, переходящей часто в лютость, с уральской деревни за два предколхозных года сдернули более 20 млн. рублей...»

«Особую ставку на молодежь делает обычно политический экстремизм, привлекая юность высокой фразой лозунгов и вседозволенностью. Хунвейбинов дала миру не китайская история шестидесятых. За сорок лет до того мощная волна политического произвола и мародерства со стороны красной молодежи прокатилась по сельским улицам России. Сколько слез и бед, унижений и издевательств принесла крестьянству неосознанная юношеская жестокость? В какие тысячи семей годы „великого перелома“ вошли трагедией сыновнего предательства?»

В книге приводится поистине страшный документ. 21 мая 1929 года СНК СССР принял специальное постановление «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться Кодекс законов о труде». Вот кого зачисляли в кулаки и по каким

признакам: «...если в хозяйстве имеется мельница, маслобойка, крупорушка, льночесалка, терочное заведение, картофельная, плодовая и овощная сушилка или другое промышленное предприятие – при условии применения в этих предприятиях механического двигателя, а также, если в хозяйстве имеется водяная или ветреная мельница с двумя или более поставами; ...если хозяйство сдает внаем постоянно или на сезон отдельные оборудованные помещения под жилье или предприятие; ...если члены предприятия занимаются торговлей, ростовщицеством, коммерческим посредничеством или имеют другие нетрудовые доходы (в том числе служители культа). Советам Народных Комиссаров союзных республик и краевым (областным) исполнительным комитетам предоставляется право видоизменять указанные признаки применительно к местным условиям».

Дикий документ. Как же безо всего этого мог жить крестьянин? Нажитое тяжким трудом и потом, предприимчивостью и усердием вдруг подпало под преступные «признаки». А. Базаров так рассуждает над этим документом: «Видоизменили! И не только применительно к местным условиям, но и к конкретным обстоятельствам. В ответ на требование сверху усилить классовый нажим некоторые сельские Советы, начиная с 1929 года, отвечали, что кулаков в деревне нет. Действительно, уже весной двадцать девятого кое-где голодали целыми деревнями. Как нет? – возмущались в районах и городах, обвиняя местные власти в политической близорукости. Должны быть! Без омерзительного образа кулака события переломных лет теряли стратегическую направленность и выглядели уголовно-прозаически. Обладающий более тонким классовым чутьем уполномоченный быстро выявлял таковых. Если подозреваемые не вписывались в государственно утвержденные признаки, находились изъяны в родословной...»

К сожалению, уже несколько поколений наших граждан представляют себе раскулачивание и коллективизацию только по шолоховской «Поднятой целине». Книга А. Базарова в большой степени восполняет этот пробел. Приглашаю читателя обратить внимание на один из разделов книги – «На Голгофу». Сегодня

большинству людей дело представляется так: ну, были перегибы, были, кто-то пострадал несправедливо. Мы, дескать, признали это. Но ведь до сих пор мы не знаем настоящих масштабов и всех изуверских методов репрессий над крестьянством, задуманных, санкционированных и осуществленных под руководством ЦК ВКП(б). Так, по получении установок из Центра бюро Уралобкома партии принимает постановление «О ликвидации крестьянских хозяйств в связи с массовой коллективизацией». С холодной бухгалтерской расчетливостью, как будто речь шла об овощах или рогатом и безрогом скоте, в постановлении были определены репрессивные меры. Кулаков рассортировали по трем категориям. К 1-й категории отнесли контрреволюционный кулацкий актив, участников контрреволюционных и повстанческих организаций, которые подлежали немедленному аресту с последующим срочным оформлением их дела во внесудебном порядке по линии органов ОГПУ. Во 2-ю категорию угодили наиболее зажиточные и влиятельные кулаки и полупомещики, подлежащие высылке в порядке принудительной колонизации в малонаселенные и необжитые районы северных округов области. 3-я категория – это остальные кулаки, которые расселяются в пределах района или данного округа на худших окраинных землях, вне коллективных земельных участков. Постановление бюро обкома устанавливало «количество ликвидируемых по всей области хозяйств по первой категории до 5000. Размер операции по округам устанавливался полномочным представителем ОГПУ на Урале».

На основании документальных данных автор установил, что при среднем составе выселяемой семьи 6–9 человек из округов Уральской области планировалось выселение более 100 тысяч человек. Изуверство затеянной акции состояло в том, что выселение назначалось в необжитые места в феврале-марте. При этом у людей конфисковалось все необходимое для выживания: тягло, продовольствие, инвентарь, одежда, инструмент и т. д. Выселялись семьи с грудными младенцами и немощными стариками. То есть акция предусматривала плохо скрываемую цель: физическое уничтожение цвета крестьянства и их семей. Что ждало этих

людей в чужом краю, что с ними случилось? Во имя какой идеи были эти жертвы? Объяснить все «перегибом» – значит ничего не объяснить. Автор на примере своего родного Половинского района показывает, с какими скрупулезностью и точным расчетом формировались пункты сбора выселяемых, устанавливались время и маршруты отправки групп, как точно всё это согласовывалось с графиками железной дороги и т. д.

Во имя чего? Размышляя над этим, Базаров пишет: «Номенклатурная общественная наука всегда стыдливо обходила вопрос – зачем нужно было массовое выселение раскулаченных? И почему на Север? Может, власти хотели стабилизировать политическую обстановку в деревне изоляцией своего классового врага? Тогда зачем перли за Полярный круг детей и стариков?.. В Курганском округе по представлениям райисполкомов планировалось выселение 4710 хозяйств, 5,32 процента к общему числу крестьянских дворов. В Марайском, Чашинском и Половинском районах к выселению наметили более 6 процентов крестьянских семей. В глухом Мокроусовском районе нашли необходимость выселить каждую одиннадцатую семью, а в некоторых селах Звериноголовского района – каждую шестую...»

Так во имя чего же? Во-первых, власти мешала лучшая часть крестьянства, сохранившая способность сомневаться и даже оказывать сопротивление произволу. Во-вторых, государству нужны были колхозы, делает вывод автор, чтобы иметь дармовой хлеб. Нужны были колхозы – рабы. А с колхозами, где собирались крепкие хозяева, воевать за хлеб труднее, чем грабить единоличников поодиночке. «Если имущество крепких хозяйств, утонченно-грабительно рассуждали органы, нацеливающие и озадачивающие, конфисковать и передать обобществленной бедноте, получится идеальный вариант колхоза. Так и сделали. Государственный грабеж колхозов стал экономической нормой, а деревенскую бедность возвели в культ нашей природной незыскательности и российско-социалистической самобытности».

И в заключение скажу, что все сделанное Александром Базаровым, подвиг. Ведь и эту книгу он издал за счет своих средств.

Книга «Кулак и Агрогулаг» нужна всем: студенту, старшекласснику, руководителю колхоза и совхоза, политику и администратору, бизнесмену и пенсионеру. Каждому, кто не равнодушен к истории России, кто считает себя истинным её гражданином.

*Иван Яган, писатель  
Курган*

## **ДУРЕЛОМ – ДУРОЛОМ**

Курганский ученый Александр Базаров исследовал архивные документы региона Большого Урала с 1927 года до наших дней. Результатом этого скрупулёзного труда явилась основанная на документах книга «Дурелом, или господа колхозники», выпущенная издательством «Зауралье» в 1998 году.

При чтении «Дурелома» просто оторопь берёт: батюшки! как мало знали мы о своём крае! Ну, бедно жили, работали много и задарма, голодоморы, произвол... А тут обжигающие душу раздетой правдой документы о страшной житухе деревни тридцатых, сороковых, пятидесятых годов...

Энтузиазм, бывший козырным аргументом сталинской эпохи, в душах соотечественников издох сразу же, как перестали их гнать кнутом к «беззаветному, радостному» труду. Вот они, перед глазами, босые колхозные бабы, тянущие в ярме борону-косозубку, как бурлаки на Волге.

Я видел раскулачивание 1928–30-х годов: мужики, бабы с детьми на руках, старики, брели голодным этапом на спецпоселения, на верную гибель в сибирской тайге, в шахтах. Этапы, этапы... этапы большого пути в тюрьмы, концлагеря, в ссылки за горсть колосков, за неосторожно сказанное слово правды. Правды о голоде.

Язык Базарова сочен, неповторим. Едкий сарказм перемежается с русской деревенской иронией, смех сквозь слёзы...

Люди старшего поколения, помнящие былое, пережитое, читают Базарова с комом в горле...

Возможно найдутся старики, стоявшие в свое время у кормухи

спецраспределителей, что сразу гаркнут: «Ату его, ату – с этой порочащей колхозное счастье книгой!» Но непреложен факт: были годы, когда павший духом народ безропотно шёл на плаху, без сопротивления – на лагерную каторгу, где за мизерную пайку вкалывал на лесоповалах и в шахтах, давал план.

Приговор социализму, с его неизбежным ГУЛАГом и Агроулагом, вынесенный Базаровым, заставит каждого задуматься: как в таком пекле истерзанный народ сумел выжить, устоять. Читайте, люди, книгу Базарова, она разбудит в вас жажду свободы – самого дорогого достояния человечества.

*Михаил Шангин,  
Курганская областная организация «Мемориал»*

## **ГРЕМЯ КОЛХОЗНЫМИ КОСТЬМИ**

*«Мир диалектичен»,* – резонно заметил один из героев Андрея Платонова, – на каждого героя есть своя стерва». Русский мужик собственной шкуркой познал горькую силу диалектики.

Можно и не помнить вещие слова: «Хлеб – всему голова», но только до тех пор, пока он есть. А теперь взгляните, предлагает автор двухтомника «Дурелом, или Господа колхозники», кто выращивает этот хлеб для вас, как состоялись их судьбы.

Имущее крестьянство всегда было главной опасностью для большевиков. И понятно, почему. Кто бы голосовал за советскую власть, если бы рабочие у станков получали полновесный рубль и крестьяне могли бы распоряжаться тем, что дала им за их труды праведные земля? Советская власть с ее уравниловкой нужна была только голодному большинству, которое новая власть «испекла» за несколько лет своего правления. Эта власть инспирировала в России голод.

А началось все с конфискации у трудового крестьянина его собственности. «Участвовать в ограблении крестьянства могли, разумеется, только люди осознанных преступных намерений

или глубоко заблуждающиеся, равнодушные или рабски подневольные», – пишет Александр Базаров. Я не верю в политическую искренность партийного руководства тридцатых годов. Особенно тридцатых. Не верю потому, что знаком с оборотной – секретной – стороной дела. Секретность всегда была основой антинародной бюрократии. Стыдно читать высокие партийные директивы, отмеченные скотским отношением к крестьянину. Мерзостью несет от донесений местных сатрапов, конечно же, строго секретных и полных жалоб на мужика вообще и в отдельности».

В свое время, предлагая читателю новые архивные разыскания Александра Базарова, я, грешным делом, правила комментарию автора. Базаров не спорил со мной, лишь усмехался молча. Правила-то я не потому, что не доверяла его авторской честности – Базаров честен абсолютно. Опасалась, что бдительные цензоры посчитают его исследования крамолой и статья просто не дойдет до читателя.

Ученый из Кургана, историк и писатель, он еще и документалист – создатель фильма о судьбе детей раскулаченных уральцев. Фильм получил самую высокую награду на Российском фестивале неигрового кино и дважды был показан на Первом канале.

С болью и пониманием пишет Базаров об итогах 70-летней жизни деревни под советской властью. Пишет строго научно и, я бы сказала, пластично, живым русским языком. Это яркий пример того, как надо писать историю, чтобы не подгонять её под очередную власть.

Уверена, что в каждом ВУЗе Урала педагоги будут рекомендовать студентам при изучении периода коллективизации книгу А. Базарова «Дурелом, или Господа колхозники». Это единственный фундаментальный труд о судьбе колхозного крестьянства на Урале, начиная с 30-х годов и по нынешний день.

*Светлана Миронова, журналист  
Челябинск*

## **ЧЕЛОВЕК И ГРАЖДАНИН**

Я открыла для себя Александра Александровича Базарова в пору российской смуты 90-х годов. В конце XX века так же, как и в XIX, нериторически звучат вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»

И, кажется благодаря книгам А. Базарова – этим хроникам колхозного рабства и деградации страны, я стала понимать смысл происходящего на советском и постсоветском пространстве.

Для меня Базаров – это Человек и Гражданин Мира. Из плеяды высоко нравственных, сильных духом, мужественных и смелых людей, таких как А. Сахаров, Д. Лихачёв, А. Солженицын... Это – наша совесть.

Свой долг Базаров видел в том, чтобы донести свою исповедальную правду, эту ужасающую по сути историю советской, российской деревни, судьбу многострадального народа до современников, особенно молодого поколения. Чтобы сегодня люди чтит память жертв колхозного строя и были бдительны.

Талант писателя, мастерское владение словом делают страшную правду почти осязаемой для читателя. Книги «Кулак и Агроулаг», «Дурелом, или Господа колхозники», «Хроника колхозного рабства» не оставят равнодушным никого из честных, сочувливых людей.

Изучать бы историю деревни по трудам Александра Базарова, читать бы его книги по радио и телевидению. Эти книги должны занять видное место в библиотеках, стать настольными для государственных деятелей.

Александр Александрович рано ушёл из жизни, на взлёте своего многогранного таланта. Он просто сгорел в титаническом труде по увековечению памяти жертв сталинских репрессий, высокой Любови к России.

*Е. Кузнецова, председатель Комитета солдатских матерей Курганской области*

## **Александр Базаров, свободный человек...**

Четвертого ноября, в новый праздничный день, побывал я в городе Кургане. Там, в музее местной сельскохозяйственной академии, отмечалась печальная дата – полгода со дня кончины преподавателя политекономии, историка и писателя Александра Александровича Базарова.

В музее был выделен специальный стенд, где стояли фотографии и книги Базарова. Сошлись немногочисленные друзья и гости. Говорили удивительно тепло и сердечно.

Говорили и тюменцы – Виктор Рябков и автор этих строк.

Сказанное нами, боюсь, не будет понятно, если не упомянуть о том, что было главным делом жизни Александра Александровича.

Он написал и опубликовал книги о горькой судьбе сибирского и уральского крестьянства при советской власти. О раскулачивании и насильственном вталкивании в колхозы. О женщинах уральских деревень, на которых боронили колхозные поля. О людоедстве и упоении властью... О многом таком, что невозможно не только цитировать, но и хотя бы перечислять. Эти книги, «Дурелом, или господа колхозники» (в двух томах) и «Хроника колхозного рабства», написанные талантливым и темпераментным пером, я бы ввел в школьный и вузовский курсы в качестве обязательного пособия по социалистическому прошлому. В качестве прививки от вероятного рецидива. Чего стоит хотя бы описание крестьянского крестного пути из южных сибирских деревень по старому тобольскому тракту! За невозможностью похоронить умерших ребятишек их просто оставляли на обочинах заметаемого февральской вьюгой тракта.

Об этом напомнил Виктор Рябков, уроженец исетской деревни Кукушки, по которой тоже прокатился кровавый вал. Рябков как-то сказал Базарову, с которым был дружен, что документы, которые тот цитирует, и читать-то невозможно, а уж писать об этом... «А я пишу и плачу», – сказал Александр Александрович.

На меня Базаров – и в своих книгах, и при личном общении

произвел впечатление абсолютно свободного человека. Редкий, надо сказать, типаж современника. Судьба свела нас, можно сказать, объединила именно тобольским трактом и историей отправленного по этой дороге крестьянства. Базаров написал о том, что их отправили из деревенского дома в таежную неизвестность, а мне довелось исследовать их судьбы потом, спустя семь-восемь лет, когда они, построив в тайге поселки и даже город Остяко-Вогульск, вновь попали под красное колесо. Совпадают имена и фамилии, те же самые люди...

День поминовения был солнечным и мягким. Около музея мы посадили небольшую сосновую аллею в память Базарова. Съездили на кладбище, где он похоронен рядом с матерью, Таисией Ананьевной Завьяловой, которой посвящены его книги.

*Рафаэль Гольдберг  
«Тюменский курьер» 9. 11. 2006*

## **ВСТРЕЧА**

Осенний ноябрьский день казался чудесным и сказочным, когда мы с подругой спешили на поезд «Крыштым-Челябинск». Какое счастье осознавать, что ты скоро встретишься с родной семьёй! Но когда мы отстояли довольно длинную очередь и подошли к кассе, оказалось, что билетов нет, а следующий поезд будет только утром. Молодость не может долго печалиться, и спустя некоторое время мы уже непринуждённо болтали и весело смеялись. Даже не сразу заметили, как в зале ожидания к нам подсел светленький, щупленький юноша. Сначала он мне не понравился, но быстро нашлась тема для разговора, и вскоре мы все трое стали чувствовать себя хорошими давними знакомыми. Через некоторое время Саша пригласил меня подышать воздухом, и мы вышли на улицу. Падал белый пушистый снег, крупные снежинки, освещённые луной, весело



**Александр Базаров со своей мамой  
Таисией Ананьевной Завьяловой**

покружив в воздухе, ложились на землю, окутывая её белой пеленой. Незаметно пролетело время, и вот уже утренний поезд подвозит нас к Челябинску. За время пути мы смогли узнать друг о друге довольно много, обменялись адресами. Проводив мою подругу на автобус, мы с Сашей, оставшись вдвоём, ещё погуляли, прошли по привокзальной площади, скверику. Подходило время моей электрички.

Попрощались, на предложение о встрече я ответила решительным «нет».

– Значит, прощаемся навсегда?

– Значит так!

Как же я ошиблась! Он приезжал ещё и ещё, дружба наша всё крепла, и через четыре года, после той первой встречи, появилось новое более сильное чувство. И этот настойчивый, но не навязчивый, умный человек стал для меня заботливым и любимым мужем на всю мою счастливую жизнь.

Не могу, не хочу верить в то, что его больше нет, что он ушёл навсегда. Нет! Нет! Нет! Он со мной в моих воспоминаниях, в моей душе, в моём сердце!

*Людмила Николаевна Базарова*

## **«Милый Александр Александрович!...»**

### **Письма Александру Александровичу Базарову\***

Уважаемый Александр Базаров!

Прочитала в журнале «Урал» №7 за 1991 год «Храм на крестьянском горе». Я, Мочалова Н.К., рождения 1924 г., одна из тех, кто подвергся раскулачиванию и ссылке вместе с родителями, сестрами, братьями. Место ссылки – Богословские угольные копи, теперь это город Карпинск, Свердловская область. Родная наша деревня – это деревня Патронное Кетовского района. На месте нашего дома – дачи отставных армейских и милицейских начальников. Им пашут огород, загораживают двор. Напротив нас, через дорогу, был дом и двор нашего дяди, брата отца, теперь здесь пустырь. Глава семьи умер в 1929 г., а вдова с детьми раскулачена и вывезена в Туринскую тайгу. Теперь их нет никого – раскулачивание не оставляло шансов на жизнь. Еще дальше был двор нашей тетки – сестры отца – Никитиных. Зимой 1929 года их вывезли под Тавду, на лесоповал. Их тоже нет никого. Земля их всех поглотила. Из дер. Романово, Орлово Половинского района были раскулачены и вывезены под Кемерово – отец и сестра нашей матери. Их нет никого. Наша родня – Ульяновы, из Каширино вывезены в тайгу на лесоповал. Петра Ульянова забили насмерть десятники и бригадиры на лесоповале. Никита бежал, но умер на улице в Кургане осенью 1943 г. Наш отец в 1928 г. уехал в Среднюю Азию, на рытье колодцев в Ташкент-Самарканд. Послал нам посылку, а мы были уже изгнаны из дома и жили на чужой кухне. Уполномоченный отобрал у нас посылку, а отца схватили и увезли в тюрьму в Челябинск, затем в Курган. Ночью выводили на расстрел, при нем расстреливали других. Увезли

---

\* «Вся жизнь моя тебе, Россия». – Тюмень: «Тюменский курьер», 2008.

сперва его, а потом и нас вели пешком до станции Курган, было нас очень много. Бабушка наша умерла у кого-то в чужом доме. Сестра Фрося умерла в чужом доме. Нас осталось пятеро да мама. На ссылке (около Уральских гор) строили бараки, корчевали пни, пилили тайгу. Отец работал в шахте, мама – на стройке. Они голодали. Он так и умер, через 12 дней, не получив больничного. А через 6 месяцев умерла на стройке мама, зимой 1933 г., затем умерла Маня, потом Леня. А я попала в больницу: воспаление легких, малярия, желтуха. Потом детские дома Свердловской области. Я видела много смертей, штабеля мертвых, их сжигали...

П.К. Пескова

17 июля 1991 г., г. Курган

Александр Александрович, здравствуйте!

Пишу, прочитав в газете Ваше обращение к детям уральцев, невинно пострадавшим в 1930 г. Рассказать могу очень многое и точно на целую книгу. Жили в Челяб. обл. Октябрьского района, хутор Жохово (22 хаты было). Семья 12 человек, детей 10, самой старшей 20 лет, младшим двойняшкам по 1 году. Отца и всех мужчин угнали на лесозаготовки, семьи стали выселять, отобрали все. Отец нашел нас в ссылке и в 1934 г. умер. Долго лежал, не хоронили неделю, были сильные морозы, две девочки умерли в пути, маму посадили в тюрьму. Сестру в 1937 посадили, она только вышла замуж и ждала ребенка, 10 лет отбыла невинно, не получая ни одного письма, не допускали. Ребенка мы взяли из Омской тюрьмы, больного, месяцев 4-х, 10 лет сестра ничего не знала о нем. А в это время брат 19 лет погиб на войне, муж ее защищал страну, два деверя вернулись инвалидами, один деверь погиб. До войны в армию не брали, а война началась, всех забрали. В 1937 г. с поселка забрали 13 человек.

Только закончили покос, перевезли инвентарь, заказали баню. Только подъехали к берегу, а там был уже катер энгэбэшников, сразу пересадили, не разрешили даже помыться. Ни на одно письмо: куда дели людей – ответа не было.

В 1975 году нашел меня сын друга моего отца в Челябин-

ске, сказал, что не умрет, пока не найдет семью, и нашел.

Пишу, очень волнуюсь. Думала, уж никогда никому не рассказать о наших мытарствах. Дрова всю зиму возили на себе. Окна одинарные до половины изнутри забиты горбылями и засыпаны опилками. Лед на окнах и снег. Холодно.

Много чего еще можно рассказать. Везли в товарных вагонах в феврале, все так одетыми и спали. В 1934 году отец заболел воспалением легких, а маму и еще других людей арестовали и погнали пешком в Березово, требовали золота, а мы даже сережки не видели. Расстреливали и в навозе увозили на свалку, там тела трамбовали под навоз.

Вынесли огромные муки, и все дети благородных честных тружеников выросли честными благородными людьми. Мальчишки 80% погибли на войне.

Помню, как нас довезли до станции Чумляк, всех сгрузили в церковь на пол, ночью энгэбэшники раздевали всех, обыскивали все узелки, что взяли с собой, трясли.

Для современных молодых считаю полезным знать, что в тяжелейших условиях, благодаря труду, выжили, никогда не обращались за помощью. Да кто бы помог?

Е.Р. Карпенко (сейчас Кулик)

г. Челябинск

Уважаемый тов. Базаров А. А.!

Услышав (правда, не полностью) Ваше выступление по телевизору о раскулачивании крестьян нашей области, я решила обратиться к вам с просьбой, а суть её в том, что мой отец Долгодворов Леонид Федорович, 1918 года рождения, в тридцатые годы проживал в с. Мендерское Белозерского района, семья их была зажиточной, хотя батраков и не имела, но все же старших братьев сослали в Сибирь, один из них выжил.

Отец с сестрой вернулись и жили на Боярке, т. к. в свой дом их уже не пустили. Жили очень бедно в бараке, сестра прожила свой век в Кургане у дочери, а отец в настоящее время живет в с. Чимеево Белозерского района. Дом в селе Мендерское по за-

вещанию родителей (умерших до раскулачивания) принадлежал отцу, но сосланный в Сибирь еще ребенком, он так и остался бездомным.

Хотелось бы узнать, будут ли компенсированы как-то убытки, нанесенные этим людям? Понятно, там коров, лошадей, имущество забрали в колхоз, а дом – почему его не вернули, а сейчас, вероятно, за давностью лет и своим считают?

А мы-то за какие грехи всю жизнь прожили в лачуге? Ведь отец из тех мест вернулся с астмой, и до сих пор она его мучает?

С уважением,

Н Л. Душутина

г. Шумиха

Базарову Александру Александровичу.

Я, Теньковский Петр Андреевич, 1929 года рождения, проживаю в Екатеринбурге. Родился в д. Сливки Серебрянского с/Совета Макушинского района Курганской области в многодетной семье крестьянина Теньковского Андрея Яковлевича, 1901 года рождения. Семья состояла из 12-ти человек: отца с матерью, деда, бабушки и 8-ми детей. Имелось хозяйство: две лошади, две коровы, с десятков овец и другой мелкой живности. Имели земельный надел согласно составу семьи, а также сельскохозяйственный инвентарь. Был новый, только что построенный дом со всеми постройками, т. к. стариковский дом пришел в негодное состояние.

В 1931 году, во время «великой коллективизации» крестьянских хозяйств, вся семья вступила в образовавшуюся коммуну, сдав всю живность и инвентарь с земельным наделом.

В 1931 году нашу семью посчитали кулацкой из-за хорошего дома, а дом был нужен под сельсовет. В марте 1931 года выселили нас из деревни и сослали в Пермскую область, Красновишерский район, в тайгу, где не было никакого жилья. Постепенно такими же ссыльными было построено 10 поселков примерно по 30-40 семей в каждом. Названия этих поселков: Золотянка, Половинка, Гостиный Остров, Ветренка, Горевая, Двадцатка, Вольма, Пелым,

Бая, Беле. К концу 1933 большинство жителей вымерло от голода. Оставшихся в живых свезли в поселки Беле и Гостиный Остров, опустевшие поселки были уничтожены. Мы были поселены в поселок Гостиный Остров. К этому времени семья наша сократилась до трех человек. В живых остались отец, мать и я, самый младший. В 1935 году отец бежал из ссылки, но был пойман, получил пять лет тюрьмы, после чего я о нем ничего не знаю. В 1941 году мать и меня перевезли в Красновишерск по состоянию здоровья матери. В 1943 году, в 14 лет, я поступил на работу в Красновишерский бумажный комбинат, где и работал до призыва в Красную армию. Начиная с 1931 года по 1949 мне и моим родителям была присвоена статья 38 (социально опасен по классовому признаку). Живя под этой статьей, нельзя было никуда отлучаться из города, даже в соседние поселки, без разрешения коменданта.

И вот эта реабилитация... Что дает мне, старому человеку, эта реабилитация? Я уже на пенсии, жизнь вся исковеркана. Все сосланные люди подлежали уничтожению, это делалось успешно, в том числе и в отношении детей, к которым принадлежу и я.

Теньковский

г. Екатеринбург, февраль 1993 года

Базарову Александру Александровичу

от читательницы Щербаковой Татьяны Николаевны.

Сегодня я прочитала вашу статью в газете за 2 июля в «Челябинском рабочем», как от земли отлучали. Если хотите, приезжайте, я вам все расскажу, как все было, от начала и до конца ссылки. Мы вернулись на родину в 1946 г., после войны, нас 4 сестры и зять. Целая книга будет, хотите, пожалуйста, звоните, когда приедете, по телефону, прийти я не могу, ноги болят.

С уважением,

Татьяна Николаевна

4 июля 1993 г.

Добрый день!

Здравствуйте, Александр Александрович!

Случайно прочитала 2-ю часть Вашего интервью с журналистом, и вот решила написать Вам немного о судьбе моих родителей, с шестью детьми разоренных в 30-е годы. Отец мой, Сидоров Степан Петрович, родился и жил в деревне Баженово Дмитриевского с/с Мокроусовского района Курганской области. Овдовел, остались трое детей. Жили в доме деда Петра. Мама-сирота, батрачка, ее братья выдали за отца замуж как бесприданницу. Отец был намного старше. Пошел и свои дети, 11 человек. Работали и в поле, и дома. Отец брата брал в поле возить «возилки», говорил: «Вот, Банька, учись робить, чтобы было че ись». Отец неграмотный, никогда не имел паспорта. Труженик, работал летом в поле. Зимой ладил шкуры (дубил), был мастер, его знали в Кургане. Задыхался от закваски шкур, дети драли кору и заготавливали. Все работали, как могли, нянчили друг друга. Мама не боялась никакой работы, научилась в батрачках. Я от матери осталась 3-х лет, от отца 9-ти. Все время работала на чужом дворе. Страдала от тяжелой работы. Дети умирали без медицинской помощи.

Отец уже был старый, его решили раскулачивать и выслали. Из дедова дома нас, семью 8 человек, выгнали в баню по-черному, увели лошадь и корову. Затем приезжали ночью и увозили все, все, что можно было: хлеб, овес, скотину, сено, дрова, подушки. Все вещи, какие были, и даже детские пеленки из рук мамы хватили, и все на подводу складывали, даже половички с полу, мамины юбки, нажитые в батрачках. Увозили все, все ночью, грабили, как могли. И потом мы видели, как женщина, которая приезжала ночью, носила мамины юбки и платки. А полотенца, которые мама вышивала еще в девках, до сих пор есть в деревне в одном доме. Увозили очень темной ночью и еще угрожали, замахиваясь кнутом. Сквернословили: «Молчи, кулацкая морда». Сами-то не хотели заработать, так решили грабить. Отец говорил: «Если власть справедливая, пошто так делают?» Кричали: «Он выступает против Советской власти – надо его выслать!» Поздней ночью

свалили нас в телегу и отвезли на станцию Лебяжье, там, на полу, голодные, раздетые ждали эшелон. Нас охраняли с винтовками, и даже тетей без охраны не выпускали по нужде. Один маленький у нас умер в то время. Погрузили нас в товарные-телячьи вагоны, как скотину, и повезли неизвестно куда. Этого мне сейчас даже не описать: как все было и чего это стоило. Поздней ночью холодной осенью ехать в телячьих вагонах, набитых до отказа такими же нищими, как мы. Везли на верную гибель, на Север, на лесозаготовки. Никто не знал, куда везут и сколько будут везти. Разгрузили около тайги в снег. Идти надо по железной дороге еще вглубь. Это был 1933 год. Хотя я была маленькая, многое помню, и пока сердце бьется, не забуду всех этих пыток и страданий, которые достались на долю нашей семьи, и даже нельзя выразить словами. Отец через месяц умер, ему было 70 лет, от прободения кишечника. Мама заболела тифом, ревматизмом, дистрофией. Мы выжили только потому, что убежали просить Христа Ради на станцию Сосновая. Нам подавали корочки, мы спали и прятались на кирпичном заводе, где калят кирпичи. За 10 километров относили корочки маме и брату. Он работал на лесозаготовках, ему было 18 лет. Он пил соленую воду, говорил: не так хочется есть. Брат опухал от воды, холода, голода и от работы. А мы все четверо убежали, прятались 14–10–7–5 летние дети. Маму сажали в «холодную» за то, что мы убежали, а из «холодной» ее вынесли на носилках.

Впоследствии два старших братагодились защищать Родину, были ранены, стали инвалидами Великой Отечественной войны и прожили недолго, не получив по инвалидности пенсий. Я участник ВОВ, ветеран труда, пенсионерка. Младший брат уехал в тайгу, там и живет. Мама умерла в 1966 г., ноги не ходили, гипертония 2-й степени, зрение 3%, пенсию не получала.

Александр Александрович! Большая Вам Благодарность за Ваш кропотливый труд. За Ваше доброе сердце, и что несмотря на период «застоя» и обстановку в стране, нашли возможность заняться коллективизацией и сталинским режимом, почувствовать и понять разгул самовластья на местах.

Уже нет давно в живых наших родителей и старших братьев, но до сих пор болит душа за все пережитое. Мы, тогда малые дети, многое помним и можем рассказать правду. Александр Александрович, убедительно прошу Вас выслать мне Вашу книгу. Буду до конца своей жизни благодарна Вам. Я очень хочу иметь Вашу книгу, она о нашем страдании.

Будьте здоровы.

С глубоким уважением,

Варвара Сидорова

г. Кишинев

Уважаемый Александр Александрович!

Прочитал Вашу книгу. Конечно, остается тяжелое впечатление – сколько мы еще должны вынести на этом пути? Но написать такую книгу надо было, и считаю, что человек, взявший на себя такую миссию, заслуживает не только добрых слов, но и доброй памяти от потомков, знать которым об этом надо однозначно. По возрасту мы с Вами сверстники, вероятно, поэтому многое из написанного в книге – не новость для меня, впервые услышанная. Я об этом слышал от родственников и знакомых на Украине, где прошло детство, где жили мои родители. Детские годы у меня связаны с селом, поэтому сбор колосков и объездчики на лошадях 1946–1947 гг. мне известны не понаслышке. Я это вижу, как сегодня – мы с бабушкой убегаем с сумкой с собранными колосками в лесополосу – это было в Киевской области с. Луки. Одним словом, Ваша книга у меня вызвала волну воспоминаний – того, что видел. Того, что слышал. Но до Вашей книги – не представлял, что это все носило такую системность и в таких объемах. Поэтому, прочитав, я был потрясен тем огромным морем слез, бед, горя, голода и холода, в которых жили наши родители. Благодаря им мы выжили и живем сегодня. Книга заставила меня задуматься, и осталось на душе что-то непонятное. Такую страшную жизнь делали власть предержащие во имя великих идей, великих начинаний. Во имя того же проклятого народа. Как точно вы называли это время «дурелом» – лучше, наверное, не придумаешь.

Я согласен полностью с главным выводом вашей книги – построить насильем светлое будущее нельзя, невозможно, не нужно и категорически должно быть запрещено, за что высшая мера должна грозить однозначно. Дай бог, чтобы это все мы осознали. Вот поэтому, я полагаю, Ваша книга и должна обучить каждого, дать понять эту истину как умом, так и сердцем всем, кто ее читает.

Шиятый Б.И.

1999 г.

Уважаемый Александр Александрович!

Прочитав за 2.07 в «Челябинском рабочем» статью «Как от земли отлучали», решил написать Вам.

Мои родители, Бутенко Григорий Кириллович и Анна Александровна, проживали в Кустанайской области, Пресногорьковский район, село Макарьевка. В этом селе и мы все родились, а нас было семь детей. В 1930 году родителей раскулачили. Отца осудили на полтора года, а мать с шестью детьми, один грудной, восьми месяцев, старший – 13 лет. Брат старший выехал из деревни в 1929 в г. Магнитогорск.

Держали мать три дня за селом, в двух километрах возле озера, и потом отправили в ссылку. Все отобрали: скотину, сельхозинвентарь, нажитое имущество. Нас сейчас осталось двое – я, Иван Григорьевич, и сестра Ольга Григорьевна. Мама в ссылке умерла в феврале 1931 года. Отца освободили, и он приехал к нам. Двое самые младшие, умерли в ссылке от холода, голода. В 1932 году отец вернулся с нами в родное село. Ни кола, ни двора, ни одежды, ни обуви. А здесь наступал еще страшный, холодный 1933 год.

Я и моя сестра Ольга перенесли его очень тяжело. Были опухшие животы, ноги, ходили по своей деревне, просили что-нибудь поесть. Но я всегда благодарю своих земляков, а особенно родственников, которые не дали умереть нам. Особенно помогали Садовой Григорий Леонтьевич, его жена Александра Васильевна (ей 87 лет), она и сейчас живет, и при встрече я ей говорю: «Тетя Шура, то, что я живу, это Вы спасли вместе с дядей Леонтием нашу

жизнь». Отец умер в марте 1951 г. в Закарпатье (я там служил).

Все, что я сообщил Вам, это мне рассказывали родственники. Отец старался нам ничего не говорить. Единственно только сообщил, что с тюрьмы его освободили раньше срока, после статьи Сталина «Головокружение от успехов», и судимость сняли.

В Советской армии служил с 1943 по 1956. Там вступал в партию. При оформлении анкеты я написал: социальное положение – «из семьи кулака». Начальник политотдела вызвал и сказал, что они должны сделать запрос. Через месяц пришел ответ: «из семьи середняка». Это было в 1946 году. Потом служба проходила в западных областях Украины, многие после войны скрыли свою принадлежность, во время оккупации и после войны их стали призывать в армию. Я был в то время старшиной роты. И вот пригласил меня наш начальник контрразведки. Сообщил, что надо на меня оформить допуск, я заполнил анкету и опять указал, что сын кулака, отправили запрос, ничего не подтвердилось, поругали меня, что я сам на себя наговариваю.

И вот пришло время открытости, и начал я писать в Кустанайскую прокуратуру, госархив, УВД, с просьбой сообщить: на каком основании был осужден мой отец, сослана в ссылку моя мама, место ссылки (я его не знаю) и место захоронения ее. И ничего мне никто не смог ответить, нет никаких материалов ни в архиве, ни в прокуратуре, ни в УВД, ни в КГБ. Тогда я приложил все ответы и послал на имя Назарбаева, вот уже прошло три года – ни ответа, ни привета. В 1995 году в УВД Северо-Казахстанской области тоже не оказалось документов. Сейчас живу и работаю на электрометаллургическом комбинате начальником отдела кадров.

Бутенко И.Г.

г. Челябинск

Уважаемый Александр Александрович!

Ваш двухтомник «Дурелом» всколыхнул во мне воспоминания о раннем детстве, проведенном в ссылке в Серовском районе Свердловской области. Я родился в 1936 году.

Наши родители – Павел Ксенофонтович Пудов и Зинаида Ан-

древна, Преображенская в девичестве, были сосланы первой волной раскулачивания из села Лихачи Варгашинского района Курганской области в 1930 году через станцию Надеждинск. Земля круглая. Сейчас в администрации нашего города работает дочь нашего коменданта Колмогорова.

Я не буду писать сейчас свою биографию – боюсь, в конверт не войдет, скажу лишь кратко. Куда ссылали родителей, сейчас мы едем сами. В Югорск я был направлен Тюменским обкомом партии в 1970 г. (100-летие Ленина) для открытия местной студии телевидения в пос. Комсомольский, главным редактором. До этого я работал в газете г. Серова, в Кузбассе, на Ямале, в Заводоуковске Тюменской области.

Очень сожалею, что не знал о вашем приезде в наш город. Я ломаю голову – как донести до широких масс смысл и содержание ваших книг-исследований? Дело в том, что в трясины коммунистического болота попадает молодежь. Как сделать эти книги обязательными для изучения теми, кто трясет красными знаменами и портретами усатых сатрапов?

Я прошу у Вас, обладателя авторских прав, разрешения на публикацию, хотя бы фрагментарно, в наших городских газетах. Еще не знаю отношения к этому местных властей, но попытаюсь хотя бы в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.

Я сожалею о столь малом тираже. В учебнике истории за 9-й классом коллективизации написано всего лишь пол страницы...

Желаю крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.

С глубоким уважением,

Пудов Сергей

Югорск, 25 марта 2002 г.

Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович!

Только сейчас, спустя 7 лет после издания, мне удалось прочитать Вашу умную, злую и честную книгу «Дурелом», экземпляр которой Вы подарили библиотеке Тагильского пединститута (друзья из библиотеки дали почитать). Трудно выразить чувства,

которые я испытывал, читая ее. Мои родители и деды были высланы из Украины в Тагил в 1931 году, жили три года в бараке без комнат. Спустя полгода от голода умер дед, баба, сестра 8 лет и брат 6 лет. Я родился в 1939 году, в таком же бараке, но уже разделенном на комнаты, и прожили в нем до 1964 года. Некоторые документы о спецпереселенцах я читал в городском архиве. Конечно, доступ к ним не был совсем свободным, но мне удалось познакомиться с ними, когда готовилась юбилейная книга о комбинате, а я был привлечен в группу подготовки материалов как фотоиллюстратор. Дело в том, что я многие годы готовил фото-выставки. В 1999 году я с трудом добился реабилитации своей, родителей и братьев. Много мне о тех годах рассказывала мама, она еще жива – ей 103 года.

В 2001 г. я организовал фотовыставку «Тагильчане XX века» – 500 снимков, выставка была в музее ИЗО в Тагиле. Естественно, не мог обойти 30-х годов, истории наших подкомандатурных поселков.

Этот раздел вызвал большой резонанс у некоторых зрителей. Это была первая выставка, экспонированная по просьбе зрителей два раза. Читая Вашу книгу, я видел, как многие тексты ложатся подписями под снимки из моей коллекции. Хочется цитировать и цитировать книгу, но пришлось бы цитировать ее целиком.

И я решаюсь обратиться к Вам с просьбой – не можете ли Вы прислать мне экземпляр наложенным платежом или каким-то иным, удобным для Вас образом? Книгу надо читать и перечитывать, а возможности этой у меня нет. Не планируете ли Вы продолжить работу над этой темой?

С огромным уважением,

И. Коверда

г. Тагил, 2004 г.

Уважаемый Александр Александрович!

Я, Шевердин Николай Николаевич, мне 74 года. Мой дед пострадал в 1929 году как кулак, отец пострадал в 1938 г., как враг – расстрелян. Я проработал в школе 42 года. Прочел Вашу книгу. Жутко, хотя и сам помню многое. Книгу давал почитать учи-

телям. Нужно, чтобы Ваша книга работала, хочу ее приобрести, хотя бы экземпляра три.

С уважением,  
Шевердин Н.  
с. Лисье, Лебяжьевский район

Милый Александр Александрович!

Прочел Вашу высоко правдивую и волнующую книгу «Кулак и Агрогулаг», подаренную мне друзьями во время очередного посещения своей родины – Мишкинского района.

Дай Вам Бог доброго здоровья и долгих лет жизни, творческих удач и новых находок в «совковых» архивах бывших бездарей, простоявших более 70 лет у руля Отечества. Да! Эти «строители коммунизма» «блестяще» справились со своей «задачей» построения «светлого будущего» на костях самых способных и талантливых от Бога тружеников, кормивших когда-то не только Россию, но и Европу!

Кланяюсь Вам низко за Ваш талант, как кланялись всегда наши предки добрым людям. Спасибо огромное!

Поскольку в Вашей книге приводятся многочисленные фамилии земляков, то позвольте и мне подбросить в Ваш разгоревшийся костер правдивости один пожелтевший от времени, как служебная справка, вопрос, касающийся «тайны эшелона № 7007» и его живого содержания.

На странице № 218, в таблице отправленных эшелонов с нашими предками в агрогулаг, есть эшелон под номером 7007, увезший ночью 24 февраля 1930 года сот. Мишкино 1134 тогда живых людей...

Интуиция подсказывает, а Ваша книга это как нельзя лучше подтверждает, что именно в этом эшелоне в числе 1134 человек были и мои предки из с. Воскресенского: Пермякова Анна Ивановна, 1863 г.р. моя бабушка по отцу; её дети: Пермякова Мария Ивановна, 1903 г.р., моя тетья – сестра отца, Пермякова Надежда Ивановна, 1904 г.р., моя тетья – сестра отца.

Пермяков Дмитрий Иванович, 1905 г.р., мой отец, женившийся на моей маме Вторушиной Серафиме Ивановне в 1927 году, был,

как я предполагаю, в то время вне села Воскресенское. В 1930 году, когда началась охота за кулаками, купцами, он бежал, скрываясь и отводя следы от семьи, от двух своих маленьких детей, как позднее говорила мама, в г. Бийск, где, надо думать, его все-таки достала рука ЧК, как это она сделала ранее с его отцом (моим дедом), Пермяковым Иваном Степановичем, 1862 г.р., сбежавшим еще в 1919 году в Омскую губернию от рук ЧК. Но деда тогда выдали земляки, и его арестовали, привезли в Челябинскую губЧК, где и расстреляли 28 ноября 1920 года в камере ЧК, на Васенко, 39. Дед ныне полностью реабилитирован.

Предполагаю, что в тот эшелон могли попасть и другие мои родственники из рода Пермяковых – братья деда, Василий и Александр Пермяковы с семьями...

Подскажите, можно ли разыскать списки обреченных на верную смерть людей эшелона № 7007? Не располагаете ли Вы какой-либо информацией подобного содержания?

Если будет у Вас оказия побывать в столице, буду рад Вас встретить у себя.

С величайшей признательностью и уважением к Вам,  
Борис Вторушин  
Московская область, 10.10.92 г.

Здравствуйте, Александр Александрович!

С приветом к Вам из Свердловска один из сыновей разграбленных (раскулаченных) родителей Новоселов Петр Павлович. Недавно побывал в нашем «Мемориале», где Анна Пастухова дала мне прочитать две ваши книги «Дурелом или господа колхозники». По-моему, это преступление большевиков-уголовников никто так и не мог осветить, как это сделали Вы. Очень сожалею, что не имею возможности прочитать Вашу первую книгу «Кулак и Агрогулаг». Искал в продаже – не нашел. Я этой темой давно занимаюсь и набрал много материалу из газет и из книг. Здесь моя точка с Вашей не совпадает. Вы построили свою книги на архивных документах, все правильно. За весь Ваш труд по изданию этой книги Вам мой низкий поклон. Но вот тех документов,

на основании которых бандиты начали грабить крестьянство, никто никогда не найдет, они ушли вместе с ними в могилу.

Дорогой Александр Александрович, хотел бы встретить Вас в стенах своего дома и обо всем этом побеседовать. Нам не надо ждать от кого-то, что будет второй Нюрнбергский процесс. Его не будет. Поколение не то. А поэтому нам надо этим самым заняться, ибо все материалы на сегодняшний день имеются и надо начинать действовать. Вам в этом принадлежит главная роль.

Будете в Свердловске, милости прошу, наведайтесь ко мне. Обязательно позвоните, чтобы я мог Вас встретить.

С искренним к Вам уважением, Новоселов

10 ноября 1998 г.



# ДОДНЕСЬ ТЯГОТЕЕТ



## Даниил Аль

### **Вологодская пересылка. Год 1950-й** Глава из книги «Хорошо посидели»

Вологодская пересылка была расположена в здании, построенном еще при Иване Грозном, в 60-х годах XVI века. Было время, когда царь хотел перенести свою столицу в Вологду с тем, чтобы затвориться там за вновь отстроенными крепостными стенами от «изменных бояр», угнездившихся в Москве и вокруг нее. Замысел этот не был осуществлен, однако кое-какие постройки успели тогда возвести. Понятно, что лучшего здания для пересыльной тюрьмы, чем окруженная толстенными стенами с башнями бывшая опричная крепость, сталинским тюремщикам искать не приходилось...

Меня и моих спутников ввели в широкий и длинный зал первого этажа. Несмотря на то, что из-под мощных сводов свисали на длинных витых шнурах яркие лампы, зал казался темным и мрачным. На полу возле стен и в центре зала сидели, лежали, стояли заключенные – весь наш этап. Ждали нас – последнюю партию.

Не успели мы войти и поставить на пол свои пожитки, как в центре зала появился крепко сложенный, среднего роста лейтенант в синей фуражке.

– Становись в строй! – заорал он зычным голосом. – Вдоль се-рединки, по три в затылок! Живо, живо!

Люди стали подниматься с пола.

Лейтенант не уставал покрикивать. Его помощники – старшина и несколько ефрейторов, все в синих фуражках, с синими погонами, энергично расталкивали толпу заключенных. Лейтенант прошелся туда и обратно вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица. Остановившись в центре, он скомандовал:

– Малосрочники, два шага вперед.

Никто не шевельнулся.

Лейтенант повторил команду. Все остались на своих местах.

«С малыми сроками в нашем этапе никого нет», – успел я подумать. Но лейтенант думал иначе. Подойдя к правофланговому и ткнув его пальцем в грудь, он спросил:

– Срок?

– Пятнадцать лет.

– Ну, правильно стоишь. Стой... А у тебя? – ткнул он пальцем в следующего.

– Двадцать пять.

– Так. Стой... А у тебя?

– Десять лет.

– Так чего же ты стоишь?! Оглох, что ли? Я же сказал – малосрочники, два шага вперед!

По колонне прошел шумок. Бывалые блатные посмеивались над простаками-«фашистами» (так они называли политических). Мы, новички, недоумевали: десять лет заключения, какой же это малый срок?! А с другой стороны, все познается в сравнении. С точки зрения «двадцатипятилетника» «десятку» справедливо было считать малым сроком. Ведь когда у «десятилетника» кончится срок, у «двадцатипятилетника» – страшно подумать! – останется еще пятнадцать лет отсидки!

Лейтенант повторил команду. «Малосрочники», в том числе и я, шагнули вперед. Теперь лейтенант пошел вдоль нашей шеренги, внимательно вглядываясь в лицо каждого заключенного.

– Фамилия? – спросил он, остановившись вдруг перед четвертым или пятым в нашем ряду.

– Серегин.

– Вторая фамилия?

- Караулов, – нехотя и после паузы ответил спрошенный.
- Третья?
- Третьей нету.
- А которая настоящая фамилия?
- Караулов.
- Сколько раз судили?
- Два раза.
- Ладно, если не врешь, – сказал лейтенант и пошел дальше.
- Фамилия? – спросил он снова у одного из стоявших в нашей шеренге.
- Сидоркин.
- Вторая фамилия?
- Водолазов.
- Третья?
- Шундииков.
- Четвертая?
- Больше нету.
- Которая будет подлинная?
- Сидоркин...
- Ладно, если не врешь...
- Какая судимость?
- Четвертая, кажется.
- Я тебе дам «кажется». Говори точно!
- Ну, пятая.
- Вот так и дыши!

Таким образом лейтенант побеседовал с большинством «малосрочников», безошибочно определяя наметанным глазом блатных.

Затем последовала новая и вовсе удивительная для меня процедура.

– Всем сукам отойти направо, в тот конец помещения! – командовал лейтенант.

Я подумал, тюремщик так по-хамски обращается к женщинам. И действительно, некоторые из них, в том числе одна с ребенком на руках, потянулись в правую сторону. Вместе с ними

туда же побрели и человек двадцать мужчин-уголовников.

Вдогонку им из шеренг оставшихся на месте – «малосрочников» и «большесрочников» – раздались крики:

– Не спасетесь, суки! Все равно вас достанем!

– Под землей сыщем!

– Лучше сами себя кончайте – легче помрете.

Из рядов сук огрызались:

– Посмотрим еще, кто кого кончит!

– Кто с ваших на наши лагпункты попадет – на куски порежем!

– Глаза выжгу! Пасти поразрываю, падлы поганые! – истерически завизжала одна из отходящих в сторону в числе прочих «сук» девчонка, затопав при этом ногами.

– И у тебя есть, что порвать! – понеслось в ответ.

Лейтенант молча улыбался. Такая сцена была для него приятным и привычным развлечением. Вдоволь наслушавшись, он рявкнул:

– А ну, обе масти, закрывай пасти! Ишь, разорались! Вот возьму крикунов от тех и от этих да в общий карцер. Вот там и грызите друг другу глотки!

О войне между «ворами в законе» и «суками» есть что рассказать. Я вернусь к этой теме в ходе описания лагерной жизни.

После отделения «воров» от «сук» сортировка нашего этапа пошла быстро. Женщин развели по одним камерам, мужчин по другим. Меня, с группой воров человек в тридцать, поместили в огромной камере, почти все пространство которой занимали два этажа деревянных нар. До нашего прихода камера была пустой. В ней стоял резкий запах дезинфекции. При свете тусклых лампочек мы стали располагаться на нарах. Свободных мест было намного больше, чем нас, вновь прибывших, и поэтому можно было даже выбирать себе этаж нижний или верхний. Я полез на второй. Рядом со мной расположилась шумная компания молодых парней – воров. Моим непосредственным соседом оказался на вид скромный паренек по кличке «Рука». Странность клички была в том, что ее обладатель не имел правой руки. Казалось бы, прозвище «Безрукий» ему подошло бы больше. Воз-

можно, кличка родилась в знак уважения к оставшейся у парня руке, которая действовала на удивление ловко и разнообразно. Я обратил на это внимание еще тогда, когда Рука одним махом взлетел на верхние нары, подтянувшись своей единственной рукой ловчее, чем мы остальные двумя. Я видел, как молниеносно расстегивал он пуговицы на своем пальтишке и проделывал все прочие необходимые операции. Наиболее ярко умение моего соседа обходиться одной рукой проявилось, когда он начал играть со своими дружками в карты.

Игра шли на верхних нарах вблизи от меня. Игроки уселись в кружок по-турецки на голых досках. Ни белья, ни одеял не выдавали, такая роскошь в пересылке не полагалась.

Рука, держа веер своих карт, перетасовывал их пальцами и с какой-то непостижимой ловкостью в нужный момент неуловимым движением вытягивал одну из них и эффектно шлепал ею по кучке карт, лежавших «на кону».

Игроки и заглядывавшие в карты из-за их плеч болельщики шумно пререкались и ссорились. То и дело возникали взаимные обвинения то в передергивании, то в порче игры своему партнеру. Злобные угрозы смешивались со столь же злобными заклятиями, среди которых «гад буду» было самым нежным. Такие же вопли неслись с другого конца верхних нар и с нижнего этажа, где тоже резались в «очко». Казалось, вот-вот должны были, закипеть драки и побоища. Однако все сводилось к угрозам расправы в будущем: «Прирежу, гад буду, прирежу!», «Я тебе, падла, кишки выпущу!», «Глаза выдавлю!» – и прочее в том же роде.

В компании, игравшей возле меня, особенно часто и злобно бил себя в грудь и кричал низкорослый курносый паренек в серой кепке: «Я вор!», «Я в законе!». Это означало: «Поскольку я вор – я абсолютно честен, и подозревать меня в жульничестве нельзя»... Товарищи называли этого гордеца «Мышá».

Положив под голову свой чемоданчик, я лежал, глядя в потолок и думая. Вот судьба закинула меня в совершенно новый,

неведомый языковой мир. Неведомый, разумеется, не потому, что я раньше не слышал грубой брани. Я учился в достаточно «проматеренной» школе (я имею в виду мальчишескую среду). Мат был в ходу и в университете. Ну, а про фронтовые будни что говорить! Весьма колоритным по этой части было следствие. Но здесь все это было как бы иного качества.

Даже в самой грубой речи мат обычно выполнял ту или иную дополнительную функцию. Чаще всего функцию брани, оскорбления, унижения собеседника. Пусть не обидного и даже «дружелюбного» унижения на взаимной основе: «Я тебя покрыл матом, а ты меня. Я имею право тебя обругать, потому что ты тоже имеешь такое право». В иных случаях мат выполнял функцию сближения, свидетельствуя о единении мужской, общности, примерно на такой подсознательной основе: «Вообще-то я, конечно, так не выражаюсь, скажем, дома или в присутствии женщин, а здесь могу, ибо здесь только свои, мужчины. И значит, уснащая свою речь матом, мы тем самым это наше мужское братство утверждаем». Во времена более поздние, чем те, о которых я пишу, иные интеллигенты обоего пола стали бравировать в своих компаниях нецензурной речью, полагая, что так они демонстрируют свою внутреннюю свободу и раскрепощенность, выражают презрение к нелепым, устаревшим условностям общества. Понятно, что прослыть интеллигентом, да еще и борцом за свободу, с помощью такой раскованности легче, чем каким-либо иным способом.

В обычной, неблатной речи мат присутствует как некая добавка, как гарнир или приправа. Но в воровской речи, которую я услышал, на пересылке, мат не был приправой, он составлял саму основу речи. Сравнительно небольшое количество матерных слов-ругательств здесь бесконечно увеличивалось образованием из их корней множества междометий, прилагательных, существительных, глаголов самого разнообразного значения.

Все российские поэты – бывшие и будущие – не в состоянии создать такого количества рифм, которыми располагает блатной язык. Их производство доступно любому, самому безграмотно-

му воришке. Для создания рифмы нужны, как известно, два слова, которые не так просто отобрать в огромном языковом море. Блатные нашли способ рифмовать любое слово с самим собой. В результате чего рифмы не надо искать – они всегда в распоряжении каждого. Поскольку речь воров, по большей части, выражает негативное отношение – недоверие, отрицание, обиду, отказ – ответное высказывание, как правило бывает ироническим, насмешливым, издевательски передразнивающим слова собеседника. Для этого служит ёрническое повторение «в рифму» последнего произнесенного собеседником слова с заменой его матерным корнем из знаменитых трех букв. Например: еда – ...еда, теплоход – ...еход, ручка – ...ючка. И так без конца и края.

Современному читателю этих строк куда как легче представить себе этот воровской язык, нежели тогдашнему человеку, попавшему с воли в блатную среду. К нынешнему времени в криминализованной России блатная речь широко разлилась за пределы тюрем, лагерей и воровских малин, стала бытовой речью большей части подростков, молодежи и великовозрастной пьяни. Тому немало причин, важнейшая из которых – десятилетия активного взаимопроникновения друг в друга «тюрьмы» и «воли», «уголовки» и «ментовки». Языковая граница между вольным и преступным миром давно размыта. На каждой улице, в каждом дворе вместе «играют», убивают время, пьют и «тусуются» ребята разных возрастов, многие из которых уже побывали в колониях, тюрьмах и лагерях. Именно они становятся лидерами подростковых групп. Бывших сидельцев хватает и среди взрослых. Тогда, в пятидесятом году, граница между «тюрьмой» и «волей» была обозначена гораздо четче.

Рассказать о словарном составе блатного языка – значило бы рассказать о нем очень мало. Дело в том, что от обычной человеческой речи блатной язык отличается еще и своим особым звучанием. Передать характер этого звучания людям, не бывавшим в зонах или на воровских малинах, тогда, в 40-е – 50-е годы, было очень трудно, если не невозможно. Зато сегодняшнему читателю представить себе «музыку» блатной речи значительно легче, по-

скольку сегодня можно указать такой материал для сравнения, которого тогда в обычной жизни просто не было.

Блатная речь отличается постоянным присутствием в ней истерического надрыва. На толковищах или даже собираясь небольшими группами, воры почти никогда не говорят спокойно или тихо. Они, как правило, кричат, словно находятся не рядом, а на значительном расстоянии друг от друга. Кричат нервными, злыми, надрывными голосами. Чего только нет в звуках этих криков, словно выдираемых из нутра, откуда-то чуть ли не из-под желудка, из самого «глыбака». Тут и самоутверждение – мне, мол, все нипочем, я на все, на всех плевал, меня не запугаешь мне и жизнь копейка. Тут и скрытый страх. Тут встающее с самого дна души нечто хищно-животное, инстинктивное. В этих звуках выявляется подсознательное стремление к тому, чтобы расчеловечиться, превратиться из члена общества, ограничивающего поведение и поступки индивида своими правилами и законами, в отдельную особь, способную для своего самосохранения на все, без какого-либо предела, стать как можно более похожим на злую зверюгу. Отпугнуть другую особь, от которой исходит опасность, хищное животное старается, прежде всего, именно рычанием и оскалом пасти. Отсюда же, от вечного, непреходящего страха за свою жизнь, от постоянного пребывания в жесточайшей борьбе за свою долю, за свой кусок, в стае других хищников, агрессивных и злых, нетерпеливо жаждущих улучшить момент твоей слабости, чтобы тебя растерзать – отсюда же и постоянный наигрыш в поведении каждого блатного. Наигрыш той же удали и деланного геройства, и еще много чего другого, что в данный момент полезно наигрывать.

Находясь в своей среде, вор всегда как бы на сцене. Он не просто живет среди своих товарищей, но все время играет самого себя, поддерживает свой образ или, как бы теперь сказали, свой имидж. И, подобно плохому актеру, блатной всегда «переживает», всегда переигрывает.

Современный читатель, в отличие от человека середины прошлого века, имеет, повторю, возможность совершенно отчетливо

представить себе «музыку» блатной речи, ее тональность и окраску. Для этого достаточно послушать современных рок-певцов. Я далек от мысли обижать этих певцов или судить их пение с позиций своего вкуса. Я просто констатирую факт: в голосах рок-исполнителей постоянно звучат надрыв и истерика, столь характерные для блатной речи. Им присуща, как правило, предельно вульгарная интонация, один к одному совпадающая с «музыкой» перебранки на тюремных нарах или в подворотне. Можно только удивляться тому, что такие, например, слова – «приди, приди, моя звезда, ты у меня одна, одна, и я страдаю без тебя» звучат абсолютно в той же тональности, что и какое-то блатное обращение – «только попробуй не приди, сука поганая, на нож посажу!» Такое подобие звучаний можно объяснить некоей схожестью жизни современной молодежи и существования мира криминала. Кстати сказать, это явление имеет место отнюдь не только у нас, но едва ли не во всем мире. Вероятно, это связано с целым рядом начавшихся в мире с 50-х годов процессов, разрушительных для социума и культуры, с глобальной «индивидуализацией» и «атомизацией» общества, с явным отграничением молодежи в целом, особенно подростков, от норм поведения старших поколений, «предков», от их мировоззрения, жизнеустройства и сложившихся норм, а также с возросшими трудностями выживания в больших урбанизированных пространствах, что вынуждает подростков сбиваться в стаи. А в стаях неизбежно утверждаются и свои законы и соответствующий социально-психологический климат. Особая психология членов стаи вполне сродни психологии блатной коды. Кроме того, уже было сказано, что в нашей стране, а возможно и не только в нашей, идет процесс диффузии между «тюрьмой» и «волей».

Справедливость требует сказать, что блатные – в то время, когда я их знал, – пели не так, как говорили. Песни – в большинстве своем грустные, связанные с разлукой, на которую их обрекло заключение, либо с тяжестью тюремной и лагерной жизни, – они пели, как правило, хором. Некоторые из воровских песен окрашены и лиризмом, и подлинностью человеческих переживаний.

Вот, например, одна из них, услышанная мною на вологодской пересылке. К сожалению, я не могу здесь передать ее задушевленную мелодию.

Холодный зимний ветерочек,  
Зачем ты дуешь холодно!  
Гуляй, моя детка, на свободе,  
А мне за решетку суждено.  
Ах, глазки, глазки голубые,  
Ах слезки – чистая вода,  
Зачем же вы вора полюбили,  
О чем же вы думали тогда...

Такого рода песни исполнялись негромко, и исполнители и слушатели затихали, думая каждый о своем.

Или вот смиренно – обращение к жене из тюрьмы:

Сходи к соседу к нашему Егорке,  
Он по свободке мне должен шесть рублей.  
На два рубля купи ты мне махорки,  
А на четыре – черных сухарей.

Также справедливости ради отмечу, что истерия, крикливость и все прочие характерные оттенки блатной речи присутствуют в ней тогда, когда вор находится в своей среде. С этой интонацией и на том же жаргоне он будет говорить и в милиции, и со следователем, то есть там, где он находится в образе, в своей роли. Вне блатного общества, например в спокойном разговоре «за жизнь» с каким-либо «фрайером» вроде меня, блатной, как правило, говорит нормальным человеческим языком. Не всем из блатных и не всегда удается в таких случаях обходиться без своих профессиональных терминов, включая матерные словообразования, но исчезает надрыв, деланная истерия, злобный оскал рта, не фонтанирует поток угроз и проклятий.

Здесь опять-таки приходит в голову сравнение с современным

рок-певцом. Вот мы видим его на экране телевизора дающим интервью. Нормальный человек, спокойно и просто говорит нормальным голосом. Но вот тот же человек вышел на сцену, вошел в образ. И началось кривлянье, дерганье, полились истерические крики. Тональность, характерная именно для блатной речи: пошлость, грубость, примитив и надрыв...

Когда ранним утром я проснулся, мои сокамерники спали. Перевернувшись на другой бок, я увидел, что Рука не спит. Он сидел на нарах в позе роденовского Мыслителя, оперев подбородок на свою единственную руку и вперив взгляд вдаль, в данном случае в противоположную стену камеры. Сходство со знаменитой скульптурой придавала не только поза, но и то, что мой сосед подобно скульптурному герою, был совершенно голым. В отличие от своего каменного прототипа, Рука дрожал мелкой, неотпускающей дрожью.

– Что это с вами, Рука? – спросил я, хотя и сам хорошо понимал, что произошло.

– Проигрался, – спокойно ответил «Мыслитель». – Бывает.

– Вы же совсем заковали... Заболеете.

– Ништяк! Не впервой, – так же спокойно произнес Рука.

С этими словами Рука лег на нары и придвинулся ко мне. Я накрыл его своим пальто. Вскоре, под мои подробные объяснения, что я никакой не фашист, он заснул.

А я задумался над тем, что неожиданно-негаданно оказался вдруг и «папашей» (это в тридцать-то лет!), и «мужиком», и «фашистом». Почему я оказался «папашей» – это понятно. Для окружавшего меня юного ворья – всем им было лето по 17-20 – я был человеком другого поколения. Почему «фашист», Рука мне объяснил. А вот почему меня и всех вообще заключенных, не принадлежавших к воровскому миру, воры называют «мужиками»? Не помню, той ли ночью в вологодской пересылке пришел мне в голову ответ на этот вопрос или позднее. Но, думается, ответ правильный. Кличка «мужик» для обозначения заключенного не из воровского мира родилась, надо полагать, в тридцатых годах, когда масса

лагерников все разбухающего ГУЛАГа делилась и впрямь на две основные категории: блатные и крестьяне. «Раскулаченные» – так называемые «спецпереселенцы» – составляли главную массу гонимых по этапам, главную массу жителей спецпоселков и лагерей. В этой массе терялся небольшой, сравнительно с ней, процент «бытовиков» – людей, посаженных за хозяйственные и бытовые преступления. Могут спросить: а где же были политические? Ведь острие террора было направлено против них, бывших партийцев, а также разного рода интеллигентов – вредителей, вроде моего отца. Это, конечно, так. Тем не менее, масштабы чисто политического террора как такового были в конце двадцатых и в тридцатые годы значительно меньше, чем масштабы раскулачивания. Кроме того, многие политические начала 30-х годов жили не в лагерях, а в ссылке, на так называемом вольном поселении. Во второй половине 30-х годов значительная часть политических до лагерей не доходила, их расстреливали – кого прямо в тюрьмах, кого в различного рода потаенных местах под Левашевом, в Куропатах... Словом, центральной фигурой в ГУЛАГе 30-х годов был «кулак», крестьянин. Поэтому «мужик» и стало для блатного мира нарицательным для обозначения всех не своих, всех тех, кто к этому миру не принадлежал.

Разумеется, наряду с этим воры давали неблатным и другие, более частные клички, например всякого рода бывших начальников, привыкших богато жить и пытающихся и в лагерях сохранить свой благополучный облик, называли «Фан-Фанычами».

Кличка «фашист» для политических появилась во время войны\*. После ее окончания эта кличка особенно сильно распространилась и закрепилась. Это было связано с появлением в лагерях множества советских солдат и офицеров, побывавших в фашистском плену и осужденных по статье 58-1б – «за измену Родине». Заодно эта кличка распространилась и на всех «врагов», сидевших по 58-й статье, хотя и по другим ее пунктам.

---

\* В действительности происхождение этой клички восходит ко второй половине тридцатых, когда лагерное начальство представляло политических как фашистов.

Несколько дней, проведенных в камере вологодской пере-сылки, прошли довольно однообразно. К числу «однообразных», то есть повторяющихся, фактов следует отнести и то, что, проснувшись однажды утром, я вновь увидел Руку в позе Мыслителя. Он был снова совершенно гол и так же дробно и звонко, как в прошлый раз, клацал зубами. Надо сказать, что после того случая он уже успел отыграться. И не только вернул мое белье, но еще и пытался подарить мне выигранную у курносого и крикливого Мыши майку... И вот он опять раздет, и опять я даю ему ту же пару белья. И он снова говорит те же самые слова: «Ништяк! Не впервой!» Словно второй раз прокручивается та же кинолента. Но теперь разговор принял новый оттенок.

– Вообще-то, – сообщил мне Рука, – я из принципа голый сижу. По закону исподнее у проигравшего не забирают. «Живи, мол, в исподнем, пока не отыграешься». А я на принцип иду: раз я проиграл – бери, гад. Бери и все!

– Но так же можно и на кожу свою сыграть, – попытался я пошутить. – Проиграешь и потребуешь, чтобы с тебя с живого кожу сдирали.

– Не-а. На свою кожу никто не играет. Только на чужую играют. Сказав это, Рука загадочно улыбнулся.

– Как это на чужую?

– Очень даже просто. Только обычно не на кожу одну только, а и на душу на чужую играют...

Я уже был наслышан о том, что в воровском мире принято «проигрывать» чью-то жизнь. Иногда чтобы исполнить приговор воровского суда – «толковища». Иногда чтобы «пришить» куража ради кого-нибудь. Тем не менее, мне захотелось еще раз послушать об этом от «авторитетного» знатока жуткой системы погашения карточного долга. Я сделал вид, что не понимаю, о чем речь.

– Как это можно играть на чужую душу? Что вы имеете в виду?

– Ты что, совсем темный, мужичок? – Рука смерил меня снисходительным взглядом. – «Что вы имеете в виду», – пере-

дразнил он. – Например, тебя могут иметь в виду. Понял?

– Как это?

– Вот я, к примеру, проигрался – больше играть не на что. Уже на все сыграл. Пайку сахара на месяц вперед проиграл. Ну, это пустяки... Короче, все я проиграл. Понял? на своего соседа. Проиграешь – приберешь его... Вот я бы, например, тебя, папаша, и проиграл. А тогда хочешь – не хочешь, а душу твою отдай, не грехи. Не то на меня самого сыграют – кому меня порешить за неотдачу долга. Сам знаешь, долг есть долг!

– Значит, я сегодня мог и не проснуться? – спросил я. – Вы бы, всё проиграв, могли бы и на меня поставить?

– Нет, мужичок, – успокоил меня Рука. – На тебя бы я не поставил. Во-первых, ты человек. А главное – не всякий может на душу играть. Вот у меня, например, срок на этот раз четыре года. А если бы я тебя замочил – мне бы еще добавили. До восьми или до десяти. Вот и подумай: что ты при таком раскладе выиграешь, а что проиграешь. Понял? Другое дело, если, скажем, тебе на суде намотали 25 лет, а ты из них отсидел всего месяца три. Тогда ты можешь свободно кого хочешь, меня, например, кончать. Понял? Хотя бы и здесь, в камере. Хотя бы и на глазах у всего начальства.

– Так ведь опять под суд.

– Конечно! А что тебе суд, если у тебя срок и так 25? У нас ведь не Америка, у нас гуманизм: больше 25 давать – такого закона нет. Значит, что? дадут тебе заново твои же 25, и потеряешь ты на всем на этом всего-навсего три уже отсиженных месяца. Понял?

– Нет, не понял! – я был несказанно поражен, хотя слова Руки не могли вызывать сомнений. И в самом деле: смертная казнь отменена, срока свыше 25 лет не бывает, а он у героев подобных случаев и так имеется.

Как я узнал уже в лагере, воровское толковище, приговорив кого-либо к смерти, поручает исполнение приговора кому-нибудь из своих «двадцатипятилетников», только что начавших отбывать наказание. Можно ли было удивляться тому, что убий-

ства в лагерях стали в те годы обыденным явлением и жизнь человеческая, по существу, не ставилась ни в грош.

Книг в пересылке не полагалось, так же как и постельного белья. Время поэтому тянулось здесь еще медленнее, чем в следственной тюрьме. Впрочем, если бы и была у меня в руках книга, читать я бы все равно не смог. Помимо крика, хохота и злобной перебранки, не утихавших во всех концах камеры, происходило и еще нечто, уж совсем не совместимое с каким-либо чтением.

Дело в том, что одним из самых популярных занятий, которыми блатные любят заполнять в тюрьме «свободное время», является обучение танцу. Точнее говоря чечетке, в самом примитивном ее варианте. Каждый уважающий себя вор с тюремным стажем должен смолоду уметь «бацать». Настоящий вор ведь начинает свой профессиональный путь обычно с юных лет.

В первое же утро нашего пребывания в камере вологодской пересыльной тюрьмы сразу же после завтрака начался «урок танцев». Сначала обучался один из наших сокамерников. Потом к нему присоединился низкорослый Мыша. А потом и еще один вор. «Урок» происходил под руководством «педагога», который, кстати сказать, вероятнее всего, сам «бацать» не умел. Впрочем, этого и не требовалось. «Педагог» сидел, свесив ноги с нар нижнего этажа, танцоры стояли в узком проходе между нарами и стеной камеры. Урок проходил до ужаса однообразно. «Учитель» произносил первую строчку стиха:

– Кошка бросила котят...

Танцор должен был «сбацать», то есть отбарабанить ногами размер и ритм второй строчки:

– Там тара-бам тара-бам тара-бам.

Учитель возглашал третью строчку:

– Пусть скребутся как хотят.

– Там тара-бам тара-бам тара-бам, – гремело в ответ.

Никакие другие слова, никакие другие ритмы в данном «учебном процессе» не употреблялись. Пока «учитель» говорил, обу-

чающиеся стояли неподвижно. И только в ответ что есть силы били подошвами по каменному полу.

Продолжалось это «обучение» часа по три кряду. Я подсчитал, что для произнесения слов и отбития ответов «четверостишия» требовалось шесть секунд. За час, таким образом, эта комбинация выкриков и ударов повторялась 600 раз. За три часа – 1800 раз. «Какое счастье, думал я, – что мне здесь нечего читать. С книгой в руках я испытывал бы, вероятно, танталовы муки. К концу третьего часа неумолчного грохота голова моя буквально размывалась.

К бацающим присоединился и Рука. Ему, надо полагать, более других хотелось достичь совершенства в этом примитивном искусстве, чтобы при случае, тем более в присутствии каких-нибудь воровских дам, показать высокий класс и хоть этим компенсировать в их глазах свой физический недостаток.

Интересно, что на второй и на третий день пребывания в этой камере мне, как ни странно, удавалось под громовое бацанье засыпать. Скорее всего однообразное повторение ритма, подобно стуку колес под движущимся вагоном, способствовало засыпанию. Хотя, конечно, стук колес не идет ни в какое сравнение с железным грохотом со всей силы бацающих ног...





# **ЕЛЕНА БЕРКОВСКАЯ**

## **АРЕСТЫ. КОНЕЦ ДОМА** Глава из книги «Судьбы скрещенье»

### **Предисловие к публикации**

Автор предлагаемых воспоминаний Елена Николаевна Берковская (1923–1998), дочь философа и экономиста Николая Александровича Сетницкого (1888–1931) и Ольги Ивановны Сетницкой, в девичестве Дубяга (1893–1948). Детство она провела в китайском городе Харбине, куда в 1925 г. ее отец уехал работать экономистом на Китайско-Восточную железную дорогу, находившуюся в совместном управлении СССР и Китая. В 1935 г. после продажи КВЖД семья вернулась в Москву.

Всего из Харбина приехало в СССР около тридцати тысяч человек. В печально известном 1937 г. харбинцы подверглись по-вальным репрессиям. По данным НКВД, до октября было арестовано 4500 человек. В приказе 00593 наркома внутренних дел Н.И. Ежова 1937 г. говорилось:

«Органами НКВД учтено до 25-ти тысяч человек так называемых харбинцев, бывшие служащие КВЖД или эмигранты из Манчжуго, осевшие на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. <.> В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки. <.> Приказываю:

1. С 1 октября 1937 г. приступить к широкой операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористиче-

ских кадров харбинцев на транспорте и в промышленности.  
2. Аресту подлежат все харбинцы. а) Изобличенные и подозреваемые в террористической, диверсионной, шпионской и вредительской деятельности... [Далее следует перечисление других групп, подлежащих аресту: белогвардейцы, члены самых различных партий и обществ, служащие в иностранных фирмах, предприниматели и владельцы предприятий – всего 13 пунктов.]

3. Аресты произвести в две очереди.

а) В первую очередь арестовать всех харбинцев, работающих в... [следует перечисление всех учреждений, связанных с оборонной страны].

б) Во вторую очередь – всех остальных харбинцев, работающих в советских учреждениях, совхозах, колхозах и пр.<.>

6. Всех арестованных харбинцев разбить на две категории.

а) К первой категории отнести всех харбинцев, изобличенных в диверсионно-шпионской, террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые подлежат РАССТРЕЛУ.

б) Ко второй категории – всех остальных, менее активных харбинцев, подлежащих к ЗАКЛЮЧЕНИЮ В ТЮРЬМЫ И ЛАГЕРЯ СРОКОМ ОТ 8-и до 10 ЛЕТ. <.>

8.<.>Приговор приводить в исполнение НЕМЕДЛЕННО. ...

11. Операцию закончить к 25 декабря 1937 года».

Семья Сетницких была одной из многих харбинских семей, попавших в шестеренки репрессивной машины. Николай Александрович Сетницкий, арестованный 1 сентября 1937 г., был расстрелян 4 декабря. Ольга Ивановна, как член семьи врага народа, получила 8 лет лагерей, а их дочь, Елена Николаевна, как несовершеннолетняя, была взята в детский спецраспределитель. Старшую дочь, Ольгу Николаевну не арестовали только потому, что ей, как стало понятно позднее, «клеилось» более серьезное дело, чем принадлежность семье репрессированного.

Елене Николаевне повезло – тетка, сестра матери, Надежда Ивановна Дедюкина (Дубяга) забрала ее из спецраспределе-

ля. В дальнейшем Елена Николаевна закончила исторический факультет МГУ. Всю жизнь работала в Библиотеке иностранной литературы. Ее последней должностью была должность главного библиографа по искусству. В конце жизни занималась архивом отца, готовила публикации его произведений.

Е.Н. Берковская оставила развернутые воспоминания, которые рассказывают о русском Харбине, о московской жизни второй половины 1930–1940-х гг., о Н.В. Устрялове и Б.Л. Пастернаке, А.Е. Крученых и С.Н. Дурылине, о московском студенчестве, военной Москве и др. Отдельные главы воспоминаний печатались в «Знамени», «Новом журнале», журнале «Источник», «Общей газете», «Полном собрании сочинений» Б.Л. Пастернака.

Издательство «Возвращение» предполагает в ближайшем будущем напечатать воспоминания Е.Н. Берковской отдельной книгой. Сейчас же мы предлагаем читателю главу, посвященную трагической странице жизни семьи Сетницких – аресту матери и отца.

*Анастасия Гачева*

«Но нет «вчера» и нет «сегодня»:  
Всё прошлое озарено...»

А. Белый

Предваряя все написанное дальше, я должна подчеркнуть: нам с Олей в жизни очень повезло, из страшного катаклизма 1937 года, раздавившего и уничтожившего нашу семью, мы вышли с относительно малыми ранами. Конечно, я говорю это только о нас, а не о родителях. Хоть это звучит дико, но так и есть.

Над нами не издевались и не ограбили при обысках нестигаемого мужественные чекисты. От нас не отвернулись (за редчайшим исключением) ни родные, ни друзья, а, наоборот, старались по мере сил помочь. Не арестовали Олю. Я не попала в детский дом для «детей изменников родины». Нас не заставляли отрекаться от родителей. Ни ее, ни меня не выгнали с истфака, а позже

с работы... Да мало ли что еще. Это везение было в основном построено на «не», но как это было важно для той и будущей жизни молодых девчонок.

В последних числах августа мы с Олей\* вернулись из Поречья. Оставались считанные дни до начала учебного года.

Я уже соскучилась по своим девочкам, по школе, но беспокоилась, как-то будет в новой школе? После окончания семилетки мы всем классом переходили в только что отстроенную новую школу-десятилетку, находившуюся неподалеку от станции. И было беспокойно. Теперь-то я думаю, что главной, но неосознаваемой тогда причиной моего беспокойства была не столько перспектива учебы в новой школе, сколь все более стужавшиеся над нашей семьей тучи.

Весной в Новосибирске арестовали Николая Николаевича Трифонова, отца моей подруги Ники. Об этом мы узнали из письма его жены Галины Ивановны. Она писала, что Н.Н. «тяжело заболел» – так на прозрачном эзоповом языке тех лет назывался арест.

Летом взяли Н.В. Устрялова\*\*. В те годы почти не говорили «арестовали», а «взяли», «забрали». Слова «репрессировали» в быту просто не было.

В эти же летние месяцы из Харбина приехали, буквально под арест, две наших знакомых семьи. Приехала семья Ветрячих: мама приятельница Лидия Николаевна с мужем и двумя детьми, Галей и Светиком, моим детским приятелем.

Приехал пунин\*\*\* сослуживец по экономическому бюро Амплий Яковлевич Авдощенко с женой, веселой и шумной дамой лет 35, которую все звали просто Милочкой.

И те, и другие с маминой помощью сняли жилье на Клязьме.

---

\* Ольга Николаевна Сетницкая (1916–1987) – старшая сестра Е.Н. Берковской, историк, библиограф.

\*\* Николай Васильевич Устрялов (1890–1937) – философ, правовед, публицист, один из идеологов сменовеховства. Семья Устряловых вернулась в Россию из Харбина вместе с семьей Сетницких. Н.В. Устрялов был арестован 6 июня (по другим данным, 14 июля) 1937 г., 14 сентября осужден к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.

\*\*\* Пуна – домашнее прозвище отца Е.Н. Берковской.

Мы часто ездили к ним, а они к нам. Помню, что взрослые разговаривали на тему, «кого взяли». Все это создавало тяжелую атмосферу нависшего топора. «От сумы да от тюрьмы не уйдешь», – гласит удивительная русская пословица. Я думала в детстве: «ну, от «сумы», но «от тюрьмы»? Ведь не всем же грозит тюрьма? А если человек невинный?» Ан нет, не уйдет и невинный. Пословица устрашающе сбывалась.

В середине лета мы с мамой и Мариной\* уехали в деревню. В августе мама вернулась в Москву и прислала вместо себя Олю, успешно сдавшую экзамены в университет.

Когда же мы вернулись, атмосфера тревоги сгустилась еще больше. Я тоже ощущала это чувство неотвратимости ареста Пуны. Неотвратимости, несмотря на его невиновность, несмотря на неправдоподобную нелепость даже мысли об этом...

Понять все это было невозможно.

Шли последние дни августа. Ясные, теплые, тихие дни перед школой. Все как обычно...

Не совсем обычной была какая-то «хозяйственная озабоченность» Пуны. Как-то нервно и интенсивно он запасал продукты, хотя нужды в этом не было.

Я отчетливо помню фигуру Пуны у калитки с двумя сумками до земли – с картошкой или с капустой – или с тяжелыми бидонами с керосином. Я бежала навстречу, помогала нести сумки и спрашивала: «Пуна, зачем так много?» Он отмалчивался. Мама смотрела круглыми тоскливыми глазами. Через минуту быт вступал в свои права. Овощи ссыпали в подпол, керосин куда-то переливали, а Пуна шутил: вот, мол, «старец-кормилец». Он часто называл себя в третьем лице «старец», что при его молоджавости было очень смешно.

И вот наступило первое сентября. Мама пошла в свою школу, я, в первый раз – в свою, новую. Оля, новоиспеченная студентка, в университет, Пуна – на службу.

К вечеру все, кроме Пуны, вернулись домой и за обедом де-

---

\* Марина Владимировна Верхоглядова (в замужестве – Субботина, 1920–1978) – троюродная сестра и подруга Е.Н. Берковской.

лились впечатлениями. Оля с воодушевлением рассказывала об истфаке, я – о новой школе, мама – о своей. Пуна что-то задерживался, и мама решила, что он, наверное, застрял на работе и решил остаться ночевать у кого-нибудь из сестер в Москве. Хотя... Олин первый университетский день...

В положенное время мы легли спать, но среди ночи меня разбудил яркий свет, топот ног, хлопанье дверей. Хоть и спросонья, но я поняла сразу: за Пуной. «Значит, это так происходит», – мелькнуло у меня в голове. И, лежа в постели, я смотрела, что будет дальше.

Мама в халате. С отчаянным лицом. Толпящиеся соседи в коридорчике. Двое военных входят. Один постарше, коренастый, среднего роста, с гладкими светлыми волосами, с плоским лицом, с небольшими серыми глазами. Мне кажется, что я до сих пор помню это плоское, красноватое, маловыразительное, но не злое лицо. Второй помоложе, чернявенький, вертлявый. Вот его лица не помню совсем.

Оба в гимнастерках хаки, с малиновыми петлицами, в брюках галифе и высоких, хорошо начищенных сапогах. В руках фуражки.

Старший протягивает маме какую-то бумагу. Она читает ее и говорит: «Его нет дома». – «А где он?» – И мама что-то отвечает.

Обыск, очевидно, полагалось начинать немедленно после вручения ордера на арест. Они и начали. Смотрели все, что было в комнате: шкафы с одеждой и книгами, сундуки, письменный стол. Как я сейчас понимаю, обыск у нас был чрезвычайно вежливый, что ли. Постелей не ворошили, подушки не вспарывали, носильные вещи оглядели бегло и ничего не забрали. Вообще, надо заметить, что никакого беспардонного грабежа, как мне рассказывали потом девочки: Наташа Запорожец, Инна Крыленко, Ляля Гурари, да и Ирина Тучинская, и девочки из «детского распределителя» – у нас не было. Уж не знаю, почему, но не было.

Еще не досмотрев первой комнаты, младший энкавэдист за-

брал маму и поехал с ней в Москву к тетке Лиде\* где, как полага- ла мама, мог ночевать Пуна.

Мы с Олей остались дома.

Я, четырнадцатилетняя дура, помню, все волновалась, что они найдут мой дневник, который хранился под матрасом – чтоб не прочла Оля. Глупейшим образом я вытащила его оттуда и хо- тела куда-то переложить, но этим только привлекла внимание энкаведешника. «Что это у тебя?» – спросил он, подходя ко мне. «Мой дневник» – пролепетала я. Увидев тетрадку с надписью, сделанную еще очень ребяческим «красивым» почерком («Днев- ник ученицы 8 «А» класса Пушкинской средней школы № 1 Лили Сетницкой»), он даже не взял ее в руки, а только сказал: «А-а, твой дневник...» Я была слегка даже разочарована. Удиви- тельно, как прочно застревают в памяти такие глупости.

Время шло, обыск продолжался. Мамы все не было. Наконец, часов в 5–6 раздался стук калитки и вошла мама со своим спутни- ком. Пуна с ними не приехал. У теток его не оказалось. «Вот бы они ушли без Пуны» – пронеслось у меня в голове. Но они не ушли.

Никогда я не забуду маму в элегантном коричневом костюме, висящем на ней мешком в эту минуту, маму с серым смятым ли- цом и потухшими, не смотрящими какими-то глазами. Помню свое ощущение нереальности происходящего и понимание неот- вратимой его реальности и помню одновременно с этим чувство жгучего интереса ко всему происходящему и такого же жгучего стыда от этого интереса.

«Мне четырнадцать лет...»\*\* Ах, совсем не те «четырнадцать...»

Но странно – совсем не помню зрительно Олю в этот, навечно запечатлевшийся в памяти, момент.

Может быть, она была в другой комнате, в спальне. Оля же спа- ла в столовой. Да, наверное, мы и оставались там, где каждую из нас застал грянувший гром.

Обыск, наконец, кончился. Забрали небольшую стопку книг,

---

\* Лидия Александровна Бекман (в девичестве Сетницкая) (1893–1982) – родная сестра Н.А. Сетницкого. Жила в Москве.

\*\* Строка из поэмы Б.Л. Пастернака «1905 год» (1925–1926).

в том числе «Одиссею» по-гречески, которую Пуна читал, чтобы вспомнить язык. Наверное, по полной непонятности: мало ли, что за книга может быть? Забрали рукописи экономических статей и почему-то несколько альбомов с пейзажными снимками Маньчжурии. Зачем их? Впрочем, это далеко не самое главное «зачем».

Маме дали почитать протокол и велели подписать. Всем или только маме? Не помню. Подписались и энкавэдэшники: Елкин и Мальцев. Чинов не помню. Вспоминая потом эту ночь, я часто думала: что с ними случилось, с этими людьми? Дожили они до смерти Сталина или ухнули туда же, в бездонную мясорубку? Но вслух почему-то я не вспоминала о них никогда. И только недавно, уже в последние годы жизни Оли, мы вспоминали с ней эту ночь, и она вдруг без связи с предыдущими словами, спросила меня быстро и отрывисто: «А ты помнишь их фамилии?» И я так же быстро ответила: «Елкин и Мальцев». Она сказала: «А, ты тоже помнишь», – и мы заговорили о другом.

Совсем рассвело. «И утро шло кровавой банею...»\* Пошли электрички. Часов, наверное, в восемь, в то время, видимо, когда, по маминому мнению, уже мог приехать Пуна, она сказала мне: «Выйди к забору, Лиленька, может быть, встретишь Пуну». Мне не воспрепятствовали, и я побежала по дорожке, открыла калитку и вышла на улицу.

Утро было солнечное, свежее, небо высокое... Вдоль забора ходил охранник в штатском. Не выдав до той поры топтунов, я внезапно проснувшись нюхом почувствовала, что этот тип – энкавэдэшник. Неунашего дома, анаискосок, на противоположной стороне улицы стояла черная «эмка». Пронеслась электричка из Москвы. Я подумала: «Если Пуна приехал на ней, то сейчас выйдет из-за угла». И в самом деле, вскоре на углу показался Пуна. В пестреньком своем костюме, в кепке, с портфелем руке. Вот он повернул на нашу 2-ю Домбровскую, увидел меня калитки, так не ко времени стоящую там, посмотрел на машину, топтуна, верно, заметил, и теперь, я думаю, сразу понял все. Он убыстрил шаги

---

\* Строка из стихотворения Б.Л. Пастернака «На пароходе» (1916).

и пошел по диагонали к дому. Я хлопнула калиткой и побежала к нему. Не знаю, почему, но меня не остановили. Я побежала, прижалась к нему и сказала только: «Пуна...». Он быстро спросил: «За мной?» Я сказала: «Да». И мы пошли с ним по дорожке к веранде.

Как и где его встретили, что было сказано при этом – не помню. Совсем не помню. Помню, как мы собирали ему вещи. Теплый синий свитер, белье егерское и простое, полотенце, сапоги, еще что-то. Уложили все в небольшой плоский фибровый чемодан. Олин чемодан. Он легче кожаного...

Помню какое-то приборматывание то самого Пуны, то мамينو, то наше с Олей, что все это ненадолго, что вот «разберутся». И помню свое сосущее ледяное чувство: что не скоро, совсем не скоро, ах, да и вернется ли вообще? Откуда у меня оно было?

Собрались наконец. Не помню, торопили нас? Или нет? Присели «на дорожку». Закаменевшая мама крестит его, целует, и глаза у нее не ее, страшные и сухие... Встали. И вот уже он идет в сопровождении своих «стражей закона» по дорожке. И я иду с ним. Одна иду или вместе с мамой и Олей? И снова не помню. Мне кажется, что одна. Но почему бы?

Я выхожу с ним за калитку. Прощаемся, он целует меня, крестит. «Будь умницей, Бишка\*. Слушайся маму, учись хорошо». – «Ты скоро вернешься!» – «Да, конечно». Но «тем» уж невтерпеж, и они прерывают наше прощанье. Я стою у забора и смотрю на уходящего Пуну, такого худенького, такого стройного, легко шагающего в непривычных ему сапогах, в синем свитере. С чемоданом в правой руке, с теплым пальто, перекинутым на левой. Смотрю, смотрю вслед. Последний раз в жизни, а он уходит, не оборачиваясь.

Энкавэдэшники, разумеется, тут же, но их зрительно я не помню. Они прорезаются в моей памяти только на углу. Сажают Пуну в машину. Сами по бокам. Или один впереди? Ах, не все ли равно!?

Я вижу пунино лицо в заднем зеркале. Он машет мне рукой. Машина поворачивает за угол...

Всю остальную жизнь гложет меня бесплодная мысль: а если

---

\* Бишка – детское прозвище Е.Н. Берковской.

бы, если бы я вышла на улицу не через веранду, а через черный ход, вылезла бы там за уборной через дырку в заборе, не видную за кустами бузины, выскочила бы на 3-ю Домбровскую и по другой стороне Акуловского проезда побежала бы к станции. Перехватила бы Пуну там, до нашего перекрестка, предупредила бы его... Он сел бы на ту же обратную электричку, уехал бы в Москву... К кому-нибудь из друзей, куда-нибудь прочь от дома... А там, глядишь? И что? Но ведь бывали же случаи! Мало, единицы, но бывали же... Ах, да что говорить... А гложет, все гложет...

Как-то совсем стерлось из памяти то, что было сразу после ареста. Не помню, как прибирали после обыска, не помню соседей, их сочувствия (а они, несомненно, сочувствовали), не помню, как мы все разошлись, кто в школу, кто в университет. Помню, что никто из нас не плакал. Помню, что осталось от того дня ощущение душевного оцепенения и отупения. Понять, примириться с произошедшим было невысказано.

И стали мы жить без Пуны. Не то, чтобы жить, а, в сущности, готовиться к аресту мамы. «Жен» уже брали полным ходом.

А пока? Мама решила перебраться в одну комнату – было дорого, а денег мало.

Сообщили всем родным и знакомым. Никто не отшатнулся, никто не отряхнул наш прах со своих ног. Кроме, разве, маминой младшей кузины Ольги Плюсниной, молодой, веселой и привлекательной женщины, которая до тех пор очень припадала к маме и со страстью относилась к нашим заграничным шмоткам, которыми мама от всей своей щедрой души одаряла ее.

Зачем-то мама разнесла пунины вещи по знакомым и сестрам. Почему именно его?

Муж пуниной сестры Евгений Ричардович Бекман, военный в каком-то чине, насколько я помню, тотчас же сообщил в Академии имени Фрунзе, где что-то преподавал, об аресте брата своей жены и прикончил себе, бедняга, на этом карьере. Его стеткой Лидой не арестовали, но дамоклов меч висел всегда. Над кем он, впрочем, не висел? Уехали в Калугу Устряловы. Волна

арестов катилась дальше, набирая силу. Харбинцев рубили под корень. Арестовали Л.И. Морозову, мать моей подружки Люли. Отца посадили раньше. Арестовали А.Я. Авдощенко с женой (их багаж еще не дошел до них); А.Н. Вертячих; нашего соседа Владимира Дмитриевича Плешакова.\* Доходили сведения, что посадили кое-кого из Олиных однокурсников по техникуму: Нику Герасимову, Наташу Жукову, Соню Козину, Юру Малых и уж не знаю, кого еще. Канула в небытие наша Шура, домработница, жившая в Барнауле, осталась одна с умирающей матерью моя школьная подруга Мила, а ее двух старших братьев и сестру взяли. А сколько еще...

Сажали вокруг, конечно, не только харбинцев. Сгнуло несколько отцов моих одноклассниц. Арестовали близкого друга Пуны, его гимназического товарища Николая Максимовича Тоцкого\*\*. Но на нем я прерву свой мартиролог.

Самым главным в этой нереальной, окорнанной какой-то, неполноценной нашей жизни без Пуны были хлопоты о нем. Несколько раз в неделю мама, иногда Оля, а иногда и я, ездили на Кузнецкий, 24, в справочное бюро и часами простаивали в длиннющих очередях в тщетной надежде что-нибудь узнать о Пуне и попытаться что-нибудь передать. Мне кажется, что передач не брали, а несколько раз взяли какую-то мизерную сумму денег. Мы радовались и тому: раз берут, значит, он здесь. Ах, ничего это, конечно, не значило!

При хорошей моей, особенно на мелочи, памяти, эти четыре месяца после ареста Пуны и до моего отъезда в Ахтырку мне помнятся очень смутно и только отдельные, более или менее никчемные моменты выплывают из серого наплывающего тумана.

Денег не хватало. Мама получала маленькую зарплату, Оли-

---

\* Николай Дмитриевич Плешаков, харбинец, японист. В.Д. Плешаков, М.И. Соболева и ее дети от первого брака Зинаида и Владимир, были соседями Сетницких по дому в Пушкино.

\*\* Николай Максимович Тоцкий (1891–1938) был арестован 15 февраля 1938 г., расстрелян 4 июня того же года.

на стипендия тоже не спасала. Мама продавала вещи, беспокоилась, была измучена и нервна. Хорошо еще, что на работе все шло благополучно. Мама работала в Пушкино, в школе-семилетке № 4. Она перешла туда из Москвы, чтобы быть ближе к дому, не тратить больше трех часов в день на дорогу. Ребята учились там местные, в отличие от моей школы не слишком интеллигентные, но неплохие, маму они полюбили и слушались. Директор маме симпатизировал и, узнав об аресте мужа, отнесся сочувственно.

К новой школе я привыкла не без труда. Хотя все мои подруги учились тут же, а учителя были не только хорошие, но и просто блестящие (физик и математик работали у нас и одновременно преподавали в университете, историк, по прозвищу «Писистрат», был великолепен, литераторша тоже на уровне), я на удивление плохо входила в школьную жизнь. Все уроки я читала «Ожерелье королевы» Дюма и бесконечные рассказы Понсон дю Террайля\*, уроков не учила и быстро отстала по физике. Ученье как-то совсем не шло. Я тогда сама на себя удивлялась, но все валилось из рук. Удивляться-то было нечего. Странно, если бы было иначе, но тогда я этого не понимала.

Иногда меня прорывало, и я деятельно помогала маме по хозяйству. Носила воду, чистила картошку, убирала. Но, увы, все это было эпизодически и совершенно недостаточно. Оля поносила меня и считала лентяйкой и эгоисткой. Собственно, так оно и было. Сама же она полностью была поглощена истфаком. Ей все нравилось и все было интересно. Она увлеченно слушала лекции, занималась в семинаре по русской истории XVI–XVII веков.

На 7 ноября она пошла с факультетом на демонстрацию и взяла меня. Это было совсем не так, как когда я ходила с маминной школой, и надрывно долго мы тащились от Разгуляя, а по Красной площади прошли где-то около ГУМа. В этот раз все было совсем иначе. Я сразу окунулась в студенческое веселье. Пели, танцевали, вчто-то играли, смеялись. По Красной площади прошли во второй

---

\* Понсон дю Террайль (1829–1871) – французский писатель, автор знаменитого романа «Похождения Рокамболя».

колонне от мавзолея, и я видела Сталина. Мне очень хотелось увидеть его! Вот и увидела. Он поднимал руку и приветствовал проходящих. Из всех репродукторов гремела музыка. «Ура-а-а» волнами перекатывалось по площади. Демонстранты бушевали от восторга. Еще не доходя до Василия Блаженного, многочисленные распорядители в штатском с красными повязками на рукаве стали торопить, и по Васильевскому спуску люди уже должны были почти бежать. Мне такая спешка не понравилась и показалась даже несколько обидной. Зачем так гнать людей?

Никакой торжественности, никакой праздничности!

Демонстрация завершилась. Люди расходились по домам. Мы с Олей пошли по набережной и вышли Китайским проездом на площадь Ногина. Мама просила Олю зайти к Морозовым, жившим в Спасоглинищевском переулке.

Морозовы, наши харбинские знакомые, приехали в Москву несколько раньше нас, году в тридцатом – тридцать первом. Глава семьи, Николай Иванович, к нашему приезду уже сидел. Оставались на свободе его жена Лидия Ивановна, молодая нарядная дама, ее сестра Вера и дочка Люля, моя детская подружка. Когда мы с Олей зашли к ним, то с первых же слов выяснилось, что Лидию Ивановну забрали. Оля расспросила Верочку, как, что когда, и мы пошли домой.

Хоть было еще рано, но уже стемнело, как и положено ноябрьский вечер. Было холодно и как-то ужасно бесприютно. долго ждали электричку на мокрой и грязной платформе. Народу набралось тьма. Когда подошел поезд, то все кинулись к нему, и в этой толчее и давке меня спихнули между вагонами еще остановившейся электрички. Оля, расталкивая толпу, рвалась ко мне. Люди кричали: «Девочку столкнули на рельсы, девочку столкнули! Остановите поезд!»

Слава Богу, беды не случилось. Поезд уже замедлил ход, да и я сумела зацепиться за что-то и удержаться на петле сцепной гофрированной трубы... Меня вытащили, отряхивали, ощупывали, что-то кричали. А я даже не успела испугаться. Страх пришел

потом, когда мы с Олей уже сидели в вагоне. Маме мы ничего не рассказали.

Узнав об аресте Лидии Ивановны, мама почернела. Скоро настал и ее черед.

Все было уже не ново. В третий уж раз! (Вторым был арест Владимира Дмитриевича Плешакова, мужа Марии Ильиничны\*).

Приехали в ночь с 1 на 2 декабря, часа, верно, в четыре. Снова вошли двое – старший и младший по чину... Понятые... Соседи...

Мы встали, оделись. Обыск. И снова все благопристойно, как с Пуной и с Владимиром Дмитриевичем (еще раз повторю, что нам очень повезло в этом смысле). Обыск чисто формальный. Не взяли с собой ничего.

Сидим на кровати, держимся за руки. Мама в середине. И вот: «Ну, собирайтесь», – это энкавэдэшник маме. Мы собираемся. Помню, мама берет с собой теплое «егерское» белье и старую пунину шубу. «Вдруг увидимся с Пуночкой». Где там «увидимся!» И шуба, и белье верой и правдой прослужили все страшные лагерные восемь лет самой маме в карагандинских ее холодах, а потом эту же шубу перелицевали мне (к тому времени совсем обносившейся) на пальто.

Вещи мы складывали в мой небольшой, но очень вместительный нарядный чемодан светлой кожи, который они с Пуной подарили мне на последний харбинский день рождения. Я тем временем думала: «Хорошо, что мой чемодан. Он будет напоминать ей меня». Будто бы ей нужен был чемодан, чтобы напоминать о нас, оставляемых ею детях.

Мама надевает теплый платок, шубу. Присаживаемся «на дорогу». Тут, неожиданно для себя, обращаюсь к старшему энкавэдэшнику и спрашиваю, нельзя ли мне поехать с ними, проводить маму до Москвы. И он сразу же подозрительно приветливо и даже как бы не без радости соглашается. Впрочем, готовность его в тот момент ни у меня, ни у Оли подозрений не вызвала.

---

\* Мария Ильинична Соболева – жена В.Д. Плешакова, соседка Сетницких по дому в Пушкино.

Не помню, как мама прощалась со всеми, как просила Марию Ильиничну позаботиться о нас. Не помню, проводила ли нас Оля до калитки. Помню только каменную тяжесть, навалившуюся на щенячью мою душу, и как я старалась скрыть это от мамы.

На этот раз машина, снова «эмка», стояла у самого дома. Мы сели на заднее сиденье. Мама в середине, я слева, младший охранник справа. Старший сел с шофером.

Было уже, наверное, часов шесть. Ночь холодная, черная, кругом почему-то особенно яркий снег.

Машина тронулась. Помню долгую дорогу по темному предутреннему шоссе. Мы с мамой крепко прижались друг к другу и разговаривали. Она перебирала в памяти какие-то бытовые мелочи, взяла ли с собой зубную щетку. Мы говорили, что она скоро вернется, и я чувствовала, что все это говорится так, для обоюдного успокоения. Ведь никто из знакомых, всё совершенно невинных людей, не только не вернулся, а и узнать-то о них не было возможности.

И еще мама все говорила мне: «Только ты учишь, Лиленька, только не бросай школы. Во что бы то ни стало, учишь! Хорошо учишь! Ты обещаешь мне, что будешь хорошо учиться? Ты обещаешь?» Она повторяла это и повторяла, много раз за нашу неправдоподобную, такую длинную и такую короткую дорогу. «Обещай мне!» И я обещала и, как ни странно, помнила об этом всегда и не бросила учебу, и хорошо училась.

30 километров пронеслись скоро. Въехали в Москву. И вот уже 1-я Мещанская, Сретенка, сворачиваем немного влево, и машина останавливается. Лубянка.

Чуть светает. Перед нами глухие железные ворота с калиткой. Младший спутник наш выскакивает из машины и, обращаясь к маме, роняет: «Выходите». Мы обнимаемся и обнимаемся, и не можем оторваться друг от друга. «Будь умницей, Лиленька, будьте дружными с Лялочкой». (Ах, не были дружными, никогда не были.) Мама крестит меня и выходит. Хочу выскочить и я, но старший говорит: «Подожди». И я почему-то слушаюсь его.

А мама подходит к железным воротам, перед ней тихо раскрыва-

ется калитка. Она задерживается на секунду, еще раз оборачивается, смотрит на меня и перешагивает порог. Калитка захлопывается.

Всю дальнейшую жизнь и до сегодняшнего дня я стараюсь не заходить в этот переулочек, а уж если придется, то всегда встает перед глазами оборачивающаяся ко мне мама, перешагивающая ворота в ад.

Я молча и оцепенело сидела в машине со все еще открытой дверцей. Мой спутник потянулся со своего переднего сиденья закрыть ее, и тут я опомнилась. «Спасибо, – сказала я, – мне на метро», – и хотела выйти. Он же сказал, что подвезет меня. Я возразила: метро ведь рядом и дойти до него ничего не стоит. «Ничего, ничего, подвезем», – дружески сказал он и захлопнул дверцу. «Эмка» поехала.

Тут-то и начались мои собственные приключения, неожиданные для меня и хоть и краткие, но сулившие трагический конец и полное изменение моей судьбы, что, к счастью, чистым чудом не осуществилось.

Правнялись с метро. «Вот же метро, я выйду, остановите машину», – сказала я, но шофер даже не притормозил, а рванулся куда-то вперед. Я ничего не понимала, но почувствовала явственное неблагополучие и крикнула: «Куда вы меня везете?» Ответа не последовало. Еще раз я попыталась воззвать к своему молчаливому спутнику. На этот раз он все же подал голос, произнес что-то вроде: «Ничего, ничего, не беспокойся. Везем, куда надо. Не беспокойся». Хорошенькое дело! «Не беспокойся!» И меня охватило неудержимое беспокойство.

Машина мчалась по совершенно незнакомой мне тогда части Москвы. И вот мы обогнули стену и остановились перед закрытыми воротами с будкой. По верху глухой и толстой стены шло несколько рядов колючей проволоки. Снова ворота, снова на замке. И так же безмолвно ворота раскрылись, и мы вошли.

Передо мной был заснеженный двор, две обшарпанные церкви со ржавыми куполами без крестов, а справа и слева по стенам двухэтажные кирпичные корпуса. «Монастырь» – сразу

поняла бы я теперь. Но тогда? Тогда я в жизни своей еще не была ни в каком монастыре (если не считать буддийского в Маоэршани), и поэтому никак не могла понять, где нахожусь.

Мы вошли в самую обычную дверь справа от ворот и оказались в каком-то «присутственном месте», комнате с белеными стенами, с окнами вроде бойниц, с унылым канцелярским столом и несколькими стульями. Мой энкавэдэшник «сдал» меня, ничего не понимающую и взволнованную до крайности, какому-то типу, сидевшему за столом, и ушел.

На попытки мои объяснить, что дома меня ждет сестра, что мне надо в школу, что зачем меня сюда привезли, ответа не последовало, и я услышала только хмурое: «Ну, пошли».

Пошли куда-то, в какое-то другое помещение, очень похожее на то, откуда мы только что вышли. Там тоже был стол, около которого стоял черноволосый мальчик моих лет. Он отвечал, я бы сказала, независимо и с достоинством, хотя и дрожащим голосом на вопросы сидящего за столом дядьки. Фамилия мальчика была Мчеддишвили, а имя какое-то англизированное, как будто бы Джон. После допроса (а как еще можно назвать это?) его куда-то увели. Настала моя очередь. Меня тоже допросили: кто я, что я, кто родители, в каком классе учусь, сколько лет. Я снова попыталась возвать к допросчику, объяснить, что меня ждет сестра, что мне надо в школу, и снова – никакой реакции. Точно не человеку говоришь, а в глухую стену. Мне стало страшно.

Тем временем меня отвели еще в какую-то комнату, где сфотографировали с трех сторон: анфас и правый и левый профили. (Я тогда еще не знала, что так фотографируют преступников.) Сняли еще и отпечатки пальцев с обеих рук. Это было интересно. Только зачем бы?

Хотелось бы мне теперь взглянуть и на эти три фотографии, и на отпечатки пальцев.

А потом был еще врачебный осмотр, после которого меня привели, наконец, в большую светлую комнату, где находилось множество детей самых разных возрастов. От подростков, как я, до совсем малышей, трех-четырёхлетних. Они бегали, во что-

то играли, ходили парами, сидели по стенкам на стульях. Стоял нормальный веселый детский галдеж. Как в школе. Как-то вводили в русло эту детскую суету две женщины в белых халатах. Сестры, или нянечки, или воспитательницы?

Одна из них отвела меня в спальню девочек, где стояло множество кроватей, показала одну из кроватей и сказала, что на ней я буду спать. И, указав на стоящую рядом тумбочку, добавила: «А это тебе для вещей». Вещей у меня не было никаких.

В спальне было несколько девочек. Кто-то еще не встал, кто-то одевался. Было ведь рано. Я разговорилась с двумя девочками, одевавшимися, сидя на кроватях, соседних с моей.

Одна из них, моя сверстница Ирма Ковалева, круглолицая девочка с короткими, прямыми русыми волосами, другая – черненькая, большеглазая, с крупными чертами лица, двенадцатилетняя Ванадя Шахмурадова. «Какая красивая девочка», – подумала я. И тут, наконец, из разговора с ними я узнала, где же это я нахожусь. Это называлось Даниловский детский распределитель. В него привозят детей, у кого, взяли обоих родителей. Дети находятся тут 3-4 дня, а после их отправляют в детские дома. Я ужаснулась.

Моих новых знакомых привезли накануне.

Накануне или даже этим утром, уж не помню, увезли девочку, на кровать которой меня поместили.

На мой вопрос, как сообщить сестре, где я нахожусь, девочки ответили, что можно написать письмо и отдать нянечке отправить. (Уж не помню теперь, где брали бумагу? У кого-нибудь из детей, у кого были с собой вещи, или у тех же нянечек?) «Только они не отправляют», – грустно добавили девочки. Я ужаснулась еще больше. Зачем же тогда писать? – «А вдруг все-таки отправят. Вот и пишем». И была в этом ответе такая тоска...

И у Ирмы, и у Ванади, как и у меня, были и бабушки, и тетки, только жили отдельно от них. Девочек привезли сюда открыто, не обманом, как меня. Матерям их несчастным сказали о грядущем детском доме. Они умоляли не брать девочек, сообщить бабушкам... Но кто слушал этих бедных мам?

Я продолжала расспрашивать. И всех, всех отправляют в детские дома? Нет, некоторых детей отдают родным, если они сумеют нас найти!

Все это было выше моего понимания. Ну хорошо, если нет никого из родных, то другое дело, тогда можно и в детский дом. Но, если есть родные? Какой ужас! И почему даже писем не отправляют? Почему ворота на запоре? Почему на стенах монастыря колючая проволока? Ведь это же не тюрьма? Из дальнейшего разговора выяснилось, что и детские дома не в Москве, а разбросаны где-то далеко. Боже мой!

Состав детей обновлялся ежедневно. Каждый день человек сто увозили. Утром уходил «транспорт». Столько же привозили. «Сколько же их, арестованных, только одних мам, – промелькнуло в голове. – А пап, братьев?..»

«А что же вы тут делаете?» – «Ничего, живем, как летом в пионерлагере». Разговаривали девочки со мной спокойно. Без слез. Без особых эмоций. Помнится, вообще никто не плакал.

Мне хочется сказать здесь, что и Ванадя с Ирмой, и все, с кем я разговаривала в распределителе, были абсолютно убеждены в том, что их родители ни в чем не виноваты. Может быть, были такие, кто думал по-другому. Да нет, конечно, были, но таких мне не попадалось.

А я с той самой поры была убеждена, что все люди, попавшие под паровой молот 37-го года, все пострадали невинно. Не может же быть, думала я, чтобы дети не знали своих родителей, чтобы не чувствовали, преступники они или нет. Наивность, ребячество, разумеется. Но тем не менее. Так с этой уверенностью и внутренним знанием я и жила дальше. С возрастом объяснения становились все более взрослыми и более реальными, но убежденность была всегда.

Девочки повели меня завтракать, а после дежурные сестры организовали игры. Да, самые обыкновенные игры: прятки, жмурки, хороводы, вечно сеящееся просо и уж не помню, что еще.

Вот не помню, была ли там библиотека. Скорее всего, нет,

я бы, наверное, запомнила. Да и то сказать, зачем детям врагов народа читать? Только один вред.

А после игр пели хором любимые тогдашние песни: и из «Веселых ребят», и «Широка страна моя родная», и «Утро красит нежным светом стены дневного Кремля», и уж не помню, что еще. Я не пела, но слушала с удовольствием, а в игры играла. И было весело, и все смеялись. Стоял жизнерадостный галдеж, и я тоже смеялась. А в какие-то секунды заливал стыд, душа замирала, и выплывала мысль: «Да что же это? Да как же это? Как же я, как же все мы можем веселиться?» Но веселились, и я тоже. Меня долгие годы потом мучила такая, как казалось, душевная черствость в такое ужасное время, и, лишь повзрослев, я поняла, что «веселье» это было просто внутренней защитой детской души от ужаса произошедшего.

Обращались с нами хорошо, кормили вкусно и сытно, кругом была чистота... Перед обедом водили гулять в монастырский сад. Мы с Ванадой и Ирмой гуляли между заснеженных деревьев и разговаривали, разговаривали, разговаривали... О родителях, о себе, о нашей жизни, такой прекрасной и счастливой до всего этого.

У обеих девочек родители были моложе мамы и Пуны и другого круга – инженеры уже советского времени. Ирма была единственная дочь, у Ванады был еще маленький брат, которого звали совсем невероятно: Молибден. Он был где-то то ли у бабушки, то ли у тетки во время ареста матери, и таким образом в распределитель не попал.

Наверное, родители Ванады были скорее не инженерами, а геологами, искавшими редкие металлы. По-моему, отец ее нашел крупное месторождение ванадия и на радостях назвал свою дочь Ванადией.

Лишенные родных, домашнего тепла и уюта, мы тянулись друг к другу и с быстротой, редкой в нормальной жизни, становились близкими друзьями, открывали друг другу душу и делились самыми сокровенными мыслями и чувствами.

С Ванадой мы сразу же сроднились. Мы бродили во время прогулок по засыпанному снегом монастырскому саду и пристально

смотрели кругом, раздумывая, нет ли возможности перелезть через стену (это через монастырскую-то стену с несколькими рядами колючей проволоки поверху), или хотя бы нельзя ли перебросить на улицу письмо. Увлеченно обсуждали эти прожекты, ясно понимая всю нереальность их, и, вздыхая, продолжали гулять.

После прогулки нас вели на обед, как и завтрак, вкусный и обильный. После же обеда наступал «мертвый час». Кроме малышей, конечно, никто не спал. Одни тихо разговаривали, другие писали письма «в никуда», третьи, в том числе мы с Ванадей и Ирмой, сидели около «взрослой» голубоглазой и румяной девочки лет пятнадцати-шестнадцати, со светлыми, по-негритянски круто вьющимися волосами, прекрасно одетой, которая без передышки виртуозно захватываяще рассказывала сюжеты бесчисленных виденных ею «в прошлой жизни» голливудских фильмов. Фильмов про невысказанно красивую жизнь, про трогательную любовь с трагическими коллизиями или без, и заканчивающихся, разумеется, хеппи-эндом. Сколько и я перевидала их, с тех пор не прошло и двух с половиной лет. И вот я слушаю их содержание, и как утешительно это слушать.

Рассказчицу звали Зиной. Была она дочерью какого-то крупного дипломата, много лет жила в родителями в Париже. Отца отозвали в Москву. «Мы только что вернулись из Парижа, и папу сразу взяли». Она была в распределителе уже несколько дней и ждала отправки в детский дом. Может быть, у нее не было в Москве никого из родных? Не знаю. Где она сейчас, эта Зина, что с ней случилось, что пришлось пережить этой беленькой, чистенькой, интеллигентной, избалованной девочке?

После «мертвого часа» снова чем-то кормили. Дети возмущенно роптали: «Кормят, как на убой». Ничего, я думаю, многие из них после годами уже не ели досыта. А затем некоторое время все были предоставлены самим себе. Помню, старшие заботились о маленьких, вытирали носы, меняли штанишки. Были ведь совсем маленькие дети.

Помню отчетливо двух американских мальчиков пятнадцати и трех лет. Кого-то из них звали Эрик. Старший – высокий, тем-

новолосый, с лезущим на глаза чубом, в твидовом костюмчике, пиджаке и брюках гольф. А маленький, прехорошенький кудрявый малыш, не только говорил еле-еле, но и понимал только по-английски. А тогда среди детей почти никто не знал английского, в школе все учили немецкий. Я со своим скудным, да еще и призабытым английским (спасибо за него Лене Зарудной) пыталась как-то его опекать, но получалось плохо. Он меня понимал, а вот я его детский лепет никак. И единственным утешением бедного малыша был старший мальчик, которого он понимал, и который понимал его. Малыш лънул к нему, как к матери, прижимался к ноге и щебетал что-то, держась за штанину. А тот, видно, понимал весь трагизм происходящего и привечал маленького и был неизменно ласков и заботлив. Наверное, оба они были «коминтерновские дети», родителей которых выкосили под корень.

Через день после моего водворения в распределитель, их отправили в детский дом. И надежд на освобождение оттуда у них, конечно, быть не могло. Какие родные могли быть у этих мальчиков в Москве?

В довершение подлости отправили их, разумеется, с разными партиями. Малыш, девочки говорили, плакал, рвался... Господи! Никогда не забуду! Больше пятидесяти лет прошло, а как сейчас вижу их обоих. Где они?

Вечером после ужина выходили в кино, которое крутили в одной из церквей, где, как водится, располагался клуб. Крутили преимущественно комедии.

А после кино – спать. И вот тут, в спальне, где впервые в жизни я не могла сразу уснуть, а лежала без сна и думала о маме, о Пуне, об Оле, о нашем доме, ушедшем внезапно в какое-то невысказанно далекое и прекрасное прошлое, – начинались вздохи, всхлипывания и громкий плач. Постепенно все стихало. Наутро все продолжалось в том же порядке, только состав наш сменялся человек на 100. Уже не помню, до завтрака или после отходил «транспорт». Наверное, все же после.

Прошли бесконечные и томительные в своем однообразии четыре дня. А утром 5 декабря меня вызвали в комендатуру. И там

я увидела Олю (!) и тетку Антонину\*. Я бросилась к ним. Боже мой, никогда не забуду того чувства счастья и глубокого облегчения, будто вздохнула впервые за эти дни. Нашли! Забирают! Я не поеду в детский дом!

Пока оформляли нужные бумаги, мне разрешили вернуться и взять вещи. Какие вещи? Мне надо было проститься с девочками. Как я сочувствовала им, как уверяла, что их тоже возьмут родные (и впрямь и Ванадю, и Ирму уже из детских домов сумели выцарапать бабушки). Я забрала у всех, кто написал, письма, обменялась адресами и побежала в комендатуру. Все уже было оформлено. Мы вошли во двор. Калитка раскрылась – и вот я на свободе!

На улице нас ожидало такси, мы сели и поехали. Это было 5 декабря 1937 года – день новой Конституции, недавно принятой и двадцать лет называвшейся потом сталинской. В этот же день происходили первые выборы в Верховный Совет СССР. Везде висели красные флаги и транспаранты, были протянуты гирлянды цветных лампочек. На улицах было оживленно и нарядно. Не помню зрительно улиц, по каким мы ехали от Даниловского монастыря к центру. Я их тогда не знала, но теперь думаю, что шофер выехал на Серпуховку и по Ордынке, а может быть по Пятницкой, так как я хорошо помню силуэт Василия Блаженного, двигался к Москворецкому мосту и Васильевскому спуску. Свернули на Варварку, потом в Рыбный переулок, мимо здания Торговой палаты, которое мне почему-то очень нравилось, а там уж и до улицы Горького рукой подать. Улица Горького, совсем еще другая, промелькнула мгновенно. Красный, еще не перестроенный, прелестный Моссовет, памятник Пушкину, Музей революции с белыми львами на воротах. Угол Большой Грузинской. Приехали!

Здесь жила тетка, Антонина Константиновна, пунина двоюродная сестра, не самая наша близкая родственница – единственная из московского родственного клана – согласилась удочерить меня и тем вырвать из цепких лам НКВД.

---

\* Антонина Константиновна Сетницкая (1892–1960) – двоюродная сестра Н.А. Сетницкого. Жила в Москве.

Всю жизнь я с глубокой благодарностью помню это, я бесконечно благодарна ей, но, вспоминая ее бескорыстное и отважное благородство по отношению ко мне, всегда чувствую свою вину. Дело в том, что тетка Антонина была прекрасным, очень добрым, отзывчивым, умным человеком, но обладала таким вздорным, тяжелым характером, что ужиться с ней было невозможно. И вот я должна была с ней жить. И едва мы приехали к ней, я тут же по-свински и брякнула, что жить с ней не буду. Едва произнеся эти слова, я поняла все их бессердечие и безобразия. Пытаясь замять неловкость, я бормотала, что мама хотела, чтобы меня взяла к себе ее сестра Надя в Ахтырку. Это была чистая правда, но положения она не исправила. Бедная тетка страшно обиделась, но возражать не стала. Оля уговаривала меня пожить у нее до получения ответа из Ахтырки. Я согласилась, но через два дня вернулась в Пушкино.

Здесь надо сказать два слова об Ахтырке. Предвидя свой арест, мама еще осенью написала письмо Наде и бабушке, умоляя их в случае своей «болезни» взять меня к себе. После тетка Надя показала мне это отчаянное, какое-то черное письмо – первое отчаянное мамино письмо из длинного ряда ее отчаянных писем: с этапа, из лагерей, из Коврова. Писем не отчаянных за оставшиеся ей десять лет жизни мы от мамы не получали.

Так вот, осенью мама написала это письмо Наде и бабушке, дала прочитать Оле, запечатала, подписала адрес и сказала: «В случае чего, Лялечка, сразу же отправь это письмо». Оля и отправила.

Вскоре после моего возвращения домой пришел ответ, полный тревоги, любви и ласки, с выражениями надежд, что «мамочка скоро поправится», но что меня ждут.

Мы с Олей решили, что я закончу в Пушкино вторую четверть и сразу после Нового года поеду.

И опять-таки смутно я помню этот декабрь в Пушкино. Конец второй четверти восьмого класса. Продолжалось чтение авантюрных романов в классе под партией и дома. Все хуже шло ученье. По физике грозила двойка в четверти. Это было неслыханно и позорно. Все меньше и меньше понимала я и физику,

и математику, но ничего с этим поделаться не могла, приходила в ужас от своей тупости и нерадивости, но скатывалась все больше и больше в бездну непонимания.

Я сказала девочкам о своем несчастье. Я была в нем не одинока: арестовали отцов у моих двух подруг. Кажется, в это же время, впрочем, может быть, уже без меня, сгинул навечно наш старший пионервожатый Володя Черняк. Мы любили его, он пришел с нами из старой школы. Был он, как мне теперь кажется, из круга Косарева\*.

И тут еще раз повторю, что мне повезло. В нашей небольшой загородной школе с очень интеллигентным составом учителей никаких аутодафе над детьми «врагов народа» не устраивали никогда. Когда прорезалась моя двойка по физике в четверти, то кто-то (уж не помню, кто – может быть, староста?) пошел к учителю, объяснил положение дел, и двойка была исправлена на тройку.

Так что я абсолютно убеждена: и в то жуткое время люди оставались людьми, и протягивали, преодолевая страх, руку помощи, и помогали по мере сил. Всяко бывало, конечно, но о себе могу сказать, что я, оставшись без родителей, и тогда, и позже видела от людей и чужих, и родных так много добра, что дай Бог другим увидеть столько в менее мрачные времена, ничем не грозящие делающим это добро. Низкий мой поклон всем.

И тут отвлекусь от своих личных эмоций. Вспоминая детский распределитель, я все думаю о том лицемерии, каким было признано пребывание там несчастных детей.

Я здесь не говорю о гнусной бесчеловечности и изуверстве «решения детского вопроса» в целом. Об отрывании, большей частью насильственным, детей от родных и близких, об этих детских домах разной степени чудовищности. О детских домах, пребывание в которых давало людям навечно волчий билет, лишало права учиться больше семи классов, не давало возможности устроиться на мало-мальски приличную работу, жить в городах и т. д. и т. д.

---

\* Александр Васильевич Косарев (1903–1939) – деятель коммунистического движения молодежи, с марта 1929 по ноябрь 1938 г. генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Расстрелян в 1939 г.

Я говорю именно о лицемерии. Вспоминаю и думаю: зачем? Зачем в эти несколько дней «пересылки» надо было устраивать несчастным детям красивую жизнь? Зачем нужно было заниматься с ними играми и всяческими развлечениями? Водить в кино? «Мертвый час»? Все эти улыбки и заботы? Зачем они?

Столько хлопот, столько обслуживающего персонала! Ведь все это было абсолютно не нужно детям перед предстоящими мытарствами. Все равно их отправляли, куда Макар телят негонял. Все равно их ждал полутюремный режим.

Зачем же? Возможно, это были очередные, с размахом построенные потемкинские деревни? Для иностранцев? Ну, разве что. Не могу придумать ничего другого. Но так много сил, хлопот, расходов... Так зачем? Впрочем, за ценой мы никогда не стояли.

Нужно было сообщить о случившемся маме на работу. Оля каждое утро ездила в университет. Я училась во вторую смену, поэтому пошла я. Очень трудно было идти. Все же поплелась. Пришла. Мне показали кабинет директора. Хорошо помню его – человека лет за сорок, с неумемной сивой шевелюрой, с грубоватым лицом. Я вошла, поздоровалась. Он знал меня. «Мама больна?» – спросил как бы с надеждой. Мучительно выдавливая слова, сказала, что мама не больна, что ее арестовали. Он как-то засуетился и стал убеждать меня в том, что маму, несомненно, скоро освободят, вот разберутся, что она не виновата, и освободят. Спросил, не нужно ли чем помочь? Спасибо ему, директору маленькой школы Брюханову, за то, что не шуганул меня, не показал своего беспокойства. Ведь какой школе не портила картину арестованная учительница!

Оля в положенные дни ходила на Кузнецкий, мы по-прежнему ничего не знали о судьбе Пуны, а вот и мама канула. Раза два или три ездила и я. И однажды, наклонившись в полукруглое окошко и назвав фамилию, вдруг вместо обычного «сведений нет» получила ответ: «Сетницкий Н.А. – осужден на 10 лет лагерей строгого режима без права переписки». Я рассказала дома, и мы с Олей и Марией Ильиничной с Зиной и Володей

еще радовались: все-таки жив, а десять лет? Ведь они пройдут.

Вскоре и М. И. получила такой же ответ на вопрос о Владимире Дмитриевиче: «Может быть, они там вместе?» Да, конечно, все они, наши отцы и мужья, были уже вместе. В лучшем мире.

Вот не знаю, на что мы с Олей тогда жили? Были какие-то деньги про черный день? Помогали бабушка Анфиса Семеновна и Надя? Продавали вещи? Ясно только, что на Олину первокурсную стипендию нам вдвоем есть и пить, платить за комнату и за транспорт, передавать деньги маме было невозможно.

Прожили мы этот месяц мирно, съездили к теткам, к знакомым. Приезжали и к нам родные и друзья родителей. Помню, приезжала А.К. Тоцкая с грустным известием об аресте Николая Максимовича.

Однажды, видимо, это был выходной, прибежал Юра Малицкий. Это было днем, и мы обе были дома. Это был сын пуниного сослуживца и мой не очень близкий приятель, ему было 16 лет. Году в 1932-33 у Юры умерла от рака мама. Так я впервые узнала об этой страшной и редкой тогда болезни. Через некоторое время его отец женился на молодой американке, которую все окружающие звали несколько странным русифицированным именем Мария Виловна. Я смутно помню ее, высокую, стройную, молодую, даже по моим тогдашним меркам, приветливую женщину. Она вспоминается вся в бежево-коричневых пастельных тонах. Они бывали всей семьей у нас. Юра был живой высокий мальчик, с несколько оттопыренными ушами и с чуть монголоидными глазами. Мы говорили с ним о книгах и играли в карты.

Они уехали из Харбина в Москву примерно в одно время с нами. Жить в Москве, конечно, было негде, и они устроились в Обираловке. Они приезжали к нам, мы бывали у них. Конец у всех был одинаков: Юриного отца арестовали то ли раньше Пуны, то ли в те же осенние месяцы.

И вот Юра у нас. Мы сидим за столом и говорим шепотом. Не знаю, почему шепотом. Может быть, опасались соседей, может быть, просто так.

Юра сбивчиво и взволнованно рассказывает, что Мария Ви-

ловна, оказывается, не потеряла гражданства США, собирается уезжать на родину и хочет взять его с собой. И вот он прибежал (приехал, вернее) обсудить это и проститься. Больше-то, кроме нас, у него никого, видно, не было. И вот мы трое, «безотцовщина», сидим за столом и «обсуждаем». Оле 21, Юре 16, мне 14 лет. Собственно, какое обсуждение? Ясно, ехать надо. А ему и хочется и страшно, а кругом аресты, аресты... Да вдруг сорвется что-нибудь? Она его, кажется, усыновила. Он пробыл у нас недолго. Мы с Олей от всей души пожелали ему счастливого пути и простились. Вот уже он почти бежит к калитке и исчезает из глаз навсегда.

Потом много раз мы вспоминали его.

Тем временем кончилась вторая четверть. Я получила нужные документы для перевода в ахтырскую школу, получила свой ниже среднего табель и собиралась уезжать. Перед Новым годом, числа 29 или 30 декабря в школе был костюмированный вечер. Но было мне на нем грустно и неудобно. Я ощущала себя отрезанным ломтем. Так не хотелось уезжать!

31-го Оля уехала в Москву встречать Новый год на факультетском вечере. Было очень тоскливо. Я помню, пошла в лес с маленьким топором и, увязая в сугробах, с трудом срубилa небольшую елку. Тогда это еще не было запрещено. Несла я эту елку и думала, как бы мама сказала, смеясь: «Ну, прямо Дед Мороз!». Но мамы не было, и Пуны не было, не было даже Оли.

Дома я поставила в углу елку, украсила ее и села за стол с очередной книжкой. Тоскливо было – не сказать. Соседи Мироновы мною не интересовались, Зина и Володя встречали Новый год у себя в Первом медицинском институте, Мария Ильинична была на работе – она работала на фабрике «Серп и Молот» в Пушкине-селе, это было далеко, и домой она возвращалась поздно. Наконец, она пришла, через некоторое время заглянула ко мне, окинула взглядом комнату и весело сказала: «А мы с тобой встретим сейчас Новый год».

Уж не помню – у нее или у нас в комнате мы накрыли скатертью стол, поставили хорошую посуду и уселись друг против

друга. Не помню угощения, помню только, что под бой кремлевских курантов по радио мы чокнулись и выпили с ней по рюмке чего-то сладкого. «Ну, с Новым годом, Лиля!» – «С Новым годом, Мария Ильинична!» – «И пусть к нам в этом году вернуться наши дорогие. И мама, и Николай Александрович». – «И Владимир Дмитриевич», – быстро встала я.

Так встретили мы с ней 1938 год. Спасибо Вам, Мария Ильинична, за тепло и заботу.

Утром приехала Оля в полном восторге от истфаковского вечера. Рассказывала, рассказывала... Что именно? – Не помню.

2 или 3 января я уехала в Ахтырку. Сборы вспоминаются смутно, но помню, что в расчете на Олин арест я брала с собою как можно больше вещей, не только свои, но и мамыны, и пунины, и оliny. Получилось два чемодана. Их послали малой скоростью. С собой я взяла только маленький Пунин черный кожаный чемодан и школьный портфель.

Помню, как прощались с Марией Ильиничной, Зиной, Володицей. Присели на дорогу.

Помню жесткий бесплацкартный вагон, где мы, ворвавшись в числе первых, заняли вторую полку, на которой я и устроилась с комфортом на Олином пледе, с чемоданом под головой и с «Тремя мушкетерами» в качестве духовной пищи. И вот уже провожающих просят покинуть вагоны...

Мы простились с Олей, и я поехала в новую жизнь.

1987

Публикация Ю.Р. Берковского



# МИХАИЛ ШАНГИН

## Невыдуманные рассказы

### ТЮРЬМЫ

Ночь с 3 на 4 июля 1937 года. Сидим в редакции, каждый занят своим делом. Егора нет, корректуру гранок и полос читаю я. Редактор Августа Петровна и ее заместитель Алексей Григорьевич Резепин молча склонились над столами. Подступает дрема, надо ее согнать. Самый большой стол у Тюменева, он сплошь завален бумагами. Встал Василий Александрович, протер очки, улыбнулся широко и, сделав артистический жест рукой, торжественно произнес:

– Навести большевистский порядок на своем большевистском столе!

И принялся за уборку, удаляя ненужные бумаги. В этот момент без стука открылась дверь, и вошел милиционер:

– Я за вами, товарищ Тюменев!

Тюменев побледнел, опустился на стул, открыл и тихо задвинул ящик и сказал:

– Прощайте, товарищи. Прощайте навсегда. Непоминайте лихом...

А через час пришли за мной. Вела меня предсовета Виноградова, можно было убежать, но я думал: не надолго же, спрысят о чем-то и отпустят, не украд я, не ограбил...

Сразу обыскали, забрали комсомольский билет. Сразу, как звякнул замок, зачастило ударами сердце... мысль лихорадочно

крутилась на одном: как же так? За что? Где ты, мама? Выручай...

Маленькая одиночка с крохотным оконцем вровень с землей, голый топчан, бетонный пол.

Два дня спустя – руки за спину! – повели наверх на допрос. Следователь Егоров, пожилой, небритый, с серыми, без зрачков, глазами, в форме НКВД, достал из стола какую-то бумагу, прочел и хрипло процедил:

– Так кто же это похож на Карла Маркса?

Ошеломленный, я промолчал, полагая, что «дядя шутит». Но дядя не шутил. Сейчас он сорвет маску с опасного государственного преступника, согнет его, вражину, в дугу, хребет ему переломит, но заставит признаться в совершении тяжкого зла.

Егоров схватил лист и затряс им передо мной:

– Че молчишь, сволочь контрреволюционная? Вот тут подробно и точно написано, что ты говорил на Бабое двенадцатого июня!

Бабой – это толстое, без коры бревно, уже много лет оно лежит на берегу озера, в заулке у огорода Косенихи. На нем обычно вечерами собираются парни и девчата, пляшут, поют под гармошку. Но что я говорил там двенадцатого июня?! Много чего мы говорим, разве все упомнишь? Не записывать же!

– Я напому! – напирал Егоров. – Ты показал на Кольку Тимина и сказал: «Смотрите, ребята, он на Карла Маркса похож!»

Я попробовал оправдываться:

– А разве плохо походить на великого человека? Песня даже такая есть:

– «Мы хотим быть похожими на Ленина, на Владимира Ильича...» – Куплет этот я ему пропел.

Но Егоров расценил мое пение как издевку и совсем взбеленился:

– Ты мне тут дурочку не пори, я те вмиг памротки\* вышибу!..

Смотрю на идиота и дивлюсь: мне ли, пацану, доказывать аксиомы взрослому человеку? Кто он: тупой колун или фанатик-

---

\* Памротки (диалектн.) – память, сознание.

циник? На столе лежит папка, на ней крупно: «Уголовное дело № 1374». Значит, я – преступник? Егоров зачитал еще одну бумагу, в ней сказано, что Нелюбин (он ее и написал) и я ходили к Тюменеву домой, и он подсовывал нам для чтения запрещенные книги: «Человек меняет кожу» Бруно Ясенского и «По ту сторону» Виктора Кина.

Это спустя десятилетия по повести Кина поставят фильм, и Пахмутова напишет для него песню «Забота у нас простая», а тогда эти книги считались крамолой, как и сочинения Есенина. Кроме того, Тюменев был знаком с Киршоном и Авербахом. Их «раздели», ну и Василия туда же, как друга «врагов».

Помимо этих грехов нас с Тюменевым обвинили в том, что мы будто бы хранили в подвале редакции клише с портретами «врагов»: Кабакова, председателя Свердловского облисполкома, Рындина, бывшего секретаря Челябинского обкома партии, наркома связи Рыкова. Клише в подвале было несколько ящиков, годами никто их не перебирал, не знаю, были в них эти или нет.

Прошел месяц одиночки. Опять привели наверх. Следователь положил передо мной то же «дело», прижал его рукой и многозначительно спросил:

– Брата жалко? Один будешь сидеть или с ним на пару?

У брата Александра нога туберкулезная, шариком опухшая, ему даже самая короткая каторга – смерть. Я подписал дело, не читая. Может, там было написано, что я крестник царя, сподручный Гитлера, или пил вино с Тухачевским... Мне уже было все равно, творись, как говорят на Руси, воля Божья.

...В то утро у ворот райотдела НКВД собрались родственники уходящих на этап: кто-то шепнул им об отправке. Стоит и моя мать с мешочком. Наверное, сухари. Конвоир не разрешил передать. Машина тронулась – провожающие заголосили. Кто-то прощался навсегда...

Вот и город. Огромная вывеска на воротах: «Курганская тюрьма». Вылезли. Всех повели налево, меня одного направо. Втолкнули

в комнату: полумрак, фонарь «летучая мышь» на стене, лавки некрашенные, шайки на них деревянные. Да это ж баня! Мыться? Так ведь не сказали, да и не топлено. Вижу дверь. Взял фонарь, подошел к ней, открыл: пусто, комната поменьше и без лавок. Махнул светом на стену – а она в крови! След почти свежий, бороздки от пальцев – видно, кто-то, падая, по стене рукой шаркнул... Кожа на мне сделалась теркой, хоть редьку на ней натирай. Еще посветил – в штукатурке ранки кругленькие, как от пуля. Да здесь же расстреливают!

Присел на корточки у входной двери. В голову все черное лезет. Может, я не глядя подписал такое, за что пулю дают?! Решил: если войдут и начнут теснить туда, в ту комнату, – кинусь тигром и буду рвать их зубами. Стал мысленно готовить себя к прыжку...

На рассвете лязгнул замок:

– Эй, ты, выходи!

Повели меня в самую тюрьму. Узкий коридор, железные двери справа и слева, замки на них огромные, волчки в дверях. Стражник одну отомкнул – за мной запер.

Комната набита людьми, сидят на полу полуголые, ступить некуда. Из дальнего угла позвали:

– Давай сюда, хлопец, тут место есть!

С трудом выбирая пустотку, пробрался туда, ожидая, что дадут по шее. Нет, никто не трогает, видать, и не собираются.

– Клади сюда котомочку, присаживайся, а хошь – так и стой, – с улыбкой говорит высокий мужчина лет тридцати пяти. – Местечко хоть и не плацкартное, а для цыпленка хватит. Староста я камеры, Рычков Иван. А ты небось тоже с 58-й?

– Да, она самая...

– А за что?

– Да понаписали там всякого, а я подписал не глядя.

Дед старый, рядом, вздохнул:

– Батюшки, совсем уж детей сажать стали... Сколько лет-то тебе?

– Семнадцать...

– Ишь ты, уже и контрреволюционер!..

Дед, Дрон Ефимович Могутнов, оказался из Петухова. Все спрашивал меня о семье, рассказывал о своих, называя всех поименно: снох, кумовьев, соседей, дочерей, сынов, внуков. Много их у него. А самому деду семьдесят пять лет.

– А ты-то за что, дедушка? – спрашиваю.

– А ишшо не сказали. Опосля узнаю...

Да не успел дед узнать. Дней через пять поутру смотрю – он мертвый. Да и мудрено ли: жара и духота в камере, пыль от барахлишка зеков, вонь ужасная от параша. Вместо двадцати зеков «по норме», сидят тут две сотни узников.

Наша 22-я камера тремя своими окнами выходила на Советскую, углом – на улицу Кирова. Метрах в двадцати – вышка, даже петлицы часового видны. Нам разрешены шахматы. Сели мы с Рычковым за партию, поближе к окну, да, видно, недозволенно близко: часовой выстрелил без предупреждения. Пуля прошла чуть повыше наших голов в печь.

Рычков – грузный, высокий, всегда веселый дядька, был начальником Курганского лестрансхоза. Обвинили его в том, что рабочие его ели не хлеб, а лебеду. Как будто он был виноват, что с тридцатого до тридцать седьмого на Урале многие тысячи людей вынуждены были питаться лебедой! Рычков пробыл в 22-й недолго, после суда его перевели в камеру смертников. Вскоре его расстреляли в тюремной бане. Глухие звуки выстрелов мы слышали часто. Расстреливала женщина. Я ее видел: хищница с серыми глазами, корявая и щербатая. Всю свою жизнь она служила в тюрьме. Может, мстила миру за свое одиночество, за безобразную морду...

После казни Рычкова обвинительных заключений никому уже не давали. Судьбу арестованных стали решать «Особое совещание» и «Тройка УНКВД». А вскоре кому-то в верхах показалось, что узники дышат и видят лишку, и был дан приказ во всех острогах страны заложить окна. В нашем окне оставили 30 сантиметров. Надели зонты. Душегубка...

В конце августа 37-го года вывели нас, человек пятьсот, погнали на вокзал. Погрузили в товарные вагоны без нар, повезли.

Но куда – не знаем. Зеки молчат, боятся случайно оброненного слова: вдруг рядом сексот? Одно только иногда слышится:

– Вот узнает об этом Сталин – и выгонят нас всех на волю...

До конца 39-го многие верили «отцу», ждали, что скажет он новую речь о кружении голов.

Но он, «родной», уже сказал речь перед избирателями Бауманского района, где ясно изложил свое намерение всех противников власти прокатить на «воронках», в смиренных рубашках. После 1939 года все убедились: никакого пересмотра дела не будет, не затем сажали, чтоб выпускать. Все поняли, что это не ошибка, а заранее спланированная, продуманная акция произвола, продиктованная вождем. Ему нужны были миллионы даровых рабочих рук для строительства социализма, к которому он якобы стремился. Сколько вырубил сталинская сафра\* безвинных граждан, в том числе молодых, полных сил людей, – никто не знает.

Везли нас двое суток. Пока везли – не кормили. Бредем, по-пурные, через пол-Челябинска пешком строем в пыльном облаке. Жители на тротуарах стоят угрюмые, молчаливые. А как же: ведут врагов! Ведь все средства массовой информации годами нагнетали ненависть – смерть врагам народа! Одна старушка приблизилась, хотела передать хлеб. Конвойный оттолкнул: «Нельзя! Кажу – заборонено\*\*!»

Нам все было «заборонено». Не запрещали дышать, но и то – пока. В тюрьму ведут широкие двустворные ворота, обитые железом, со шлюзами через пять шагов, с шестью замками. Пока мы дошли до нашей камеры № 8, за нами заперли тринадцать замков! Боже милосердный, пройдем ли их в обратном порядке?

Восьмая камера Челябинского централа – это подвальная комната, рассчитанная на тридцать коек, два окна метр на метр вровень с землей. У дверей – параша литров на сто, на спаренных койках вместо матрацев дощатые щиты. Пол бетонный. Надзира-

---

\* Сафра (*исп.*) – сезон уборки и переработки сахарного тростника, стрижки овец и др.

\*\* Заборонено (*укр.*) – запрещено.

тель с хищными глазами (мы его прозвали «Рысь») открыл железную дверь, но куда входить-то? Как и в курганской тюрьме, комната полна голых людей, даже у параши стоят человек десять. Может, думаю, ошиблись, в другую камеру поведут? Но нет, надзиратель заорал: «А ну, потеснитесь, гады, мать вашу!..» Подошли еще четыре мордovorота и стали дружно вталкивать нашу группу в камеру. Стоявшие у параши упали, мы на них, а надзиратели знай жмут дверь, рычаг, прессуют...

В камере жарко – хоть бери веник и парься. Слышу крик:

– Миха, давай сюда!

Ба! То ж Тюменев! Вот встреча! А как к нему подойти? Ступить-то некуда: люди сидят на полу, кто в трусах, а кто и вовсе голый. А Василий опять:

– Смелее, Миха, снимай обувь, раздевайся до трусов, кидай котомку мне, сам вставай на четвереньки и дуй по людям. Мы все здесь так ходим. Не стесняйся, ползи!

Я так и сделал: стал на четыре кости, пополз – кому на плечо, кому на хребтину обопрись, никто не возмущается.

Мой Вася-Василек сидит не на полу, на койке: две койки сдвинуты, люди на них сидят тоже вплотную, как и на полу. Ночью на них спят десять человек, валетом, на боку, чтобы больше, поместилось, поворачиваются по сигналу крайнего.

Рядом с Василием Александровичем – бывший редактор областной газеты «Челябинский рабочий» Леонид Сыркин, тощенький мужичок, умный, с соседями деликатный. Тюменев, высокий, полный, каким я видел его сто дней назад, стал похожим на гороховый стручок – так высох. Здесь и с двумя легкими люди еле дышат, а у него ведь одно. Лицо стало землистым. Не вынесет он этого ада.

Место для меня раздвинули возле изголовья Василия, на полу. Я сел, навалившись голой спиной на облучок койки. Поговорили с ним, но немного: трудно дышать, да и небезопасно – у сексотов всегда ухо востро.

В камере днем полутень, ночью глаза режет от яркого света ламп. Не поймешь, когда узники спят. Круглые сутки шевелится

голая масса, копошатся люди, как черви в банке. Сидя спать тяжело. Некоторые стоя дремлют. Ноги у них синие, опухшие, зато они первыми выходят на прогулки и возвращаются последними. Им достается лишний глоток воздуха.

Под койками тоже жилье: там лежат валетом по восемь человек. Я провел под койкой одну ночь и больше туда не полез – там вообще глухой бункер. Подкоечные чаще умирали. Живые день-два спали рядом с мертвецами, чтобы получить за них пайку хлеба да разделить на несколько человек. Трупы в конце концов вытаскивали волоком. Делали эту работу уголовники. Они же варили баланду – мутный соленый суп с добавкой капусты или крапивы, иногда сечки, резали хлеб, разносили по камерам: один баландёр раздает, другой собирает и пересчитывает ложки и алюминиевые миски. Из этой же невымытой посуды кормят все камеры – так и разносили болезни по всей тюрьме.

Врачи, конечно, в тюрьме были, но за полтора года я не видел в нашей камере ни одного медика, хотя было у нас восемь туберкулезных, болели и дизентерией. Лечить больных не входило в задачу администрации – в старых силосных ямах возле села Шершни места много!

За полтора года тюрьмы ни я, ни кто другой не были в бане. Мылись в уборной под краном ледяной водой и летом, и зимой. Смоешь с себя потную грязь, пополощешь тусы – и мокрые на себя. Друг другу мыли и спины – быстро, чтобы не подхватить от ледяной воды воспаление легких.

В камере тишина. Большинство узников сидят в полудреме, свесив голову на грудь. Думы у всех в прошлом. Будущего больше чем на неделю не видать. А что произойдет за неделю? Вон тех, слева, четверых, удушат сегодня. Многих и завтра ждет дорога в Шершни. Про место своей могилы мы узнали так: однажды, при раздаче еды, случился конфликт между старостой нашей камеры и раздатчиком. Как обычно, баландёр-уголовник наливает из бака в миски баланду, староста принимает, считает и передает по цепочке. Досчитал до 285, а нужно 286. Баландёр последнюю миску не дает: амба, 286 налил! Старосте не хватило.

Спорили они долго – ничья не берет. В конце концов, рассерженный баландёр налил в миску, бросил в бак черпак, так что брызги на стену полетели, и заорал зло:

– Хватайте, хватайте, гады, фашисты, не разжиреете! Мы всех ваших дохлых возим в Шершни – вилы в пузо – и в силосную яму! А особо вредных фашистов живыми сталкиваем. И вас всех так же!..

Никто из камерников ему не ответил. Местные, челябинцы, подтвердили: есть за этим селом старые силосные ямы и заброшенные шахты.

В уборную нас водят по тридцать человек. Можно бы и не водить – желудок пуст, а вода выходит потом. Но идут все, кто еще идти может, чтобы хоть смыть с себя грязный пот. Хлорки в «туалет» насыпано без меры, дышать невозможно, глаза из орбит лезут многие кашляют до крови, но всех держат, «как положено» десять минут. Иные сознание теряют в уборной, ведем их обратно под руки. Кого-то качнет и он заденет рукой за чужую дверь – а тюремщик не зеваёт: тут же врежет по лицу тяжелой связкой ключей, и потечет на грудь последняя кровушка. Били нас ежедневно, и не только за пустяковые провинности, но и просто так, из садизма.

В центре и пытали. В кинокартине «Покаяние» показаны пытки, но на самом деле их было гораздо больше и способы были изощреннее. Меня не пытали: видно, не та птица, птенец.

Пытали не всех и взрослых, но крест я видел. Крест – это холл на пересечении коридоров. То ли стены здесь скреплены растяжкой – железным прутом в руку толщиной, то ли прут этот был прилажен специально для пыток. На нем подвешивали узников – кого за руки, кого за ноги, кого за руку и за ногу. Тут же на полу валялись заделанные в смирительные рубахи. Рубаха эта наподобие комбинезона, только широкая. В нее заделывают «клиента», воду туда заливают, кладут на живот и стягивают ноги к голове.

В тюрьме около пятнадцати тысяч заключенных. Не успевают всех днем вывести на прогулку. Стали водить и ночью. Тогда-то я и увидел его, крест... В ужасе проходим мимо. Висят люди,

еще живые, глаза выкачены, пена с кровью изо рта. Жертвы «свежие» орут на весь этаж, остальные, уже доходящие «до кондиции», просто мычат. Эти сейчас все подпишут, что надо. Своего рода дьявольская, изощренная рационализация: пытаться надо многих, скрытно пытаться – трата времени и «труда»; легче так: одного на виду пытаются – сотни мимо проходят, потом вызывай, ставь подследственному «шах» – либо подписывай признание, либо пойдешь на крест. Кому это предлагали, понимали сразу: все равно убьют, безвинность свою не докажешь. Кратчайший путь к смерти без мук – подписал, и получай пулю.

...Итак, сидим. «Сидим» в тюрьме в буквальном смысле слова. Раньше тюремный узник мог пройти по камере, заложив руки в брюки (если, конечно, не был прикован цепью, как в Петропавловской крепости). А тут и без цепи не пройдешься, руки в брюки не заложишь, потому что их на тебе нет. В тридцатых годах большинство мужчин, особенно деревенских, носила не трусы, а кальсоны. Сидеть в них жарко, закатаешь штанины – мокрые от пота валики режут ноги. Но голь на выдумку хитра: обрезаем кальсоны найденным на прогулке стеклышком. Другие в выдумке пошли еще дальше: для чего кисеты, раз табака все равно нет и не будет? Приладили кисеты на свои мужские доспехи, затянули, чтоб терпимо – никаких трусов не надо! У нас ни свиданий, ни передач, так что и ходить-то некуда, разве только к параше. Но пользоваться ею, по всеобщему согласию, решено было только в исключительных случаях. На параше спина в спину сидят двое, ноги до пола не достают...

Сидим, 286 узников вместо тридцати, на которых была рассчитана камера. Мои соседи слева и справа еще живы. Их горячие тела прижаты ко мне, и пот их смешан с моим, и грязь на нас общая. Вчера сосед мой слева дышал с перерывами, смотрю на него – скелет, обтянутый кожей, лицо желтое, зубы от цинги все выпали. Он здесь уже полтора года. Поутру его выволокли за ноги...

Из окна тянется тоненькая струйка воздуха, одна на всех. Но скоро и ее не стало: заложили окна, как в курганской тюрьме. Поставили зонты: под зонт едва ладонь пролезет. Зонты ставили,

наверное, затем, чтобы узники не могли видеть волю. Но ведь волю, вернее, ее кусочек, видно, допустим, со второго, с третьего этажа. Зачем на первом закладывать окна? В пяти шагах от нашего окна была высоченная стена тюрьмы. Но все делалось для того, чтобы мучить людей. Нас могли бы расстрелять из пулеметов у кромки рва, но ведь такая смерть была бы короткой...

Через неделю умер Василий Тюменев. Не дали мы с Сыркиным тело Василия бытовикам – они бы волоком потащили. Потеснили сидящих и вчетвером вынесли Васю в коридор, положили на носилки, вернулись в камеру. Сыркин тихо сказал:

– Погиб еще один наш товарищ, журналист, автор книги. Почтим его память вставанием.

Встали почти все, хотя нелегко было это сделать.

Сыркин относился ко мне по-отцовски. Не мог я тогда подумать, что этому седому человеку только тридцать четыре года. Когда Тюменева вынесли, я занял его место на койке – валетом с Сыркиным. Много мы с ним говорили, всех разговоров теперь не упомнишь. Очень жалел он дочку и жену Лену. В тридцать четыре года – расстрелян.

Если бы тогда знать наперед, что через пятьдесят лет я, оставшийся в живых, буду писать о них книгу! Встать бы тогда и крикнуть: назовите себя, земляки, мне надо вас всех запомнить, потому что через полвека ваши родственники на ваших запоздалых похоронах будут меня спрашивать – не видал ли моего?.. А моего?.. А моего?..

При мне Сыркина увели без вещей – значит, на допрос. Через три дня втолкнули обратно. Он был изуродован, не мог ползти к своему месту по людям. Сломана рука, на теле сплошные синяки, под ногтями следы игл. Люди потеснились, и мы положили его на койку. Вместо гипса доктор Бушуев, заключенный, привязал сломанную руку к трем туфлям. Два дня Сыркин молчал, потом прошептал:

– Я все подписал. Скоро меня убьют.

Я носил из уборной в фуражке холодную воду и поливал его синяки. Вскорости его увели на расстрел.

Духота в камере стала вовсе невыносимой. В день смерти Тюменева староста камеры Василий Александрович Занин предложил:

– Послушайте, мужики! Давайте дышать струей у окна по очереди, по списку, значит. Чтобы всем воздуху доставалось. Иначе – смерть.

Никто не возражал. Только решили не по списку дышать, а по рядам, как сидим, так удобнее будет ползти к окну. И началось...

Нормальному человеку такое не представить, это надо было видеть: голые люди ползут по таким же голым людям, как черви, кому коленом на шею, кому на спину – скорее к окну, к спасительной струйке воздуха, ртом дышат, как рыбы... А староста уже говорит: «Следующие!» И опять ползут восьмеро навстречу друг другу. На тридцать верст в высоту земная атмосфера – дыши, человечество, в миллиард легких – всем хватит! А для нас нет этого воздуха. Нету! Кто же он, тот жестокий человек, кто приказал лишить тюрьмы окон? Может, когда-нибудь в дебрях секретных бумаг историки найдут этот страшный документ?

Наверное, с неделю продолжалось это столпотворение, потом мы выдохлись: сил кладется много, а толку мало. Пробовали качать воздух от окон одеялами – бросили и это. И вот поднялся широкоплечий чернобородый человек, прошедший крест, Ильин (мы знаем, что ему все равно скоро вышка); он назвался членом компартии ленинского призыва, бывшим комендантом Кремля, рубанул в воздухе уцелевшей от креста рукой, как на митинге:

– Товарищи! Видите сами – наше положение гиблое, но пусть мы погибнем как люди, сраженные в борьбе! Ежели уж умирать – то всем вместе, а не в одиночку. У нас нет другого способа борьбы с произволом, кроме как объявить голодовку.

Многоглотно гаркнуло:

– Правильно говорит! Все равно нас тут передушат... Давайте все вместе! Чем умирать медленной смертью, лучше разом кончать!..

Выбрали совет из пяти человек, который напишет наши тре-

бования и заявление о голодовке: от пожилых Занин и Ильин, от молодежи я и Петька Шмолин, фамилию пятого забыл. Ильин написал заявление:

«Камера требует перевести половину заключенных в другое место, прекратить избиения и пытки, пробить в тюремной стене из коридора в камеру две дыры для естественной вентиляции, очистить сетки зонтов на окнах от раствора...»

Поутру на верхнюю пайку хлеба Занин приколол нашу бумагу: хлеб не берем, камера объявляет голодовку. Рыжий баландёр удивленно вскинул брови:

– Это как же так, робяты?

– А вот так, – решительно сказал Занин.

Дверь захлопнулась, в камере стало тихо. Стало доходить до нашего сознания, что голодовка для нас, людей изможденных, – это верная смерть через неделю. Но в обед мы не взяли ни хлеб, ни баланду, только воду. Наутро на пороге камеры появился высокий, лет сорока мужчина в белой куртке:

– Я начальник тюрьмы Барановский. Что послужило мотивом объявленной вами голодовки?

Ильин повторил первое требование – разгрузить камеру. Барановский скривил губы:

– Вашей сволочи, врагов народа, много, на всех тюрем пока не настроили.

Ильин повторил и остальные требования. Начальник перебил его:

– Запомните: вы не имеете права требовать. Вы можете только просить. Я удовлетворю одну из ваших просьб, и вы снимете голодовку!

– Нет. Только все, – ответил Ильин.

– Ну и дохните, гады, – злобно сказал Барановский и вышел.

В камере тихо. Что нас ждет? Сколько вытерпим голодом? Кого уволокнут последним? Под койкой кто-то заплакал. Один из сидящих на параше вдруг сорвался к двери:

– Пусть мою пайку отдадут! Паечка-та ведь моя, мне умирать ишшо рано, детишек четверо, мал-мала меньше, детей пожалейте!..

Крикуна подмяли, зажали ему рот. Поднялся Ильин:

– Если среди нас есть сексоты, пусть знают: никто из них живым отсюда не уйдет и не успеет доложить о нашем плане. Дело в том, товарищи, что в стране, по всей видимости, произошел тихий контрреволюционный переворот. Уничтожают старую ленинскую гвардию, комсомол, и это делают под фальшивым лозунгом защиты социализма. Наши тюремщики – не представители Советской власти или народа, врагами которого они нас называют. Это как раз враждебные социализму люди, которые олицетворяют собой фашизм. Поэтому я призываю вас к бунту против этой черной сволочи! Пусть мы падем все, но погибнем за народную власть, против тирании Джугашвили!

До вечера тихо совещались, распределяли, кому что делать. Решимость идти на смерть была единодушной.

Вечером на третьи сутки раскрылась дверь, и на виду у всех поставили носилки с хлебом. Хлеба мы не взяли, и его унесли. На пятые сутки в камеру вошел надзиратель «Рысь» и рявкнул: «Гулять!» Мы не выходили всю неделю, и вот стали выползать, держась за стены и друг за друга. Ноги почти не слушаются, и сами мы в дугу согнутые. Идем, шатаюсь. На прогулочном дворе четверо упали замертво, там их и оставили. В камере становится все просторнее: за неделю умерло 63 человека. Скоро ли мой черед?

Что-то дольше обычного ходим мы по тюремному двору: то по 15 кругов ходили, а тут уже 32 – и не гонят обратно. С чего это раздобрились? Вот... погнали... Заходим – батюшки! В проходе поставлены козлы, и четверо бытовиков долбят сразу две дыры в нашу камеру. Смотрим – и сетки-то на оконных зонтах чистят! А дыры мужики оштукатурили, сетками заделали, чтобы мы не могли в коридор записку кинуть. Дыры невелики – коту пролезть, но потянуло в них сразу, хоть и тюремной же вонью, а все же легче стало дышать. Посоветовавшись, на шестой день мы взяли хлеб. Голодные, мы пайку могли сглотить за пять жевков, но наш камерный врач Бушуев предупредил: есть риск умереть от заворота кишок. Так и разделили пайку на два раза.

Голодовка кончилась. Добились мы вентиляционных дыр,

сетки очистили, будут ли бить, пытать – не знаем, только ключами «угощать» надзиратели перестали. Не стало слышно ночных воплей: перевели пытки в другое место или прекратили вовсе? Рыжий баландёр, что был добрей других, шепнул: «Я рассказал о вашей голодовке, вся тюрьма бастует, по всему централу долбят стены!..»

В 1946 году, уже в Самаре, мы спросили пришедших из Челябинска арестантов: целы ли дыры в камерах? Целы, говорят, и кладка в окнах разобрана, и зонты сняты.

Вскоре всех зачинщиков голодовки вызвали без вещей: в кондей. Кто на экскурсиях в Петропавловской крепости видел карцер, знает, что это такое: каменный бункер с дыркой вместо окна, без стекол, ни нар, ни печки, пол бетонный. Все мы в летнем. Срок заточения в карцере нам не объявили. Может, пожизненно? Нас пятеро на пяти квадратных метрах. Я поспешил к «окну», к струйке воздуха: после камеры-бани так хорошо подышать холодным сырým воздухом! А к вечеру вторых суток ангина закрыла мне горло, дышать нечем. Ребята бьют в дверь: «Больного заберите!» Фельдшер передал через «волчок» термометр – а там жар на весь градусник. Меня – на носилки и понесли. Да не в больницу! Лекпом, видимо, узнал от стражника, что из кондея, где обычно сидели бандиты, несут не своего, а «фашиста», и велел бросить полутруп в сарай.

...Степь ровная, бескрайняя... Катится по степи лавина белых комьев, с дом высотой, словно нанизанных на один стержень. Катится вал цепью, и нет промеж этих гигантских бус промежутка, не обежать ни справа, ни слева. На одном шаре грязное пятно, похожее на человечью рожу в зловещей ухмылке. Смеаю: если упасть между шарами, вытянувшись в струнку, может, и не раздавит. Вал рядом, я падаю, он со скрипом прокатывается дальше...

Пришел я в себя, лежа на куче мертвецов. Левая рука свободна, на правой лежит холодный труп. Я зашевелился, стал руку вытягивать. Слышу позади говор. Я закричал. Подошли, полог сдернули:

– Ты смотри, падла, живой ведь, а? Живучий, сука. Вчера его

мертвым кинули, на дворе Покров, а он талый. Придется вынуть... – За ноги тянут, хохочут, бросили на землю. Я еле поднялся на колени:

– Спасите, ребята, Христа ради, живой я...

– Христа вспомнил, фашистенки! – следует дикий мат и пинок под зад. Пусть, думаю, бьют, лишь бы в тепло увели.

Двое подняли, повели меня, а двое остались укладывать трупы из носилок в штабель. Лежу на полу холодного тамбура, в голове то муть черная, то засветлеет, и тогда вижу через открытую дверь крутящиеся в небе самолетик. Подошли санитары, увели в палату.

Больница в тюрьме – это щитовой барак с общими нарами из неструганых досок, без постелей, все лежат впритирку на боку, как и в камере, в своих одежках – кто в чем. Раздвинулись четверо, лег и я между соседями. Давали мне красный стрептоцид, через неделю опало в горле, и увели меня обратно в восьмую камеру. Там и сидел я всю зиму с 37-го на 38-й и все лето 38-го, до октября. А оставшиеся в карцере так в камеру и не вернулись – то ли погибли там, то ли перевели их в другие камеры. Вещи ихние до конца тут лежали.

Этапы уходили на Север. Меня не брали. А я рад бы отсюда хоть на Колыму, хоть к черту на кулички, лишь бы на воздух. Не берут. Видно, мстят за голодовку.

К ноябрю 38-го рядом с централом построили бараки, тюрьму пересыльную открыли. Это недалеко от ЧГРЭС и железной дороги: из окна видать составы и станцию в дыму. Зонтов на окнах нет совсем – курорт! Двор огромный. Выгнали нас, тысячи две, разом, стол поставили, сели за него двое в форме НКВД. Начали вызывать. Подходит зек к столу – ему коротко: «Фамилия, имя, отчество, год рождения?»

– Кропачев Александр Васильевич, родился 21 августа 1888 года...

– Распишись, тебе определен срок десять лет лишения свободы.

Чик – и суд окончен.

– Следующий!

Старик один, глуховатый, видать, когда ему «червонец» зачитали, руку к уху и мирно так спрашивает:

– А скажи, мил человек, суд-то когда?

«Судья» усмехнулся только.

Приговоры были подписаны «тройкой», в которую входили начальник УНКВД по области, первый секретарь обкома партии и председатель облисполкома. Последний из троих был «рыбой», дела решали в УНКВД. Логично предположить, что десятки тысяч дел «тройка» не успевала не только читать, но даже подписывать, приговоры визировала не она, а технические работники. Штамповали: всем по «червонцу». Не меньше.

Построили нас по четыре, повели. Напомнили: шаг влево, шаг вправо... Снега еще нет, пыль над колонной – задыхаемся. Снова телячьи вагоны, вонь, теснота. Сутками не кормили. Идем такой же пылью по Магнитогорску, двухтысячная колонна. Ноябрь, холодно, мы в летнем. На мне фуфайка матери, на ногах сандалии, на голове – ничего. В тюремный клуб загнали, наверное, голов с тысячу. Нар нет, но мы рады: большие окна, воздуху много.

Все мы, тогдашние «враги народа», не готовили себя к тюрьмам, потому, естественно, не знали азбуки перестукивания. Это умели двое интеллигентных на вид мужчин, лет пятидесяти, седые как лунь, которых потом втолкнули в комнату. Они сказали, что отсидели по десять годов в Верхнеуральском политизоляторе, и теперь, по решению «Особого совещания», получили «довесок» – еще по «червонцу» лагерей. Но буквально на третий день перестукивание засекли, и их увели в карцер. Кто-то заложил. Кто? Стало ясно – в камере есть агент.

Среди нас сидел поляк Филиповский. Его что-то часто вызывали то на свидание, то на передачу, то в больницу, и после каждого такого визита кого-нибудь из камеры обязательно забирали. Подозрения оправдались: Филиповского уличили. Суд был коротким: смертная казнь. Но добровольца задушить его в камере не нашлось. Приговор привели в исполнение потом, на Севере, в тайге: Филиповского привязали к штабелю бревен и с высоты лесовозной эстакады по покатам спустили на него толстое



бревно. Калечило на лесоповале зеков ежедневно, так что никто не разобрался и в случае с Филиповским.

Так же, как в Челябинске, сидим в камере на котомочках, тесно, но не голыми. Моими соседями оказались Борис Кривошеков (впоследствии известный поэт Борис Ручьев) и капельмейстер Чабанов. Борис придумал: сбросились довесками от паек, слепили мини-шахматы и домино. Чабанов проигрывать не любил и очень переживал, когда Борис громко объявлял: «Чабанов козел!» Ушли оба на Оймьякон, я угодил в Архангельскую область, на стройку, и к лучшему: маловероятно, что я выжил бы на лесоповале.

## ЛЕСОПОВАЛ

В конце 1938 года нас, политических заключенных из Магнитогорского централа, перевезли целым составом в Архангельскую область.

Большинство попали на лесоповал. В глубине тайги – бараки и палатки, окруженные тыновой зоной. Для нас устроены сплошные двухъярусные нары, не из досок, а из жердей. Никаких постелей. Даже матрасов, набитых опилками, как бывало в других лагерях, нет. Как спать на круглых жердях? Приходят узники после четырнадцатичасового рабочего дня из тайги, мокрые по пояс, спят, не раздеваясь, в телогрейках, ватных брюках, шапках. Ноги на ночь обматывают мокрыми же портянками. Жерди на нарах по толщине разные, сучки на них стесаны плохо, вот и давят они до кости.

В любой экстремальной ситуации человек, пока жив, что-то придумает для своего спасения. И мы додумались пронести в зону из леса хвойные лапки. Оборвал с них хвою и подстилай под бок. Где-то и колет, но лучше все-таки – не голые кругляки. Хвоя, подсыхая, трухой падает сквозь щелки на спящих внизу. Уши к ночи мы закрывали шапками, глаза – не спасешь. Про-

снувшись, их враз не откроешь: вначале пальцами надо выскоблить из них пыль и мусор, упавшие с верхних нар. «Блаженство» наше продолжалось недолго: узрели надзиратели сухую хвою на нарах и под страхом наказания заставили чисто вымести, выбросить – дескать, пожароопасно. Постепенно стала шелушиться кора с жердей. Всю ее запихивали в промежутки между жердями. Но и это приказали вымести. Чем бы сточить торчащие под боком сучки? Топор в зону из леса не пронесешь (обнаружат на вахте – убьют!), никаких острорежущих предметов в тайге, естественно, нет. На стройке – проще там, хоть какую-нибудь железку найдешь. Выдрали из печки кирпич, начали им сучки скоблить. Увидели – отобрали.

Брезентовые стены палатки хлопают всю ночь по торцам нар. В палатке нас две сотни. Дышим. К утру изморозь на брезенте, шапка примерзает.

Ноги, укутанные на ночь в сырые портянки, приходится обувать и в лапти, поскольку без завязок тряпки с ног спадают. Вот и спим в лаптях. Зимой на ногах у нас не валенки – бахилы, чуни. Это стеганные на вате безразмерные чулки безобразного покроя, вроде рукава от старой телогрейки. Шили их из разного цвета тряпья – половина серая, другая красная или желтая. На чуни обували лапти. И то и другое в каптерке выдавали на определенный срок. Износишь раньше – хоть босиком ходи, другого не получишь.

В лагере есть камера для сушки бахил. Маленькая. Набивали ее туго, поэтому за ночь мокрая вата делалась только чуть теплей. Утром мокрые чуни на ноги – и на развод. Повесит зек свои чуни в сушилку, а до барака метров сто-двести, в чем по снегу бежать? Запасной-то обуви нет. Дуй босиком. А хошь – лапти на босу ногу надень. Чтоб не замочить портянки, бегали в лаптях на босу ногу. Портянки на ногах сушили. Сушить чуни, собственно, и бесполезно – поутру снова в талый снег вокруг костров.

Тук\* с хвоей не бросишь в костер издали – надо подойти ближе.

---

\* Тук – преляя листва.

Вот и хлюпает вода в наших чунях весь день. А мороз за двадцать.

Пока в тюрьмах сидели, парясь и задыхаясь от жары, все, на ком были кальсоны, обрезали их стеклышком, превращая в тусы. Обрезки штанин увезли в лагерь. Знали уже: любая тряпка пригодится в неволе.

При работе у костров ватные бахилы прогорают, в дыры попадет снег. Зашить дыры нечем. Нет у нас ни иглы, ни ниток. Даже никакой проволоочки нет. Из дыр торчит вата, и все мы «мохнолапые». Что намотать на ноги, чтобы хоть чуть отеплиться? Видим: мертвецов из зоны вывозят штабелем на санях, связанных веревкой. Осмелели мы, озверели. Стали снимать с мертвых одежду, делить, что кому достанется. Кому рукава кусок, кому штанина от кальсон. Наматывают их, а сквозь дыры в чунях белое-то видно. На проходной таких ловят. И не докажешь, что на тебе собственные же ремки\*. Разували прямо на снегу – и в кондей (карцер). Оттуда уже не возвращались, гибли с голода. Позже придумали: стали белые тряпки мазать золой, угольями.

Мертвые тела не зарывают. Их сваливают в болото, чуть присыпав снегом. Звери обгложут мясо, а кости сами по весне уйдут в бездонную лабзу\*\*. Не надо и могил рыть.

Снег в тайге глубок, откидывать его от стволов деревьев нечем. Лопат не дают. Отгребаем ногами, обутыми в лапти, а убирать снег велят почти до земли, высокие пни не разрешают оставлять. Все мы пилим ели, стоя возле деревьев на коленях. В наклон мы не можем, голова кружится, силы нету. Какие мы лесорубы после тюрем! Мы – живые тени завтрашних трупов. Спилишь высоко – заставят срезать с пенька колечко, порою с ладонь толщиной. Это уж для издевки, для показа власти над обреченными. А не спилишь диск – вольный десятник не примет работу всего дня, напишет на твоей справке «нормы нет». Каждый день (а он тут с гулькин нос – все больше ночь черная), идем за три версты в лагерь, несем туда мертвые чурки дров. На концах их десятник пишет нам те справки. Справка «нормы нет» значит смертный при-

\* Ремки – обноски (тюремно-лагерный сленг).

\*\* Лабза – жидкая торфяная масса, тряси́на.

говор: не пустят на ночь в лагерь. И ежедневно такие обреченные на погибель, бросив свое бревно с плеча, уходят от закрытых ворот в деляну обратно – к своему костру согреться. Там жуют хвою, старые листья берез. Завтра голодный и полнормы не напилит. Значит, погибать тебе тут у костра, недалеко от болота, куда кидают трупы.

Пилы точат редко, а тупую много не напилишь: мерзлая древесина – что железо. Ленточки-участки каждой отдельной паре отделяют такие узкие, что набок падающее косое дерево нередко захватывает соседей. «Бойся, бойся!» – кричим, а куда убежать успеешь в сучьях и глубоком снегу? Так тебя и накроет деревом. Часто так и убивали друг друга.

Снег в тайге заменяет кандалы. В побег без лыж не сунешься. Проселочная тропа к железной дороге только одна. На ней стоит избушка, мимо нее не пройдешь, там стрелки с пулеметом. Зимой мы ходим в деляну за три версты без конвоя. Ближе к весне, когда снег уже садится, нас снова берут под охрану. В мартовскую пургу идем колонной, уставшие, голодные, да еще с метровым бревном на плече. Дорога тут корытом. Чуть оступишься, поскользнешься, упадешь – сразу пристрелят. За убитого при такой вот «попытке к побегу» стрелкам платят по 25 рублей за голову: человек-узник дешевле шкурки ондатры.

В буран ни зги не видно, колонна растянулась, стрелки орут: «Стой!» – не слышно. Все тихо волокутся дальше. Тогда два-три стрелка по несколько раз стреляют вдоль колонны. Многих убивали, десятки ранили. Хоть сколько убьют – никто за произвол не ответит. Тут закон – тайга.

## Гора Золотая

Приземистые, корявые березы, наполовину пожелтевшие, слегка шелестят полумертвым уже листом. По их возрасту трудно определить, что они видели то, что происходило возле них ночами полвека назад...

Рядом с Челябинском есть деревенька Шершни, а по соседству с ней Золотая гора. «Золотая» – название не символическое, тут до революции, да и в годы нэпа артели старателей добывали золото – рыли шурфы до полусотни метров глубиной и из поднятого на поверхность яркого, желтого песка вымывали драгоценный металл.

9 сентября 1989 года. Тихий, солнечный день. Сегодня более шести тысяч челябинцев и приезжих из многих областей и районов страны пришли сюда на траурный митинг, посвященный перезахоронению останков жертв сталинских репрессий. По пути к новой могиле каждый подходил к трем шурфам, еще не открытым, где в черной темноте лежат человеческие кости... Для их раскопок придет время, видимо, в следующем году. А пока открыты, и то не до дна, три таких же шурфа шагах в сорока от нового места захоронения.

По найденным документам (справкам НКВД) все триста шестьдесят скелетов – останки людей, доставленных из курганской тюрьмы, т. е. проживавших в 37–38-х годах на территории нынешней Курганской области. Даже печать резиновую нашли: «Мишкинская МТС. Профсоюзный комитет», это рассказал мне руководитель раскопа археолог Григорий Яковлевич Маламуд. Значит, первая могила в мемориале – могила курганцев.

...Огромный глубокий котлован, в него сделан спуск – лестничный марш, на дне – пятнадцать обитых темно-серым гробов. По форме это, собственно, не гробы – ящики с большой канцелярский стол.

Я один тут от Курганской области. С комом в горле стою на са-

мом краю могилы... Может, это не я стою, старик семидесятилетний, а тот парень-комсомолец тридцать седьмого года, чудом спасшийся от расстрела. Склоняюсь над гробами... Может, вот в этом, на который оперся рукой, лежали бы и мои кости... Может, там останки Василия Тюменева, секретаря редакции чашинской райгазеты? Свидание через полвека... Простите меня, простите, Христа ради, друзья и товарищи мои по централу, простите за то, что вы тут, а я остался жив. Я за вас жил на этой земле.

Выйдя, я тихо сказал, что являюсь живым свидетелем гибели покоящихся в этих гробах людей. Все стихли, просили говорить громче, ибо то, что я рассказывал, волновало каждого, кого так или иначе задело черное крыло репрессий... Слезы. Цветы. Они осыплют потом могилу.

Рассказал, как душили нас в остроге – гигантской душегубке с заложенными кирпичом окнами. Жестокий «вождь» изобрел невиданные от сотворения мира средства истребления безвинных, безропотных соотечественников. Геноцид выкосил десятки миллионов граждан России, лучших ее сынов и дочерей... Тысячи безвестных свалок костей развеяны по стране, все меньше и меньше остается живых свидетелей, знающих места потаенных захоронений, и очевидцев дикого разгула сталинского НКВД. Остаются боль души и скорь родственников.

Меня окружают плотным кольцом и в слезах кричат, не знали я такого-то или такого-то. Но, к великому их сожалению, тех фамилий я не вспомнил, хотя может и сидел в центре, в одной камере...

Шершни, Шершни... Почему именно здесь начали поиски останков? Из-за наличия старых шурфов? Или живых стариков, помнящих или видевших ночные злодеяния энкаведэшников?

В моей повести «Дороги» в журнале «Сибирские огни» (№ 3 за 1989 год) есть такие слова: «места в старых силосных ямах села Шершни», и еще: «А в Шершни досрочно не желаете?» Летом 38-го года от рыжего баландёра мы узнали, что наших политических возят в Шершни, пробивают покойникам лопатой головы, стреляют либо колют в живот вилами и кидают в старые силосные

ямы. Делалось это со всеми, дабы живой не притворился мертвым.

Всю кроваво-черную работу выполняли не сами энкавэдэшники – они стояли в оцеплении, и только четверо из них командовали самим процессом истребления. Заключенные бытовики или уголовники выгружали из машин трупы расстрелянных, волочили их до ям и сбрасывали вниз, вонзив вилы-двухрожки под дыхло. Тех, кого привозили сюда живыми, ставили на край котлована и убивали всякого вилами в пузо, кого молотком по «кумполу». Местные шершневские старики сказывали, что конвейер этот работал круглосуточно.

С кромки шахты перед многочисленной толпой, пришибленной ужасом, криминалист разъяснил, почему у большинства черепов дырки не в виске или в затылке, а сверху, а это значит, что их не расстреливали, а убивали молотком на длинной ручке – расстреливали-то в специальной камере, прямо во дворе правления НКВД. Нам эту камеру потом показали.

Спросили дознавателей, как доставляли трупы до середины ствола, коли шахта диаметром более 15 метров. Оказывается, рацпредложение чье-то применили: в двух шагах от обрыва ставили колодезный журавль с двумя крюками на верхнем конце вместо бадьи. Крюки захватывали жертву, как грейфером, держали за веревку, крючки открывались, и труп плюхался как попало: вон посреди скелетов мужских лежит женский, а поперек своей мамы скелетик детский. Тут у многих женщин «сдали тормоза» – раздался плач навзрыд.

Все пять шахт заполнены человеческими костями на всю глубину. Археологи работают деревянными лопатками, кисточками обметают каждую косточку. За лето девяностого года курганскую шахту углубили еще метра на два, обнаружили 286 скелетов. Работать глубже без крепления стен уже опасно – могут случиться обвалы. Крепить стены в яме диаметром до двадцати метров – занятие дорогое, городская власть денег больше не дает. Оставшиеся в шахте на глубине до шестидесяти метров останутся в ней навечно не похороненными и превратятся в пыль.

До весны 1990 года та же группа московских археологов про-

должила раскопки курганской шахты на Золотой горе. Летом того же года мне как члену правления челябинского «Мемориала» удалось побывать на Золотой горе в самый разгар вскрышных работ. Кости, кости, сплюснутые грудные клетки, ребра... целее выглядят черепа, но и их, и другие части скелета перед тем, как взять в руки, опрыскивают составом отвердителя, иначе они рассыпаются. Время превратило их в прах.

Так же, как в 89-м, кости сложили в большие ящики, обитые серой тканью. Ствол курганской шахты засыпали привезенной землей, заровняли. Вырыли вторую могилу, рядом с прошлогодней, и 9 сентября 1990 года состоялось перезахоронение останков наших земляков.

Дети и внуки безвинно казненных в годы большого террора, помните это место, приезжайте в Челябинск, приходите на Золотую гору уронить слезу...



# **СТЕФАН ГРЮНБЕРГ**

## **Из Освенцима в ГУЛАГ**

**Главы из книги «Недочеловеки»**

### **От составителя**

Сталинград. 1943 год. Мы с мамой живем в крохотной комнатухе одного из уцелевших барачков. В комнате напротив поселили Анну Марковну Дирингерову, польскую еврейку, бежавшую из Лодзи после оккупации Польши немцами. В Станиславе (ныне Ивано-Франковск) она познакомилась с советским журналистом Стефаном Грюнбергом и вышла за него замуж. Уже 22 июня 1941 года Грюнберг был призван в армию. С Анной Марковной остался его сын от первого брака Дима.

Дмитрий был моим ровесником и мы вскоре подружились.

В конце мая или начале июня 1945 года Анна Марковна с Димой получили письмо с неизвестными марками, почтовыми штемпелями Франции и каких-то африканских и ближневосточных почтовых служб и обратным адресом: Париж, ул. Генерала Апера, 6, для Бухенвальда. Письмо было от Диминого отца. Он рассказывал, как раненый под Киевом попал в немецкий плен, два года просидел в берлинской тюрьме, а потом был отправлен в Бухенвальд. Там стал одним из руководителей антифашистского подполья и редактором подпольной лагерной газеты.

После войны жизнь нас с Дмитрием надолго развела, но в 1991 году он нашел мой адрес через редакцию «Огонька», и с тех пор наша связь продолжается в эпистолярной форме. Однажды он ненадолго приезжал в Москву и мы с ним встретились после 57-летнего перерыва.

В 70-е годы в журнале «Уральский следопыт» кто-то из быв-

ших узников Бухенвальда упомянул имя Грюнберга. Было там и подтверждение тому, о чём он писал из Бухенвальда в 1945 году. Потом я узнал, что советская власть за то, что он остался жив, «отблагодарила» его десятью годами ГУЛАГа. Освободился он только после XX съезда КПСС.

На основе своих походов в учреждениях гитлеровской и сталинской карательных систем он написал роман «Недочеловеки». Авторский экземпляр книги хранится у меня. Копию с него я депонировал в архиве «Мемориала», но помимо этого не теряю надежды, что книга выйдет в одном из российских издательств.

С полным текстом романа можно познакомиться  
на сайте [proza.ru](http://proza.ru)

*Андрей Благовещенский*

## № 104261

Через решетчатое окно Жаку был виден дворик, вернее, усыпанный речной галькой проход между двумя кирпичными бараками. По дворику сновали люди в полосатой одежде заключённых. Их движения были вялы, голоса звучали надтреснуто. Впрочем, все звуки стирались шорохом шаркающих по гальке деревянных башмаков.

Неожиданно сквозь неясный шум прозвучала мелодия итальянской песни «О, моё солнце». Её выдувал на губной гармошке кто-то из заключённых. Песенка росла и цвела, как цветок на пустыре. Люди прислушивались удивлённые, со вновь родившейся надеждой. Улыбки блуждали вокруг глаз, движение во дворике остановилось, многим в это мгновение приснилась давно забытая женская ласка. Вдруг нежную призывную мелодию срезал вырвавшийся из соседнего барака вой. Вой был страшен, он повис

в воздухе мертвящей угрозой. Заключённые сбились в кучу. Кто-то придумал объяснение: в бараке, где помещалось хирургическое отделение больницы, производилась, мол, перевязка после операции, бинт прилип к послеоперационному шву, его отрывают от шва, и это очень больно. Многие из новичков-заключённых, которые наполняли дворик, с радостью ухватились за эту версию. Она освободила от преследовавшего страха, на несколько мгновений уползшего в свою берлогу. На самом деле это доктор Вевис анатомировал без наркоза живого человека.

Время было обеденное. Люди принесли с собой миски и ждали с нетерпением момента, когда можно будет предаться наслаждению приема пищи. Наконец принесли бочки с супом. Удар половника о пустую миску оповестил о начале раздачи. Очередь установилась не сразу. Более опытные заключённые выжидали, в надежде, что им останется гуща со дна. Получив свои порции, они садились спиной к стене. Другие ели стоя, поставив миски на подоконники. Бывало, что дневальные сбрасывали миски с подоконников; на стороне дневальных были правила внутреннего распорядка, и пострадавшие не протестовали, а отправлялись за получением добавки, выклянчивая её у капо, который обыкновенно оставался непреклонным и разгонял голодных половником: он должен был удовлетворить «законных» прихлебателей – мойщиков посуды да всяких там придурков, коим был положен «нахшляг»\*.

Заполнявшие дворик заключённые принадлежали к прибывшему накануне «транспорту». Они не были размещены по баракам и не получили ещё номеров. Глядя на них с высоты своей койки у окна, Жак Берзелин понял, как ему повезло: он сразу же попал в «оздоровительный» барак. Правда, блаженство длилось всего три недели (как раз сегодня эти три недели подходили к концу).

В тот унылый мартовский день они долго простояли у ворот. Мимо катились гружённые мешками двуколки, которые тащили запряженные цугом заключённые. На мешках восседали люди

---

\* Нахшляг – добавка, дополнительная порция (нем.).

с жёлтыми повязками, они подгоняли заключённых бичами. Из ворот выбежал карлик в одежде заключённого и лакированных сапожках. Он бросился на стоящих в первом ряду цуганов\* и стал бить их своими подкованными сапогами по ногам, визжа и гримасничая. Это продолжалось до тех пор, пока один из дежуривших у «брамы\*\*» эсэсовцев не отозвал его свистом, как собаку. Карлик подполз к эсэсовцу хныкая, тот прогнал его пинком ноги.

Наконец ворота открылись. В одном из бараков всех новоприбывших обрили и погнали голыми через весь лагерь в баню. Баня была на замке, и им пришлось долго ждать. Люди жались друг к другу и тряслись от холода. Баню открыли, цуганов обдали горячей водой и заперли в бане на ключ. Под вечер явился щуплый рыжеватый заключённый в очках, сгибаясь под тяжестью весов, которые тащил на спине. Локтем правой руки он прижимал к телу большую конторскую книгу в чёрном переплёте. Он обвёл присутствующих близоруким взглядом, который придавал его веснушчатому мальчишескому лицу измученное выражение. Двое других заключённых внесли белый столик с поставленной на него табуреткой и, оглядываясь кругом, почему-то засмеялись. Вслед за ними появился человек в белом халате, по-видимому врач-эсэовец. Эсэовец уставился бычьим взглядом на голых цуганов, сплюнул и встал у окна в позе вельможи, рассматривающего в присутствии художника, заказанный им портрет.

– Подходи по одному! – крикнул рыжеватый.

Очередь установилась быстро, всем захотелось поскорее закончить эту процедуру. Заключённые дрожали от нервного возбуждения. Когда очередь дошла до Жака, рыжеватый как-то особенно долго приводил весы в порядок.

– Кто?– спросил он Жака, передвигая гирьку.

– Военнопленный.

– Солдат?

– Какая разница.

---

\* Цуган – вновь прибывший (нем.).

\*\* Брама – ворота (польск.).

– Перебежчик?

Жак поднял свою изуродованную руку.

– Чем?

– Осколком.

– Когда?

– В сорок первом.

– Где был с тех пор?

– Сидел в тюрьме.

– Поможешь мне потом отнести весы. Рост – сто семьдесят два, вес – пятьдесят шесть четыреста, – прибавил он громко. – Следующий!

Врач приложил стетоскоп к груди Жака, повернул его за плечо и ударил по пояснице. Когда Жак оделся, выхватывая из кучи принесённого тем временем белья и обмундирования штаны, рубашку и куртку (примерять их было некогда), ему стало скучно, как на именинах у тёти Ванды, когда были вручены подарки, и приходилось ждать угощения. Он подошёл к рыжеватому, который, справившись с взвешиванием и измерением роста, заносил что-то в конторскую книгу. Внезапно тот поднял лицо и улыбнулся улыбкой мальчишки, только что отколовшего удачный номер.

– Так мы тёзки. Ты, оказывается, Жак, а я Яша.

– Одно и то же самое люди по-разному называют.

– Ха! Я вижу, ты философ! – Он взял конторскую книгу подмышку и ухватился за весы.

– Дай, я сам! – Запротестовал Жак.

– Ты на себя слишком много не бери, – возразил Яша. – В лагере надо притворяться более слабым, чем ты есть. Откуда знаешь так хорошо немецкий?

– Длинная история.

– Ладно. Длинные истории на потом.

Они понесли весы вдвоём. Яша по дороге то и дело щурил глаза, приветствуя знакомых. Они вошли в один из барачков и, поднявшись на несколько ступеней по лестнице, попали в большую палату, уставленную деревянными трёхэтажными койками. На койках лежали или сидели люди, тупо глазевшие

в пространство. Жак и Яша прошли по проходу между койками и остановились у застеклённых матовым стеклом дверей, на которых висела надпись: «Не рассказывай сказок, говори дело!»

– Ты меня здесь подожди, – сказал Яша и один втащил весы за перегородку.

Жак огляделся. Палата представляла собой зал метров сорок в длину и десять в ширину. Свет в него попадал через широкие, застеклённые мелкими стёклами окна. С потолка свисали гирлянды искусственных цветов. В простенках между окнами висели плакаты. На одном из них была выведена подпись: «Верстовые столбы к свободе – послушание, прилежание, правдивость, скромность, аккуратность и услужливость». На другом плакате была изображена огромная вошь и человеческий череп. Третий плакат поведал о том, что юмор заключается в способности смеяться вопреки всему.

– Всё в порядке! – крикнул Яша в приоткрытую дверь. – Остаешься здесь. Твоё место у четвёртого окна наверху.

Жак хотел выразить свою признательность, но Яша отрезал:

– Ложись. Лежи и помалкивай!

После обеда Жак со своей койки наблюдал за дневальным, как тот поливал водой проход между койками и скрёб стеклом мокрые доски пола. Дневальный был грузный мужчина с красными, напоминающими ласты руками. Он стоял на четвереньках и в своей полосатой куртке был похож на какое-то животное триасового периода. На нижней полке сидел молодой парнишка. Он водил пальцем по изодранным страницам иллюстрированного журнала и повторял вполголоса, словно убеждая кого-то:

– Сверху двадцать, снизу пять, слева шестнадцать, справа семь... Нет! Сверху двадцать четыре, слева шестнадцать, справа одиннадцать, слева...

Он поднял голову и уставился на голые ступни Жака.

– Старый, эй, старый!

Жак не сразу понял, что это относится к нему. «Неужели я про-

извожу впечатление старика?» – подумал он. Спросил, словно просыпаясь:

– Что, Костя?

– Ты у меня хлеб спёр, – тихо, но внятно сказал Костя. – Отдай мне хлеб!

Жак оглянулся. Никто не обратил внимания на слова Кости. Дневальный продолжал скрести пол, не отводя глаз от досок пола. Жак порылся под подушкой, достал завёрнутый в тряпицу кусок чёрствого хлеба, остаток от вчерашней пайки и протянул его Косте.

– На, но знай, твоего хлеба я не брал.

Костя взял хлеб, стал его крошить, раскладывая крошки кучками по одеялу. Жак вскрикнул с испугом:

– Что ты делаешь!?

Вместо ответа Костя пытался встать на голову, но его ослабевшие руки не выдержали тяжести тела, и он рухнул на пол посередине выплеснутой дневальным на половицы лужи. Костя тихо засмеялся и покачал головой. Постепенно его лицо стало принимать напряжённое выражение, он выглянул в окно, приподнимаясь на своей койке.

– Старый, эй старый! Что это? Где это? Почему так...? Люди полосатые ходят... и смеются, как клоуны... и прожекторы по ночам... Цирк?

– Да, цирк, Костя.

– А я не хочу! Не хочу, – закричал вдруг Костя, пряча своё лицо в подушку.

Жак сполз со своей койки, подсел к Косте и положил ему руку на плечо.

– Не надо так, Костя. Ведь рыжие на то, чтобы шутить!

Но Костя его не слушал. Он теперь кричал, размахивая кулаками:

– Собаки! Их человечиною кормят!

Жак, как некогда во время репетиции, стал мучительно искать слово, интонацию, которые помогли бы найти образ и следовать по извилистым тропинкам режиссёрского замысла:

– Ты же пойми, Костя, они ничего не могут с нами сделать.

Ведь им не хватает для этого воображения. Они могут представить себе жратву, ну, скажем, голую бабу. Дальше им фантазии не хватит. А у тебя, у меня, у всех нас волшебная палочка. Стоит нам до неё дотронуться, и всё! Вот видишь – на реке пароход. Он нас ждёт, завтра мы уплываем... с берега нас не достать. Пока всё тихо, только канаты поскрипывают, вода плещется, рыба дремлет... Мы спустимся по откосу вниз, в траве незабудки, а над ними стрекозы. Они, играя, сталкиваются друг с другом, как будто им мало места. Мы знаем, это не стрекозы, а рыцари, закованные в кольчуги и латы. Они на турнире, всё поглядывают вниз на незабудки, не улыбнутся ли они им. А за такую улыбку можно ведь всё отдать, правда, Костя?

Он уложил Костю, прикрыв его одеялом.

– Спит? – спросил скребущий пол дневальный.

– Спит.

– Несчастный парнишка!

– Т-сст!

На койке исхудалого больного сидел Марк Маркович. Марк Маркович был врачом, сыном известного до революции адвоката, крещёного еврея, белоэмигранта, женившегося на француженке.

– Вы меня слышите? – кричал Марк Маркович и тормошил больного. – Вы меня слышите? Как ваша фамилия? Отвечайте! Громче! Не понимаю!

Больной качнул головой.

– К-кекс!

– Как вы сказали?

Внезапно, как будто он только что обрёл дар речи, больной заговорил быстро, словно боясь, что не успеет высказаться:

– Лимонный кекс. Жорж. Кайзерштрассе, 17. Позднее – улица легионов. Львов – Лемберг.

– Так-так. Адрес. Ну, и что?

– У меня была дочь. Танцовщица. Скажите, доктор, как по-вашему... есть загробная жизнь?

– Не знаю.

– Должна быть. Иначе такая жизнь, как моя, просто... бессмыслица.

Он вдруг обмяк, как воздушный шар, из которого вышел газ.. Марк Маркович уставился неподвижным взглядом на перекладину верхней койки.

– Скажите, а с вашей дочерью что стало?

– О, моя дочь! Если хотите знать, она знаменитость.

– Вот как! Кто же она такая?

– Когда меня при аресте спросили, нет ли у меня родственников, и я назвал имя моей дочери, гестаповцы переглянулись, и один из них спросил другого: неужели та самая? Они не смели меня пальцем тронуть, когда узнали, что я отец Лили. У неё был любовник – знаете кто?! Сам...

С Марком Марковичем происходило нечто странное. Он открывал и закрывал рот, как живая рыба на кухонном столе. Наконец, он выдавил из себя:

– Лили Брон... Она здесь. В женском лагере.

Больной схватил Марка Марковича за руку и сжал её с неожиданной силой. Он выпучил глаза, потом замотал головой и прохрипел:

– Проклятие на мою голову!

Он откинулся на набитую соломой подушку. Подушка зашелестела, словно в ней гнездились змеи.

– Шприц! – крикнул Марк Маркович, но никто его не слышал. Он побежал за перегородку в процедурную и поспешно наполнил шприц. Когда он вернулся к койке больного, тот лежал, вытянувшись, по его телу пробежали судороги, слюна на его губах то пузырилась, то опадала. Это была агония. Марк Маркович подождал немного, послушал сердце, приподнял веки, потом натянул на лицо умершего одеяло. Вернувшись в процедурную, он выдавил содержимое шприца через открытое окно на улицу.

– Номер 104231 экзит, – сказал он, не поворачиваясь, Яше, который чертил на развёрнутом листе бумаги.

– Я уже отметил.

– Ты всегда забегашь вперёд, Яша.

– Можно было ожидать. Пеллагра четвёртой степени и стенокардия.

– Твоего русского, – сказал после паузы Марк Маркович, – придётся выписать. Он уже больше трёх недель здесь.

– Почему – моего? Он такой же мой, как и ваш.

Снова пауза.

– Ты мне не доверяешь, Яша?

– Почему вы думаете, что я вам не доверяю?

– Что за еврейская привычка отвечать на вопрос вопросом.

– Подумаешь! Вы ведь тоже еврей!

– Зачем грубить? Вам же, как врачу, известно, что идиоту не следует об этом напоминать.

– Иногда следует.

– А если учесть, что мой отец крещён...

Яша посмотрел насмешливо на Марка Марковича, пожал плечами.

– Для тебя и твоих единомышленников я просто сын белоэмигранта. Хотя мой отец защищал революционеров.

– Мало кого приходится защищать адвокатам...

– Вы всё упрощаете.

– Тонкости оставим на потом, хорошо?

– Какие же это тонкости? Человеку приклеивают ярлык. Что наци, то же и коммунисты!

Старосту барака Шпаковского в лагере прозвали «Хлыстом» за его порочную гибкость и злую въедливость. Особенно придирчив он был к своим подчинённым.

Вот и теперь, появившись в палате, он набросился на моющего пол дневального:

– Так моют полы?! Я тебе покажу, как мыть пол! Ты думаешь, что сможешь спрятаться за моей спиной, когда тебя будут выписывать на газ?!.. Не выйдет!

Привстав на носки, так как был ниже ростом, Шпаковский стал бить дневального по лицу, приговаривая: «Ду шпекегэр\*!». Дне-

---

\* Ду шпекегэр – кусок сала (нем.).

вальный споткнулся о ведро с водой и упал. Шпаковский пнул его ногой и закричал тонким голосом кастрата:

– Будешь знать, свинья!

Марк Маркович, нервно поёживаясь, приоткрыл дверь в палату.

– В чём дело?

– Какие люди, пане доктоже! – запричитал Шпаковский. – Стараешься создать им условия, а они только и думают, как бы подгадить!

– Не кричите так, здесь больные.

– А я на них хотел на... – не унимался Шпаковский и прибавил под видом оправдания: – Сейчас будет Вевис здесь.

Все засуетились. Марк Маркович стал прибираться в шкафчике, Яша сложил бумаги и спрятал их в ящик стола, Шпаковский извлёк из кармана лоскут бумаги, скомкал его и принялся протирать окно.

– Почему ты не дал ему сдачи? – спросил Жак дневального.

– А почему я должен давать ему сдачи? – спросил тот.

– Как же? Человек бил тебя...

– Это бил меня не человек. Это бил меня Он рукой человека, – дневальный показал глазами вверх.

– За что Он стал бы тебя бить – набожного еврея?

– Ему есть за что бить каждого человека, – дневальный отошёл в сторону, продолжая скрести стеклом доски пола.

Обершарфюрер Рюльке любил появляться внезапно, как чёрт из табакерки. Предвестник грозы, он полыхал зарницами деланного гнева.

– Ви?! Вас?! – закричал он, увидев Валентина на лежанке.

Марк Маркович, давая Валентину запить таблетку брома, счёл себя обязанным пояснить:

– Нервный припадок, господин .

– Нервный припадок... – передразнил его эсэсовец. – Я тебе дам нервы, шлявинер\*! Марш! Бегом!

Валентин сорвался с лежанки.

---

\* Шлявинер – бродяга (нем.).

– Сразу вылечил! – захохотал эсэсовец.

Шпаковский подобострастно хихикнул.

– Сегодня явится господин эсэс-оберарцт\* доктор фон Вевис! Понятно?! Чтоб был порядок! Шпаковский!

– Есть, господин!

– У вас имеется, чем прополоскать горло?

– Для вас, господин, всегда найдётся!

Шпаковский движением головы указал Марку Марковичу на шкафчик с эмблемой Красного Креста. Марк Маркович налил в мензурку какой-то прозрачной жидкости.

– Мы должны благодарить господа Бога, что он послал нам такое начальство, как господин! – вывел фиоритуру Шпаковский.

– Без воды? – спросил эсэсовец.

– Самую малость. Ещё глоточек, господин?

– Можно.

– Как господин эсэс-оберарцт сегодня? Какое у него настроение?

– Шут его знает. Вчера, под вечер подошёл состав с жидами из Словакии. Как обычно, женщины, старики, дети. Выдали им по кусочку мыла и по полотенцу, в баню, мол. Две газовых камеры, по двести человек в каждой. Оказались лишние. Так лишних прямо в печи...

Он передал мензурку Яше и вытер усы тыльной стороной руки. Яша побледнел и уронил мензурку. Она разбилась о пол.

– Раззява! Убери! – Шпаковский подтолкнул кусок стекла ногой.

Яша взял в углу заменявшую совок дощечку и метёлку и стал подметать осколки разбитой посуды. Для удобства или по другой причине он при этом опустил на колени. Но вдруг он прекратил своё занятие и стал дуть в пространство.

– Откуда пух? Всё полно гусиным пухом!

– Тоже с нервами не в порядке? – спросил эсэсовец, морща нос.

– У него в Словакии остались мать и сёстры, – сказал Марк Маркович. – Всё о них вспоминает.

---

\* Оберарцт – главный врач (нем.).

Что-то дрогнуло в лице эсэсовца, но он тут же сумел придать своему лицу уставное невозмутимое выражение.

– Блокельтестер\*!

– Есть, господин, – отозвался Шпаковский.

– Пойдём-ка к твоим нормальным сумасшедшим.

Они вышли. Шпаковский с довольным видом, что эсэсовец удостоил его высокой чести, подвёл его к койке больного, который, выпятив губы, что-то бормотал...

– Разве можно так распускаться? – с упрёком сказал Марк Маркович, как только они остались вдвоём.

– Вы только никому... – попросил Яша по-детски.

– Можешь быть спокойным, врачебная этика обязывает...

– Спасибо, – Яша протянул руку Марку Марковичу. – Я бываю, может быть, несправедлив к вам. Так уж извините.

– Ничего. Я понимаю. Это бегство. Бегство в безумие. Со всяким может случиться...

– Яне побегу, Марк Маркович. Можете быть уверены, яне побегу.

– Не зарекайся, Яша! Ведь мы все здесь немного сумасшедшие.

Тем временем Шпаковский и эсэсовец стояли у койки «австрийского кайзера» – Казё или Казимира Первого.

– Сейчас же собрать всю мою армию, – распорядился Казё.

– Ваше монаршее величество собирается воевать? – спросил с озабоченным видом эсэсовец.

– Долой всех Пифке! Смерть Мармеладингерам! – выкрикнул Казё.

– За что такая немилость?

Казё пожевал и сплюнул:

– Никакого вкуса.

– Я всегда оставался верным подданным вашего величества, – заверил эсэсовец.

– Ты что? Ты – гля!

Эсэсовец крикнул, Шпаковский нервно повёл плечами.

---

\* Блокельтестер – староста барака (нем.).

– Как это ты, Казё, имея столько солдат, попал сюда? – спросил он, когда эсэсовец перестал хохотать.

– Так же, как и ты. Я спал, и меня украли мои сапоги с серебряными шпорами.

– Но за что тебя посадили? – качая головой, спросил эсэсовец.

– Жидам воду возил.

– Больше ничего?

– Под хайрем\*, больше ничего.

Ловя улыбку на лице эсэсовца, Шпаковский бил себя по ляжкам.

– Дай закурить, – попросил Казё у эсэсовца.

– Честное слово, забыл прихватить, – притворно ища по карманам, заявил эсэсовец. – Дай ему покурить, – он ткнул локтем Шпаковского.

– Я с двух лет бросил курить, – сострил тот.

– Так чего здесь шляется? Пошли вон!

Эсэсовец схватил себя за живот. Но вдруг его смех оборвался. Сначала издали, потом приближаясь, раздавались команды: «Ахтунг!»

В палату вошёл фон Вевис. Не обращая ни на кого внимания, он прошёл в процедурную. Шпаковский, согнувшись, забежал вперёд, чтобы открыть перед ним дверь. Высокий, с покатыми плечами и маленькой головкой страуса, Вевис, смешно подпрыгивая, подошёл к окну и провёл рукой в белой лайковой перчатке по подоконнику.

– Почему здесь грязно? – оглядывая перчатку, спросил он скрипучим голосом.

– Крематорий близко, господин эсэс-оберарцт, – объяснил Марк Маркович.

– Чтoб этого безобразия больше не было!

– Слушаюсь, господин эсэс-оберарцт.

Вевис оттянул рукав мундира, словно желая взглянуть на наручные часы. Марк Маркович вынул из шкафа шприц, вставил иглу и наполнил шприц жидкостью из ампулы, ко-

---

\* Под хайрем – клянусь.

торую предварительно разбил. Движения его были какие-то судорожные, он никак не мог попасть иглой в ампулу.

Фон Вевис вырвал шприц из руки Марка Марковича и сделал себе сам укол в предплечье.

– Признайся, мерзавец, – скосив глаза на Марка Марковича, сказал он, – ты охотно дал бы мне вместо морфия что-нибудь другое?.. Приготовить формуляры! – бросил он через плечо.

Яша поспешно вынул из ящика кипу формуляров, положил, подровняв, на стол, а сам стал около весов. Вевис снял фуражку и положил её перед собой на стол. Загнав в глазную впадину монокль, он стал просматривать формуляры.

– Все здесь? – спросил он у Яши.

– Все.

– Проверю.

– Проверяйте...

– Ви? Вас! Как разговариваешь, скотина!

Все ждали неминуемой, казалось, расправы. Но тут раздался звук, напоминающий скрежет тормозов.

– Ну и гусь! – сказал Вевис, показывая пальцем на Яшу.

– Гуси дают хороший пух, – сказал Яша.

Лицо Марка Марковича приняло напряжённое выражение.

– Отличный, – согласился Вевис.

– На пуховых подушках мягко спать.

– И тут ты прав...

– Но всё же... если на них долго лежать, то пух сбивается в комок.

Вевис кивнул.

– И пух может превратиться в камень!

– Запиши ты этого молодчика на пятницу. Пусть ему отсчитают двадцать пять. Может быть, и его зад превратится в камень, – обращаясь к эсэсовцу, распорядился Вевис.

Эсэсовец вынул из кармана записную книжку и стал её листать.

– Ближайшая пятница занята.

– Тогда на следующую. Ничего, подождёт, – продолжая изображать улыбку, кивнул Вевис.

Шпаковский залился смехом.

– Начинать! – крикнул Вевис.

Шпаковский выбежал в палату и при помощи пинков и зуботычин стал сгонять больных с коек и устанавливать очередь у дверей процедурной. Первым оказался больной с длинной шеей и с заострёнными кверху ушами. Шпаковский подтолкнул его к весам.

– Становись, мать твою!..

Больной, косясь на Шпаковского, обошёл весы. Шпаковский схватил его за шею и толкнул головой о чугунную штангу весов. Когда, наконец, Шпаковскому удалось загнать больного на весы, он подошёл к эсэсовцу, который с иронической улыбкой наблюдал эту сцену, и вполголоса сказал:

– Боится. Слышал, наверное, в Бухенвальде в таких весах приспособление – выстрел в затылок. Под музыку.

Вевис повернул голову к Шпаковскому и блеснул моноклем.

– Ты знаешь, что бывает за разглашение государственной тайны, болван?!

– Виноват, господин эсэс-оберарцт.

– Твоё счастье, что тайна отсюда не уйдёт.

Инцидент казался исчерпанным.

– Жираф? – спросил Вевис человека на весах.

– Никак нет-с, ваше благородие, – возразил больной с длинной шеей. – Моя фамилия Красинский.

– Игра природы, – констатировал Вевис.

– Настроение – прима! – шепнул эсэсовец Шпаковскому.

– Вес – пятьдесят девять. Рост – один метр семьдесят шесть, – рапортовал Яша.

– Поправился на полкило, выписать! – Вевис передал формуляр Марку Марковичу. «Жираф» припал к его руке.

– Следующий!

Сцена повторилась. Если больной поправлялся, Вевис передавал формуляр Марку Марковичу, если сбавлял в весе – эсэсовцу. Больные реагировали по-разному на этот смертный приговор. Некоторые покидали процедурную с деланным или подлинным безразличием, другие плакали, падали перед Вевисом на колени, умоляли о пощаде. На таких набрасывался Шпаковский, бил, тащил к двери.

Очередь подошла к Жаку.

– Военнопленный? – спросил Вевис, рассматривая его формуляр.

– Военнопленный.

– Почему здесь?

– Нарушил тюремный режим.

Жаку казалось, что эти вопросы он слышит не впервые. Как будто то же самое уже однажды происходило. Жак наперёд угадывал вопросы и повторял ответы. Он не мог иначе, не изменив самому себе.

– Офицер? – продолжал свой допрос Вевис.

– Офицер.

– Звание?

– Майор.

– Большевик?

– Да.

Яша недоумённо покачал головой. «Зачем это надо?»

– Жид?

– Не-ет... русский.

– Скажи своему тате, чтоб он тебя переделал.

Жак пожал плечами.

– Будущее человечество скажет нам спасибо, что освободили его от вас – человекоподобных.

– Что ж... Люди умирают от укуса гадюк. Почему такая участь должна меня миновать?

– Сейчас ты рассуждаешь, а через пару часов превратишься в пепел.

– Я знаю, что вы меня убьёте. Вы убиваете всех, кто зажёт огонь мысли, и кто этот огонь поддерживает. Вы возомнили себя всемогущими, потому что захватили топор палача. Силу вы заменили насилием, науку превратили в потаскуху, искусство в фиглярство. Вы выпустили из клетки гориллу, поставили её на пьедестал и требуете, чтобы люди ей поклонялись. Но люди не будут поклоняться заднице своей прародительницы.

– Ты хорошо говоришь. Ты был бы неплохим актёром.

– Я и был актёром до войны.

– Тогда это твоя последняя роль.

Жак пожал плечами. Он не встал на весы, несмотря на то, что Яша с первых его слов стал его дёргать за рукав. В процедурной стало тихо, было слышно, как муха билась о стекло. Казалось, что молчание присутствующих нагнетает воздух. Он стал плотным, и дышать было трудно.

Наконец Вевис протянул формуляр Жака эсэсовцу. Все, в том числе и Жак, вздохнули с облегчением. Вевис с раздражением заметил, что его рука дрожала, когда он брал со стола следующий формуляр.

Жак не заметил, как вышел из процедурной, взобрался на койку и лёг.

– Старый, эй, старый! – спросил снизу Костя. – Что они там делают?

– Играют в судьбу, – ответил Жак и приложил руку к сердцу. Оно билось, как у бегуна после продолжительного бега.

...Следующим оказался Казё. Он вошёл, приветствуя присутствующих кивком головы.

– Это наш австрийский кайзер, – с жестом зазывалы в балаган провозгласил Шпаковский.

– Уберите эту вошь отсюда! – презрительно скривив губы, произнёс Казё.

– Почему? – спросил Вевис, не отрывая глаз от формуляра.

– Он бьёт людей, продаёт хлеб, мармелад и маргарин, лучшие места у окна и вообще ведёт себя, как паразит. Он доносит на людей и, когда ему нечего доносить, придумывает истории. В конце концов, сколько можно это терпеть?!

– Но в формуляре сказано, что ты сумасшедший, – включился Вевис в игру. Она открывала отдушину.

– Меня сумасшедшим не сделают! – Казё удивительно приятно улыбнулся.

– Господин эсэс-оберарцт! – Шпаковский покинул свой пост у дверей.

– Я осмелюсь доложить, у меня давно возникло предположение, что этот тип только притворяется сумасшедшим с тем, что-

бы под этим прикрытием вести разнужданную пропаганду против фюрера и Рейха. А если он действительно невменяемый, то не слишком ли много на себя берут все эти сумасшедшие, воображающие себя царями и полководцами?!

– Что ты сказал? – спросил Вевис, зловеще сдвинув брови и роняя монокль.

Всё еще не понимая, что он оступился и летит в пропасть, Шпаковский продолжал:

– Нельзя ведь допускать, чтобы причину недостатков в хозяйстве какие-то безумцы свалили с больной головы на здоровую.

– Где формуляры «обслуги»? – спросил Вевис у Яши.

– Снизу подложены.

Вевис перевернул кипу формуляров и, просмотрев один за другим, протянул эсэсовцу. Тот вопросительно смотрел на своего начальника, тщетно пытаясь обнаружить на его лице улыбку. Головка страуса с круглыми выпученными глазами стала похожа на химеру.

– Простите, – забормотал заплетающимся языком Шпаковский.

– Моя фамилия Шпаковский... Родовое имя около Калиша... Я поляк. Я польский шляхтич. Вы не имеете права!

– Права? Чего захотел! – рассмеялся Вевис.

– Я состою старостой барака. Назначен ещё самим лагерфюрером, господином Либен-Геншелем... неизменно предан...

– Следующий! – произнёс Вевис, зевая. – Такая сволочь даже для моих опытов не годится.

Шпаковский оглянулся. Он смотрел в лица окружающих, и все лица оказались запертыми на засов. Он понял, что погиб. Рухнул на колени.

– За что? Я честно служил ... доносил... выполнял все приказания! Делал всё... всё!

Под вечер, когда стемнело, Марк Маркович, не зажигая огня, лёг на лежанку. Он подложил руки под голову и предался размышлениям...

Приход Яши прервал это раздумье. Закрыв за собой дверь, Яша долго к чему-то прислушивался. Наконец, он приблизился к лежанке, на которую прилёг Марк Маркович.

– Я хочу просить вас об одном одолжении.

«Наверно попросит, чтобы я положил его в больницу, чтобы избежать порки». – Подумал Марк Маркович.

– Говори.

– Мне нужен труп 104231.

– Что ты задумал: – спросил Марк Маркович, приподнимаясь.

– Я задумал отправить труп в крематорий.

– Он и так туда попадёт.

– Да... но минуя душегубку.

– Я умываю руки.

– Они и так у вас слишком чисты.

Марк Маркович скривился, словно раскусил что-то кислое.

В углу палаты собралась группа «выписанных на газ» евреев. Они покрыли головы, кто чем мог, и молились. Жак видел, как к ним подошёл Валентин и что-то им говорил. Те как будто соглашались. Валентин снял с шеи цветной фуляр и обвязал им голову. Жак слышал, как Валентин нараспев стал читать слова молитвы. Сначала всё шло хорошо, но потом всё чаще молящиеся стали пререкаться с Валентином. Наконец, тот повернулся, подошёл к койке Жака, прислонился к ней, снял фуляр с головы.

– Что случилось? – спросил его Жак.

– Вы понимаете?.. Я им читаю предсмертную молитву, а они спорят, утверждают, что я неправильно произношу слова. Но кого они собрались учить! Меня?! У которого сам профессор Зингмейер консультировался по спорным вопросам древнееврейского языка!

Он попятился и добавил:

– Извините, я забыл, что и вас... это самое...

Тем временем Яша с другой стороны подошёл к молящимся и взял одного за локоть.

– В чём дело? – спросил тот.

- Дело в том, – сказал Яша, – что нужно спасти одного еврея.  
– Одного?  
– Больше нельзя.  
– Где он?  
– Лежит на койке.  
– Какая мицве\* спасти еврея, который лежит на койке в то время, как остальные молятся?  
– Если вы его спасёте, тогда он тоже, может быть, будет молиться. Это и есть мицве, – Яша замолчал.  
– Что он хочет? – спросил сосед того, с которым Яша вёл разговор.  
– Ему нужно спасти одного еврея.  
– При чём здесь мы?  
– Вы должны прихватить с собой труп. Готовый труп. Тот, который лежит на нижней койке. Важно, чтобы труп попал в душегубку.  
– А если обман обнаружится? Будут бить...  
Яша развёл руками – в каждом деле есть свой риск. Он почувствовал спиной устремлённый на себя взгляд. Старый высокий еврей смотрел на него огромными неподвижными глазами. Старик поднял руку, требуя внимания.  
– Тихо! Если евреи могут спасти еврея, то евреи обязаны спасти еврея. Всё! – обратился он к Яше, кивнул и, возведя руки ввысь. Продолжал молиться.  
Яша повременил, потом подошёл к окну возле койки Жака, но повернулся к нему спиной и стал раздумчиво гладить рукой свой коротко остриженный затылок.  
– Ну вот, – сказал Жак, – теперь всё кончено.  
– Это не годится, – отозвался Яша, как будто говоря сам с собой. Жак промолчал.  
– Героя сваяля! – продолжал Яша полушёпотом. – Ах, как замечательно! Высказался, убедил.  
– Что теперь об этом говорить?! Нервы...  
– Сам нервами двадцать пять заработал. Только я три года здесь, а ты три недели.

---

\* Мицве – богоугодное дело (*ивр.*).

– Не всё ли равно, раньше или позже... Жить зачем? Чтоб ишачить на врага?

– Ты не хочешь жить?

Жак промолчал.

– А если хочешь жить, умеи умирать.

– Что это значит?

– Умирать нужно умеючи, с пользой для дела, а не так, ради красивых слов.

– Терпеть оскорбления... подличать...

– Не подличать, но притворяться дурачком. Ты терпи и собирай силы. Нужно до времени кулаки прятать, чтоб они остались целёхоньки, когда наступит день, наш день! тебе это трудно? Конечно, легче подняться, как памятник, и речугу закатить. Почему ты назвал себя большевиком?

– На зло.

– Глупо. Научись быть большевиком. Думаешь, большевики были сразу готовыми героями? И им не приходилось стискивать зубы? Ты не маши руками. Я это говорю, чтобы ты понял, как надо жить!

– Я жил для искусства, стремился его силой донести правду жизни до зрителя. Теперь мне даже смешно об этом думать.

– Это не самое важное.

– Для меня это было самым важным.

– Если останется нацизм, не будет искусства, вообще ничего не будет.

– Моя фамилия Берзелин. На Берзелина наплевать – будет Берзелин жить или умрёт, от этого мир не изменится.

– Берзелину, конечно, газовой камеры не миновать.

– Ты меня утешаешь?..

– Я тебя не утешаю, а говорю, что Берзелина, прежнего Берзелина, не будет. Но ты будешь жить.

– Мне сейчас не до разгадывания загадок.

– Просто сожгут другого вместо Берзелина.

– Я жертв не хочу.

– Посмотрите на этого рыцаря без страха и упрёка! Никто для

тебя не собирается жертвовать жизнью. Всё дело в том, что твоя фамилия будет Брон. Самуил Брон из Львова, а не Берзелин откуда-то из Белоруссии.

– Честное слово...

– Не понимаешь? Тем лучше! Значит, и другие не поймут. Ты номер 104231. Номера у тебя на руке ещё не выкалывали? Хорошо. Дай твою руку.

Яша извлёк из кармана какой-то свёрток. В свёртке оказался флакон с тушью и полая игла. Он оголил руку Жака по локоть, откупорил флакон, окунул иглу в тушь и принялся выкалывать номер на руке Жака.

– Не бойся! Я навикалывал этих номеров знаешь сколько! Слушай и наматывай себе на..., на что хочешь. Ты – Самуил Брон. 1900 года рождения, сын врача из Львова. Имя отца Аарон. Умер в 1932 году. Мать – Сара. Умерла в 1926 году. В 1917 году у тебя родилась дочь от одной, ну, девицы легкого поведения. Имя дочери Лилиан, проще Лили. Она сейчас здесь, в женском лагере. Вся твоя родня перебита немцами. Ты спасся, потому что научил одну важную нацистскую свинью мухлевать в карты... По профессии ты шулер. Чего морщишься? Мало ли, что немцы нам приписывают! Или больно?

– Не очень.

– Кончено. Теперь ты № 104231 и больше никто. Если станут вызывать по фамилии, оставайся на койке. Твой формуляр лежит у меня.

– Но какой я шулер? Я даже в карты играть не умею, игр не знаю.

– А ты хочешь быть одновременно и живым и майором Красной Армии одновременно?

Яша старательно завернул свои инструменты и, как будто ничего не произошло, ушёл, близоруко щурясь.

Потом всё было так, как много раз до того: в палату гуськом вошли четыре эсэсовца под командой Рюльке. Они встали по обе стороны дверей. Рюльке с папкой подмышкой раскачивался на своих коротких ногах.

- Аляунер.
- Есть!
- Будешь принимать...
- По фамилиям?
- У скота фамилий нет. Есть номера.

Палата загудела. Аляунер скомандовал:

- Выписанные на транспорт, становись по пяти. Лос, шнель \*!

Смертники стали сползать с коек и послушно становиться пятёрками. Многие еле держались на ногах. Они двигались, не соznая, что двигаются. В головах стоял туман, глаза ничего не видели. Была только невероятная усталость, оцепенение, жажда покоя. Их поддерживали товарищи. Никто не заметил, как двое смертников подхватили труп Брона и поволокли его в середину формирующейся пятёрки.

Внезапно из рядов выписанных на газ выбежал Шпаковский и, вихляя всем телом, приблизился к Рюльке.

– Господин ! – прохрипел он. – Шрейбер Яша живого мёртвым подменил.

– Ви?! Вас?! – закричал ээсовец. – Ихь верде дир бейне махенду швейн\*\*! Марш обратно!

– Фюнф, зекс, зибен, ахт... Алле!\*\*\* – считал Аляунер.

Когда последняя пятёрка покинула палату, Рюльке поманил пальцем Яшу:

– Молись твоей матери, шрейбер! – и вышел, негромко хлопнув дверью.

Тишина... Потом фыркanye моторов, завывание удаляющихся машин... Снова тишина... Покой... Покой и тишина, потом кто-то закашлял, кто-то всхлипнул, затем все сразу, как по команде зашевелились.

В палату вошёл здоровенный, крутолобый заключённый с повязкой старосты барака № 9. Он сделал несколько шагов и нарочито бодрым громким голосом заявил:

\* Давай, быстро (нем).

\*\* Сейчас я тебе, свинья, ноги сделаю (нем).

\*\*\* Пять, шесть, семь, восемь... Все! (нем).

– Я вновь назначенный староста барака. Я строг, но справедлив. Мне безразлично, кто передо мной – немец, поляк, русский, француз или еврей. Я знаю только одно: порядок. Кто будет поддерживать порядок, тому будет хорошо, кто нарушит порядок – пусть пеняет на себя! А теперь вот что... Поскольку дневной паёк выписан по утреннему составу, а потом половина выбыла на газ, то остальные получают двойные порции хлеба, маргарина и мармелада.

Радостное оживление.

## Возвращение

Земля, как подстреленная куропатка, переваливалась с боку на бок. Самолёт шёл на посадку. Под крылом появилась запруженная баржами и плотами река. К реке сбегались, как на водопой, дома. Жаку захотелось провести рукой по загривкам их крыш.

Толчок о землю прервал его размышления. Жак не думал, что его ждёт. Он пытался только внести порядок в сумятицу мыслей и ощущений последних дней, последних часов. Это ему плохо удавалось.

Самолёт подрулил к зданию аэровокзала. Это казалось ненужной доводкой детали. Жак слышал, как снаружи приставили трап, видел, как открылись дверцы, но не поднимался с места. Немцы повалили гурьбой, внизу их окружили стрелки и отвели в сторону. Жак ждал, пока они сошли, взял чемодан и спустился вниз. Внизу подошли двое в кепках. Один из кепкастых вынул какую-то бумажку и спросил:

– Берзелин Яков Антонович?

– Да...

– Пойдёмте с нами.

Жак кивнул. Они быстро прошли к зданию аэровокзала.

– Скорей, – оперативник незаметно ткнул Жака в спину. На верхней ступеньке лестницы он схватил его за руку.

– Оружие!

Оружия у Жака не оказалось.

– Объясните...

– Идите, там объяснят.

Перед ним открылась дверь. Он очутился в комнате, единственным убранством которой был некрашенный стол и два стула. Снаружи на окнах виднелась фигурная решётка. Она была жёлтая и выглядела бутафорски. Жак присел на один из стульев, но тут же встал и прошёлся по комнате. Ясно. Его задержали. Теперь ему казалось, что он этого ожидал.

Ключ в двери повернулся, и те же двое, которые встретили Жака у подножья трапа, повели его вниз. Возле здания аэровокзала стояла обитая чётной жестью грузовая машина с единственным зарешёченным окошком позади. Жака засунули в один из металлических отсеков, расположенных по обе стороны коридорчика, и машина тронулась. «Везут на Лубянку», – сообразил он.

Дорога заняла больше времени, чем он предполагал. Когда наконец открылся металлический ящик, Жаку показалось, что он очутился на дне колодца: зеленоватые, покрытые плесенью стены поднимались вверх, где темнел подсвеченный звёздами клочок неба. На дне колодца фыркали машины. Кругом, на высоте второго этажа, горело ожерелье электрических лампочек в сетчатых намордниках.

Жак не был тут новичком. Только тогда, в 38-м, он попал прямо в кабинет следователя. Теперь же его ввели, так сказать, с заднего хода, мимо пахнущего баней помещения в вестибюль, из которого веером расходились коридоры. К стенам были прикреплены напоминающие шкафы «боксы». В один из них заперли Жака. Через час накормили обедом и повели на шмон. Обыск производил пожилой медлительный старшина. Жак нашёл свой чемодан не распакованным, вынул ключ и стал вместе со старшиной проверять его содержимое. Старшина одобрительно крикнул, когда Жак, сняв ремень, положил его в чемодан, и, связав три носовых платка, подпоясался ими. Старшина долго размышлял над подбитыми башмаками Жака, затем вынул из кармана кусачки и принялся методически откусывать головки гвоздей. Жак уселся на ска-

мью и с вздохами наблюдал, как от башмаков отходили подошвы.

– Вы, я вижу, опыт уже имеете, – сказал старшина. – Тапочки надо было захватить.

– Меня подобрали на аэродроме.

Старшина не высказал удивления, а закончил свою операцию и, подслеповато щурясь, подsunул Жаку какую-то бумажку и указал место, где расписаться. Затем Жака снова отвели в бокс, но ненадолго. Осматривавшая его женщина-врач нашла Жака «в полном порядке» Она посмотрела на выколотый на руке номер, ничего не сказала, но записала номер в рубрику «особые приметы». Потом Жак в течение нескольких часов смотрел до боли в глазах на раскалённую нить элетролампочки. У него отобрали часы, но он угадывал время: было два часа, когда его повели на допрос. Следовательно, молодой ещё человек, назвав Жака по имени и отчеству, осведомился о его самочувствии, затем принялся сверять персональные данные. Жак отвечал с величайшей готовностью исправить малейшую неточность. В боковую дверь вошли двое: полковник и некто в гражданском. Полковник уставился на Жака и кивнул гражданскому: «тот самый».

– Раз вы попались, Берзелин, я бы посоветовал вам чистосердечно сознаться в ваших преступлениях.

Жак поблагодарил полковника за добрый совет, но заметил, что за свою жизнь он совершил столько преступлений, что ему трудно сообразить, в каком именно он должен сознаться.

Полковник казался вначале озадаченным, затем налился кровью и крикнул:

– Не забывайте, где находитесь!

– К сожалению, я этого забыть не могу.

– Выпишите ему четверо суток! – и полковник развернулся к двери, пропустив сопровождавшего его штатского. Следовательно сожалеюще покачал головой:

– Не ожидал от вас, Берзелин.

Жак удивился, когда из комнаты следователя его спустили на лифте на четвёртый этаж и выдали постельное бельё. Камера напоминала номер провинциальной гостиницы. Вдоль стен

стояли койки. С одной из них поднялся человек, будто посыпанный пылью. Он указал Жаку свободную койку и спросил шёпотом, чтобы не разбудить других, кто он, откуда, за что и когда. «Мы здесь все военные», – пояснил он.

В эту, первую проведённую в тюрьме ночь, Жак долго разглядывал разложенное на койке постельное бельё. Бельё хранило запах стирки, свободно гуляющего ветра. Было паршиво.

Месяц спустя Жаку показали под расписку ордер на арест. Товарищи по камере отсоветовали ему протестовать: «Ничего не выйдет». Всё же Жак написал заявление прокурору. Он писал: «У меня такое впечатление, будто я переплыл бурную реку с множеством подводных камней и водоворотов, и когда выбрался, наконец, на спасительный как будто берег, он оказался болотом». Во время следующего допроса в кабинет то и дело заходили какие-то молодчики и, показывая на Жака пальцами, хохотали: «Поэт?!» Следователь каждый раз подтверждал: «Он самый. Когда преступнику нечего сказать в своё оправдание, он ударяется в поэзию».

Однажды по окончании допроса следователь, устало уставясь на спинку кресла, сказал, не глядя на Жака:

– Возможно, в другое время вы отделались бы лёгким испугом, а теперь придётся загорать.

– Почему? – поинтересовался Жак.

– Наши успехи вызывают противодействие со стороны классового врага.

– Я классовый враг?

Следователь ничего не ответил и, подняв трубку, проговорил:

– Увести...

Иногда казалось, он сочувственно выслушивал Жака, а затем, напялив на себя маску инквизитора, писал протокол, и всё принимало вид какой-то мрачной фантазмагии. Однажды в самом начале допроса следователь взял со стола лист бумаги и прочёл:

– Так называемая подпольная антифашистская группа в лагере была на самом деле ничем иным, как созданной с провокационной целью по указанию гестапо органи-

зацией. Во главе её стоял заведомый провокатор Гезельхер.

Отложив в сторону бумагу, следователь просверлил глазами Жака и добавил:

– Ваша же позорная роль заключалась в том, что, выдавая себя за еврея, вы втирались в доверие к заключённым еврейской национальности и устанавливали за ними слежку. По прибытии в лагерь вас поместили в так называемый оздоровительный барак, где вы получили усиленное питание и были освобождены от работы. После выписки вас назначили диспетчером авторемонтного завода, хотя у вас не было надлежащей квалификации. Не только ваша измена родине, но и предательство по отношению к вашим товарищам очевидны и совершенно бесспорны.

Жаку показалось, что какая-то птица опустилась на его голову и клевала его мозг. Масляным пятном всплыла соглашательская мысль: «А вдруг организация была действительно создана гестапо, и только мы об этом не знали? Если даже Гётц давал мне понять, что это так...»

Яркий свет настольной лампы слепил глаза. Жаку показалось, что за его спиной стоят Яша, Пашка, Рули, Корнблют, толпа гефтлингов. Жак испуганно повернулся. Следователь поставил перед ним стакан воды.

– Вам ничего не удастся опровергнуть.

– Напрасно вы берёте на себя роль могильщика правды, – сказал Жак.

Идеи обыкновенно вызревают медленно, но прорастают внезапно. До сих пор история представлялась Жаку отвлечённой. Вдруг он обнаружил, что участвует в ней. Раньше отступление от исторической правды казалась Жаку допустимой художественной вольностью. Теперь эта вольность ударила по нему. Из абстрактной истории недавнее прошлое превращалось в его собственную судьбу.

– Историю нельзя толковать как угодно, – сказал он вслух и замолк.

Пауза длилась долго. Следователь пожал плечами:

– Ерунду говорите.

К мнению следователя присоединились товарищи Жака по ка-

мере. «Пыльная голова» – нещедрый на высказывания староста камеры, заявил, что при существующей системе следствия шансы на выявление истины ничтожны. Бюрократизм цепко держит следователей в своих разграфлённых когтях. «Пыльная голова» говорил со знанием дела – он был военным юристом первого ранга.

Среди товарищей Жака по камере затесался один румынский генерал. Он цеплялся за Жака и рассказывал ему скабрёзные истории: в камере один Жак понимал его французскую тарабарщину. Младшим по званию в камере был капитан танковых войск. В сорок втором он попал в плен, бежал и сражался в одном из партизанских отрядов Белоруссии. После демобилизации его арестовали, обвинив в том, что он был подослан немцами. Жак чувствовал к этому морально раздавленному человеку глубокую симпатию не только из-за сходства их судеб, но и потому, что капитан невыносимо страдал от крушения своих представлений о советском правосудии и непогрешимости советских чекистов. Пятым в камере был болтливый начштаба дивизии. Хвастаясь своими связями в высших сферах, он выставлял на показ продажность и бездарность «некоторых руководящих товарищей». Захлёбываясь от восторга, он повествовал, как один военачальник тащил с собой в обозе десятки пианино, тюки ковров и в придачу целый гарем. Начштаба был Жаку глубоко противен.

Однажды под вечер двери в камеру открылись, старший сержант вызвал заключённого «на Б.» Жак собрал свои пожитки, попрощавшись, стал себя подбадривать: «Хуже, чем было, не будет».

Новое место заключения – новый мир. Где-то совсем близко была аэродинамическая труба. С утра и до вечера она исторгала страшный вой, превращая все остальные звуки в пыль. Эта пыль оседала и грозила удушьем каждому, кто в неё попадал. Полукруглый свод над головой и маленькое встроенное высоко оконце действовали угнетающе.

В камере оказались двое – генерал-майор и полковник. Они принадлежали к числу «законсервированных». Следствие по их делам было закончено, и их держали «до особого распоряжения».

Иногда то одного, то другого вызывали к следователю, тогда оставшийся в камере предупреждал Жака о грозящей ему со стороны отсутствующего опасности: «Наседка!» Жак был уверен, что когда его вызывали к следователю, те двое так же называли его.

В тридцать восьмом году генерал-майор, ещё в звании полковника, был обвинён в участии в так называемом офицерском заговоре. Продержав год в тюрьме и допросив «с пристрастием», полковника освободили. В сорок третьем он командовал корпусом, отличился и был награждён орденом Ленина. С фронта его откомандировали в академию. Кто-то донёс, что он, не стесняясь в выражениях, высказывался по адресу верховного командования. В те годы такая бдительность вменялась в обязанность.

Что касается полковника, то с ним обращались жестоко, требуя признания, что он был подкуплен немцами. Отягощающей уликой служила его немецкая фамилия. На самом деле он был сыном чешского краснодерёвщика и родился в Питере. Он был крупным специалистом по зенитной артиллерии, талантливым математиком. Время пребывания в тюрьме он использовал для изысканий в области теории чисел. В сороковом году он, как член коллегии военных специалистов, посетил Германию. Каждый член этой делегации составил отчёт о виденном. Когда началась война, оказалось, что немцы кое-что утаили. Членов делегации арестовали по обвинению в преднамеренной дезинформации советского правительства.

Несмотря на все примеры обратного, Жак верил, что правда торжествует. Крушение Третьего Рейха укрепляло его в этой вере.

Сквозь посиневшее от времени тюремное оконце в погожие летние дни в камеру проникал и двигался по стене луч света. Что бы ни происходило, луч продолжал своё путешествие, пока не исчезал в простенке. Это было и утешение и предостережение: поступь времени одинакова и в счастье и в несчастье.

Следствие продолжалось. На смену подверженному иногда приступам чувствительности молодому следователю пришёл представитель карающей Фемиды в ранге подполковника.

Он восседал за своим письменным столом наподобие Будды, которому земные страсти и страдания нипочём. Своими квадратными челюстями он разламывал в труху любые возражения и оправдания. Разрозненные факты он свёл к системе: выходило, что преступление Жака было подготовлено его воспитанием, а идеологические шатания присущи ему как представителю мелкобуржуазного класса. Тот, кто мог клеветать на вождя народов, способен на всё. Подлинные слова Жака о Сталине в протоколе приведены не были: слишком уж кощунственно они звучали.

– Вы откровенны только в мелочах, а основное утаиваете, – кричал следователь. Он по десять раз переделывал протоколы, и Жак присутствовал при этом в качестве немого свидетеля. Когда он высказал своё недоумение в камере, более опытные товарищи подняли его на смех: «Ведь он за каждый лишний час получает сверхурочные!»

Жака допрашивали каждую ночь, а днём ему не давали спать. Он был доведён до такого состояния, что всё становилось ему безразличным. Не моргнув глазом, он мог бы подписать и свой смертный приговор.

Жак тешил себя мыслью, что каждый новый протокол опровергает предыдущие. Он не знал, что по мере того, как появлялись новые редакции, старые уничтожались. В конце концов, выяснилось, что Жак чуть ли не с пелёнок был контрреволюционером. Всё это было настолько несуразно, что, пожалуй, любой судья, прочитав показания, должен был придти к выводу, что либо Жак, либо следователь спятил с ума. Он и здесь ошибался: никакой судья не читал протоколов. Жак был осуждён заочно Особым Совещанием.

Когда Жака известили, что его приговорили к 10 годам заключения в ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) «за измену родине», у него возникло ощущение, что он участвует в фарсе, разыгрываемом трагедийными актёрами. Он иронически поклонился сотрудику, предложившему ему подписать извещение, и сказал:

– Теперь я знаю, кто я есть.

## Вместо послесловия

Писать об отце легко и тяжело одновременно: с одной стороны подстерегает идеализация образа, а с другой опасность нагромождения бытовых баек, обычно малоинтересных для людей, читающих послесловия.

Одного отца я знал до 1941 года, то есть до моего двенадцатилетия, и другого с 1956 года, когда он освободился из заключения, до его кончины в 1970 году.

Мальчишкой я, как и многие другие, мало интересовался отцом как личностью вообще и как литератором в частности. Однако мне запомнилось, что мои тётки обнаружили в первом издании «Малой Советской энциклопедии» (1930 г.?) такую запись: «Из молодых немецких писателей следует отметить среди иных и С. Грюнберга». За абсолютную точность цитаты поручиться не могу, но за смысл ручаюсь, хотя так и не знаю, что написал отец в Швейцарии или в Германии и за что по этому поводу был удостоен упоминания в энциклопедии.

Отец приехал в послереволюционную Россию примерно в 1924–25 году по зову своей ослепшей матери. Она, когда была ещё здорова, делала революцию в России, воспитание же сына при этом поручила какому-то пансионату в Швейцарии. Отец как-то рассказывал, что его мать, убедившись впоследствии в своей ненужности делу революции, покончила с собой. Она оставила предсмертную записку, в которой писала, что главное – быть добрым.

Несмотря на расположение власти к отцу как сыну профессиональной революционерки, положение его в России оказалось весьма непростым. Он почти не знал русского языка, носил иностранную одежду, вызывавшую всеобщее недоумение у людей в разрушенной войнами и революцией стране. Его определили на работу в Наркоминдел на какую-то должность, связанную с частыми поездками за границу. Этому способствовало его совершенное владение немецким и французским языками. В это же время он научился и русскому языку. Успеху в этом обучении

способствовало и знание польского языка, который в иных обстоятельствах мог бы считаться и его родным, поскольку родился он и провёл дошкольное детство в Польше, бывшей в те годы частью Российской империи.

В начале 30-х годов он стал сотрудником иностранного отдела ТАСС, и, если судить по выделенному ему персональному «Форду», жизнь его стала складываться относительно благополучно. Несколько раньше, в 1926 году он женился на донской казачке, моей матери, которая вместе с тремя своими сёстрами бежала от ЧК из считавшегося опорой белогвардейцев Новочеркасска. По рассказам матери он был человеком совершенно не приспособленным к быту того непростого времени. Его знание русского в те годы мать иллюстрировала примером: «Не гавкай посудой», – просил он её.

Фигура отца, носившего широкие серые брюки, застёгивающиеся на щиколотках, его большой, явно не арийский нос, его визиты в немецкое посольство к своему другу г-ну фон Шеленбургу, послу Германии в СССР, не могли остаться без внимания всё более зверевших товарищей из НКВД.

В конце 1936 года отец был исключён из ВКП(б) как уклонист троцкистского толка и уволен из ИНО ТАССа. Естественного финала таких историй он не стал ждать и по совету друзей из НКВД, а возможно ещё и из НКВД, уехал «с глаз долой» из Москвы в Ялту. Там он работал в местной газете «Курортные известия». Когда в 1939 году был заключён пакт Молотова–Риббентропа и контакты с немцами почти перестали быть политическим преступлением, отец стал корреспондентом Всесоюзного радио на Западной Украине в городе Станиславе (теперь Ивано-Франковск).

Началась война. Уже 22 июня 1941 года отец в штабе 12-й армии допрашивал сбитых немецких лётчиков. Тогда же во время короткой встречи перед 16-летней разлукой он рассказал, что пленные немцы ведут себя высокомерно и нагло. Дальше был «котёл», в котором оказалась 12-я армия, ранение, плен, тюрьма, Освенцим, Бухенвальд. Было и бухенвальдское подполье, и восстание заключённых, освободивших лагерь своими силами ещё до прихода американцев. Да и всё остальное, описанное в романе,

в основном, главном, тоже было. Отец рассказывал мне об этом при нашей встрече в 1956 году в посёлке Аблакетка города Усть-Каменогорска в Казахстане, где после освобождения и реабилитации он работал плановиком в каком-то тресте.

Сразу после пленения, раненный в бедро и с искалеченной рукой, он попал в немецкую тюрьму на Александрплац в Берлине. Там гестаовец, принимая его за большую советскую шишку, допрашивал его в течение почти года.

После освобождения из Бухенвальда он много общался с американцами и неоднократно слышал от них, что в СССР его ждёт тюрьма. Для меня до сих пор остаётся загадкой его возвращение в по сути чужую страну, где его никто не ждал, где он не сумел создать семью, обзавестись друзьями. И до самого своего конца он оставался неприспособленной, одинокой, немного театральной белой вороной, способной на экстравагантные поступки.

Я как-то спросил отца, чем отличались допросы гестапо от методов работы советских спецслужб. Он ответил, что практически ничем, кроме одного: гестапо стремилось любыми способами выбить истину, а нашим в 1945 году, когда отец получил опыт советского подследственного, нужна была только подпись заключённого под сочинёнными следователем небылицами.

Примерно в 1963 году отец приехал в Москву, где встречался с бывшими узниками концлагерей Освенцима и Бухенвальда. Кажется, в Москве была какая-то организация узников немецких концлагерей и при ней секция Освенцима и Бухенвальда, но после двух или трёх посещений этого учреждения отец прекратил свои встречи там, в чём-то разочаровавшись.

Живя в подмосковном Щёлкове, отец начал писать роман, в основу которого легли события его собственной жизни, кое-где разбавленные и дополненные писательской фантазией, не противоречившей реальному опыту автора. Пока шла работа над книгой, хрущёвская «оттепель» кончилась. Слух о романе дошёл до органов КГБ, которые внимательно следили за тем, кто и что пишет. Возможно, один экземпляр рукописи попал на Лубянку, хотя отец был уверен, что отправляет его в какое-то издательство в Брюсселе.

Его роман с одной стороны затрагивает неразрешимую тему интеллигенции во времена катаклизмов, а с другой это авторская автобиография с вкраплением детективно-приключенческих элементов. Мысли и рассуждения его героя Жака – это мысли и чувства самого автора. Но автор не пытается хоть как-то героизировать своё литературное отражение, что говорит о его писательской честности. Отец не переносил пафоса, усматривал в нём обязательную фальшь. Видимо от этого в тексте романа мало эпитетов, нет пьедестальных героев и стопроцентных злодеев. Даже фон Вевис не лишён некоторой человечности, не говоря уже о рядовых эсэсовцах. Это, как мне кажется, отличает роман от многих других книг о войне.

Умер отец в Москве 75 лет от роду в 1970 году, оставаясь вопреки всему до конца своих дней неисправимым оптимистом.

По своим политическим воззрениям он был социал-демократом. Очень жалею, что он не дожил до перемен в России после 1987 года. Ведь, несмотря на всё пережитое, он очень полюбил Россию и считал, что новое, неизвестное ему будущее связано именно с этой страной.

Воспитанный в швейцарском пансионате, закончивший философский факультет в Цюрихе, отец был западным европейцем, случайно попавшим в совершенно чуждую ему среду. Он всю оставшуюся жизнь надеялся, что в Советском Союзе настанет пора перемен, когда пройдёт нужда приспособливаться. Жизнь на Западе отец знал прекрасно, и он не был от неё в восторге. Как-то на моё замечание о свободе на Западе он ответил, что там вместе с безусловными гражданскими свободами есть ещё и свобода подыхать от голода.

Надеюсь, что «Недочеловеки» найдут своего читателя, которому книга понравится, а, если есть загробный мир, то это станет большим утешением для моего покойного отца.

*Дмитрий Прохорович*



# ВИКТОР РУБАНОВИЧ

## НАЧАЛЬНИК РАММО

В тихий июньский вечер, уже довольно поздно, когда серое небо за рекой Усой окрашивалось в удивительный, только этим местам присущий нежно-малиновый цвет, а леса, казалось, в дремоте загляделись на свое отражение в воде, я сошел с приткнувшейся к мосткам шняги.

Так вот он какой, Адак. На высоком берегу цепочкой растянулись четыре длинных, рубленых из нетолстых бревен барака – полуземлянки со входами, обращенными к реке. Дальше за ними, в глубине виднелись какие-то строения. Зоны пока еще не было, но уже торчали врытые в землю столбы, обозначающие ее границы.

В воздухе занудно-пронзительно кричали комары. Пока мы плыли по реке от пристани Адзэвавом, они не слишком докучали, здесь же их были сонмы.

Комендант провел меня в один из барачков. Войдя в полутемное, едва освещенное единственным фонарем душное помещение, где без постелей, прямо на нарах, спали люди, он ткнул рукой, указав свободное место. Утомленный, я сразу уснул, но среди ночи не раз просыпался – было душно, к тому же мучил кашель, не дававший покоя уже несколько месяцев.

На Адак меня направили после того, как определили заболевание туберкулезом. Доктор Нейман, главный врач Управления, снял меня в Усть-Усе с этапа, как нуждающегося в стационарном лечении.

Однако уже на следующее утро осмотревшись, я понял, что здесь надежды вылечиться нет. Вокруг бродили люди-тени,

не лучше чем я, а в здешнем стационаре, как я узнал, больные мерли как мухи, человек по десять ежедневно. Как выразился один из моих новых знакомых, из стационара был один способ выйти – вперед ногами.

Первое утро на Адаке началось с получения завтрака – полоника комбинированной каши из ячневой сечки пополам с пареной репой. Около кухни в затылок стояли люди с котелками. В этот хвост пристроился и я.

После завтрака я пошел бродить по лагпункту. Бросился в глаза вид людей, истощенных, вялых, потерявших интерес ко всему, кроме утоления голода. Кормили заключенных однообразно – щи из протухшей квашеной капусты, каша, кишашая червями, соленая рыба.

Особенно угнетающе выглядело отхожее место: на помосте, огражденном невысоким плетешком, сидели одновременно человек десять, большинство с неукротимым поносом, следствием пеллагры. «Идиллическую» эту картину дополняли безбоязненно сновавшие тут же по помосту изящные серо-голубые, с черной шапочкой птички – трясогузки, с увлечением охотившиеся за кишевшей в воздухе мошкаррой.

Осмотрел я и окрестности: высоко спиленные пни, груды сухих веток после лесоповала, На горке – немалое кладбище, на могилах вместо памятников – колышки с приколоченной фанеркой. Имя, отчество, фамилия, дата смерти. Все.

История лагпункта вкратце была такова. Когда во всех подразделениях лагеря от непосильного труда, голода и холода набрались сотни доходяг, их решили сосредоточить в одном месте.

Ранней осенью первых поселенцев высадили на берегу Усы, дали в руки топоры, пилы, лопаты – стройтесь и живите. Сначала жили в палатках, постепенно обстроились. Вместо хлеба пекли лепешки на стенках котлов. К моему приезду уже были и баня, и пекарня. Но люди были слабые, смертность большая. Уже никто не помнил бедолагу, умершего первым, знали лишь фамилию – Буклов. Бытовало выражение «попасть на горку» или «в бригаду Буклова», что значило – умереть. Бригада эта пополнялась быстрыми темпами.

Посещение медпункта окончательно обрисовало мне здешние порядки. Главный врач из заключенных, молодой, упитанный человек по фамилии Лев, поражал полным равнодушием к больным, прикрытым игриво-оптимистическим тоном. Одет он был во все гражданское, фигурой и даже лицом напоминал Наполеона.

Я уже успел узнать, что Лев окружил себя целым гаремом фавориток. Им доставалась львиная доля продуктов, предназначенных для дополнительного питания больных.

Начальник лагпункта был вольный по фамилии Шабров, еще не старый, высокого роста, слегка сутулившийся. Его благообразное, но маловыразительное лицо не казалось злым, а скорее отрешенным. Был он бледен, неразговорчив, никогда не улыбался. С заключенными почти не вступал в контакты, ни на кого не кричал и ни во что не вмешивался.

Всей жизнью на лагпункте заправлял начальник УРЧ (учетно-распределительной части), заключенный-бытовик Шемякин. Этот также большими заботами себя не утруждал, но власть держал в руках уверенно. В каптерке у продуктов обосновалась мафия из бытовиков, своего рода саранча, пожиравшая все, что можно.

Такое положение в лагерях было не в диковинку и объяснялось, в общем, просто. Среди «вольного» начальства на краю земли, каким был Воркутлаг, попадалось немало неудачников, сосланных сюда на положение вольных людей за действительные или мнимые упущения по службе или за прямые пороки, из которых самым распространенным было пьянство.

Из этого сорта людей был и Шабров. До Севера он работа в Ленинграде начальником одного из отделений милиции. Не знаю, каким он был в то время, какова была у него семья, но вот в конце 1934 года над ним разразилась гроза.

После убийства Кирова вместе с тысячами людей, которых бросили в тюрьмы по указу от 1-го декабря об антисоветском терроре, в небрежности и отсутствии бдительности была обвинена ленинградская милиция. Многие ее работники были наказаны – их перебросили на север в лагеря на должности начальников. Среди них был Шабров. Возможно, тогда-то он и запил.

На Адаке у него была жена из коми, маленькая, очень недурная собой женщина, чем-то напоминая куропатку. Она, почти не скрываясь, жила с Шемякиным, да еще, по слухам, не с ним одним. Шабров пил и на людях почти не показывался, всем на лагпункте распоряжался Шемякин, его признанный заместитель по службе и в семье.

Случалось, что в промежутке между запоями у мужа раскрывались глаза, и тогда мы становились свидетелями забавных семейных сцен. Бледный, с топором в руке, мимо барачных молча мчался Шабров, а впереди мелкой, но спорой трусцой, виляя из стороны в сторону, куропаткой убегала жена. При этом она скороговоркой, с характерной для коми растяжкой последних слогов выкрикивала: «Не тронь меня-а, я вольная-а граждан-ка-а!».

Обычно эти сцены происходили на глазах заключенных, равнодушно глазевших, стоя у входов в землянки. Впрочем, заканчивалось это одинаково: кто-либо из комендантов или сам Шемякин подхватывали начальника под руки, он как-то сразу сникал и безропотно позволял себя увести.

Так и шла наша жизнь... Шабров пил, Шемякин правил, Лев блаженствовал в своем серале, мы «доходили до счастливой жизни», больные в стационаре продолжали умирать.

Не знаю, чем объяснить дальнейшие события, то ли смертность на лагпункте даже для лагеря показалась слишком высокой, то ли семейные сцены стали известны высшему начальству, только Шабров внезапно исчез, и вместо него прибыл новый начальник – эстонец Адольф Вильгельмович Раммо.

Новый начальник был уже не молод, лет под 50. Крупная ширококостная фигура его в черном мундире выглядела внушительно, седые волосы подстрижены ежиком, большие серые глаза казались очень строгими. Первым делом он обошел все бараки. В разговоры с заключенными не вступал, молчал, смотрел.

Позднее мы кое-что о нем узнали. Как и его предшественник, Раммо попал на север с поста начальника районного отдела милиции в Ленинграде, и причина была та же. На этом сходство биографий заканчивалось: этот человек был сделан совсем

из другого теста. Очень скоро мы это почувствовали, хотя далеко не сразу уразумели, что к чему.

В те дни, когда новый начальник знакомился с лагпунктом, я предпринял попытку расстаться с Адаком. Собирали этап для отправки на стройку железной дороги в Абезь.

Я пошел на прием к главному врачу и не без труда, поругавшись, добился, чтобы меня в этот этап включили. Собрали нас таких доходят человек тридцать, посадили на пароход и повезли вверх по Усе.

Как странно порой складываются наши судьбы – чего-то добиваешься, хлопчешь, не зная сам, что в конечном счете из этих хлопот получится.

И выходит сначала как будто по-твоему – ан, судьба поворачивается вопреки твоим усилиям и идет вовсе непредусмотренным путем. И не всегда это к худшему...

Двое суток старенький пароходик полз до Абези – перевалочного пункта, куда шли люди и грузы на новую стройку. Наконец, к вечеру второго дня он дошлепал до пристани, и нас свели на берег. Должно быть, мы выглядели как шествие полутрупов – так, по крайней мере, рассудил начальник УРЧ здешнего лагпункта, наотрез отказавшийся нас принять. Охранникам предложили доставить всех нас обратно на Адак ближайшим пароходом, следующим вниз по Усе.

Его пришлось ждать два дня на берегу Усы, у тихой воды, нас даже на лагпункт не пустили. Дул ветерок, даже комары мало беспокоили, и нам здесь было лучше, чем в душном бараке. Конечно, обидно было возвращаться в опостылевший Адак, но так уж въелся в каждого из нас лагерный фатализм, что особенно не переживали – будь что будет.

Так я возвратился на Адак, где мне суждено было прожить четыре года вплоть до освобождения.

Мы спустились по сходням и рты раскрыли от изумления: несколько штрафников из штрафного изолятора, и среди них главный врач Лев, скатывали к реке бочки с тухлой квашеной капустой, которые затем грузили на шня-

гу, чтобы потом вывезти на середину реки и утопить.

В бараке я узнал, что Лев и еще несколько человек из местного начальства сняты с должностей и посажены в изолятор за многочисленные злоупотребления. А вскоре бывшего главного врача куда-то увезли с лагпункта, где он был одной из главных персон.

Не только проворовавшиеся снабженцы и коменданты, но и некоторые из немногочисленных на Адаке уголовников, угодили в изолятор по приказу Раммо. Новый начальник с первых же дней не преминул показать себя сторонником жесткой дисциплины. Со слов тех, кто с ним соприкасался, мы узнали, что первое его требование – это добросовестный труд и соблюдение лагерной дисциплины. Всякий, кто уклоняется от работы, нарушает лагерный распорядок, будет наказываться, и строго.

Естественно, особого удовольствия это нам не доставило. Песня была старая: о лагерной дисциплине, перевоспитании трудом и прочее в том же роде склонялось и спрягалось везде, мы успели побывать. Жесткие меры, когда доселе пустовавший изолятор оказался заполненным, наводили на мрачные мысли: мало того, что плохо и голодно, а тут еще и ужесточенный режим – хуже некуда.

И только постепенно, сначала для немногих, наиболее проницательных, а затем и для всех прочих, стал проясняться истинный облик Раммо, этого внешне сурового, порой жестокого, немногословного начальника. Немало времени прошло, прежде чем мы поняли истинные соображения, которыми он руководствовался, и приемами, которыми он пользовался. И тогда прозвище «Сухарик», которым с первых дней наградили нового начальника, стало звучать уважительно и, не побоюсь сказать, любовно.

В условиях, когда любое сочувствие политическим считалось криминалом и грозило самыми тяжелыми последствиями, надо было обладать твердым характером и незаурядным тактом, чтобы помочь нам выжить, облегчить наше положение, ничем не обнаруживая свое подлинное отношение – доносчики были на всех уровнях.

От предшественника Раммо досталось тяжелое наследие: люди

на лагпункте были истощены и деморализованы, смертность высокая, продуктовые фонды разворованы. Спокойно, неторопливо, не переставая твердить о лагерной дисциплине, жестко требуя с каждого из должностных лиц, новый начальник постепенно начал заменять недобросовестных людей, угнездившихся на должностях бригадиров, комендантов, каптеров. Далеко не сразу и не на все должности он подбирал людей порядочных, способных наладить работу и быт, и впервые – из 58-й статьи. Делал он это не спеша, присматриваясь к возможным кандидатам. В большинстве случаев его выбор оказывался удачным. Как это ему удавалось при внешней отчужденности от нас – и сейчас не могу понять.

Любителей доносов (были и такие) он принимал по их просьбе, внимательно выслушивал, но постепенно стало ясно, что хода их донесениям он давать не торопится, а самих доносителей под различными предложениями с течением времени старается сбить с лагпункта. В этом, как и во всех своих действиях, Раммо был весьма последователен и настойчив.

Раммо решил заполучить в качестве главного врача человека с большим авторитетом, достаточно энергичного и вместе с тем гуманного, способного покончить с болезнями и смертностью. И такого человека он нашел. Вскоре на лагпункт в качестве главного врача прибыл ленинградец Алексей Александрович Нейман. Именно он, в то время главный врач Управления Воркутпечлага, в Усть-Усе снял меня, полуживого, с этапа и направил на Адак.

В лице Неймана Раммо приобрел отличного помощника, вернее, единомышленника и соратника. Постепенно им удалось наладить жизнь на лагпункте, улучшить питание, обеспечить подбор сильной для инвалидов работы, снизить, и намного, почти до возможного минимума, смертность в стационаре. Все получилось далеко не сразу, но в итоге эти два немолодых спокойных человека спасли от гибели сотни истощенных, потерявших надежду выжить людей. Я – лишь один из них. Накануне финской войны, мы, заключенные, жили совсем в других условиях, а пи-

тались лучше, чем наши вольные соседи-коми из деревни Адак.

Среди людей, выдвинутых Раммо на посты начальников, был молодой харьковский физик Илья Любарский. Энергичный, притом прямой и честный, он пользовался доверием нового начальника и это доверие использовал для облегчения жизни лагерников на кирпичном заводе, находившемся в двух километрах от лагпункта, выше по течению Усы.

В лагерь Илья попал за отказ дать показания против одного из своих знакомых. Впоследствии оказалось, что этот человек не был даже посажен и продолжал работать на Дальнем Востоке – случалось и такое. В 1939 году он вернулся в Харьков и узнал от родных Ильи о причинах его осуждения. Оказался он смелым и честным – обратился с заявлением к самому Берия с просьбой разобраться в этом деле. Благодаря этому заявлению и хлопотам родных Илья в конце концов был освобожден по чистой, но разбирательство продлилось около года.

Перед освобождением Любарского Раммо спросил его: «А кого вы рекомендовали бы после себя?». Илья не колеблясь предложил Романова. Поговорив с тем, Раммо тут же издал указ о назначении – думаю, при первом разговоре он сумел оценить ясный ум, самостоятельность и суровую честность Вениамина Флегонтовича, ведь всеми этими качествами обладал и он сам.

В дальнейшем Романов управлял заводом до самого отъезда Раммо с Адака, и Раммо всегда ценил его и поддерживал, предоставляя большую самостоятельность.

Заменивший Раммо начальник Манин сразу же снял Романова – для него подчиненный, державшийся независимо, был нежелателен.

Раммо, конечно, был белой вороной в среде лагерного начальства. До работы в милиции он работал журналистом, во всем его поведении чувствовался человек культурный. Оторванный от семьи, оставшейся в Ленинграде, Раммо на Адаке был, очевидно, одинок больше, чем любой из нас, заключенных. Здесь же, кроме нескольких стрелков, людей совсем другого уровня, вольных не было, а от заключенных в силу своего положе-

ния ончдолжен был держаться подчеркнуто на расстоянии.

Наш заведующий складом, по здешнему «каптер», заключенный из бытовиков Коля Самусенко сообщил, что большую часть своей зарплаты Сухарик отсылает семье в Ленинград, а сам питается не лучше нас, заключенных.

В отличие от обычных лагерных начальников Раммо не терпел искательства и пресекал любые попытки такого рода. Запомнился мне такой случай. В летний жаркий день, какие подчас бывают и у полярного круга, разразилась гроза с громом, молнией не хуже, чем в центре России. Выехавший к реке наш водовоз, смиренный работающий колхозник Шпетный, с удивлением заметил ворочавшуюся на отмели здоровенную рыбину. Это был налиим весом, как потом оказалось, около девяти килограммов, который во время грозы с перепугу выбросился на отмель. Такие гиганты на Усе были не в диковинку и иногда попадались на переметы. Шпетный не растерялся и выволок налима на берег. Затем со своим трофеем он прошел к домику, где проживал Раммо.

Тихий и забитый, уже немолодой, Шпетный, один из самых безответных работяг, совсем не был подхалимом, он просто не представлял себе, что вправе сам распорядиться такой добычей. Раммо оказался у себя. «Вот вам, гражданин начальник, рыбину принес», – пробормотал Шпетный.

Раммо казался суровым. «Что, она вам самому не нужна, что ли?», «Я – вам». «Что я вам, знакомый близкий, чтобы мне подарки делать» – продолжал начальник. Шпетный совсем растерялся. Раммо, очевидно, понял, что за человек перед ним, и заговорил более мягко: «Если вам действительно эта рыба самому не нужна, мы вот что сделаем. Налима я передам в стационар для самых слабых больных, а вам за него выпишем, сахар, масло, махорку, если курите. А подарков я ни от кого не принимаю, запомните». Шпетный ушел с выпиской на продукты, очень довольный, а налиим был передан в стационар.

Летом к начальнику приехала, наконец, его семья: жена, дочь, девушка 18-ти лет, и девятилетний сын.

Все лето семья Раммо провела на лагпункте. Для девушки на-

шлось развлечение – она часто ездила верхом на смирной белой лошади. Сын почти не отходил от отца. Нередко вечерами вся семья гуляла в окрестных перелесках.

Из нас чаще всего у начальника по делам завода бывал Илья. Однажды жена начальника вместе с мужем посетила завод и попросила Илью показать ей все производство.

К этому времени обстановка благодаря усилиям Раммо и Неймана изменилась к лучшему. Питались мы неплохо, не стало истощенных людей, труд был вполне по силам. И все же лагерь оставался лагерем, и мы, в своих одеяниях второго и третьего срока, с «козами» для погрузки кирпича за спиной, на свежего человека, каким была жена Раммо, произвели тягостное впечатление. Улучив момент, когда Раммо отошел, она прошептала Илье: «Боже, какой ужас!». И затем, глядя ему в глаза, напрямик спросила: «Скажите, только правду, прошу Вас, как здесь Раммо?». Илья горячо ответил: «Если бы все были такими!».

Северное лето короткое, и настало время отъезда семьи в Ленинград – ведь дети учились. Но, очевидно, одиночество так тяготило Раммо, что неожиданно для всех он решил оставить сына при себе.

Для занятий с ним начальник пригласил молодую женщину из осужденных по 58-й статье, Анну Григорьевну Бокал. До ареста она была студенткой, училась в Одессе. Там она с друзьями входила в созданную молодежью «Группу освобождения пролетариата», сокращенно ГОП, за что и получила пять лет. Оглядываясь на прошлое, она с улыбкой вспоминала эту совершенно безобидную ребяческую затею, одно название ГОП чего стоило. Приближалось окончание ее срока. На лагунке у нее был близкий человек, молодой, интеллигентный Виктор Васильевич Зуратов. Все знали, что по освобождении они решили пожениться. К этой паре у нас всегда относились с большой симпатией.

Для занятий Раммо припас нужные учебники. Анна Григорьевна оказалась старательной и способной учительницей. Мальчуган к ней привязался, и занятия ш ли успешно.

Однако нашелся мерзавец, некий Герцен, давно уже известный

всем доносчик. Не знаю, доводился ли он родней великому писателю – многие у нас находили известное сходство с портретом Искандера.

Этот тип сочинил донос на Раммо. В нем сообщалось, что начальник поручил воспитание сына особе, осужденной по 58-й статье. Донос на имя оперуполномоченного был опущен в ящик, специально повешенный для такого рода сочинений.

Однако Герцен просчитался. Он попросту не учел, что все доносы идут через начальника лагпункта и им прочитываются. Ознакомившись с опусом Герцена, Раммо отказался от обычной своей сдержанности. Он немедленно вызвал начальника ВОХР и, оформив бумаги, приказал увезти Герцена на соседний лагпункт Косью и там сдать. И предупредил, чтобы он ни под каким видом с Герценом назад не возвращался.

Мне пришлось столкнуться с Раммо в необычных обстоятельствах. Работал я тогда на уборке лесосек от сучьев. С первых лет существования Адака лес был засорен; кучи хвороста, сучьев, верхушек не убирались, и, наконец, инспекция лесоохраны наложила на лагпункт огромный штраф. Срочно сформировали две бригады. Одну из них поручили мне.

Лето выдалось жаркое, малейшая неосторожность грозила бедой – лесным пожаром. Поэтому я в своей бригаде не разрешал сжигать одновременно более трех костров на каждую пару работающих. На мою беду второй бригадой, работавшей на соседнем участке, заправлял некий Толстов, известный всем как карьерист и доносчик.

На второй день утром на разводе на меня набросился главный инженер Розе, упрямый и грубый прибалт двухметрового роста. Толстов доложил ему, что моя бригада лодырничает, с моего согласия устраивает посиделки. Попытку объяснить, что в такую сушь да еще в ветреную погоду невозможно сжигать одновременно несколько куч хвороста, что это опасно и неразумно, Розе встретил в штыки, поднял крик, назвал меня при всех саботажником и пригрозил, что подаст на меня рапорт. Обвинение в саботаже было одним из опаснейших, не единожды за это судили и добавляли срок.

Я оказался в тяжелом положении: будешь осторожничать – пришьют саботаж, допустишь пожар – обвинят во вредительстве. Таковы были порядки и нравы в лагерях. С этим приходилось считаться – угрозы нового срока висели как дамоклов меч.

Когда мы пришли на участок и разожгли первые костры, стало ясно, что в ветреную и сухую погоду даже за тремя кострами уследить трудно: чуть что – огоньки юркими зверьками норовили уползти по высокой, выжженной солнцем траве. Зная свои силы, мы понимали, что, если упустим эти огоньки, и они доберутся до сохранившихся на участке деревьев, нам с пожаром не справиться.

Рядом, на участке Толстого, поднималось все больше дымов от разжигаемых костров. «Что только делают!» – сокрушался старательный бакинец Керимов, старый партиец и мой давнишний напарник по работе. И вдруг совсем близко от нас пламя взвилось вверх, охватив оставшееся на участке дерево. Мы переглянулись: началось!

Этого мы ожидали. Ожидали и другого – Толстов не преминет представить дело так, что пожар начался на моем участке. «Керимов, больше ни ветки в костры! Оставайтесь здесь, а мы туда гасить!» С этими словами я и Илья Букрин, рабочий с Урала, с топорами в руках бросились на помощь к пожарищу. Там мы уже застали двоих рабочих из бригады Толстова. Вчетвером мы принялись забивать огонь граблями. Дым ел глаза, и главное, забивал легкие. Мы задыхались, глаза слезились. Силы наши были на исходе. Не знаю, что бы у нас получилось, если бы не внезапно подоспевшая помощь: из дыма появился рослый человек в черном мундире – начальник Раммо.

Как раз в тот момент, отчаявшись в попытках забить огонь граблями, я вспомнил совет старого лесника Едемского: если огонь разойдется, лучше всего – срубить молодые березки и их верхинками забивать пламя на земле. Я бросил бесполезные грабли, схватил топор и, отбежав в сторону, принялся рубить тонкие молодые березки. Свалив несколько штук, я схватил одну из них и принялся колотить по напользавшему по траве пламени. Рам-

мо очевидно решил, что я обезумел от испуга, и с криком: «Что вы делаете!» попытался меня ОСТАНОВИТЬ. Нервы мои были напряжены до предела, я рванулся в сторону, выругал начальника и, выкрикнув: «Илья, руби березы», продолжал забивать огонь. Начальник, очевидно, понял, что я все же в своем уме, раньше Илья овладел топором и начал валить и подбрасывать нам новые деревца. Силенки у него было побольше чем у нас, а главное – мы почувствовали, что не одни; подчас само это сознание прибавляет силы.

Только нам удалось остановить пожар, как рядом вспыхнул новый. «Что вы здесь делаете! – воскликнул Раммо. – Разве можно такое!». Я, задыхаясь, ответил: «Я на разводе это доказывал, так меня Розе саботажником назвал и рапортом грозил». «Передайте им, чтобы прекратили разжигать костры, только те, что горят, дожигайте!» – приказал Раммо. «Меня не послушают, это бригада Толстова». – «Неважно, – ответил Раммо, – скажите, что я приказал». – «Я передам, но разрешите пока новый очаг погасить!».

Раммо разрешил и сказал, чтобы мы все туда шли, а сам остался у кострищ. Новый пожар мы одолели, но у меня на ноге загорелась портянка, и получился ожог верхней части стопы. В азарте я слишком поздно это заметил и только позднее ощутил сильную боль. Пока я возился с ногой, подошел Раммо. Увидев, что со мною случилось, он приказал мне немедленно идти в медпункт.

Вечером, когда я с забинтованной ногой лежал на нарах, в бараках появился дне вальный начальника с копией приказа, которую вручил мне: «За самоотверженные действия при тушении пожара объявить благодарность, выписать продукты». Продукты эти – масло и сахар, консервы – мы с друзьями прикончили на следующий день, а вот с обожженной ногой пришлось возиться почти месяц – заживала она медленно, и пришлось торчать в бараке. Неожиданно Раммо вызвал меня к себе в кабинет и спросил: «Где бы вы хотели работать? Даю вам право выбора». Я попросился в бригаду, уходившую на выборочную рубку далеко от лагпункта – там работал мой друг, студент авиационного инсти-

тута Макс Сорокин. «А не тяжело там будет?» – спросил Раммо. Я ответил, что справлюсь, был определен в эту бригаду и о своем выборе не пожалел – удалось все лето прожить в лесу вне опостылевшей зоны.

Позднее, когда Илья Любарский перетащил меня к себе на кирпичный завод, я нашел занятие по душе. Вместе со скульптором, бывшим польским коммунистом-подпольщиком Володей Счастливым, мы организовали при заводе мастерскую. Изготавливали мы довольно изящные глиняные вазы, которые после обжига покрывали масляной краской. Затем по еще не высохшей краске вазу обрабатывали, вращая над керосиновой лампой, от копоти она становилась черно-лаковой. Последней операцией была роспись по лаку. Кроме ваз, мы делали из глины и забавные расписные свистульки. Продукция эта вывозилась за пределы лагпункта и пользовалась успехом – изделия получались самобытные. Эта мастерская стала прибежищем для больных, ослабевших людей, которым на общих работах пришлось бы трудно. Работали мы даже с удовольствием и очень дружно.

Осенью 1940 года Раммо разрешили, наконец, возвратиться в Ленинград. К этому времени жизнь на лагпункте наладилась, и мы, старожилы Адака, помнившие, каково здесь было раньше, понимали, что сумел сделать для заключенных, этот человек.

Особенно сожалели о его предстоящем отъезде люди из моего ближайшего окружения, собранные на кирпичном заводе Ильей Любарским. Конечно, нас радовало, что «срок» Раммо на севере окончился, но опасались, что с его уходом обстановка на лагпункте неминуемо изменится к худшему.

Получив разрешение на отъезд, Раммо дождался приезда нового начальника, чтобы сдать ему дела. Начальник завода Вениамин Флегонтович Романов зашел к нам в мастерскую. «Раммо попросил сделать для него вазу на память об Адаке», – сказал он, отозвав в сторону нас с Володей, – вы уж постарайтесь». Об этом нас просить не следовало. Сразу же мы взялись за дело и не пожалели сил и времени на выдумку. Ваза получилась изящной по форме. Я сам ее расписал, а все наши «болели», под-

сказывали, пока единодушно не признали ее лучшим нашим изделием – на меньшем бы не успокоились. В основании написали: «На память об Адаке».

Знаю, что Раммо пытался передать нам через Романова вознаграждение, но мы заранее предупредили Вениамина Флегонтовича, что просим принять наше изделие в подарок и не обижать нас.

Раммо отбыл с Адака вместе с сыном. Перед отъездом он обошел лагпункт, все такой же подтянутый и строгий «Сухарик».

Не знаю, какова была дальнейшая судьба Раммо и его семьи. В ближайшие годы ленинградцам суждено было перенести тяжелые испытания в блокадных условиях. Таким честным, бескорыстным людям пришлось, наверное, особенно трудно.





## ДМИТРИЙ ПОГРЕБНЯК

Дмитрий Герасимович Погребняк родился в 1925 году. В возрасте 18 лет был осуждён по 58-й статье, провёл в колониях и лагерях 14 лет. Сидел и на Колыме, и в Средней Азии. Совершил четыре побега и остался жив. Начал писать ещё в лагерях. В настоящее время проживает в Крыму.

### Допрос

Хорошее питание и молодость быстро залечивали рану: дней через десять после ранения я уже гулял по коридорам госпиталя, правда, приходилось держать тело в таком положении, будто я проглотил лом.

Всюду в коридорах, не говоря уже о палатах, вповалку лежали раненые. Нас, вновь прибывших раненых, поместили в подсобных помещениях во дворе.

Всё было бы отлично, если бы только хирург не так частоковырялся в моей спине и ниже, да сёстры не посмеивались, забинтовывая меня.

Мне нравилось, когда меня перевязывала медсестра Галя. Черноглазая, чернобровая, она так сочувственно ко мне относилась, а я смотрел на её округлые коленки, и мне становилось совсем не больно.

Как-то раз, хромая по коридору и заигрывая с санитарками, я решил заглянуть в одну из палат, и попытаться поменять махорку, которую нам выдавали каждый день, на сахар.

Махорка была мне совсем не нужна. Я не курил, а сахар – это вещь! Можно и Галю угостить. Вместо конфет.

В эту палату я ещё не заглядывал, и поэтому надеялся, что обмен будет произведён на высоком уровне.

– Братцы-славяне, – сказал я, войдя. – Кто желает попробовать моей махорки?

– Давай, угощай, – тут же отозвался усатый дядя, лежавший у окна, с забинтованными руками.

– Угощать потом будем, – сказал я. – А сейчас я хотел поменяться. – Вы мне сахар, а я вам – махорочку.

Тут мой взгляд упал на сидящего у двери раненого.

Я сразу узнал его, и обрадовался.

– Привет, сержант! – И ты здесь?

До этого я не встречал в госпитале ни одного человека из своего взвода. И вдруг – такая удача! Это был Мишка-бухгалтер. Он тоже вроде бы обрадовался мне, но как-то вяло.

– Садись, – пригласил он меня на свою койку. – А я-то думал, что ты, того, в Могилёвскую подался. Я же видел, как мина рядом с тобой разорвалась. Ну, думаю, ещё один накрылся!

– Поцарапало малость, – усмехнулся я, – ещё поваляюсь немного, отдохну, и снова на фронт. Судьбу испытывать.

– А братишку твоего ты больше не видел? – поинтересовался он. – Двоюродного-то?

– Нет, не видел? Какое там видеть – война!

Мишка бухгалтер закурил моей махорки, пожаловался, что зацепило его в ногу, и даже кость затронуло.

Я посидел немного, отсыпал Мишке, и усатому дяде махорки, и ушёл. Пообещал им, что буду в гости заглядывать.

Дней через десять меня перевели в команду выздоравливающих.

Иногда я заходил к Мишке-бухгалтеру – все же мы были с одного взвода! При моём появлении, круглое лицо Мишки отчего-то становилось скучным и замкнутым, хотя до этого он мог смеяться, или разговаривать с кем-нибудь. Однако, я не придавал этому особого значения. Правда, простодушно суя ему пирожок, или закрутку махорки, я немного удивлялся этой перемене.

«Не хочешь меня видеть, черт с тобою! Хоть и обидно, ведь я к тебе по-хорошему», – думал я.

По вечерам я прокрадывался в столовую, и прятался в дальнем углу за кадкой с пальмой, оставшейся здесь ещё с мирных времён, когда здесь был не госпиталь, а санаторий.

Вскоре появлялась Галочка. Мы сидели в полутьме, целовались, прижавшись друг к другу, шептались обо всём понемногу. И жизнь казалась мне прекрасной. Исчезали даже мысли о войне, и близком фронте. А тюрьма и колония, где я совсем недавно находился, представлялись страшным сном, виденным мною много лет назад.

Как-то, ближе к вечеру, я помогал санитарам заносить вновь поступивших раненых и весело думал: «Сегодня снова увижу свою Галку». – И тут меня окликнул дневальный:

– Эй, Харламов! Тебя вызывают к начальнику госпиталя!

Я толком и не подумал, зачем меня вызывают, и чуть позже, стоя по стойке «мирно» перед начальником госпиталя рапортовал:

– По вашему приказанию явился!

У стены, на стуле, сидел старший лейтенант, пехотинец. Он внимательно смотрел на меня, как бы оценивая. Около двери стоял солдат с винтовкой у ноги.

На душе у меня стало пусто-пусто...

– Ваша фамилия Харламов? – спросил, поднимаясь, старший лейтенант.

– Так точно, товарищ старший лейтенант!

– Можете поговорить здесь, а я выйду, – сказал начальник госпиталя.

Дождавшись, пока полковник покинет свой кабинет, старший лейтенант уселся за письменный стол, открыл папку, пробежал глазами несколько исписанных листов бумаги, вздохнул, и сказал:

– Да ты садись, садись. Разговор будет серьёзный. Я следователь особого отдела гарнизона, старший лейтенант Пушкив. Ваша фамилия, имя, отчество? Расскажите всё: где родились, где и кем служили, как попали на фронт?

Что я знал о Харламове? Где тот родился, да как попал в госпиталь. И всё. Но я попытался уверенно рассказывать, надеясь,

что следователю ничего не известно о прошлом человека, имя которого я присвоил.

– Дело ясное, что дело тёмное, – невесело пошутил следователь, выслушав мой рассказ. – А теперь распишитесь под своими показаниями.

Я расписался.

– Так вот, – сказал следователь, упрятав в папку мои показания, – нам стало известно, что вы, то есть Харламов Юрий Петрович, не являетесь таковым. Фамилию и звание старшего сержанта вы присвоили себе незаконно, обманным путём. В действительности, вы – Рубцов Сергей Павлович, бывший курсант Военно-пехотного училища, дезертировавший из Армии с целью перехода границы в Иран, за что и были осуждены по статье 54-1-2, как за измену Родине, и попытку перехода границы. К высшей мере были приговорены! Но, учитывая вашу молодость, вам заменили расстрел десятью годами заключения, и тремя годами поражения в правах. В октябре сорок третьего вы бежали из мест заключения. Признаёте это?

– Нет, не признаю, – ответил я каким-то чужим, непослушным голосом. – Я Харламов, и другой фамилии не имел.

Следователь смотрел на меня сочувственно, и даже как-то с жалостью

– Все твои отговорки, дорогой старший сержант, не стоят папиросного дыма. Нам всё известно. Был дан запрос в госпиталь, где находился Харламов, и где он умер. Нам известно так же, через кого ты достал его документы, и как ты попал на фронт.

Я смотрел на следователя, и напряженно думал. Откуда? Откуда ему всё известно?

Я почти угадывал имя человека, предавшего меня. Но я гнал от себя эту мысль, настолько она казалась мне неправдоподобной. Только Мишка-бухгалтер мог донести на меня. Но зачем он это сделал? Ведь я спас ему жизнь!

– Так что, может быть, ты сам всё расскажешь? – не дал мне подумать следователь.

– Откуда вам всё это... известно?

– Советские люди проявили бдительность, – усмехнулся следователь.

– Хорошо, допустим, всё, что вы говорите – правда. Но я же из колонии не за границу бежал, а на фронт.

– Именно, – снова улыбнулся старший лейтенант, и в оскале его зубов мне почудилось что-то хищное. – А зачем ты бежал на фронт? Вот вопрос!

– Воевать, зачем же ещё?

– Воевать... А, может, перебежать к немцам? Короче, не я тобою буду заниматься. Тобою займётся СМЕРШ.

Я не мог пошевелиться. Спазм сдавил горло. Что я мог ему ответить?

– А причём здесь СМЕРШ? – выдавил я из себя.

– А при том, что такими типами, как ты, занимается только контрразведка. Вот они то всё и выяснят. А теперь встать! Руки назад! Пошли!

В коридоре солдат с винтовкой встал у меня за спиной, и я снова зашагал под конвоем, всё ещё не веря, что снова круто меняется моя жизнь.

Раненые в коридоре и из открытых окон смотрели на меня, на конвой, и провожали нас молчаливыми взглядами.

Во дворе госпиталя нас ждал крытый брезентом джип.

– Юра, Юра, стой! – к машине подбежала Галя. – Товарищ старший лейтенант, разрешите отдать шинель?

– Ладно, передавай. Садись, Харламов!

– Юра, за что они тебя забирают?

– За старые грехи...

До этого я как-то крепился, но испуганное лицо Гали перевернуло мне душу. И мне показалось, что прямо сейчас, сию минуту, я иду на смерть, и мне больше не видеть ничего-ничего: Ни Гали, ни этого двора, ни джипа, ни высокого синего неба, ни офицера, только что допрашивавшего меня.

– Ты вернёшься? – спросила Галя, и в глазах у неё задрожали слёзы.

– Прощай, – сказал я ей, и отвернулся.

Меня привезли на гарнизонную гауптвахту. Обыскали, сняли ремень, проверили шинель. В карманах оказалось несколько галет, сунутых туда, несомненно, Галей.

– Ладно, – сказал лейтенант, высокий, худощавый парень, чуть старше меня, – раз подследственный, пусть забирает шинель и галеты. Отведите его в пятую камеру, пусть посидит один.

Почему это все тюремные двери, все ворота – скрипят? Почему этот звук режет душу, будто пилою проходит по сердцу, и ты весь съезживаешься, а в голове – бум, бум, бум...

Голая камера без нар, без стула, на который можно присесть. Даже параша нет, этой вечной спутницы заключённых. Лишь голый цементный пол, серые стены, и узкое окошко с решёткой, под самым потолком. Четыре шага в длину, два – в ширину. Гуляй, сколько хочешь.

«А в госпитале скоро ужин» – подумал я, и мне сразу захотелось есть. Вспомнил о галетах, и стал их грызть. Спасибо, Галечка! Хоть одна душа позаботилась обо мне.

В окне потемнело. Дело шло к ночи.

Расстелив шинель на цементном полу, я прилёг на это жёсткое ложе, думая, что сегодня меня уже не вызовут к следователю. Откуда-то появилась уверенность, что меня отпустят. Разберутся, и отпустят. Ведь я на фронт бежал, а не куда-нибудь. Я был ранен, а значит, искупил свою вину кровью. Как в штрафбате, или в штрафроте... Искупил...

И тут же эти мысли сменялись другими. Разберутся? О чём ты думаешь, дурак? От чего же не разобрались они, когда ты заблудился там, неподалеку от границы с Ираном? Так разобрались, что чуть не расстреляли! Тебе этого мало? Так о какой же ты думаешь справедливости?

Два дня тягостного ожидания вызова к следователю тянулись нестерпимо долго. На третий день, рано утром, в дверях звякнул замок, и лейтенант, встав у порога, сказал:

– Харламов, с вещами на выход!

Меня вывели во двор и затолкали в кузов грузовой машины. Машина выбралась за город, и помчалась по разбитой дороге,

с остатками кое-как засыпанных воронок, минуя остовы сгоревших машин, разрушенные посёлки и станицы.

Старшина и солдат с автоматом сидели в кузове за моей спиной, а я смотрел на проносящиеся мимо перелески и холмы, и думал: «А не рискнуть ли мне ещё разок? Ведь это так просто – прыжок через борт машины, скатываешься по косогору, и, пока конвой опомнится, скрываешься в лесу. Ну, а дальше что? Автомат – штука серьёзная. Подстрелят. А если не подстрелят? Ни документов, ни денег. А если где-нибудь задержат, упекут за дезертирство. Военный трибунал и расстрел перед строем... А так – что меня ждёт? Тюрьма, да лагеря... Опять надзиратели, опять уголовники...»

На здании, к которому меня подвезли часа через два, не было никакой вывески. Проходящие мимо люди едва ли знали о том, какая серьёзная контора там располагалась.

Меня ввели в коридор, и заперли в каменный мешок, где сесть на пол можно было только так, что колени упирались в железную дверь. Через час, когда я уже думал, что останусь до утра в этом мешке, меня подняли и куда-то повели.

В небольшом кабинете, за простым канцелярским столом сидел капитан-пехотинец. Его худощавое лицо с прямым носом было загорелым, как будто он все дни проводил на пляже. Серые внимательные глаза смотрели на меня пристально, и, как будто, доброжелательно. На светло-зелёном кителе поблескивали два ордена Красной Звезды и медали. На другой стороне кителя темнели две полоски – знаки тяжёлых ранений.

Я обрадовался, что вижу фронтовика. В душе затеплилась маленькая искра надежды.

– Итак, Рубцов, он же Харламов, садись, – сказал мне капитан. – Я следователь контрразведки капитан Жерехов. Садись, и расскажи всё по порядку: как бежал из колонии, как достал документы, почему рвался на фронт. Всё расскажи, не спеша. У нас есть время.

– Один только вопрос, товарищ капитан, – начал я...

– Не товарищ, а гражданин, понял? – поправил он меня. – При-  
выкай, как раньше говорил. Давай вопрос.

– Почему вы считаете, что я не Харламов, а Рубцов?

– А ты что, до сих пор не понял? Харламов-то умер в госпитале.  
А документы Харламова оказались у тебя. Кроме того, на фронте  
служит твой брат Николай, по фамилии Рубцов, который под-  
тверждает, что видел тебя во время высадки десанта.

– Но он не знал, что я Харламов!

– Правильно, не знал, зато другие военнослужащие видели  
и слышали ваш разговор.

– Идиот! – застонал я, поняв, что моё предположение насчёт  
Мишки-бухгалтера было верным.

Я забыл обо всякой осторожности, и выпалил:

– Это он, бухгалтер, эта скотина Мишка предал меня! Он один  
слышал и видел, как я разговариваю с братом! Но зачем он это  
сделал, не могу понять? Зачем он меня выдал? Обидно, граж-  
данин капитан! Сделаешь человеку хорошее, а он нагадит тебе  
в душу...

– И что же ты ему сделал хорошего? – с недоверием поинтере-  
совался капитан.

– Я его спас.

– Как спас? От пули, что ли?

– Нет, когда десантом мы шли к берегу, наш баркас перевер-  
нуло волной. Шторм, волны накрывают с головой, вода ледяная,  
а сверху немец колошматит снарядами, и из пулемётов. И тут  
я заметил, что этого бухгалтера затянуло под волну. Я, конечно,  
не знал, кто там, мне всё равно было. Но ведь свой, значит, спаст-  
ь надо. Я его вытащил на берег уже полуживого, ещё минута –  
и кормить бы ему рыб на дне морском. Ну, а после моей встречи  
с братом он спросил, кто это был. Что за дружка я встретил...

– И ты соврал?

– Соврал.

– Да... Но надо признать, что он оказался прав, уверяя, что  
ты не тот человек, за которого себя выдаёшь.

– Ну хорошо, гражданин капитан... я убежал из колонии.

Но я на фронт убежал, а не в тыл. Драться с фашистами, а не воровать чемоданы в поездах! Я с десантом высаживался... в атаку ходил, под пулями. Я ранен был. Разве я не искупил свою вину? Если она и была, эта вина! А этой, прямо скажу, вины у меня перед Родиной не было, и нет!

От волнения у меня на глазах выступили слёзы.

– У нас не судят невиновных, – возразил капитан. Заслужил – получи, и не трепыхайся!

– Даже если я виновен был бы... но я был ранен! Значит, я искупил свою вину кровью!

– Если бы ты сидел по другой статье, а не за измену Родине, разговор был бы другой, а так – тебе одна дорога: суд за побег, и тюрьма.

– Где же ваша справедливость? – вскинулся я.

– Не надо нарушать закон, – отрезал следователь, и прихлопнул ладонью по столу. Хватит дискуссий, будем писать протокол. Вам, гражданин Рубцов, он же Харламов, предъявляется обвинение по трём статьям: за побег из мест заключения, за подделку и использование чужих документов, а так же за попытку перехода фронта в целях избежания отбытия срока заключения.

– Да вы что, гражданин следователь? Какая попытка?

Я смотрел на следователя с ужасом, не в силах произнести ни слова.

Капитан вздохнул, и, избегая моего взгляда, уткнулся в листы бумаги. Потом он откинулся на спинку стула, и закурил. Видно, ему и жаль было меня, но он не мог проявить никакого сочувствия ко мне.

– Где вы взяли документы на имя Харламова? – негромко спросил он.

– На Текинском базаре, в Ашхабаде, – ответил я.

– У кого?

– У какого-то типа, наверно, карманника.

– За сколько?

– За две тысячи.

– Где взял деньги?

– Украл.

– Врёшь ты всё, парень, всё ты врёшь... Так с какой целью ты стремился попасть на фронт?

– Я хотел... сражаться за свою Родину.

– Ладно, – протянул капитан, – это был предварительный допрос.

Он дал мне лист исписанной бумаги, где наверху крупным шрифтом было напечатано: «Контрразведка СМЕРШ», и я расписался в конце листа. Капитан Жерехов закрыл папку, и прихлопнув её рукой, снова откинулся на спинку стула, и снова пристально стал смотреть на меня своими серыми глазами.

– Расскажи, как тебя первый раз посадили, – неожиданно попросил он.

И я рассказал ему всё, не утаивая. Как заблудился, как задержали, как вели следствие с упором на признание несуществующей вины, и как я подписал все листы допроса, надеясь, что на суде во всём разберутся.

Рассказал и о том, как Военный трибунал отмёл все мои доводы, как несущественные, и вклеил высшую меру.

Капитан вздохнул. Вероятно, он мне верил. Он помолчал немного, и сказал негромко, и как-то по простому:

– Я, скорее всего, не буду вести твоё дело. Уеду на фронт. По крайней мере, там всё ясно: кто враг, кто друг. Эта работа не для меня. Пусть ею те занимаются, кому она по душе. А тебе я вот что хочу сказать, парень. Держись изо всех сил. Иначе – пропадёшь. Долго тебя допрашивать не будут, но постараются выколотить из тебя нужное признание. Так что держись.

– Я рассказал вам всё честно, – сказал я.

– Повторяю, держись! Если будешь стоять на своём, может и избежишь 58 статьи. Это сейчас – самое главное. Ну а в лагерь ты всё равно попадёшь, за побег. Теперь иди, и выпишись как следует.

Уже другой конвоир, пожилой сержант, привёл меня в подвал этого здания. Остановившись перед одной из камер, он приказал мне раздеться догола. Натренированные руки быстро обшарили одежду.

– Сядь! Встань! Подыми руки! Открой рот! Подними ногу! Другую! Нагнись!

Он заглянул туда, куда никто, кроме обыскивающих, не заглядывает. – Одевайся! Заходи!

Узкая камера-одиночка. Прибитые к столу столик и скамейка, голые узкие нары у стены, параша у двери, и бачок с водой. Так выглядело новое моё жильё.

Хотелось есть, но я знал, что просить бесполезно. Надо терпеть до утра, когда сами дадут кусок хлеба, и кружку кипятка.

И ещё я знал, что теперь чувство голода будет постоянно сопровождать меня и здесь и долгие годы в лагерях, если я не убегу, или меня не подстрелят.

В камере было тепло, и я, расстелив на нарах шинель, сразу же лёг, и уснул.

Резкий звук звонка подъёма заставил меня поспешно соскочить с нар. Днём нельзя ложиться, а можно только сидеть, или ходить по камере. Нельзя ни петь, ни громко говорить. Особенно карают за то, что спишь за столом. За всё это в карцер, и триста граммов хлеба, вместо полкило. Всё это я знал.

Открылась «кормушка», и рука надзирателя протянула мне кусок полусырого хлеба и кружку кипятка.

В невесёлых размышлениях провёл я время от завтрака до обеда. За что мне всё это? За что? Ведь я не враг! Почему следователь за следователем пытаются уличить меня в преступлении, которого я не совершал? Я не находил ответа.

В коридоре послышалось звяканье посуды: раздавали обед, и снова открылась моя «кормушка». На первое – суп из горохового концентрата, эдакая мутненькая жидкость. На второе – ложек пять джугаровой каши, без всякого жира. После такого обеда ещё больше хотелось есть. Я с тоской вспомнил, как хорошо нас кормили в училище.

Трудно было определить время суток. Окно камеры выходило в глухой коридор, и дневной свет сюда не проникал.

Меня снова вызвали на допрос.

В той же комнате, где я был вчера, сидел уже другой следователь. Майор. Узкое лицо с большим хрящеватым носом, серые глаза под светлыми бровями, округлая, до самой макушки, лы-

сина в обрамлении светлых волос. Ему было от силы лет сорок, но морщинистая шея, и набрякшие мешки под глазами изрядно старили его.

– Садись, Рубцов, – сказал он тихим усталым голосом, и подвинул к себе тощую папку, моё дело. – Рассказывай!

– А чего рассказывать, я уже всё сказал.

– Ты раньше врал, а теперь – говори правду.

– Я не знаю, какой вам правды надо. Я уже сказал свою правду, и другой у меня нет!

– Сознайся во всём, и мы сразу закроем эту канитель с тобой! – майор похлопал жилистой рукой по папке. – Давай, говори!

– Вы подскажите, что говорить, а то я не знаю.

Я даже постарался понравиться майору.

– Расскажи, как ты достал документы. А главное – с какой целью стремился попасть на фронт?

– Я уже всё объяснял другому следователю...

– А теперь мне расскажи...

И я снова начал повторять всё, от самого начала.

– Ишь, патриот выискался! – покривился майор. – На фронт он хотел! Здесь тебе контрразведка, а не милиция. Не таких раскалывали, и тебя расколем. Всё-то ты нам расскажешь, вплоть до того дня, как родился. А если не вспомнишь, то подскажем. Понял? Не валяй дурочку, а говори всё, как маме родной, после долгой разлуки.

Говоря это, майор как-то лениво поглядывал на меня, ничего не писал, папку не открывал, но голос его звучал едко и насмешливо.

– Вот тебе бумага и ручка, и пиши всё: где родился, где крестился. Да не забудь, как дезертировал из училища, и бежал из колонии. Понял?

Я начал писать, а майор поднялся, прошёлся по комнате, потом запер в сейф папку с моим делом, и вышел в коридор.

Я остался один. На окне крепкая решётка. Стол, сейф, дверь в коридор. Когда меня сюда вели, я заметил дежурного, стоящего в конце коридора. Конечно, бежать отсюда было не-

мыслимо, и всё же я поднялся, и, крадучись подошёл к двери.

Всё было тихо. Я осторожно стал приоткрывать дверь, и тут она резко распахнулась, и снова закрылась, ударив меня по голове.

– Что, скотина, бежать пытаешься! – закричал следователь, влетая в комнату.

И он стал бить меня в живот и по ногам, пока я не упал на пол.

В кабинете сразу же появилось ещё несколько военных. Они скрутили меня. Корчась на полу от боли в ногах, я видел только носки их хромовых сапог, запачканные грязью. Мне стало страшно при мысли, что все эти носки начнут сейчас футболить меня из угла в угол.

– Подымайся! – раздался крик. – Разлётся, как на пляже!

Я поднялся, сел на табурет. Голова кружилась. Я потрогал лоб, на нём вздувалась шишка.

– Встать! – крикнул майор.

Я послушно поднялся. Следователь взял табурет, поставил его в середине комнаты.

– Садись!

Все, находившиеся в комнате, подошли поближе и молча смотрели на меня, как бы изучая. Я подумал, что сейчас должно произойти что-то скверное.

Они не стали меня бить, как я ожидал. Но посыпались вопросы:

– Фамилия?

– Как попал в армию?

– Почему хотел перейти линию фронта?

– С кем хотел дезертировать?

– Я не успевал ответить на один вопрос, как за ним следовал второй. Да они и не слушали меня. Оглушённый, подавленный, я пытался что-то говорить, а они продолжали орать, дёргая меня то за воротник, то за плечо, а то и за волосы. Так, что я едва удерживался на табурете.

– Кто тебе дал документы?

– Отвечай!

– Кто твой отец?

– Умер? Когда? Где?

– Были у тебя друзья в училище?

– Фамилии! Не ври, отвечай!

Это продолжалось долго, очень долго. Видимо, они сами устали от своего крика, и внезапно ушли. Наступила тишина. Майор снова уселся за стол:

– Итак, будем говорить, или будем кота за хвост тянуть? Чем быстрее сознаешься, тем быстрее попадёшь в тюрьму, а там и в лагерь...

Он говорил так, будто обещал мне свободу. Но в его словах была доля правды. В сравнении с контрразведкой и лагерь мог бы показаться свободой.

– Вот здесь я подготовил пару листов допросов, – майор вытащил листы из папки и протянул мне. – Прочитай, подпишись. И я отпущу тебя в камеру. Причём – в общую камеру!

И я снова стал читать лист, на котором сверху было напечатано: Контрразведка СМЕРШ.

Вопрос: С какой целью вы попали во фронттовую часть?

Ответ: С целью перейти линию фронта, чтобы избежать наказания за раннее совершённые преступления.

Я не стал читать дальше, и так всё было ясно: меня подвели под статью «Измена Родине», и это – во второй раз. Значит, расстрел, без всякого обжалования.

– Это ведь – смертный приговор, – сказал я. – Даже если бы я был полным идиотом, и тогда бы я не подписал такой протокол.

– Хорошо, – миролюбиво ответил мне следователь, – не сейчас, так потом подпишешь. И ещё пожалеешь, что сразу не подписал.

– А что, бить будете? – спросил я.

– На кой ты нам нужен, чтоб кулаки оббивать об тебя. Есть и другие методы, получше. Давай, пиши свою автобиографию!

Майор сунул мне чистый лист бумага, снова запер в сейф моё дело, и вышел. На этот раз я уже не пытался подходить к двери.

Вскоре майор вернулся, неся стакан чая и бутерброд с колбасой. «Американская», по запаху и виду определил я. Такую нам давали в училище. Хорошая колбаса, только запах и привкус какой-то необычный.

В животе у меня заныло. Я сглотнул слюну, и, стараясь не смотреть на бутерброд, продолжал писать. Было, наверное, часа два ночи, когда я, исписав четыре листа, подал их майору, думая, что после их прочтения он отправит меня в камеру. Однако, пробежав глазами написанное, следователь тут же порвал листы.

– Враньё написал! – сказал он. Пиши снова, но правду!

Скрипнула дверь, и вошёл капитан, среднего роста, с мясистым, одутловатым лицом.

– Привет! Ну как, сознался? – спросил он.

– Да нет, не желает, – хмыкнул майор.

– Тем хуже для него, – сказал капитан, и стал снимать шинель.

Майор, напротив, надел свою шинель и вышел.

Вскоре я написал ещё раз свою автобиографию, и подал капитану. Капитан отложил листы в сторону, не читая.

– Протокол читал?

– Читал.

– Подпишешь?

– Нет!

– Тогда сиди и думай, а как надумаешь – скажешь.

Он склонился над бумагами, что-то стал писать, не обращая на меня внимания. У меня всё больше ныла рана, куда майор до этого угодил сапогом. Я облокотился руками о сто, и стал дремать.

– Ты что, спать сюда пришёл? – окликнул меня следователь. – На бумагу, пиши автобиографию.

– Так я же писал!

– Ты у меня поговори! Быстро карцер заработаешь!

И я опять стал писать. Так продолжалось до утра. Следователь пил чай, прохаживался по кабинету, нет-нет, да и предлагая мне подписать протокол допроса. Он почти не реагировал на мой отказ, и продолжал заниматься своими делами.

Закончив в пятый раз писать свою биографию, я ждал, пока капитан оторвётся от бумаг. Ждал и думал, почему люди идут на такую, как у него, работу? Что их манит? Деньги, почести, карьера? Или они видят в этом свой долг перед государством? Где же тут долг, если меня пытаются осудить за преступление, которого я не совершал?

Капитан взглянул на часы, потянулся, и сказал:

– Пошли, на сегодня хватит.

Войдя в камеру, я тут же упал на нары, до того нестерпимо хотелось спать. И тут же раздался звонок, возвещавший подъём. Я мигом подхватился и сел на табурет, приклонив голову к столу.

И сразу окрик:

– Не спать, сидеть прямо!

Чтобы перебороть сон, я стал ходить по камере, заставляя себя о чём-то думать. Ну, хотя бы, о том, хватит ли у меня сил и воли не поддаться уговорам следователя. Смогу ли я не подписать протокол?

Открылась «кормушка». Хлеб, кружка кипятка. И, как подарок – две крупные селёдки.

Селёдка была жирная, хотя и очень солёная. Я с удовольствием, и с жадностью съел одну. Хотел взяться за вторую, но решил оставить её себе на ужин.

Теперь бы поспать, только бы поспать! Голова моя упрямо клонилась к столу.

С лязгом открылась дверца «кормушки», и появилось пожилое лицо надзирателя.

– Не спать! Ещё раз увижу, что спишь – попадёшь в карцер!

Я стал ходить по камере. Но сколько можно выходить на подгибающихся ногах? А тут и пить захотелось. Я поглядел в угол, где стоя бачок с водою, и только теперь заметил, что бачка там не было.

Не специально ли мне дали селёдку, и унесли бачок? Поколебавшись немного, я постучал в дверь.

– Чего тебе? – сразу же спросил надзиратель. Вероятно, он стоял под дверью.

– Попить бы.

– Не положено. В обед попьёшь, – было мне ответом.

И снова – четыре шага вперёд, поворот, четыре шага в другую сторону. Устав ходить, я прислонился к стене, и стал дремать.

– Не спать!

Казалось, что надзиратель всё время стоит под дверью, и на-

блюдает за мной в «волчок», застеклённое отверстие в двери.

И вдруг мой взгляд упал на парашу: вот где можно поспать! Я уселся в углу и сразу же провалился в забытё. Стук открываемой двери сразу же сдёрнул меня с параша. Делая вид, что застёгиваю брюки, я пошёл к столу.

– Выходи! – приказал надзиратель.

В коридоре стоял ещё один военный, тоже пожилой, с погонами старшины.

– За нарушение тюремного режима, вам даётся трое суток ареста, – изрёк он, и приказал: – Пошли!

– За что? Я не спал?

– Разговоры! Иди вперёд! Руки назад! Забыл, что ли?

Мы прошли подвальным коридором, и остановились перед несколькими низкими дверями.

«Какой же это карцер? – подумал я. – Это, скорее, какие-то кладовки...»

– Заходи!

Дверь за мной захлопнулась, и я оказался в каменном мешке. Локти упирались в стены, голова – в низкий потолок. Я сразу же попытался сесть на цементный пол, но колени упёрлись в дверь, обитую железом, а спина – в стену, и я повис, не касаясь туловищем пола. Яркая лампа в решётке над дверью слепила глаза.

Считая, что в этот бокс меня посадили временно до карцера, я решил потерпеть. Но время шло, в коридоре уже звякали посудой, а меня не выпускали.

Я постучал в дверь кулаком.

Чего тебе? – тотчас спросил кто-то сиплым голосом за дверью.

– В туалет надо.

– Не положено, вечером пойдёшь!

– Но мне надо сейчас!

– Не положено!

– Когда меня отсюда выпустят?

– Через трое суток!

Спорить было бесполезно и опасно. Могут и стальные брасле-

ты надеть. Те, что при малейшем движении рук сами впиваются в тело. Оставалось молчать, и терпеть.

Как я ни прилаживался, чтобы посидеть и вздремнуть, всё было тщетно. Колени больно упирались в железную дверь, и я как бы повисал, не доставая задницей до пола.

Постепенно ноги стали затекать, и я никак не мог найти им места. Встав, и упершись головой в потолок, я стал топтаться на месте, но яркая лампа больно била по глазам и излучала тепло. Душно и жарко было в этом каменном мешке.

Я уже не понимал, что причиняет мне больше муки: нестерпимое желание спать, или острая жажда, или крайняя необходимость сходить по нужде. Не выдержав последнего, я снова стал стучать в дверь.

– Ну, чего тебе? – послышался голос надзирателя.

– В туалет надо, терпенья нет!

– Оправка вечером!

– Так я же не утерплю! Мне что, прямо здесь оправляться?

– Будешь трепыхаться, смирительную рубашку наденем!

– Так я же не сумасшедший!

– Ничего, посидишь – ещё и чокнешься, – захохотал невидимый надзиратель.

А я уже держался из последних сил. Хоть завывай! «Эх, была не была! – решил я. – «Сколько можно мучиться!». И, пристроившись в углу, я сделал своё дело. Сразу стало легче, и прислонившись к стене, я всё же задремал. Но сразу же услышал удар в дверь:

– Не спать! – удалялись шаги.

Я прислушался. В коридоре снова слышался голос надзирателя:

– Не спать!

Видно, какой-то горемыка терпел такие же муки, как и я.

В коридоре снова зазвякали посудой. Начинался ужин, но я знал, что мне ничего не перепадет. Хоть бы дали кружку воды! После той проклятой селёдки, мне до смерти хотелось пить. Я с трудом ворочал шершавым языком, и глотал слюну пересошим горлом.

Вечером, после оправки, меня снова вызвали на допрос. Да, чтобы раздавить человека, нужно не давать ему спать. Ни днём, ни ночью. Что может быть проще?

В кабинете сидел майор и выжидающе смотрел на меня. Я искал глазами табурет, чтобы сесть, но его не было.

– Постоишь, постоишь, – усмехнулся майор. – Ничего с тобой не случится. Иди у угол, и стой там. Я пока занят. А, может, ты что-нибудь надумал? Тогда давай, говори!

– А что мне думать? Я не виноват в том... что вы мне шьёте...

– Ладно, посмотрим, какой ты твёрдый, – усмехнувшись, промолвил следователь. – В любом человеке есть трещина, и он рано или поздно ломается... раскалывается!

– А зачем вам это нужно?

– Что нужно?

– Чтобы я сломался и наговорил на себя?

Майор внимательно поглядел на меня своими серыми, холодными глазами, будто что-то во мне не до конца понял, и буркнул:

– Это не мне нужно, а государству. Изменников Родины надо карать, вот и весь разговор!

Я пытался ещё что-то сказать, но он одёрнул меня, и заставил меня повернуться в своём углу лицом к стене.

Часа через два он обо мне вспомнил.

– Ну, как ты там, в углу? Надумал что-нибудь, или нет?

– Я уже всё передумал, – ответил я.

– Чайку с бутербродами не хочешь?

– Хочу, – сказал я, хотя и понимал, что надо мной издеваются.

– Подпиши протокол, и я тебя накормлю.

Я молчал. Не скажешь же ему, что я не хочу менять свою жизнь на кусок хлеба, пусть даже и с колбасой. Правда, я мог бы выпить чай, съесть бутерброд, а потом отказаться подписывать. Подобное, по слухам, проделывали некоторые. Но потом их так били...

Часа в два ночи явился вчерашний капитан. Майор уже надел свою шинель, как в кабинет вошёл плечистый, высокого ро-

ста, старший лейтенант. Он сказал что-то на ухо майору, и они вместе вышли из кабинета. Через несколько минут из соседней комнаты раздался душераздирающий человеческий крик. Потом послышались удары о стену, какая-то возня. Так продолжалось не меньше получаса.

Когда за стеной всё стихло, вспотевший майор вернулся в кабинет.

– Сволочь! – зло выдавил он. Ещё отмахивается! Работал, сволочь, у немцев в порту, а теперь говорит, что его заставили! И не выдаёт, кто с ним работал. Ничего, скажет! Куда он денется!

В словах майора не было ни малейшего сомнения в том, что из того подследственного можно выбить все, что нужно. А что нужно? Только одно – признание вины, хоть и несуществующей. Дело попало в производство, как на конвейер: задержание, следствие, суд, лагеря или расстрел. Производство должно давать продукцию, а продукция – это мы, попавшие сюда по разным причинам.

Мой следователь давно ушёл, а я всё стоял, как истукан, на затёкших, онемевших ногах, и ждал, когда наступит утро. Хотя я точно знал, что утром мне не станет легче, если снова поместят меня в камеру-мешок.

– Может, подпишешь?

– Нет, не подпишу.

– Ну, дело твоё. Стой дальше.

Иногда капитан наливал из графина воду, и пил её крупными глотками, и, при этих звуках, у меня снова и снова перехватывало горло. А к тому же мне снова, как случилось днём, захотелось по нужде, и я сказал об этом капитану.

– Ничего, потерпишь до утра, – сказал он.

Переминаясь с ноги на ногу, я чувствовал, что ещё немного, и я просто повалюсь на пол. Ноги совсем одеревенели и не подчинялись мне.

– Отведите в туалет, иначе я здесь всё сделаю, – не выдержал я и повернулся лицом к капитану.

В его лице что-то дрогнуло, он покривил своими пухлыми губами и сказал:

– Пошли, чёрт с тобою!

Туалет был чист и опрятен, не то, что для заключённых. Но, главное, перед туалетом помещалась раковина с водой.

Капитан, оставшись в коридоре, курил около открытой двери. Сделав своё дело, я быстро подошёл к крану, и, захлёбываясь, начал пить. Но тут же почувствовал на своём воротнике тяжёлую руку следователя.

– Ах ты, скотина! Обмануть меня решил? – капитан ударил меня кулаком в челюсть. – Стой в углу, и не шевелись! Подними руки! Выше, выше! Вот так, и не отпускай!. Опустись – одену наручники!

И тут я взмолился в душе. «Господи! – взмолился я, – за что же эти страдания? Пусть бы фашисты издевались, но тут же – свои! Где же хоть какие-нибудь законы? Где же, в конце концов, в этих следователях человеческая жалость? Порядочность?»

Страх покинул меня, я опустил руки, повернулся к капитану и твёрдо сказал:

– Я требую встречи с прокурором!

– Ха! А больше ты ничего не хочешь? Может, хочешь на свободу?

– Я требую встречи с прокурором! – повторил я.

– Тебе от этого не станет легче, – хмыкнул капитан.

– Всё равно. Существует закон, а по закону я имею право обратиться к прокурору, – упрямо гнул я своё.

Следователь насмешливо поглядел на меня, скривив свои губы пельмени, и сказал:

– Черт с тобой. Вот бумага, и пиши, что хочешь.

– Дайте табуретку, ноги не держат.

– Ничего, стоя напишешь.

Я быстро написал, как мог, и попросил о встрече.

И возвратился к своему каменному мешку. Надзиратель, запускающая меня, заметил в углу лужу.

– Ах ты, скот безмозглый! – заорал он, – Оправляешься в камере! Хочешь получить ещё несколько суток карцера? На тряпку, вытирай!

Когда я заканчивал вытирать, пятясь в коридор, он сильным пинком загнал меня, как мяч в ворота, в каменный пенал, и хлопнул дверь.

– Сволочи! Палачи! Стрелял бы вас всех – надзирателей, следователей, прокуроров! – зло кричал я, и, не помня себя, начал биться головой о стену своего каменного мешка.

В эти минуты я не хотел жить. Стоит ли так мучиться сейчас, чтобы снова мучиться потом? Чего я добиваюсь? Того, чтобы не расстреляли за повторную измену Родине? А если даже не расстреляют, а пошлют снова в колонию, а потом снова в лагерь?

Снова страдать от голода, от вшей, от непосильного каторжного труда? От издевательств уголовников, которых науськивает лагерное начальство против врагов народа, против всех, сидящих по политическим статьям? Там, в лагерях, могут убить и за пайку хлеба. И оттуда почти невозможно убежать! Так стоит ли мне цепляться за такую жизнь?

Эта мысль не давала мне покоя целый день. По-прежнему обвиснув, уперевшись коленями в дверь, а спиной в стену, я дремал под резкие крики надзирателей. Яркий свет, и тепло от лампы, висящей рядом с головой, доводили до бешенства. Но деваться было некуда, и я терпел. Один раз я попытался раздавить эту лампу, но палец не достал через решётку до стекла. Тогда я обмотал лоб и глаза гимнастёркой, но после угроз надзирателя пришлось её снять.

Утром, после того, как я вернулся от следователя, мне дали кружку кипятка и кусок хлеба, до следующего утра. А спать мне по-прежнему не давали. Но глаза сами закрывались. Бессчетное число раз вздрагивая от стука в дверь, я полубезумно водил глазами, чтобы показать надзирателю, что я не сплю.

В моём сознании началась какая-то путаница: реальность и коротенькие сны, в которых я успевал увидеть себя на свободе, возле моря, на Родине. Несколько раз всплывало лицо матери. Потом мне мерещилось, что я куда-то бегу, а за мной гонятся люди с ножами. А я всё бегу, бегу, голый и босой, и слышу за спиной шумное дыхание убийц... и снова явь, каменный мешок, желез-

ная дверь, и голос надзирателя: «Не спать!». Недаром усатый надзиратель говорил, что здесь можно сойти с ума. Можно.

Пошла уже третья ночь моего допроса. Я по-прежнему стоял в углу, уперевшись лбом в стенку. Стоял на гнущихся ногах, в каком-то полубредовом состоянии от кружения в голове. Стоял до утра, отказываясь подписать заготовленный заранее протокол допроса. Я крепко запомнил слова моего первого следователя в этом заведении, Жерехова: «Держись, парень! Тебя будут допрашивать не долго, но усилено. Держись!»

Но сил держаться уже не было. И снова я иду, как старик шаркая отяжелевшими, опухшими ногами по коридору, на допрос.

За столом ненавистная физиономия майора. Он указывает мне на табурет.

– Садись, Рубцов. Ты что, ещё в пенале?

Я молчал.

– Да, долго они тебя держат. Надо не нарушать режим. Ладно, я скажу, и тебя переведут снова в камеру.

Я молчал.

– Вот что я думаю. Может, закрутимся? Зачем тебе мучиться, сидеть в карцере? Не спать? Давай, подписывай протокол, потом будет суд, и ты, скорее всего, попадешь снова в колонию.

– А если дадут высшую меру, тогда что, – спросил я. Я не узнал своего голоса.

– По-твоему, суд не разберётся, кто перед ним? Ты ведь наш, советский человек. Ну, оступись немного. С кем не бывает.

– Почему же вы сами не видите, что перед вами советский человек?

– Потому что мы, дорогой, обязаны всё выявлять. Все твои желания, даже не сбывшиеся. Как переход линии фронта, например. Ведь ты хотел перейти фронт? Сознайся!

– Нет, не хотел, – вяло сказал я.

– Не упрямясь, я ведь с тобой по-хорошему, а ты упрямишься.

Я слушал его, а сам смотрел в окно на освещённый фонарями тюремный двор, и думал: вот двор, а дальше улица... свобода... Там ходят люди... там молодёжь, такие же как я, ходят, гуляют,

влюбляются... И всё это не для меня, будто бы я уже мертвец, и гляжу на жизнь из другого мира...

– Ты будешь подписывать, или нет? Я тебя уже второй раз спрашиваю! – прервал мои мысли майор.

– Ничего я подписывать не буду. Я прошу встречи с прокурором, – сказал я.

– В тайге твой прокурор. Там и встретитесь с ним, на лесоповале. А сейчас – марш к стене, и не двигаться, – и майор в сердцах бахнул кулаком по столу.

И снова я стою на отёкших ногах, и снова те же мысли. Как уйти из жизни? Единственное избавление от всего этого кошмара. Вот хорошо было бы повеситься перед домом этого майора. Пусть бы он сам, и жена его, и дети, если они у него есть, увидели бы, проснувшись утром, как я болтаюсь в петле. Может, в нём пробудилась бы тогда хоть капля совести? Может, оттаяла бы его зачерствевшая душа?

Я вспомнил, что читал когда-то, как один человек, замордованный барином, повесился перед его окнами, взывая таким образом к его, бариновой, совести. Которая, правда, так и не пробудилась...

Я стоял в углу, а майор попивал чай, нарочно громко прихлёбывая, и позвякивая ложечкой.

– В туалет надо! – сказал я ему из своего угла, надеясь обмануть его, как обманул капитана, и напиться из крана.

– Ничего, до утра дотерпишь!

Уткнувшись в прохладную стену лбом, я старался задремать, но боль в ступнях заставляла меня непрерывно переступать с ноги на ногу. Когда же эта ночь кончится? Лучше уж в пенале... чем так стоять...

– Подпиши, и я тебя сразу же отпущу, – говорил мне время от времени следователь.

Я молчал. А в уме соображал, из чего сделать петлю, к чему её прикрепить. Я же не почувствую боли. Потихоньку, постепенно сдавит сонную артерию, и всё. Дальше – мрак, бездна... из которой нет возврата.

Дверь открылась, и вошёл капитан. Ну вот, сейчас он сметит майора, и его уже больше не обмануть с туалетом.

– И как дела? – поинтересовался капитан.

– Всё так же упирается, – ответил майор. – Ну ничего, расколется!

Он ушёл, а я всё так же продолжал стоять к углу. Несколько раз капитан предлагал мне расписаться, но предлагал как-то вяло, не настойчиво.

– Может, сводите в туалет, – попросился я. – Будьте вы хоть немного человеком!

– Я то человек, а вот ты – дурак!

– Почему?

– Потому что не учился в училище, как все нормальные парни, а пытался бежать за границу.

– Да не хотел я бежать! Я заблудился, а такие же следователи навязали мне дело, и посадили в тюрьму. Зачем мне Иран, чего я там не видел? Персов, что ли? Так я даже их языка не знаю!

– Ладно, пошли.

– Куда?

– В туалет, ты же просился! Выйдя из кабины туалета, я направился в коридор, косясь на кран. Следователь усмехнулся своими губами-пельменями, и сказал:

– Пей, только быстро!

Я метнулся к крану, и, захлёбываясь, обливаясь, начал заглатывать воду.

– Только не проболтайся майору, а то мне будут неприятности, – сказал капитан.



рисунок Ал-ра Левинсона

Я смотрел на него, и его лицо показалось мне уже добрее и симпатичнее, чем раньше. Много ли человеку надо?

До утра я продолжал стоять, уперевшись в стену лбом. Кружилась голова, и пред глазами всё расплывалось, когда поворачивал голову в сторону.

Наконец закончилась и эта, третья ночь.

– У меня закончились трое суток карцера, – сказал я надзирателю. – Отведите меня в камеру.

– Никакого распоряжения насчёт тебя не было. Сиди, пока не скажут, – огрызнулся тот, и снова затолкал меня в пенал. У двери стояла кружка с кипятком и кусок хлеба. Я выпил кипяток, а есть не стал. Лишь одна мысль сверлила теперь мою голову: как выполнить задуманное, чтобы не заметил надзиратель. «Четвёртой ночи не будет!» – думал я.

Я висел в своём пенале, а голова, как чужая, всё время клонилась на грудь. Сколько можно терпеть! Я силился принять решение, но оно не приходило. Не было сил, дух и воля отупели, и стали безразличны ко всему. Наверное, этого и добивается следователь, дожидаясь, когда человек устанет бороться, и ему станет на всё наплевать – и на свою судьбу, и на жизнь.

Рядом, в соседнем пенале, кто-то настойчиво стучал в дверь. Мелодичный женский голос требовал, на высокой ноте:

– Выпустите меня! Сколько можно здесь сидеть!

Сиплый мужской голос отвечал:

– Не вошь! Когда надо будет, тогда и выпустят!

– Но я уже десять суток тут сижу! Сколько можно?!

– Не ори, а то хуже будет!

Послышался удар открываемой двери, возня в коридоре, и снова прерывистый женский голос, который кричал:

– Подлецы! Опричники! Будет и вам суд!

Шаги нескольких человек затихли в конце коридора. Я как бы очнулся от забытья, сперва робко, а потом всё сильнее стал стучать в двери.

– Что тебе надо? – надзиратель открыл кормушку.

– У меня закончились трое суток карцера, и вы должны перевести меня в камеру.

– Когда будет команда – выпустим.

– Я требую прокурора! Я требую закона!

– Сейчас ты получишь и прокурора, и закон!

Надзиратель куда-то удалился, а через секунду открылась дверь, и меня выволокли в коридор. Двое здоровых мужчин скрутили мне руки за спину. Щелкнули на запястьях наручники, и я снова оказался в пенале.

«Вот и всё», – подумал я, – добился!»

Теперь надо было сидеть тихо-тихо, не шевеля руками, иначе браслеты вопьются в кисти, и тогда вспомнишь маму родную, и проклянешь день, когда родился!

Я стоял в пенале, согнув голову, упирающуюся в потолок, зажмурив глаза от яркого света лампы, и всё время силился не сесть, но ноги, как ватные, гнулись в коленях. Духота, яркий свет, тьмота каменного мешка, затуманенное сознание от искусственной бессонницы доводили меня до исступления. Я готов был биться о железную дверь, пока не вылезут мозги. Но усилием воли я сдерживал себя, и тупо стоял, дожидаясь неизвестно чего. Кисти рук наливались тяжестью, тупая боль охватывала всё тело. Кисти рук, наливаясь тяжестью, постепенно впивались в узкие рёбра браслетов. До сознания дошло, что я тихо вою от боли.

Время тянулось бесконечно, мучительно долго, и конца ему не было. Открылась дверь, и я вышел в коридор. Усатый надзиратель повернул меня лицом к стене, и снял наручники.

И снова я в пенале.

Растирая онемевшие кисти, я думал: «Что же дальше? А дальше – только одно – уйти из этой жизни». Наручники были последним аргументом, повлиявшим на моё решение.

Подобрав валявшийся на полу хлеб, я съел его, запив остатками воды. Надо было подкрепиться перед работой.

Онемевшими пальцами я стащил с опухших ног сапоги, чтобы разорвать на полосы портянки. Но они так пропитались потом, и издавали такой тошнотворный запах, что меня чуть не выверну-

ло. Кое-как, задевая локтями за стены, я стащил с себя гимнастёрку и тельняшку, решив, что из тельняшки получится хорошая удавка.

– Что делаешь? – Приоткрыл «кормушку» надзиратель.

– Да вот, чешется, – ответил я. – Паразиты завелись.

– Ну что ж, давай, бей! – разрешил надзиратель. – Тебе только и осталось, что вшей бить!

Располозовав тельняшку, я туго связал концы полос, сделал петлю, и затянул её на шее. Стало неприятно до озноба.

«Ничего, не малодушничай! – подбадривал я себя. – Решил, значит делай!

– Не спать! – стукнул кулаком в дверь надзиратель. Снова удар, и окрик, в другую дверь. Прислушиваясь к удаляющемуся голосу, я привязал свободный конец верёвки к решётке, закрывавшей электролампочку, и стал опускаться на колени, всё больше натягивая верёвку. В ушах появился слабый звон, дышать становилось тяжелее. Хватая ртом воздух, я опускался всё ниже и ниже.

«Ничего, ничего, скоро всё кончится», – успокаивал я себя. В глазах поплыли радужные круги, замельтешили оранжевые и тёмные пятна.

Вдруг резко, как вспышка света, пронеслась мысль: «Что я делаю? Жить, лучше жить!»

Из последних сил я старался подняться на ноги, пытался схватить руками удавку, и не мог. Ещё секунду я всё ещё пытался подняться, и всё...

Потом как-то неприятно защипало в носу, запахло чем-то резким, противным, и я приоткрыл глаза. В глазах замелькали серо-белые тени.

Потом женский голос произнёс:

– Жить будет, но надо в больничную камеру.

Кто-то брызнул мне в лицо водою, и я увидел женщину в белом халате, надзирателя, и какого-то офицера.

– Без разрешения следователя не имею права отправлять его в больничную камеру, – произнёс офицер. – Посадить в камеру, где он сидел до этого, и раздеть догола, чтоб не вздумал опять вешаться!

Было трудно дышать, меня сильно тошнило. А когда меня

ввели в камеру, на меня напала такая икота, что невозможно было её остановить. Голый, без кальсон, я лёг на нары и зарыдал, сам не зная от чего: то ли от неудавшегося самоубийства, то ли от того, что остался жив.

Через час мне дали одежду. Появился майор, и сказал:

– Что, захотел уйти от заслуженной кары? Не выйдет! Пошли, тебя ждёт прокурор!

В просторном кабинете, за длинным столом, сидел пожилой полковник в мышиного цвета кителе. Интеллигентное лицо, внимательные глаза, седеющие волосы. В руках он держал папку с моим делом.

– Сколько же вам лет? – спросил он, и, не дожидаясь ответа, сам сказал: девятнадцать лет, а уже столько успел натворить. Попытка перехода границы, измена Родине, высшая мера наказания, фронт, ранение, и снова следствие. Да, а что дальше, спрашиваю вас?

– Это от вас зависит, – ответил я, запинаясь. – Всё в ваших руках.

– Почему вы старались попасть в армию, а потом на фронт?

– Я надеялся, что после войны, если останусь жив, конечно, то получу чистые документы, и буду жить, как все люди.

Прокурор смотрел на меня внимательно. Кого он видел перед собой? Запуганного, худого парня. Высокого, чуть курносого, и еле держащегося на ногах...

– Мать жива?

– Не знаю, она в оккупации.

– Кто ещё у тебя есть? – прокурор перешёл на «ты»

– Два брата, оба на фронте. А сестра вместе с матерью в оккупации.

– Ладно, мы подумаем.

Больше меня не вызывали на допрос. Вернувшись в камеру, я закутался в шинель, которую мне вернули, и проспал до следующего вечера. Никто меня не тревожил. В камере снова появилась параша и бачок с водой. У двери стояли две миски с похлёбкой, и кусок хлеба.

Через несколько дней меня перевели в общую камеру, и я стал ждать вызова не следствие и суд за побег из колонии.

Впереди меня ждали лагеря, и новые испытания.



# АЛЕКСАНДР КОНОПЛИН

## Шаги

И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать  
и испытать мудростию все, что делается под небом:  
это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим...

Книга Екклезиаста, гл. 1, ст. 13

– Серега! – жаркий шепот в ночи. – Очнись!

Это мой кореш Мишка Денисов – старший сержант. Он спит как раз подо мной, на нижних нарах. Он помощник командира огневого взвода и одновременно командир первого оружейного расчета, я – второго, третьим командует сержант Полосин, четвертым сержант Шевченко, но их места у противоположной стороны казармы, возле расчетов. Денисов старше меня на год, Полосин на год моложе, Шевченко – «годок». Когда я пришел на батарею, Денисов был уже сержантом, а когда появился Полосин, мы с Шевченко имели по две «лычки» на погонах.

– Сержант Слонов! – орет Мишка. – Подъем!

– Чего ты? – не выдерживаю я. – Людей разбудишь.

– Да они не спят, – оправдывается Мишка и подвигается, давая место подле себя.

Некоторое время мы молчим, прислушиваясь к звукам, вот уже третью ночь подряд будоражащим полк. В основном это шаги. Реже – шум борьбы и крики. Но шаги не просто торопящихся в галюн полусонных солдат, а другие – шаги людей, обутых не в кирзовые, как мы, на резиновом ходу, а в яловые сапоги с кожаной подошвой и металлическими подковками – на резине под-

ковки не держатся. Эти-то подковки и производят на чугунных ступеньках этакий странный перестук. Начинается он, как правило, в половине первого ночи и длится час-полтора. Пушкинские казармы на Логойском тракте под Минском вовсе не пострадали во время войны, и наш полк разместился даже с некоторым комфортом – прибывший вместе с нами из Германии двести шестой пока что ютится в землянках. У нас большие застекленные окна, крыша под железом и крепкие чугунные лестницы с широкими перилами. Есть даже канализация и водяное отопление, которые при немцах, говорят, работали, у нас же постоянно ремонтируются. Топимся мы наполовину ворованным углем: в десяти километрах от Минска проходит узкоколейка на Логойск, вдоль насыпи лежат горы каменного угля для городской ТЭЦ. С вывозкой угля электростанция не справляется – нет машин, зато у нас их навалом. Грузят уголь ночами и на его добычу посылают новобранцев вроде моего Лисейчикова или Сапижака. Послать меня или моего друга Денисова, конечно, можно, но что из этого получится? Война научила нас не только воевать, но и сачковать...

– Слышь, Серега, это опять они, – говорит Мишка.

Я чувствую, как напряглось его тело под тонким байковым одеялом. Неужто, в самом деле, у нас в полку завелась контра? Мишка молчит, и я слышу дыхание кого-то третьего над своим ухом.

– Вчера из второго дивизиона двенадцать человек взяли, – говорит этот третий, – сперва двух, потом... обратно двух, а к утру и остальных.

– И позавчера.

Это еще один голос, словно дуновение ветерка. И чего они все дрейфят? Ведь не за ними же пришли!

Будто подслушав мои мысли, Денисов говорит внушительно:

– Ты, Остапенко, панику не наводи. Берут из второго дивизиона, там половина под немцем побывала, проверить надо...

– Так проверяли же! Сколько можно? Как освободили из-под немца, так и проверяли. Тогда – СМЕРШ, а теперь не известно кто.

– Известно, – язвит кто-то, – ты на погоны глянь.

– Да не наше это дело! – повышает голос Мишка, но я вдруг понимаю, что он боится. Мишка Денисов, прошедший огни и воды!

– Мишк, – спрашиваю я, – чего ты их боишься?

– Чокнулся, что ли? – Денисов тянет одеяло на себя, забыв, что половина его подо мной. – Пускай виноватые в портки кладут, а мне ихние страхи – до лампочки.

Кто-то вздохнул, кто-то сказал невнятно «оно, конечно, само собой», кто-то закурил украдкой и полез, расталкивая других, на свое место, а я лег на спину и стал думать.

Третью или даже четвертую ночь к нашим казармам подъезжают грузовики, вдоль забора с колючкой выстраивается редкая цепь солдат в фуражках с красными околышами и какие-то люди, гремя подковками, поднимаются на третий этаж в расположение второго артдивизиона и уводят наших товарищей. Многие из тех, что исчезли накануне, не были ни львовянами, ни гродненцами, ни даже минчанами, а родились и выросли в центре России. И арестовывают не одних солдат. Недавно увели старшего лейтенанта Снегирева. Вечером он сдал дежурство лейтенанту Мячину и ушел домой, однако там не появился. Утром приходила его жена, но в расположение части ее уже не пустили. Стоя за проходной, она плакала. Потом ей сказали, что ее муж арестован органами контрразведки и теперь ей надлежит обращаться в другие инстанции. Однажды не явился на службу капитан Вавилин. Сегодня утром младший лейтенант Алексеев из второй батареи передал Полосину письмо к родным и очень просил отослать его гражданской почтой, если с ним, Алексеевым, что-нибудь случится.

Аресты начались с одного, как мне вначале показалось, пустяка. Недели полторы назад тихой августовской ночью на дверях полковой столовой появилась карикатура: на бегущем во всю прыть слоне сидит товарищ Сталин и держит в руках удочку, на конце которой привязан клочок сена с надписью «коммунизм». На слоне написано слово «народ», а на Сталине – «правительство».

Плакатик с карикатурой первыми увидели трое: сменный повар Глаголев и два солдата, возвращавшихся с кухни в казарму

после чистки картошки. Постояли, посмеялись и... пошли дальше. Арестован был в ту ночь только один солдат, по фамилии Трешкин. После дежурства на кухне он страдал расстройством желудка, а поскольку дневальные на своих этажах дристунов в туалет не пускали, ему приходилось всякий раз бегать через весь военный городок. И вот, пробегая в очередной раз мимо столовой, Трешкин увидел плакат, но ни удивиться, ни возмутиться не успел, как был схвачен двумя офицерами и доставлен в контрразведку.

О случившемся начальство, надо полагать, было извещено в ту же ночь, партийный актив и комсорги батарей узнали об этом три дня спустя. По причине малограмотности Трешкина и отсутствия способностей к рисованию автором карикатуры его никто не считал, но не исключали, что именно он повесил тот плакатик на стену.

Поиски врагов народа начались уже на следующий день после ареста Трешкина. Первым был взят писарь техчасти Филатов, исполнявший обязанности полкового художника, и завклубом младший лейтенант Ракитин. Арестовали за несвоевременный донос и повара Глаголева, и двух солдат, случайно проболтавшихся, что видели тот плакатик первыми. Затем аресты перекинулись на личный состав артополка.

Интересно: кого возьмут сегодня? Выйти и посмотреть? Но у дверей опять стоит краснопогонник с автоматом. Крики «мне в галлюн!» в расчет не принимаются.

– Не маленький, потерпишь.

Утром мы опять ищем ответа у своих командиров. Лейтенант Кукурузин молчит, младший лейтенант Хизов задумчиво смотрит на нас глазами навывкате и говорит буднично и спокойно:

– Значит, так: с нашего взвода десять человек на чистку матчасти, одного на кухню, остальных в распоряжение старшины батареи. А сейчас, после подъема, всех на физзарядку.

Он смотрит на часы. Издали мне видно, как дежурный по казарме тоже смотрит на свои трофейные. Еще секунда – и он заорет благим матом ненавистное для солдата:

– Под-ье-о-ом!!

Как подброшенные пружинами, солдаты срываются с нар и, застегивая на ходу ширинки, выстраиваются посреди казармы. Затем, по команде старшины, делают поворот направо и, наступая друг другу на пятки, бегут в коридор к туалету. Дверь в него опять заколочена, и взвода устремляются к лестнице. На площадке мы вливаемся в поток, несущийся с третьего этажа. На лестнице становится тесно, старинные перила выдерживают, новые, нашей работы, трещат, и передние орут на задних, чтобы не напирали.

На первом этаже находятся службы, но есть помещения, где живет комендантский взвод – не то двадцать, не то тридцать человек. Обычно они выбегают на opravку последними или не выбегают совсем, но сегодня что-то произошло в верхних, командных слоях, и «сачки» устремляются в общий поток. Трещат перила, трещат двери, пропуская стадо полуголых с одинаковыми круглыми головами и оттопыренными ушами.

– Выходи строиться! – кричат снаружи. – Первый взвод, становись!

Оба дивизиона устремляются на задний двор, где стоит дощатое, кое-как сколоченное сооружение с загаженным полом и надписями на стенах. Минуя его, взвода выстраиваются вдоль колючей проволоки, ограждающей нас от внешнего мира, а этот мир – от нас.

– Свернуть курки, открыть затворы!

Это не команда. Ритуал. Или, если угодно, здоровый солдатский юмор. Струи мочи ударяют одновременно, и какое-то время слышен сплошной гул. По ту сторону проволоки проходит Логойский тракт, по нему спешат на работу редкие прохожие. Хорошо, что еще слишком рано и нас видят не все...

После opravки взвода срываются с места и мчатся к умывальникам. Там уже давка: на третьем этаже опять что-то засорилось – и на втором сбились в кучу два дивизиона. Над головами первогодков видны широкие плечи старшего сержанта Денисова. Бригоголовые почтительно уступают место, те, что с прическами «в два пальца», не уступают и сантиметра: подумаешь, старший

сержант! Но с Мишкой спорить трудно. Одно движение могучих плеч – и кто-то уже летит под ноги ревущих от восторга первогодков. Денисова уважают. Он слегка туговат на ухо – в конце войны, под Франкфуртом, получил легкую контузию, – но и это нравится молодым: не всякое слово должно доходить до командира... Командиру батареи Мишкина глухота – поперек горла, ибо он понимает: Денисов своей глухотой иногда спекулирует...

Между нами он старший только по возрасту, а вообще среди «мушкетеров» – так мы прозвали свою боевую четверку – лидера нет, мы равны, разве что один любит поэзию, другой разбирается больше в музыке, третий – отличный знаток лошадей.

По нашим телам можно изучать полевую хирургию: у Денисова ранение в плечо, у меня в бедро, у Шевченко в голень, у Полосина в шею. Характеры тоже разные. Денисов спокойный, медлительный, не слишком разговорчивый, давно кидаящий службу «через палку», – поговаривают о демобилизации, да все никак не растелятся там, наверху. Нам еще служить, но и у нас к службе отношение однозначное: Полосин видит во сне родной колхоз и коней, Шевченко бредит учебой в институте, мне просто осточертело все казенное – распорядок дня, долбежка уставов, чистка никому не нужной матчасти – устаревших пушек образца тридцать девятого года.

Совсем недавно я мечтал о сапогах: всю войну и долго после мы носили уродливые ботинки и обмотки, и вот теперь наконец мне выдали желанные кирзачи, но я больше ничего не хочу, кроме свободы, и готов идти домой по шпалам в майке и трусах... Кстати, старые кадровики, отслужившие действительную еще до войны, рассказывали, что в казенном обмундировании они ехали только до райвоенкомата. Там его снимали и далее, в деревню, добирались в своем гражданском, которое либо хранилось в военкомате, либо привозилось родными из деревни. Рассказывали об одном шутнике (а может, хитром парне), который, раздевшись догола по приказу начальства, сел в военкомате на скамейку и наотрез отказался уходить. Бились с ним сутки, на вторые военком

не выдержал и разрешил – в порядке исключения – вернуть неимущему его обмундирование. Так был нарушен приказ наркома Ворошилова номер такой-то... Хотел бы я оказаться на месте того парня!

Между тем умывание закончилось, на плацу полковой трубач Генка Ханырин принялся с усилием выдувать знакомое: «Бери ложку, бери ба-а-к, а не хочешь – иди та-а-ак...» По звуку трубы мы безошибочно узнаем, до какой степени Ханырин был пьян накануне.

В столовую полагается идти строем, и обязательно с песней, а поскольку расстояние от казармы невелико, поющие взвода дважды обходят столовую кругом, пока их допустят внутрь.

Кроме наших огневиков в дивизионах есть «сачки» – привилегированная часть населения Пушкинских казарм – пэфээсники, гэсээсники, каптерщики, кладовщики, прачки, сменные повара, сапожники, портные, писаря. Все они пробираются в столовую первыми, но не строем, а поодиночке, реже – по двое, и не всегда через парадное крыльцо... Огневики по лестнице не идут, а летят, – так велико желание дорваться до горячей жратвы, – но именно здесь, возле столов с мисками, их ждет сюрприз: дежурный по столовой тоже хочет показать свою власть. Хорошо поставленным голосом он командует: «Встать!» – и минут пять читает батарею нотацию относительно того, как положено вести себя бойцу Советской Армии, готовящемуся принять пищу. Дежурными по столовой обычно назначают «дезертиров пятилетки» – сверхсрочников.

В отутюженной «комсоставской» гимнастерке, начищенных до блеска яловых сапогах, в фуражке с высокой тульей и с одиноко болтающейся медалью ЗБЗ1 на груди, ходит он мимо замерших в скорбном молчании солдат и читает проповедь, стараясь нажимать на баса. По Уставу мы не имеем права вмешиваться – «дезертир» старше нас по званию, – но иногда не выдерживаем и посылаем его к «Бениной маме» – солдата положено кормить горячим... После завтрака опять построение и марш в обратную сторону, но уже без кружения вокруг столовой – поджигает вре-

мя политзанятий. Усевшись на длинных деревянных скамейках в Ленкомнате, говорим об одном и том же – о ночных арестах. Нас удивляет молчание командиров.

– Да всё они знают! – говорит Денисов, загоня своих солдат в Ленинскую комнату. – Только сказать не хотят.

На политзанятиях мы всегда сидим вместе: Денисов, Полосин, Шевченко и я. Как и у Дюма, нас не трое, а четверо. Тема сегодня – как, впрочем, и вчера, и третьего дня, и неделю назад – «Десять Сталинских ударов».

Шевченко приходит последним и, садясь, шепчет:

– Подоляку с Захарченкой взяли.

Мы смотрим на ведущего политзанятие и молчим. Странно, но я совсем не слышу его голоса. Подоляку знаю с весны сорок четвертого. В апреле наша часть вошла в небольшую деревушку Сольцы, к востоку от Минска, названную в сводках Совинформбюро «крупным населенным пунктом». Первым, кто встретил нас у околицы, был высокий ростом, нескладный боязливый парень в домотканых портках, лаптях и накинутой на плечи немецкой шинели. За его спину пряталась девочка лет семи в рваной солдатской телогрейке и шапке-ушанке. Вместо юбки на ней был немецкий бумажный мешок с несмываемым орлом спереди и номером сзади.

Наш бравый капитан Хижняк, пружинно выпрыгнув из кабины тягача, сказал, глядя поверх головы парня:

– Ну что, удрали твои хозяева? – так он начинал каждую встречу с местными жителями.

– Ни, – простодушно признался парень, – хозяев хрицы постриялы, ось, тильке их дочка осталась, – он легонько подтолкнул девочку вперед. – Нэ бийсь, це – наши...

Не ожидавший такого оборота капитан кашлянул и покосился на девочку.

– Стало быть, она хозяйская дочь. А ты кто? Батрак, что ли?

– Ни, батракив у них не було. Маты моя и ее – сестры. Як моя померла, Подоляки мене до своей хаты взяли, бо батьки у мене не було зовсим. А що? Воны Подоляки, я тэж Подоляка...

– А кормили как? – все поняв, крикнул с тягача Остапенко. Воспитанный дружной семьей детского дома, он в жизни больше всего ценил харч.

– Та добре кормилы, – поднял на него глаза парень, – умисты йилы.

– Ладно, – капитан Хижняк решил, что пора ставить точку. – Родине хочешь служить?

Подоляко нерешительно посмотрел на нас – измученных долгим походом, глядящих на него из-под надвинутых на лбы касок.

– Як кажете. Мени б тильке ее куда пристроить, Ганночку. Маленька ще...

– Шевченко! – крикнул Хижняк. – Возьмешь заряжающим. Дай ботинки Яцкова и шинелку, если подойдет, а не то заведи у старшины, скажи, я приказал.

Так житель деревни Сольцы Иван Подоляко стал орудийным номером. Был общителен, честен, с товарищами доброжелателен, ровен, на глаза начальству не лез, но приказы выполнял добросовестно и старательно. Если в армии вообще можно говорить о любви, то его любили.

– За что ж Подоляку-то? – спрашиваю я, хотя сам знаю, что на этот вопрос никто не ответит.

Но вот политзанятия окончены, и трубач Ханьрин возвещает о всеобщем построении. Теперь мы знаем точно: накануне Ханьрин был пьян в стельку.

Выбегая на плац, мы уже знаем, что половина артполка опять пойдет в парк Челюскинцев на строительство увеселительных сооружений. С начала весны мы работаем там землекопами, плотниками, лесорубами – гражданское начальство Минска договорилось с нашим о поставке рабочей силы. Мы не против. От казармы на Логойском тракте до парка Челюскинцев путь лежит через развалины кварталов. Под ними в норах живут минчане. Они охотно берут у нас мыло, гимнастерки, сапоги в обмен на самогон. Но наш интерес не только в этом. Под развалинами живут женщины и девушки. Бледными сусликами возникают они над своими норками всякий раз, как слышат нашу бравую строевую песню.

Наблюдают, между прочим, и за нами, и за развешанным на веревках бельем...

Участок нашего дивизиона в парке самый отдаленный и заброшенный. Если вблизи Московского шоссе сосновый бор относительно чист, то здесь сплошной бурелом. Однако именно здесь встречается больше человеческих костей. Наткнулись мы на них в первый же день работы. Закончив тесать столбы для качелей, я и Денисов сели покурить. И увидели бегущего к нам со всех ног рядового Сапижак.

– Товарищ старший сержант, там... – он бестолково махал рукой в сторону небольшой рожицы. – Там, товарищ старший сержант...

– Мина небось? – Денисов вопросительно смотрит на меня. – Не должно вроде, саперы проверяли... Ладно, идем.

Он поднимается и нехотя идет за солдатом. Я пока остаюсь. Мина здесь не диво. Если Мишка ее увидит, махнет рукой, я просемафорю командиру взвода, тот саперам – и все дела. К тому же у Денисова должна быть ракетница. Но он не семафорит. Подождав немного, я иду тоже и нахожу его на краю только что вырытой траншеи – их копают под фундамент каких-то павильонов. У Мишкиных ног на желтом песочке лежат черепа. В траншее видны другие, а также кости и целые скелеты. Никто из солдат не работает – все выбрались наверх и стоят поодаль.

– Меня до вас ехрейтор Рыжков послал, – как бы извиняясь, говорит Сапижак.

– Продолжать работу? – спрашивает Рыжков.

– Пока – отставить, – Денисов вынимает ракетницу.

Минут через десять, не спеша, прибывает старший лейтенант Мудров с двумя саперами и миноискателем.

– Мина или бомба? – спрашивает он еще издали, а подойдя – снимает фуражку. – Ну и жарища! А это – не наше дело. Зверства фашистов. Вызывайте политотдельцев, пусть собирают митинг – всё как положено. – И уходит.

Еще через пять минут появляются наши взводные – Хизов и Кукурузин. От обоих пахнет одеколоном, тонкие усики Кукурузина

аккуратно подбриты. Он узколиц, сухощав и жилист, занимается боксом и должен скоро жениться на дочери генерала – командира нашей дивизии.

– Все ясно, – говорит Кукурузин, – зверства фашистов. Здесь закопать, отмерить десять шагов влево и вырыть по новой.

Кукурузин отвечает за всю стройку. Отмерили десять шагов, начали копать, но на глубине около метра снова наткнулись на кости.

– Может, сообщим в политотдел? – спрашивает Хизов.

– Да тут их много, – возражает Кукурузин, – если им понадобится для митинга, еще найдем, а нам сегодня надо фундамент заложить, а то кирпич разворуют.

Я всмотрелся. Только на некоторых захороненных сохранилась одежда, остальные, надо полагать, были похоронены голыми.

– Баб и тех не пощадил гад! – лютует ефрейтор. – Нет, мало я их уложил за войну!

У Рыжкова шесть медалей и «звездочка». Из рядового состава он самый старый на батарее, к нам прибыл из госпиталя уже после войны.

– Странно, – говорит Хизов, – на костях почти не осталось мягких тканей, а ведь здесь песок. За четыре года должны были только мумифицироваться...

– Вот и я гляжу! – вмешался Денисов. – У нас за древней кладбище было. Когда шоссе строили, половину оттяпали. Мы с мальчишками бегали смотреть: лежат как живые – которые лет пять назад похороненные, черные только и высохшие, вроде копченой рыбы.

– Получается, что эти – намного раньше? – Хизов в задумчивости гладит пальцем левую бровь – привычка, как он пояснил, с детства. Мой отец, помнится, в минуты раздумий тоже гладил пальцем вихор на лбу, отчего у него к тридцати годам образовалась маленькая лысинка...

– Товарищ младший лейтенант, – вспоминает Денисов, – у Словнова в расчете боец Лисейчиков до войны работал в музее. Как-то про мумии рассказывал. Я приведу, а вы расспросите.

Он вернулся с моим солдатом. Длинный и нескладный Лисей-

чиков был еще сутул и очкаст, с вечно хлюпающим носом. По его ногам в каптерке у Климова не нашлось брюк, поэтому между брюками и обмотками у Лисейчикова видны кальсоны.

– Старший сержант Денисов говорит, что до войны вы работали в музее, – начал Хизов. – В каком отделе?

– В отделе древностей, – ответил Лисейчиков. Голос у него был тонкий, женский, и это вызывало постоянные насмешки солдат.

– Вам приходилось иметь дело с мумиями или мощами? – Хизов ко всем солдатам обращался на «вы».

Лисейчиков кивнул.

– Я слышал, как раз перед войной где-то в монастыре под Минском нашли несколько хорошо сохранившихся мумий. Кажется, монахов.

– Протоиерея и его сестры, – поправил Лисейчиков.

– Наверное. А можно, хотя бы приблизительно, определить их возраст?

– Это устанавливается с точностью до пяти лет. Кроме того, на надгробных плитах, как правило, имеется дата.

– В таком случае – определите возраст этих скелетов, – Хизов посторонился, давая возможность солдату заглянуть в траншею, но тот не двинулся с места и даже сделал шаг назад.

– Хотя бы примерно, – настаивал Хизов. Лисейчиков странно напрягся, вытянулся, но в траншею не заглянул.

– Понимаю вас, – сказал Хизов, – зрелище не из приятных. Но мне нужно знать...м-м... в воспитательных целях.

С Лисейчиковым творилось что-то странное. Его лицо, минутой назад нормальное, побелело и стало походить на солдатскую простыню, а губы посинели, со лба стекал каплями пот.

– Ладно, идите, – сжалился Хизов и, когда Лисейчиков ушел, спросил: – Он ведь, кажется, местный?

– Минск, Красноармейская, пять, – вспомнил я, – дома старая бабка, брат девяти лет и сестренка.

– Чокнутый он у тебя, – сказал Денисов, – комиссовать надо. Да все они, которые под немцем были, чокнутые.

– Он нормальный, – сказал Хизов, – только чего-то боится.

– Само собой, – согласился Денисов, – запугал их немец до смерти, чуть чего – в портки кладут.

– Побыл бы ты на их месте, поглядели бы мы на тебя, – тихо проговорил Шевченко. Я не заметил, как он подошел сзади. Из нашей «мушкетерской» компании он самый воспитанный, его родители преподают в каком-то вузе, и Сашка, кроме родного украинского, знает русский и немецкий.

Странно, но его слова, в общем-то необидные, взбесили всегда спокойного Денисова.

– На ихнем месте я быть не мог! Понятно? Никогда! – крикнул он и вдруг обратил гнев на столпившихся вокруг солдат. – А ну, разойдись! Развесили уши, сачки! – И, когда солдаты разбежались, повернулся к Шевченко: – Я тебя уважаю, токо ты меня с ними не равняй. Ты знаешь, почему они под немцем очутились? В партизаны не захотели! Струсили! Лучше в немецких холуях ходить.

– Сам ты холуй, – опять почему-то очень тихо сказал Шевченко, – только не немецкий, а... – он не договорил, махнул рукой и пошел к своему расчету. Похоже, наша мушкетерская дружба дала первую трещину.

– Таких, как Лисейчиков, в партизаны не брали. У него иждивенцев трое, кто их кормить будет? И потом, из него стрелок – как из твоего хрена шкворень. И еще у него плоскостопие. В мирное время таких вообще в армию не призывали.

– Чегой-то он на меня взелся? – не слушая меня, спрашивает Мишка. – И с чего это я – холуй?

Нет, с Мишкой порядок. Да, если разобраться, не так уж он и виноват. Шестой год подряд вколачивают нам в головы идиотский принцип деления людей на чистых и нечистых. Чистые – это мы с Мишкой, Полосин, еще кое-кто; нечистые – все, кто был под немцем. Раз был, значит, виноват. Только вот что никак не укладывается у меня в голове: эвакуировали-то в первую очередь заводы, важные учреждения, семьи больших начальников, а насчет остального люда отдавались распоряжения вроде: «...уходить из города по Московскому шоссе в сторону Орши»;

«Не оставлять врагу ни скота, ни построек, ни хлеба»; «...колодцы разрушать, амбары поджигать». Таких указаний, что такой-то район города едет на грузовиках, которые будут поданы тогда-то и туда-то, а такому-то району собраться на вокзале для погрузки в эшелоны, я что-то не припомню. Не подавались грузовики под лисейчиковых, антоновичей, сапижаков и прочих неорганизованных. Разве что вместе с заводом кому-то посчастливилось убраться отсюда. А Мишка – что! Он всего лишь рупор полковника Свиридова или что-то вроде патефона: какую пластинку поставят, ту и играет. Шевченко как-то сказал: «И что же это за идеология такая? Будь ты вором, отъявленным мерзавцем, но если «не был», «не привлекался», «не состоял», значит, свой в доску, тебе можно верить, а будь самым распрекрасным и честнейшим человеком, но, если «был» хоть два дня, нет тебе доверия! Не наш ты человек. И до конца дней своих будешь страдать не по своей вине!»

В понедельник наш взвод в парк не посылали, а назначили на уборку территории. Но именно в этот день в моем орудийном расчете произошло ЧП – тронулся умом рядовой Лисейчиков. Накануне за ужином ничего не ел, был рассеян и кого-то не поприветствовал. За это получил два наряда вне очереди.

Однако, вместо того чтобы сразу после отбоя идти драить пол в штабе полка, взял ведро и швабру, а вместо тряпки – веревку, чем вызвал подозрение у дневального. Веревкой пользовались те, кто отправлялся в самоволку. Новобранцы в это число не входили.

Увидев, что Лисейчиков взял из-за шкафа это самое имущество, дневальный пошел за ним. Окно, через которое бегали в город, находилось в туалете. Выждав с полминуты, дневальный резко распахнул дверь и увидел Лисейчикова висящим в петле. На крик первым прибежал Денисов и перочинным ножом обрзал веревку. Полузадушенный солдат рухнул к его ногам. Денисов послал за мной. Втроем мы отнесли Лисейчикова в санчасть и доложили дежурному.

– Теперь пойдут таскать: кто первым да кто последним его видел, – ворчал Денисов – он был опытен в таких делах, – да кто может подтвердить, что он – сам... Ничего, дневальный тертый калач, его не собьешь, расскажет, как было.

– Еще спросят, из-за чего хотел повеситься, – напомнил я.

– А при чем тут мы? – насторожился Денисов. – Может, ему накостьлял кто? Так, по дурасти. Нет? Вот и я думаю, не должно. Он до отбоя всякие разные истории рассказывал, Замполита так бы слушали!

Дня через два меня вызвал к себе уполномоченный контрразведки СМЕРШ\* майор Нестеренко. Этот красавец-брюнет был известен в дивизии своими амурными похождениями и веселостью. Меня он встретил сурово:

– Инструкцию в отношении бывших под оккупацией знаешь?

– Так точно, знаю.

– Почему не выполняешь?

Я подумал, что речь пойдет о повышении бдительности.

– Если вы о Лисейчикове, то этот солдат подозрений не вызывал.

– Не вызывал? А почему хотел повеситься? Боялся, что мы раскроем? Прятал связи с фашистским подпольем?

– С каким подпольем? – я пожал плечами. – А что, в Минске есть фашистское подполье?

Майор не ответил, пошелестел бумагами.

– Почту проверял?

– Ему никто не писал, он местный. И потом, проверять почту помимо цензуры не моя обязанность, а сержанта Слюнькова.

– Он сам об этом говорил вам?

– Об этом все и так знают. И еще он стукач...

Нестеренко помолчал.

– Ладно, со Слюньковым мы разберемся. Домашний адрес твоего висельника?

---

\* СМЕРШ (от «смерть шпионам») – военная контрразведка.

– Красноармейская, пять. Майор записал.

– Кто еще, кроме тебя, младшего лейтенанта Хизова и твоего дружка Денисова, слушал, что рассказывал Лисейчиков возле траншей, где были похоронены замученные фашистами советские люди?

– Да он не сказал ни слова!

– Странно. Почему? Такая удобная возможность проводить антисоветскую агитацию!

– Какую агитацию? И чего это он должен нас агитировать? – Внезапно мою голову осенила интересная мысль: – А что, товарищ майор, разве это не немцы расстреливали? Тогда кто же?

– Немцы, немцы, кто же еще... – Нестеренко поднялся, обошел стол и сел рядом со мной. – Ну, хватит про покойников. Расскажи за жизнь, мушкетер.

– А... что рассказывать? – я был обескуражен. С Нестеренко до этого я разговаривал только один раз, да и то не в служебном кабинете, а в одном шалмане в Минске. Был я тогда не в самоволке, а в законном городском увольнении и держался спокойно. По просьбе девушек рассказывал анекдоты, даже показал несколько карточных фокусов, чем вызвал восторг Нестеренко. Потом мы с ним выпили «на брудершафт», я говорил ему «ты» и на время забыл о разнице в звании и служебном положении. Интересно, помнит ли он о той встрече? Оказалось, помнит.

– Тот бардачок посещаешь? Кстати, почему вас, четверых, зовут мушкетерами? Не выветрилась школьная романтика? И сколько вас в этой компании?

– Как – сколько? – опешил я. – Четверо. Больше не полагается.

– А не врешь? – он смотрел прямо, прищутив один глаз. – Может, десять или пятнадцать?

– Да вы что? – Дабы он окончательно поверил, я сказал: – У нас и союз наш называется – СДПШ. А «мушкетеры» – это раньше...

Нестеренко насторожился.

– Какой союз? Ну-ка повтори!

Я повторил, он записал.

– Любопытно. Ну, а что означают буквы?

– Как – что? «Слонов, Денисов, Полосин, Шевченко» – разве не понятно? Это я к тому, чтобы вы не сомневались, что нас четверо. Да и зачем еще кому-то?

Он захохотал, спрыгнул со стола.

– Вот именно – зачем? Ну, мальчишки! Ну, мушкетеры! Слушай, а ты не врешь насчет союза? Ведь если – союз, то и устав должен быть, и программа какая-то.

– Как же, есть устав, я его в дневнике записал. Так ведь он – ради шутки, да и все пункты в нем – юморные...

– Ну вот видишь! – Нестеренко был в восторге. – Я же знал! Думаешь почему?

– Почему? – машинально переспросил я.

– Да потому, что у каждого из нас все это было! У тех, разумеется, кто доучился до девятого-восьмого класса. Кто проучился пять-шесть – такого не было. Это издержки образования. Вот скажи: кому из твоих друзей пришла идея создать свою организацию? Да еще в армии, да еще при наличии комсомола? Только тебе. А почему? Потому что Денисовы и Полосины рано оторвались от школы – им семью надо было кормить, – а у тебя детство продолжалось. Да в тебе и сейчас жив школяр.

– Почему только во мне? – я почти возмутился. – А Сашка Шевченко? Да он, если хотите знать, даже стихи сочиняет!

– Ну, стихи – это другое дело. – Нестеренко поскуцнел. – Стихи все сочиняют. У кого получается. А вот докатиться до такого, чтобы создать союз, – на такое не у каждого фантазии хватит. Кстати, ты тут о своем дневнике говорил. Может, там тоже – фантазии? Очень бы хотелось взглянуть.

– Зачем вам смотреть, товарищ майор? Дневник ведь – очень личное. Мало ли что в голову придет.

– Значат, все, что в голову пришло, – ты в дневник. Не думая? Слушай, принеси его мне. Я никому не скажу. А мне польза: вдруг да что-то новенькое найду. Свежую мыслишку поймаю. Этакий оригинальный взгляд на самое обычное.

От него я не вышел, а вывалился. Так из раскрывшегося кузова вываливается мешок с опилками. Купиться, клонуть на пустой

крючок! Положим, в нашем союзе нет ничего предосудительно-го, а вот в дневнике... Я веду его третий год и успел позабыть, что записал когда-то, может, что и не совсем достойное настоящего солдата. Например, стихи о любви... За них мне заранее стыдно – слишком несовершенно, все собирался уничтожить, да руки не доходили – дневник хранится в каптерке Климова. Как такое показать майору?

В течение дня Нестеренко вызывал поочередно всех, кто был в тот день в парке Челюскинцев. Последним вторично вызвал Денисова. Вернулся Мишка поздно, после «отбоя». Лежал, думал.

– И чего он копает? Ну, хотел парень повеситься – кому какое дело? Может, невеста другому подвернула.

– Солдат – человек казенный. Вроде вот этой гумбочки. Батарейное имущество, и мы с тобой за него в ответе.

Мои глаза слипались. Не припомню случая, чтобы когда-нибудь я засыпал дольше минуты...

– А я знаю чего! – вдруг вскидывается Мишка. – Неувязочка вышла с покойниками! Растрезвонили насчет зверств фашистов, а трупам-то не четыре годочка, а все одиннадцать! Откуда в тридцать седьмом году здесь фашисты?

– Каким трупам? – я успел задремать. – Ах, этим... И чего вы к ним привязались? Мало ты их видел за войну... – но тут я просыпаюсь окончательно. – Слушай, выходит, это – еще до немцев? То-то они все голые, и руки... Я хотел сказать, кости скручены колючей проволокой. И потом, немцы в затылок не стреляли, они – из автоматов, очередью...

Мишка нашел мои глаза в полутьме казармы.

– Прозреваешь помаленьку? Долго же до тебя доходит. Тут главное лицо – твой Лисейчиков. Нестеренко его прямо в санчасти допрашивал. Мне Лешка Боев сказал.

– Вот здорово! – я привстал на локте. – Выходит, Лисейчиков знал и не сказал? Завтра схожу к нему и всё...

Мишка свистнул.

– Завтра его здесь не будет.

– Действительно... Тогда, может, сейчас, пока не поздно?

Мишка с минуту раздумывает.

– Вот что, ты туда не ходи. Контрразведка – это тебе не шуточки, а я с ними умею разговаривать. Помкомвзвода все-таки, а он мой боец... – Надевая гимнастерку, зачем-то информирует:

– В отдельной палате он. И часовой у двери. Ну, пока. Если взводный спросит, скажешь, к Полосину пошел. Сигарет просил кореш.

После его ухода я мгновенно засыпаю. Блаженны эти минуты на солдатчине. Никогда после, в самой мирной распрекрасной жизни, не будет ни у кого из нас такого одуряющего, ошеломительно сладкого и крепкого, как бимбер\*, сна. Однако солдатчина научила и другому: просыпаться в точно назначенное время. Без пяти шесть я был уже на ногах. И с удивлением увидел, что Денисова на нарах нет. Потрогав холодный тюфяк, пошел в коридор – иногда, перед ненастьем, у Мишки болело плечо, он выходил из казармы покурить. Но и в коридоре его не было. Дневальный его тоже не видел. Надев гимнастерку, ремень и пилотку, я вышел из казармы. В подразделениях, как петухи на утренней заре, перекликались дневальные – орали «подъем». От казармы до санчасти метров сто. Пустынен плац, но даже в такой час одинокому бойцу не полагается передвигаться шагом. Только рысью! Ибо не может быть одинокого бойца, шествующего сам по себе, а есть солдат, исполняющий чье-то приказание. Поэтому я побежал.

Здание санчасти было самым старым во всем комплексе Пушкинских казарм и, как и сами казармы, за последние сто лет не изменяло своему назначению. Даже стены в нем пропахли карболкой и йодом, а дубовые ступени на лестнице стерлись до такой степени, что сучки выпирали вверх сантиметра на полтора. Эти ступени помнили шаги минского генерал-губернатора и польских легионеров, революционных матросов и немецких солдат.

И, конечно, мои. В санчасти работает санитаром Лешка Боев – мой земляк и бывший однокашник по средней школе, а поскольку с фармацевтами здесь туго, он заведует святыя святых – аптеч-

---

\* Бимбер – самогон (польск.).

кой, где хранится спирт. У каждого уважающего себя полкового «сачка» есть своя «кабинка» – крохотная комнатка под лестницей или на чердаке с топчаном, тумбочкой и портретом товарища Сталина на видном месте. А также своя гордость. Лешка – прохиндей, стоныга и жмот, его два раза били в клубе и один – в городе. Но еще ни разу никому он не открыл своей аптечки. Никому, кроме меня. Ради такого исключения я должен изображать уважение к его особе.

А также, время от времени, в людном месте «вспоминать», что Лешка Боев – бывший студент первого курса медицинского института, что его мама работает в областном комитете партии, а папа состоял в личной охране товарища Ленина...

Убедившись, что рядом никого нет, я осторожно стучу согнутым пальцем в фанерную дверь. Сегодня мне не до спирта. Сегодня я обеспокоен: пропал мой лучший друг Мишка Денисов! Исчез после того, как побывал здесь!

На стук никто не отозвался. Повторив, я припал губами к замочной скважине.

– Леша, это я, Серега Слонов, твой земляк!

Кто-то крепко взял меня сзади за оба локтя. Повернув голову, я увидел двух незнакомых сержантов, выше меня на целую голову.

– Вы чего, ребята? – я сделал попытку освободиться и вскрикнул от боли – мне заломили руку за спину. – Вы что, охренели? Больно же!

В ту же секунду я получил такой удар «под дых», что глаза плезли из орбит, и – следом – удар ладонью по почке. Профессоры. Переведя дыхание, спросил:

– Скажите хоть за что. Что я такого сделал?

– Что сделал, расскажешь сам, – произнес кто-то сзади.

Скосив глаза, я увидел майора Нестеренко. Он смотрел на меня и улыбался.

– Товарищ майор! – обрадовался я. – Скажите им! Ненормальные какие-то...

– Уже сказал, – ответил майор и качнул головой: – Ведите, Булыгин.

Все дальнейшее еще много дней спустя казалось мне сном. Влекомый сержантами, я двинулся по песчаной дорожке в сторону ворот, миновал казарму, возле которой строилась вторая батарея.

Вывели за проходную, в которой вместо наших были краснопогонники с автоматами, и вышли на Логойский тракт. У проходной стоял «студебеккер», крытый брезентом, поодаль еще три. Сильные руки подхватили меня под мышки и подняли наверх, прямо через борт. Там другие, такие же сильные, швырнули на дно кузова. Сержанты сели на скамейки, и один из них, пнув меня сапогом в бок, сказал:

– На спину ляжь! Порядка не знаешь?

Я лег на спину, «Студебеккер» тронулся.





# АРКАДИЙ РОХЛИН

## ВЕДРО МУСОРА

В Пенкуле (есть такой городок в Латвии) я попал незадолго до окончания войны. Это было какое-то особое, удивительное время. Наша армия уже подошла к самому Берлину, еще приходилось выбивать фашистов из стран Восточной Европы, противник еще держал оборону в Курляндии, но все было и так ясно – в нашей победе ни мы, ни наши враги не сомневались.

И вот именно в это самое время танковую бригаду, в которой я служил, вывели в резерв, на пополнение. Как мы волновались! Война вот-вот кончится, а нам так и не успеют прислать недостающую технику!

А пока после долгого перерыва мы ночевали не в лесу и не в землянках, как это было до сих пор, а в настоящих домах. Старые фронтовики умели ценить такие вещи.

Меня поселили в доме, где жила хозяйка и две ее дочери – Дзинтра и Катя, лет пятнадцати-шестнадцати. Все трое почти постоянно были заняты: доили коров, кормили гусей, кур, мыли полы, стирали, что-то чистили, готовили... И так без конца.

В то утро – мне никогда его не забыть – я проснулся от шума, поднятого девочками: одна из них скребла пол кухонным ножом, вторая передвигала стулья, столы и перетирала мокрой тряпкой мебель. Все ближе и ближе раздавались их голоса. Я поднял голову, и девочки от неожиданности тут же с визгом выбежали из комнаты. Пока я обтирался снегом, драил сапоги, сбегал туда и обратно в штаб нашей бригады, Дзинтра и Катя закончили

уборку. Мусор они сложили в ведро, накрыли его сверху газетой и завязали бечевкой. Торопиться мне было некуда, и я вышел вместе с девочками на улицу. В то утро дышалось как-то особенно легко, весело хрустел снег под ногами. Болтая и смеясь, мы шли по улице. И тут я сообразил – отобрал у девочек ведро, и сразу мы пошли быстрее. Еще минут десять хода – и мы на опушке леса. Почти сразу же за первыми рядами деревьев шла изгородь, а за ней – горы песка и свалка.

Девчонки развязали бечевку, спрятали ее – в те годы такие вещи не выбрасывались. Я высыпал мусор в общую кучу. Мы уже повернули обратно, и тут мне впервые пришло в голову: зачем же мы так далеко носили мусор? И я спросил девчонок: «Катя, Дзинтра, зачем же нам надо было тащиться в эту даль? Разве в деревне нет где-нибудь свалки поближе?»

Девчонки с трудом говорили по-русски, и мне показалось странным, что они даже не попытались ответить на мой вопрос. В тот же день наш полевой врач Зиновий Беленький рассказал мне страшную историю. В сорок первом здесь, на опушке леса, немцы расстреливали евреев. Это были жители Риги, Митавы, Добеле, самого Пенкуле... А потом гитлеровцы устроили на этом месте свалку и приказали местным жителям приносить сюда мусор.

Год уже, как в этом краю не было фашистов, никто не заставлял жителей приносить на свалку мусор: они продолжали делать это, не задумываясь, по привычке. И я был одним из тех, кто высыпал на братскую могилу ведро мусора.





## ЕВГЕНИЙ ВИШНЕВСКИЙ

### «РЫБАЧЬЕ» СЧАСТЬЕ ПОЛЯРНЫХ ЗАЙЦЕВ

Есть у меня хобби – ездить с геологами и археологами в экспедиции. С экспедициями не раз пришлось мне посетить брошенные каторжные лагеря. Бывал я в сердце «легендарной» Колымы – в Нексиканской долине, «Долине Смерти», как называли её узники – там теперь расположены вольные золотые прииски, в районе угольных шахт Приморья и Воркуты, в Мордовии и Казахстане. Словом, многое удалось повидать. Часто я думал тогда, что неплохо бы показать страдальцам по «прежнему большому порядку» и «железной руке товарища Сталина» пару-тройку этих лагерей.

Но самое сильное впечатление произвёл на меня лагерь «Рыбак», располагавшийся на севере Таймыра, неподалёку от мыса Челюскин и бухты Зимовочная. Страшнее и нелепее этого нормальный человек и вообразить себе не может. Здесь, в самом северном каторжном лагере СССР, да и всего мира, была одна сплошная глупость, нелепица, какая-то чушь собачья, возведённая в высшую степень и поражающая воображение.

Начну с названия. Почему страшный каторжный лагерь был назван таким мирным и скромным именем, Бог весть! О рыбалке не могло быть и речи хотя бы потому, что ближе, чем за 80 километров нет водоёма, в котором могла бы водиться рыба. Тем не менее, во всех открытых документах, например, в полётных заданиях и аэрофлотовских ведомостях ПАНХа\* на перевозку

\* ПАНХ – Применение авиации в народном хозяйстве.

людей или грузов, всегда так и писали: маршруты Усть-Таймыр – Рыбак, Диксон – Рыбак, Хатанга – Рыбак и т. п. Единственное объяснение такого нелепого названия – секретность, ведь здесь заключенные добывали уран, необходимый «дорогому вождю и учителю» для создания ядерного щита (да и меча) страны Советов.

Лагерь был создан в 1947 году для детальной разведки и дальнейшей разработки только что открытого тогда уранового месторождения на плато Лодочникова\*. Условия для строительства и работы рудника и каторжного посёлка были тяжелейшими, а точнее сказать – просто гибельными. Судите сами: вокруг голая, насквозь продуваемая почти непрерывными ветрами тундра, где не растёт ничего, даже карликовая ива и берёзка. Да что там ива с берёзкой, даже мох в тех местах выживает лишь в укрытых от ветра расщелинах, обращенных на юг, а флору составляют одни только лишайники. Нормального топлива во всей округе нет, если не считать лигнита\*\*, месторождение которого было найдено в 70-ти километрах к западу. Лигнит может гореть только в специальных топках с усиленной тягой, которых, разумеется, на «Рыбаке» не было и быть не могло. В палатках, где жили заключённые\*\*\*, стояли самодельные печки, сделанные из железных бочек, в которых не горел, а лишь тлел этот самый лигнит. Заключённым приходилось добывать лигнит, который и топливом-то можно назвать лишь с большой натяжкой, и возить его в свой «Рыбак» санно-тракторными поездами. Правда, в небольшом количестве в лагерь морем всё-таки завозили и настоящий уголь, в основном, для обогрева лагерного начальства и специалистов-геологов, да изредка – в палатки эков, в качестве топливной добавки в особенно лютые морозы и пургу. Вообще сюда всё завозилось только морем через бухту Зимовочную,

---

\* Лодочников Владимир (Вартан) Никитович (1887–1943) – известный русский геолог-петрограф.

\*\* Лигнит – один из видов ископаемого угля; слабо разложившиеся древесные остатки, сцементированные землистым углём.

\*\*\* Здесь нет оговорки: на «Рыбаке» заключённые жили именно в палатках.

да и то лишь при подходящей ледовой обстановке, поскольку в то время судов серьезного ледового класса было наперечёт. Там, в районе бухты, в 80 километрах от «Рыбака», были оборудованы склады, откуда по пробитой в тундре тракторной дороге возили грузы жизнеобеспечения, а обратно, в запаянных железных бочках из-под горючего – урановый концентрат. Другая дорога, менее накатанная, длиной в 130 километров, вела прямо на север, к мысу Челюскина, где находился аэродром Полярной авиации и радиометеорологическая обсерватория.

Но все эти, казалось бы, непреодолимые трудности тогдашнее строгое начальство принимать в расчёт даже не собиралось; никого не интересовали жизни и судьбы здешних заключённых, как и миллионов заключённых в других лагерях. Уж чего-чего, а этого добра в стране было предостаточно. Тут, правда, надо уточнить одну подробность: уголовников в таких лагерях, как «Рыбак», не было, поскольку те, видя, что привезли их на неминуемую смерть, отказывались работать. А вот политические почему-то работали. Умирали десятками еженедельно от холода, болезней и истощения, но работали. В том числе и профессиональные геологи, которые, правда, жили в несколько лучших условиях, чем их собратья по неволе.

Обо всём этом на Таймыре мне не раз рассказывали друзья, старые полярные волки НИИГА\* и геологического треста «Арктикразведка». И чаще других – Лев Махлаев\*\*, известный полярный геолог, сам в конце 50-х годов работавший в районе залива Бирули у западной оконечности полуострова Еремеева, на месте бывшего филиала («лагпункта») уранового лагеря-рудника «Рыбак». Лагпункт «Бирули» располагался немного южнее Рыбака, и добывали там не уран, а слюду и берилл, и этот лагерь у эсков считался чуть ли не курортом в сравнении с «Рыбаком». Лев

---

\* НИИГА – Научно-исследовательский институт геологии Арктики.

\*\* Махлаев Лев Васильевич – профессор, доктор геолого-минералогических наук, автор замечательных мемуаров «50 лет в геологии», материалами которых он мне любезно разрешил воспользоваться при написании этой статьи.

рассказывал мне, что именно там, в Бирулях, произошло восстание заключённых\*, когда те узнали о смерти Сталина и об аресте и расстреле Берия. Восстание было жестоко подавлено, а все его участники расстреляны и похоронены в двух больших братских могилах (ямы размером примерно 5x10 метров каждая).

Так вот однажды, в конце семидесятых годов прошлого века, я работал в составе петрографической экспедиции Красноярского филиала СНИИГГиМСа\*\*. Отправились мы вдвоём с геологом Альбертом в довольно обстоятельный маршрут на плато Лодочникова. Альберта интересовали тамошние граниты, а я был его спутником и рабочей силой – исполнял функции повара, охотника, рыбака и вообще ответственного за жизнеобеспечение, то есть обычно находился в лагере, но изредка ходил в маршруты в основном, чтобы размяться и попутешествовать по окрестностям. Так было и на этот раз.

Стояла прекрасная солнечная погода, что в тех местах редкость. Дул незначительный и даже приятный западный ветерок. Мы шли по болотистой тундре и удивлялись обилию полярных сов, летавших вокруг: обычно семейство этих птиц не допускает чужаков на свою охотничью территорию. Полярная сова – прекрасная, внушающая почти мистический ужас, огромная, ослепительно белая, совершенно беззвучная птица с большими круглыми жёлтыми глазами, полными ненависти ко всему живому. Мы с Альбертом неторопливо шли, рассуждая об этом, как вдруг наше внимание привлекли многочисленные яркие блики, вспыхнувшие на склоне далёкой сопки. Альберт рассмотрел в бинокль, что это блестит кучка битого стекла. И мы, вспомнив, что идём через плато Лодочникова, поняли, что где-то неподалёку располагается печально знаменитый «Рыбак», о котором столько слышали, но местоположения которого в точности не знали. Альберт принял решение изме-

---

\* В это время произошли восстания и в других лагерях – Норильском, Кенгирском и Воркутинском.

\*\* СНИИГГиМС – Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья.

нить маршрут, мы свернули к северу и уже через час вышли на хорошо укатанную тракторами дорогу от бухты Зимовочной, по которой вскоре и вошли на территорию страшного лагеря.

Большую часть его занимала огороженная колючей проволокой прямоугольная «зона»: дюжина огромных каркасных палаток, примерно на 80—100 человек каждая. Внутри палатки тянулся длинный центральный проход, слева и справа от него шли как бы маленькие вагонные «купе» на 4 места – два нижних и два верхних, а между ними – крохотный столик. В торцах палатки помещались печки, сделанные из железных бочек, коленчатые трубы от которых были выведены наружу. Доски каркаса палаток были с обеих сторон в два слоя обшиты брезентом, а пространство между слоями заполнено свалявшимися комьями мха. Как ни странно, в палатках было прибрано, некоторые печки даже очищены от золы (другие, правда, едва ли не наполовину ею забиты). Представляю себе, каково было жить в этих «бараках» заключённым! При десятимесячной зиме с температурой под минус 50 градусов и ветром 30 метров секунду и более. Даже комфортабельные финские щитовые домики этот ветер вкуче с морозом прошивает насквозь, так что в пургу там можно согреться только возле огнедышащей, непрерывно топящейся печки. Я это знаю точно, поскольку сам жил (правда, недолго) в таком домике зимой недалеко от бухты Тикси на станции МГГ\*. Каково же было жить каторжникам-зэкам, занятым смертельно тяжёлым трудом, в этих «домах» с тряпичными стенами, где вместо печек стояла лишь пара бочек с тлеющим лигнитом! Сколько можно прожить в таких условиях: месяц, квартал, полгода, год?

Несколько в стороне от палаток стоял небольшой домик, сколоченный из тонких дверных щитов, в котором, судя по всему, жили заключённые-геологи. Мы это поняли, когда нашли под нарами геологический молоток с обломанной ручкой. В тамбуре этого домика рядом с мешком смерзшегося лигнита мы обнаружили

\* Станция Международного геофизического года – геофизическая обсерватория, на базе станции Арктического и Антарктического института. Ее создание было связано с проведением Международного геофизического года (МГГ).

несколько кусков настоящего каменного угля. Видно, этот «человеческий материал» лагерное начальство считало более ценным и хоть как-то заботилось о его сохранности.

По углам прямоугольника ограды в свое время стояли четыре вышки охраны. Из них уцелели лишь две – две других были повалены и изрублены кайлами и топорами. Уцелевшие вышки представляли собой плотно сколоченные дощатые будки, обшитые изнутри фанерой, с двумя застекленными окнами на смежных стенах и с двумя прожекторами по бокам. Интересно, ломали мы себе голову, зачем тут вообще нужна вся эта охрана? Зачем колючая проволока, вышки с прожекторами? Зачем столько «вертухаев»-охранников? В чём задачи, в чём функции этой охраны? Изолировать заключённых от общества, не допускать их общения с вольными людьми? Но здесь, на севере Таймыра, никакого общества, никаких вольных не было и быть не могло. Уже в самом конце, перед ликвидацией лагеря привезли сюда нескольких вольнонаёмных специалистов – геологов, геофизиков и дозиметристов. Но они и так трудились с зэками на одних и тех же объектах, выполняли одну и ту же работу. Так что контакты были просто необходимы. Исключить возможность побега заключённых? Но куда, скажите, можно убежать на Таймыре? Абсолютно некуда. И что в таком случае делать многочисленной охране? Кого от кого охранять? Уже упоминавшийся здесь мною Лев Махлаев, со слов своего друга и коллеги геофизика Димы Гвиздя, работавшего в юности вольнонаёмным техником-геологом на «Рыбаке», рассказывал, что вышки там стояли пустыми. Никто в них никогда не дежурил. Вышки были, а вот «вертухаев» в них не было! К тому же охранники не носили при себе оружия: такой порядок существовал во всех лагерях – оружие в зону не вносить, чтобы зеки не отняли. А в авральных работах «вертухаи» участвовали наравне с вольнонаёмными и даже с зэка.

Вообще жизнь охранников на «Рыбаке» была ненамного слаще жизни зэков. Ну да, одежда у них, наверное, была потеплее, кормили их немного получше, жили они не в брезентовых палатках, а в домиках из дверных щитов (таких же, как у зэков-геологов).

А в остальном – всё то же: продуваемая жестокими ветрами ледяная пустыня, беспросветная тоска, да колючая проволока. Вся разница в том, что жили они не внутри огады, а снаружи. Потом я узнал, что значительная часть охранников и сами были людьми подневольными: это были не «штрафники» в полном смысле слова, но всё-таки чем-то провинившиеся военнослужащие (чаще всего, думаю, безудержным пьянством), для которых перевод в лагерь был наказанием, и притом немалым.

«Вольный» посёлок за колючей проволокой сохранился почему-то гораздо хуже. Собственно, и состоял-то он всего лишь из трёх домов барачного типа, где жила охрана, здания конторы, да прекрасного и теплого (по сравнению с другими сооружениями лагеря, разумеется) рубленого бревенчатого дома, в котором были даже две настоящие кирпичные печки, топившиеся углем-антрацитом (мешки с ним горой были навалены в холодной пристройке). В этих «хоромах», судя по всему, жило лагерное начальство да ещё, может быть, кто-то из вольнонаёмных геологов. Бараки охранников были основательно разрушены. Причем было видно, что разрушены они не временем, а людьми, которые остервенело крушили окна, двери и стены домов всем, что попадало под руку. А вот бревенчатый дом стоял совершенно нетронутым. В одной из его комнат над голой железной кроватью с панцирной сеткой к стене был пришпилен портрет лауреата Сталинской премии писателя Павленко\*, вырезанный из журнала «Огонёк» за 1948 год. Никаких других примет времени в доме мы не обнаружили. На крыльце здания конторы рядом с вырванной «с мясом» дверью валялась табельная доска с номерками на гвоздиках («приход – уход»). В центре доска была проломлена ударом сапога.

Примерно в километре от посёлка и зоны находился рудник – семь штолен, уходивших под углом вглубь приземистой горы. Уцелели откаточные отвалы, но входы в штольни обрушились. Впрочем, пройти вглубь горы все равно было нельзя: даже с улицы было видно, что устья закупорены мощными ледяными пробками. Странно выглядели и разведочные линии шурфов.

---

\* Кто сейчас помнит этого писателя?

Казалось, их оставили всего лишь на минутку: повсюду валялись брошенные как попало кайлы и ломы, а также почему-то эмалированные миски, алюминиевые кружки и ложки. Почему эковская посуда валялась здесь, у откаточных отвалов, а не в жилых палатках и бараках, Бог весть!

А пространство между посёлком с зоной и рудником занимали бесчисленные склады, привольно раскинувшиеся под открытым северным небом. Это место и оказалось для нас наиболее интересным.

Вот бывший вещевой склад. Чего там только не было! Десятки (а может, сотни, кто считал?!) гигантских, в два человеческих роста, мотков колючей проволоки; штабеля дверных щитов, тех самых, из которых были сколочены бараки для охраны и эков-геологов; сотни ящиков со стеклом; бессчётное число свёртков рубероида и толя, ящики с гвоздями, шурупами, свёрлами, гайками и болтами. Видно, лагерь собирались расширять и благоустраивать. Груды стальных забурников\*, горы стальной арматуры, многометровые ряды мешков с цементом, ручные пожарные насосы для откачки воды из штолен, кучи реле, рубильников, трансформаторов, генераторов, каких-то моторов и прочее неведомое мне электрооборудование... Запчасти к тракторам, бульдозерам, каким-то машинам. Нанизанные на круги из стальной проволоки связки примусов. Аккуратные штабеля патефонов и коробок с патефонными пластинками. Тюки с прессованным сеном – кого собирались им кормить?! Тысячи бочек с разнообразным горючим, маслами, красками, жидкостями неизвестного мне назначения, а рядом – гигантские кучи мешков с каменным углем. Горы одежды и обуви (в основном, телогрейки и кирзовые сапоги) рядом с сопками из алюминиевой посуды (мисками, кружками, ложками, вилками)... Нет, слабо моё перо, слабо, не могу я описать это брошенное под открытым небом богатство!

Но оказалось, что это ещё не всё, главное потрясение ждало нас впереди. Ибо дальше начинался продуктовый склад. Самое уди-

---

\* Забурник – короткий бур в 30–40 см., весом 1,2–1,3 кило, при ручном бурении шпуров служит для начала работы. Когда шпур приобрел некоторую глубину, переходят к средним и, затем, к длинным бурам.

вительное, что ни складских помещений, ни амбаров, ни сараев, ни ларей, ни даже навесов над этим морем продуктов не было. Так же, как и вещевой склад, продуктовый был предоставлен снегам, дождям, ветрам и туманам в полное владычество. Мы увидели длинные, на сотни метров, вереницы штабелей из мешков с мукой, крупой, горохом, солью и сахаром; многие сотни фанерных и дощатых ящичков с макаронами, рожками, лапшой и прочими «мучными изделиями»; полусгнившие крафтмешки с сушёными овощами и сухофруктами; тысячи лопнувших стеклянных банок с овощными консервами (странно было бы надеяться, что при здешних морозах и ветрах хотя бы одна стеклянная банка останется целой); горы проржавевших банок с тушёнкой, сгущёнкой и рыбными консервами; ящички со сгнившей колбасой и прочими «нежными продуктами». Всё утопало в какой-то повсеместно расплзшейся вири и превратившейся в мерзкое месиво густой жиже, первоисточник которой угадать мы так и не смогли. В этих штабелях верхние и боковые мешки с мукой, крупой и другими сыпучими продуктами, в основном, истлели. Их содержимое неоднократно мокло, превращалось в тесто, потом сохло, образуя плотную корку, которая потом вновь размокала. Нижние мешки давно стали достоянием местных леммингов\*, которые, совершенно не боясь нас, в огромном количестве сновали повсюду.

Вдруг из-за покрытого плесенью фанерного ящичка показалось нелепое существо, которое поначалу повергло нас в изумление, да и в ужас. Это было толстое жирное создание размером с хорошего ездового пса или, вернее, с порядочную свинью, сплошь покрытое серой лоснящейся шерстью. Щеки у монстра были такие толстые, что, казалось, вот-вот лопнут, морда и брюхо круглые, хвоста не было заметно никакого, зато по краям головы висели до самой земли длинные узкие уши. Зверь едва ковылял на коротких и толстых кривых лапах и явно страдал одышкой. Он уставился на нас тяжелым мутным взглядом, усиленно шмыгая носом и шевеля раздвоенной верхней губой. Вскоре до нас

---

\* Лемминг – пеструшка, род грызунов семейства полёвок, повсеместно населяет тундру.

дошло, что это – развевшийся до безобразия полярный заяц, вернее, пародия на полярного зайца. Постояв с минуту, он, видимо, сообразил, что от нас может исходить какая-то опасность и, как бы нехотя, скрылся в лабиринте ящиков и мешков.

Мы же отправились исследовать далее этот беспредельный и нелепый «город» полусгнивших продуктов питания, и во время своей удивительной прогулки встретили еще множество таких «свиноподобных» зайцев. Они жили прямо посреди мешков с мукой и крупой, питаясь их содержимым. Здесь же, возле этих мешков они, видимо, спаривались и рожали себе подобных. И те затем тоже начинали беззаботную жизнь на всём готовом. Добывать было ничего не нужно, и у зайцев не было потребности не только в беге, но и просто в передвижении: все необходимые надобности можно было отправлять прямо тут, на месте, возле замечательных мешков. Оттого-то, я думаю, все мышцы у этих «счастлиvцев» атрофировались от безделья и ожирения. Так что даже уши у них не стояли, а висели...

Три главных проблемы есть у всякого живого существа, кем бы оно ни было и где бы оно ни проживало: как раздобыть пропитание, как самому не стать ничьим пропитанием, как продолжить свой род. У «счастлиvых» полярных зайцев не было ни одной из этих проблем. Даже врагов у них тут не было. Во-первых, они развевались до таких размеров, что песцы и полярные совы не решались на них нападать, да этим хищникам хватало и беспредельно расплодившихся леммингов. Что же касается главных заячьих врагов, полярных волков, зверей не только хищных, но и очень осторожных, то они, видимо, за все эти годы так и не смогли побороть страх и отвращение ко всему, что связано с человеком, и внутрь продуктового города-склада проникать даже и не пытались. По крайней мере, никаких свидетельств тому мы не заметили. Правда, пару раз боковым зрением на вершине сопки, в голой тундре рядом со складами мы видели какую-то промелькнувшую было серую тень, но не более того. Впрочем, волкам, наверное, хватало и тех беззаботных счастлиvцев-зайцев, которые изредка по неосторожности покидали своё сытное прибежище.

Песцов в округе было довольно много. Людей они почти совершенно не боялись и буквально путались у нас под ногами. Впрочем, и в обычных условиях летний песец ничего не боится, много раз и прежде мы видели их, копающихся на помойке нашего отрядного лагеря. Летний песец, по правде сказать, довольно гадок: он напоминает огромную облезлую крысу с рыбьей мордой. Но стоит ему надеть свою роскошную зимнюю белую шубу, как только вы его и видели. Откуда он знает, что летом не представляет никакого интереса для людей?! Песцы, которых мы встретили здесь, ловили зазевавшихся леммингов, но тоже только за пределами города-склада. Так же, как и волки, соваться внутрь «пищевого» лабиринта они опасались.

И лишь полярные совы довольно часто сверху пикировали на свою добычу и то тут, то там безжалостно выхватывали жалобно пищущих толстозадых леммингов. В отличие от зайцев, эти симпатичные зверьки здесь, в «продовольственном раю», выглядят вполне упитанными, но бойкими, юркими и отнюдь не безобразно разъевшимися. Тому есть несколько причин. Во-первых, обильный корм резко стимулирует у этих грызунов процесс размножения. Другими словами, они не столько разедаются сами, сколько со страшной силой увеличивают поголовье. Во-вторых, песцы и особенно полярные совы стараются держать процесс размножения этих зверьков в рамках приличия. В-третьих же (и это главное), у леммингов существует странный инстинкт: когда в каком-либо регионе их становится слишком много, они сбиваются в огромные стаи которые отправляются к ближайшему водоёму и кончают жизнь самоубийством (топятся). Я неоднократно слышал об этом от полярных биологов, которые много лет безуспешно пытаются понять природу такого явления. О нем, кстати, подробно и ярко написал замечательный сибирский писатель Виктор Астафьев в своей прекрасной книге «Царь-рыба». Я подозреваю, что эти массовые самоубийства довольно часто происходят и здесь. Вряд ли местное сообщество леммингов в вопросах жизни и смерти чем-то отличается от остальных своих собратьев.

Как ни странно, ни одного северного оленя возле этой «беспредельной кормушки» мы не встретили. Впоследствии биологи пояснили нам, что стадо диких северных оленей мигрирует строго определёнными путями: весной с юга на север, к границе вечных льдов и снегов, спасаясь от тундрового гнуса, а осенью – с севера на юг, к богатым ягельным пастбищам. Причём двигаются олени одним и тем же, раз и навсегда отпечатанным в их подсознании путём. Побороть этот вековой инстинкт и изменить маршрут движения не может не только изобильная еда, но даже вожделенное оленьё лакомство – соль. Впрочем, может быть какие-то отдельные особи, отбившиеся от основного стада, и заглядывали сюда, но нам они не встретились и никаких свидетельств посещения продовольственного склада «Рыбака» не оставили. А домашних оленьих стад здесь не было, да и быть не могло.

Так что единственными персонажами наглядного звериного коммунизма («каждому – по потребностям») остались счастливые зайцы каторжного лагеря «Рыбак».

В заключение, со слов Льва Махлаева\*, могу добавить, что специальная Государственная приёмочная комиссия, составленная из самых авторитетных специалистов НИИГА и треста «Арктикразведка», всю добытую на «Рыбаке» руду признала некондиционной из-за слишком низкого процента урана. Дождавшись подходящей ледовой обстановки, когда открылись достаточно широкие «окна» чистой, безо льда, воды, весь урановый концентрат в железных бочках вывезли в Ледовитый океан подальше от берега и затопили там на подходящей глубине, тщательно засекретив место захоронения.

*Новосибирск, октябрь 2006 г.*

\* \* \*

Если внимательно рассматривать карту Таймыра, то можно заметить, что все географические наименования, данные коренны-

---

\* Речь идёт о той же книге мемуаров Л. В. Махлаева «50 лет в геологии».

ми жителями полуострова (нганасанами\*, ненцами, долганами) за полосой гор Бырранга, пересекающих Таймыр с запада на восток, исчезают. За грядой этих таинственных гор «националы», как правило, не заходили, а страшные горы Бырранга называли «стойбищем дьявола». Эти хотя и не очень высокие, но весьма суровые горы подпирают воды огромного озера Таймыр, в которое (так же, как и в «славное море, священный Байкал») впадают десятки больших и малых рек, а вытекает одна могучая река Нижняя Таймыра (как Ангара из Байкала). На север от Быррангов встречаются лишь географические названия, данные геологами, топографами, да полярными исследователями. На небольшом участке площадью 20х50 километров можно встретить: остров Нансена, мыс Иогансена, гору Свердрупа, пролив Фрама, гавань Колин-Арчера, и тут же бухта «рейд Зари», п-ов «Зари», плато Вальтера, реки Коломейцева, Толля, Зееберга, заливы Миддендерфа, Вальтера, Зееберга и Бирули, а также большой остров Расторгуева, который еще на картах конца двадцатых годов именовался островом Колчака (да-да, того самого, «Верховного Правителя России»)\*\*. В 1893 г. узким проливом, позже названным в его честь, знаменитый корабль «Фрам» проходил на пути к Новосибирским островам, откуда и начался дрейф, обесмертивший имя судна и прославивший руководителя экспедиции Фритьофа Нансена\*\*\*.

Тогда появились на карте Таймыра норвежские имена, включая, например, бухту Колин-Арчера, названную в честь судостроите-

---

\* Нганасаны (самоназвание – «ня»), прежние названия – тавгийцы, самоеды-тавгийцы), народность, живущая в Таймырском (Долгано-Ненецком) национальном округе Красноярского края РСФСР. Численность около 1 тыс. чел. (перепись 1970 г.).

\*\* Колчак Александр Васильевич (1874–1920), один из руководителей белого движения, адмирал (1917). Участник полярных экспедиций 1900–1903 и 1908–911 (гидролог).

\*\*\* Нансен (Nansen) Фритьоф (1861–1930), норвежский путешественник, океанограф, общественный деятель. В 1890 выдвинул проект достижения Северного полюса на судне, дрейфующем вместе со льдом. Летом 1893 на специально построенном для этой цели «Фраме» вышел из Норвегии; в сентябре начал дрейф к Северо-Западу от Новосибирских островов и закончил его в 1896 у Шпицбергена. В 1913 совершил плавание вдоль берегов Северного Ледовитого океана к устью Енисея.

ля, на верфи которого был построен «Фрам». Менее чем через 10 лет у берегов Таймыра зазимовала яхта «Заря»\*, также построенная на верфях Колин-Арчера – судно экспедиции русского полярного исследователя Э. В. Толля\*\*, отправившегося на поиски Земли Санникова. «Заря» провела в ледяном мешке бухты, названной «рейдом Зари», около полуострова того же имени, почти год. Тогда все окрестные реки, горы и многие острова получили имена участников экспедиции: ее начальника остзейского барона Толля, капитана Коломейцева, гидрографа лейтенанта Колчака, штурмана Зееберга, зоолога и художника Бялыницкого-Бирули, доктора Вальтера, мичманов Горностаева и Еремеева, матросов Жилина, Толстого, Расторгуева, боцмана Бегичева. Наконец, на карте Таймыра изобилуют и такие названия, как бухта Стахановцев, мыс Ударников, остров пилота Алексева, пилота Махоткина, мыс Каминского – это приметы эпохи героического освоения севера в тридцатые годы, в период становления Главсевморпути.

---

\* «Заря» – парусно-моторная шхуна русской арктической экспедиции (1900—1902) под командой Э. В. Толля. После двух зимовок у острова Таймыр и на острове Котельном 8 сентября 1902 «Заря» пришла в бухту Тикси, где была выброшена на мель и оставлена участниками экспедиции.

\*\* Толль Эдуард Васильевич (1858—1902), русский геолог, арктический исследователь. В 1900—1902 возглавлял экспедицию Петербургской АН на парусно-моторной шхуне «Заря» к Новосибирским островам. При переходе в ноябре 1902 с острова Беннетта по неокрепшему морскому льду на юг Толль и трое его спутников пропали без вести.



# РЕНА ЯЛОВЕЦКАЯ

## МУЗЫКАНТШИ

Ольге Фармер

Расскажи, мотылек,  
Как живешь ты, дружок?

Девочка лет пяти с толстыми ножками изображает порхающую бабочку. Другая – с сачком гонится за ней.

Детсадовцы разыгрывают спектакль, мораль которого возрадовала бы сегодня сердца «гринписовцев». У тяжелоступа-мотылька марлевые крылья разрисованы разноцветными кругами. Девочка – охотник в холщевом хитоне с красным сачком.

– Bravo! Бис! – костюмированное представление умиляет родителей.

Мотылек поет свою партию, взывая к милости:

Я живу среди лугов  
В блеске летнего дня,  
Ароматы цветов –  
Вот вся пища моя.  
Но короток мой век:  
Он не долее дня.  
Будь же добр, Человек,  
И не трогай меня.\*

---

\*Старинная (XVIII век) духовная песня для детей.

Жестокосердная девочка не слышит мольбы, взмахивает сачком. Но мотылек изловчился и улетел: детские сандалии радостно топают к самодельным кулисам.

– Ах, улетел! – с притворной досадой вздыхает истребительница природы. Но лик ее светлеет, сачок опускается. Прозревшая изрекает:

– Жалко мотылька, пусть летит!

С артистами на поклон выходят режиссер пьесы и аккомпаниаторша. Зрители аплодируют восторжествовавшей добродетели и авторам зрелища – одинаковым старушкам в платьях черного шелка и маленьких шляпках.

Удивительно, как такое пришло им в голову в далеко не вегетарианские времена, когда по ночам у домов шныряли «воронки», а в детские уши вползали страшные слова: «обыск» и «враг народа», как решились они, наивно-отважные, воззвать к милосердию, запрятать заповедь «Не убий!» в невинную пастораль, детскую духовную песнь позапрошлого, XVIII-го века?

\* \* \*

Сестры Крумник были близнецами и жили неподалеку от детского сада.

– До свидания, Мина Ароновна!

– До свидания Бомба Ароновна! – стучали дети в форточку, отправляясь домой. Правда, вторую старушку звали Бертой, но ребята решили, если есть Мина, то рядом должна непременно находиться Бомба, и переименовали ее истинное имя.

Мина и Бомба занимали комнату на первом этаже напротив кондитерской фабрики. Ветер приносил запахи ванили, какао и корицы. Комната была завалена нотами.

– Осторожней! – молили сестры приходивших из музыкальной школы скрипачей и виолончелистов. Но те футлярами задевали шкафы и этажерки, и случался нотный обвал, под которым могли быть погребены обе старушки. Ученики бросались собирать распавшиеся пожелтевшие страницы Баха, Гайдна, Чайковского и кожаные фолианты – партитуры опер «Фауста», «Де-



мона» и «Кармен». Они ползали по полу, ловя диэзы бемоли и бекары, словно энтомологи – разлетевшихся редких насекомых.

Кроме нот в комнате стояли кушетки, ширма с цветами лотоса, рояль марки «Бехштейн», старая фисгармония и шведская стенка. Из посуды водились только чашки и блюдца. Кастрюль, чугунов и сковород не было, супы и каша не варились, а котлеты не жарились. Мина и Бомба обычно пили чай или кофе с цикорием. К ним покупались сушки и бублики. Случалось, что сестрицы чаевали только запахами из кондитерской фабрики.

По воскресеньям Бомба шла в лавку и приносила французские булки, голландский сыр и докторскую колбасу. Это означало, что придут гости: учительница словесности Екатерина Семеновна и ее брат-близнец, прозванный школьницами Екатерин Семеновичем. Старушки оживлялись, хохотали, а Екатерин Семенович, закоренелый холостяк, хмурился.

– Барышни! Не слишком ли громко?

Они вспоминали петербургскую юность и далекие годы, в которых остались консерваторка Мина, выпускницы Высших женских курсов Катенька и Берта, и недоучившийся студент университета. Все они угодили в Сибирь. Берту сослали за участие в эсеровской организации, а музыкантша Мина добровольно поехала в ссылку за опальной сестрой. Катенька тоже не оставила мятежного братца, высланного в Сибирь за распространение нелегальной литературы.

– Эти хлюпики-интеллигенты из Петербурга – опасные госу-

дарственные преступники? Да, полно! – не поверили в жандармском управлении и учинили за «политическими» самый нестрогий надзор. А для тех, как ни странно, воздух ссылки оказался полезен: волею судьбы они остались в Сибири навсегда.

Семейное счастье обошло стороной всю компанию. Правда, Мина долго хранила фотографию авиатора, не выбравшегося из «мертвой петли», а Берта – карандашный набросок, где запечатлен юный «бомбист», в чьих руках взорвалось сотворенное им адское устройство. Однако возможно, что трагически погибшие летчик и революционер-террорист были фигурами вымышленными. Дочери петербургского фармацевта мечтали о романтических героях. Кумиры их вырезались из журнала «Нива» или были увидены в синематографе. В мечтах и воображении девочки иногда заигрывались: они мечтали о страстной любви и однажды Мина даже сплела подобие веревочной лестницы в ожидании ночного визита прекрасного «инкогнито». Но ничьи губы их не коснулись, девичьи прелести никого не прельстили. Никто не примчался на белом скакуне, никто не прилетел на аэроплане.

...Шли годы, в сибирском городе все давно забыли, сколько лет сестрам Крумник. Казалось, они перепрыгнули и пропустили положенные им возрасты, и из детства – юности угодили прямо в старость, но при этом не приобрели ни житейского опыта, ни здравомыслия. Мине от отца-провизора достались некоторый педантизм и сосредоточенность. Бомба же была не предсказуема: экспансивна и смешлива. К тому же она отличалась крайней рассеянностью: вечно хватала чужие очки и ключи и надевала чужие калоши.

Похожи были птицы-неразлучницы как две капли воды: глазки фиалковые, носики клювиком, губы узкие – ниточкой. С детства они предпочитали черный цвет, но это вовсе не был знак траура по несостоявшейся женской судьбе. К черному шелку или сукну полагались шляпки, напоминающие головные уборы старых



академиков. Мина всегда выходила на улицу с зонтом и битком набитой нотной папкой с тисненым портретом Моцарта, Бомба – с рюкзаком, из которого торчал спортивный обруч. Обруч-круг за плечами напоминал руль, которым управляла неведомая сила.

Экстравагантные фигуры «Крумниц» были всегда заметны в городском пейзаже.

Мина с юности принесла себя в жертву музыке. Она испытывала экстаз, отдаваясь игре. Пальцы ее извлекали из клавишей божественные звуки. Она жила, поглощенная ритмами волшебной громадины-рояля, став его рабой и повелительницей. Тональности, музыкальные размеры управляли ее судьбой, вносили свой порядок. Минор сменялся мажором.

За третьей следовали кварты и квинты. Гармония рождала счастье. Нотные знаки для нее словно материализовались, заменив реальных персонажей.

К сожалению, талантливая музыкантша не смогла концерттировать, но страсть к музыке нашла иное русло.

Приехав в Сибирь, юные петербурженки все-таки нашли себе подобных. Вместе они занялись музыкальным просветительством.

Сначала музицировали в частных домах, домашние концерты стали чрезвычайно популярны.

Потом уговорили губернаторскую власть найти им особняк и открыли музыкальную школу. А позже – народную консерваторию. Обыватели морщились: «Эти неугомонные старые девы свели город с ума!»

С приходом советской власти пыл сестер не ослабел. Оценив энтузиазм «музыкантш», их включили в бригаду, искавшую в глубинке одаренных детей. Мина и Бомба плыли на лодках, ехали на санях и подводах, верные долгу просветительства и служению искусству.

– Послушайте сибирских Шаляпиных! – из районов, присылали на комиссию балалаечников и гармонистов. Попадались ребята со способностями, но у местных властей был свой резон:

– Лучше возьмите Дуську – из бедноты и голосистая!

Теребила, дергала,  
Рвала, драла, царапала,  
А в Сибирь я прибыла  
Из города Сарапуля.

Ошеломленная непристойностью дуськиных частушек, Мина деликатно советовала:

– Может, определить девочку на отделение народных инструментов?

– Ишь, контра. А еще экзаменаторша! Пусть девка учится на благородном струменте – пианине. Нам кадра в клуб нужна!

Бомба музыкально была не столь одарена, как сестра, но и она нашла свою стезю: преподавала «ритмику». Дело новое – балет не балет, гимнастика не гимнастика, да и не пантомима. Некий сплав.

«Долой рутинную хореографию!»

«Нет – канонам классического балета!»

«Да здравствует освобожденное тело!»

Дерзкие лозунги экспериментального искусства оказались близки сердцу Берты Крумник, не утратившему революционный запал.



– Дети! Мы танцуем музыку! – объясняла она воспитанникам-кружковцам клуба имени Карла Либкнехта.

На полянке, на тенистой,  
Не широк и не глубокий  
Целый день водою чистой  
Льется светлый ручеек.

– Все постановки у Вас, товарищ Крумник, старомодные и безыдейные: «мотыльки да ручейки», – укорял Бомбу начальник клуба. – Пусть ваши «ритмички» поучатся у хора:

– Вся страна ликует и смеется.

И весельем все озарены,  
Потому что весело живется  
Детям замечательной страны! –  
пели красногалстучные хористы.

– Я могу поставить «Революционный этюд» Шопена! – бросила Бомба вызов клубному идеологу.

– Ваш Шопен в каком веке жил? – насупился начальник. – Требую, чтобы к Первомаю ваши ритмички станцевали песню о Сталине.

Бомба хмыкнула, состроила гримасу, но задание выполнила.

О детстве счастливом, что дали нам,  
Веселая песня, звени.  
Спасибо великому Сталину  
За наши счастливые дни.

Хор пел, а кружковцы в такт маршировали, стояли на голове и делали кульбиты.

На репетициях Бомба проделывала все элементы акробатики:

кувыркалась, крутила «колесо» и вставала на «мостик». «Прыгучая, как обезьяна, а ведь на покой пора...», – судачили клубные тетки, и за глаза звали Бомбу циркачкой.

Когда в тридцатых годах стали исчезать люди – знакомые, отцы учеников, Бомба шепнула Мине:

– Банкроты политические! Но старые революционеры сатрапам не по зубам.

\* \* \*

Мина любила своих учеников безоглядно. Утверждала, что все они талантливы. И действительно, некоторые оканчивали консерваторию и успешно концертировали.

Первые ее уроки мне не забыть.

– Рука держит яблоко. Круглее! Собери пальцы...

Фальшивый звук причинял ей боль. Она сжималась, как от удара, и ее черная шапочка сползала на глаза.

Еще ее удручали наши маленькие неразвитые руки:

– Летом разминай творог, глину... Тренируй кисть – ты едва берешь октаву! Как сыграешь Бетховена?

Мы ленились, отлынивали и играли кое-как, а она нервничала, негодовала, требуя повторов, совершенства в исполнении. При этом была наивна, доверчива и гладила по голове самых отпетых лодырей.

Многие из нас, не помышлявшие о музыкальной карьере, устраивали учительнице музыки obstruction. Сын часовщика, Мотья Луцкер, встречал ее, натянув на ноги перчатки. Парикмахерская дочка Бибка приходила на урок лишь для того, чтобы вволю покататься на вертящемся стуле возле фортепиано. Борька Файер засовывал в нос пуговицы от дедушкиной морской шинели и орал речевку:

Доход с котелком  
Ты куда шагаешь?  
В райком за пайком  
Разве ты не знаешь?

---

Кстати, как раз гладко причесанные райкомовские чада с красными нотными папками были всегда прилежны. Но истинной отрадой Мины был Юлька Квятков. Он принимал участие во всех квартетах и секстетях и играл с учениками в «четыре руки» и «на двух роялях».

– Ну просто Буся Гольдштейн! – восхищалась учительница, но Юлькину маму сравнение сына с одесским вундеркиндом почему-то обижало.

\* \* \*

Война ожесточила сердца. Военные плакаты звали к отмщению. Сводки сообщали о зверствах врагов, сожженных городах и селах. По радио звучали грозные песни о священной войне. А сестры Крумник, неисправимые идеалистки, разучивали с детьми одно из самых светлых творений Моцарта: «Komm lieber Mai»...

Приди, о май, и снова  
Пусть рощи оживут  
Под шум ручья лесного  
Фиалки пусть цветут.

С каким бы наслаждением  
Фиалку я сорвал  
С каким бы упоением  
По лугу я гулял.



Среди войны, горя, смертей, похоронок они разучивали с детьми беженцев гимн радости. В палатах госпиталя для раненых, уцелевших в крошечном аду, звучали ангельские детские голоса, внушавшие надежду:

Веселый май, мы дети  
Зовем тебя скорей...

Мина аккомпанировала хору, а девочки-ритмички вторили.

Головы высоко подняты, ленты взвиваются, как флаги – знаки грядущего торжества. Маленькие артисты предчувствовали и звали победный май. Вместе с Вольфгангом Амадеем Моцартом они пели веселую детскую молитву.

– Святые старушечки! – клубные тетки, расчувствовавшись, утирали слезы.

– Чо мелете? – одернула их администраторша. – Нехристи они. – Не нашей веры.

– Все равно, святые. Небожительницы, – стояли на своем тетки.

\* \* \*

Выросшие «ритмички» ушли на фронт или на заводы, а новые дети были истощены и не могли ходить в кружки. Поэтому Бомбу уволили из клуба, однако как сестру учительницы пожалели и оформили истопником-сторожем в музыкальное училище, хотя топить помещение было нечем. Бомбе выдали бараний тулуп, валенки и ружье. Мине тоже кто-то из доброхотов подарил валенки – подшитые и с заплатой на месте лодыжки. Раздеваясь у знакомых, она их стыдливо сбрасывала и надевала давно «просившие каши» черные башмаки. Музыкальная школа не отапливалась, в холодные классы поставили печки-буржуйки, и ученики на санках привозили дрова. Но это не спасало – стояли сорокаградусные морозы – и учителям разрешили проводить уроки на дому у учеников.

Мина обычно вкатывалась к нам в квартиру замерзшая – видны только глаза и ледяная корка от дыхания на черной шали. Бабушка помогала ей раздеться и кормила супом.

В эти минуты казалось, старость ее настигла и одолела, вступив в стовор с войной. Попав в тепло, Мина засыпала: голова клонилась в такт прелюдии Баха. Пирамида метронома мерно отстукивала счет: и раз, и два... Я замедляла темп игры, доводила звук до пианиссимо, давая страдальце передышку. Наконец, боясь, что кто-то войдет, я ударяла по клавишам – брала громкий аккорд.

– Это все? – встрепенувшись, пробуждалась Мина, испуганно оглядывалась вокруг, не замечена ли ее слабость.

---

– Повтори этюд! Ровнее! Что за синкопы? Разве Черни писал джаз?  
Снова: и раз, и два...

\* \* \*

Беда приходит неожиданно. Однажды в конце войны на кондитерской и макаронной фабриках отключили электричество и отопление: объекты не стратегические, не оборонные. Жильцов, выбежавших из домов, эвакуировали в другой городской квартал. Сестры Крумник в ту ночь не проснулись, и утром санитары вынесли из квартиры их окоченевшие тела...

Печальная весть облетела город. В музыкальной школе и в клубе имени К. Либкнехта собирали деньги на венки. Газета напечатала некролог с портретами в черных рамках:

«Трагическая случайность оборвала жизнь бойцов культурно-го фронта... Они стояли у колыбели музыкального движения города...»

Но, вероятно, скорбные ангелы небесные замешкались, а земные лекари-заступники поспешили. Сестриц Крумник спасли.

Город гудел от счастливой сенсации. Газета дала опровержение и поздравила спасенных с воскресением. Крумники стали героями дня. Они выкарабкались из тяжелой пневмонии и стали выздоравливать. Ученики и их родители брали больницу осадой, потом – штурмом.

– Прекратить столпотворение! Больные еще слабы! – сердился главврач.

Но люди шли и шли с подарками и передачами. Повариха из детсада испекла сестрам вермишелевую запеканку с довоенным черничным вареньем, клубные тетки принесли вязаные варежки, Мотька Луцкер – ботинки со шнурками, выданные по ордеру, а райкомовские детки плитки американского шоколада, предназначенные для военных летчиков. Екатерин Семенович за ночь переплел для Мины все сонаты Бетховена, а Бомбе подарил моток лент для ее будущих композиций.

Шквал поздравлений завершила телеграмма бывшего ученика

Мины, прославленного пианиста: «Поздравляю со вторым рождением. Желаю бессмертия!»

С момента чудесного избавления сестер Крумник от смерти с ними начали твориться всякие невероятности. Сразу после войны посыпались благодеяния: им дали звания, представили к наградам и вручили ордер на новую квартиру.

– Безобразия! – возмущались горсоветовские начальники, – старейшие работники культуры жили в полуподвале! Негоже, чтобы мыши изгрызли Моцарта!

Приказано – сделано! Погрузили в грузовик скарб – шкафы с этажерками, рояль с фисгармонией, чашки с блюдцами. Все аккуратно! Только ноты свалили на дно как попало.

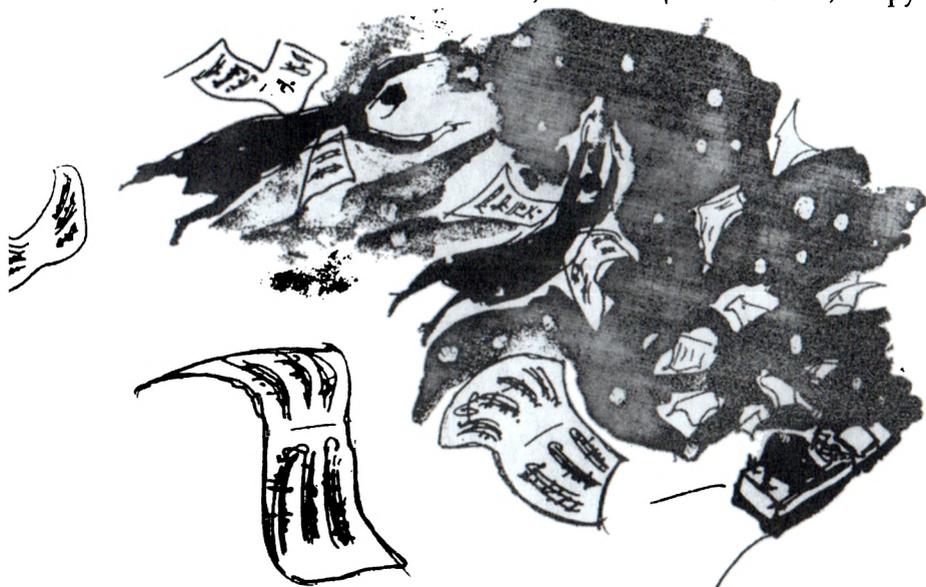
– Мадамы, разберетесь сами в новом доме! – махнул рукой шофер и пригласил их сесть в кабину, но те заартачились.

– В кузове поедем!

– Сдует старушек, неровен час. Ветрище-то какой! – пробурчал грузчик и словно в воду глядел.

Тронулся грузовик – и с неба посыпалась снежная крупа, потом замела метель, закружила вьюга. Ветром подхватило нотные листы и – в воздух.

Сестры растерялись, стучат шоферу в кабину, но он не слышит. А ноты вылетают из машины, как птицы из клетки, и кру-



жат. «Каприччио» Гайдна, «Сонатина» Клементи, «Бирюльки» Майкапара...

Машина ехала медленно, Бомба легко перемахнула через борт и подала руку Мине. Вьюга гнала, катила по снегу нотные листы, поднимала в небо. Старушки хватали беглецов, но ветер вырывал их из рук. Вьюга дразнила, кружила, заманивала. Небо заволокло, и сестры больше не ощущали под собой земной тверди. Их подхватило. Понесло неизвестно куда, и вскоре они исчезли, растаяли в снежном мареве. Больше их никто, никогда не видел.

Испуганные насмерть шофер и грузчик клялись, что знать не знают, ведать не ведают, куда подевались «музыкантши».

– Мы их упреждали... Может, на небо улетели, как божьи коровки, – разводили они руками.

В городе никто не поверил в загадочное исчезновение сестер Крумник. Ходили слухи, что Бомбу тайно увез в Москву ее давний соратник по революционной борьбе, и теперь она живет с ним припеваючи в доме старых революционеров на Дорогомиловке. А за Миной-де приехал ее бывший ученик, лауреат всяческих премий, забрал в столицу и назначил педагогом-репетитором. Теперь она разъезжает со знаменитостью по всему свету.

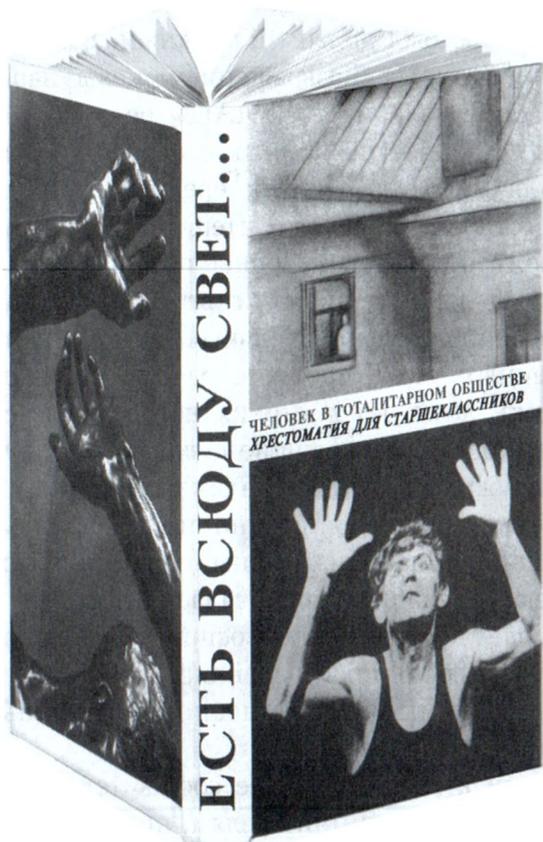
– Чуть несусветная! – решили в прокуратуре и завели дело, но вскоре за недостатком улик закрыли. Обнаружить сестер так и не удалось, ни живых, ни мертвых.



*рисунки Ольги Кундиной*

# ЕСТЬ ВСЮДУ СВЕТ

*Из отзывов*  
НА ХРЕСТОМАТИЮ ДЛЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ  
«ЕСТЬ ВСЮДУ СВЕТ. ЧЕЛОВЕК В  
ТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ»\*



---

\* Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе: Хрестоматия для старшеклассников / сост. Семен Виленский – М.: Возвращение, 2000. – 20 000 экз. – распространяется бесплатно. – [2-е изд. – М.: Возвращение, 2000. – 7 000 экз.]

## **Всюду Свет. ЧЕЛОВЕК В ТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

Эта книга подготовлена и выпущена в январе 2001 года Московским историко-литературным обществом «Возвращение», объединяющим узников советских и нацистских концлагерей. Путь к ее созданию был долгим и трудным. Еще в 1992—1994 годах на организованных «Возвращением» международных конференциях «Спротивление в ГУЛАГе» речь не раз заходила о сохранении исторической памяти, о необходимости издавать литературу для молодежи, предостерегающую от повторения трагических ошибок прошлого. Первоначально предполагалось создать хрестоматию как учебное пособие для школьников по истории карательной политики советского государства и составить ее из наиболее выразительных воспоминаний бывших политзаключенных. Но в процессе работы стало очевидным, что такая книга, даже без жестоких натуралистических сцен, способна травмировать неокрепшие души подростков. С другой стороны, обнаружилось, что все античеловеческие проявления советского тоталитаризма достаточно полно, с документальной и художественной силой запечатлены лучшими русскими писателями XX века. Сложность заключалась в том, что надо было отобрать наиболее доступные для восприятия подростков, «стыкующиеся» между собой произведения, дополнить их наиболее художественно значимыми воспоминаниями и вводными статьями и справочным материалом.

В предисловии к хрестоматии ее составитель Семен Виленский, обращаясь к молодым читателям, пишет: «Когда говорят: «История вынесет приговор», имеют в виду людей нового поколения, их оценку прошлого. А новое поколение – это вы. Но чтобы судить о прошлом, его надо знать. В этом вам помогут авторы нашей книги. Некоторые из них увидели только начало советского строя и поняли, куда он может завести. Одни всю жизнь

прожили в своей истерзанной стране, другие вынуждены были покинуть ее. Многие прошли через ГУЛАГ – советские концлагеря. Все вместе они олицетворяют духовную силу России».

Эта книга, формирующая личность, оказалась сразу востребованной. Об этом издателям пишут учителя, школьники, преподаватели вузов. Она получила высокую оценку Русского общественного Фонда Александра Солженицына, «Мемориала», Сахаровского центра, участвующих в ее распространении. Департамент образования Пермской области рекомендовал ее для средних и высших учебных заведений. Московский университет запросил книгу для всех своих факультетских библиотек. Хрестоматия не продается. Весь ее двадцатитысячный тираж бесплатно распределяется среди старшеклассников, учителей, передается школьным библиотекам, причем большая часть книг предназначена для регионов России и уже отправлена в десятки городов. Все, кто примет участие в издании дополнительного тиража хрестоматии, могут назвать и конкретных получателей, например: «Пусть часть тиража этой книги, изданная на мои средства, будет передана школьникам такого-то региона, города, поселка...» Ведь кроме прошлого и настоящего у нас есть будущее, ради которого и создана эта книга.

*Людмила Новикова.*

*Журнал-обозрение «БИБЛИО-ГЛОБУС».-  
М., 2001. – № 5.*

## **ЧЕРЕЗ ГРОЗНЫЙ РАЗЛИВ ВРЕМЕН**

У нас, как известно, непредсказуемое прошлое. Лет десять назад все же опознали в прошлом тоталитарного монстра. Потянули на суд, не дотащили и шею свернуть не успели. Сегодня – глядь! – никакого монстра как не бывало. В прошлом торжественно движется самобытным путем «Великая Империя», а все народы вокруг дивятся, боятся, расступаются и завидуют. Со всем

этим надо ведь как-то определяться и молодежи. Истинная любовь к родине не может существовать «с закрытыми глазами и замкнутыми устами» (как писал Петр Чаадаев).

Московское историко-литературное общество «Возвращение» объединяет бывших узников ГУЛАГа, участников Сопротивления – узников нацистских лагерей, а также тех, кто помогает «Возвращению» и его деятельности по сохранению исторической памяти.

Тринадцать лет назад в Советском Союзе вышел первый сборник воспоминаний узников ГУЛАГа, названный «Доднесь тяготееет». Родственники, друзья мемуаристов, все, кто помогал собирать и сохранять воспоминания, они и создали общество «Возвращение». С тех пор «Возвращение» стало регулярно выпускать книги и теперь предложило школе хрестоматию, которая будет необходима всем, кто изучает советский период российской истории.

Составитель хрестоматии, бывший узник ГУЛАГа Семен Виленский, обращается к юным читателям с откровенным и доверительным разговором: «Дорогие старшеклассники! Прежде чем вы начнете знакомиться с этой книгой, хотелось бы поразмышлять с вами о вашем будущем. Речь не о том, какие профессии вы выберете, а о том, в какой стране будете жить – свободной, демократической или несвободной. Что я разумею под словом «несвободной»? Представьте своего сверстника, которого арестовали только за то, что он читал или просто держал в руках книгу, запрещенную теми, кто распоряжается людьми, имеет над ними власть, кто считает, что только они знают как люди должны жить, что читать и даже что они должны думать».

Современному школьнику трудно представить себе такое. Напротив, он привык сталкиваться с издержками свободы, понятой как разнузданность, поэтому «мечта о сильной руке» у многих подростков не встречает сопротивления.

Составитель призывает старшеклассников, размышляя о дне сегодняшнем, не поддаваться опасной иллюзии – нерассуждающей идеализации прошлого, в котором не было наших нынешних бед. «Хаос в обществе и в умах, безработица, коррупция, разгул

криминала, нищета – все это вместе с ущемленным чувством национального достоинства порождает у многих ностальгические чувства по прошлой, пусть несвободной, убогой, но привычной, регламентированной жизни. Не приведи Господь еще раз наступить на те же грабли...»

Кто же авторы книги? Выдающиеся русские писатели, поэты, мемуаристы, не приемлющие античеловеческую суть тоталитаризма. Школьник встретится с письмами Владимира Короленко наркому просвещения Луначарскому, эпохальной повестью Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», двумя колымскими рассказами Варлама Шаламова – «Одиночный замер» и «Последний бой майора Пугачева», с отрывками из романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», из повести Георгия Владимова «Верный Руслан» и повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая». Мемуары представлены отрывками из книг Евфросинии Керсновской, Нины Гаген-Торн, Ольги Адамовой-Слиозберг и записями устных воспоминаний Ариадны Эфрон.

Трагически пронзителен поэтический пласт хрестоматии. Имена Николая Гумилева. Анны Ахматовой. Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой хорошо знакомы старшеклассникам. Но, может быть, они впервые прочтут стихи замечательного поэта Анны Барковой. Ее судьба была искалечена четвертью века в лагерях, но ее поэзию палачам уничтожить не удалось.

Может быть, через пять поколений,  
Через грозный разлив времен  
Мир отметит эпоху смятений  
И моим средь других имен.

Остается добавить, что книга прекрасно иллюстрирована, снабжена подробными и познавательными справками об авторах, а издатели хрестоматии ждут отзывов учителей и школьников.

*Елена Иваницкая*  
«Библиотека в школе». – Таганрог, 2001. – № 19.

## СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Стоит ли спешить с опровержением, полагая себя менее наивным, чем составитель этой неожиданной хрестоматии – «Есть всюду свет...»? Прошлое совсем не так далеко, как хотелось бы, кажется, все труднее поручиться за его невозвращение.

Одна из особенностей нынешних дней – отказ от дней минувших. Отказ объяснимый, даже если он подсознателен, безотчетен. Слишком много в них, минувших, неприглядного, преступного, отнюдь не красящего нашу историю. Не красит людей и беспаямство. Но терзали, губили их все-таки не из-за него. Главная вина – сам факт существования «человека в тоталитарном обществе», то есть обществе человеконенавистническом, людоедском по своей сути.

Расстрелян Николай Гумилев, четырежды арестовывали Юрия Домбровского, в 1929 году начались тюремно-лагерные странствия Варлама Шаламова, после второго ареста погиб в застенке Осип Мандельштам, вынужденно эмигрировал Георгий Владимов, «шарашка», лагерь особого режима, ссылка – удел Александра Солженицына...

Случайно ли лучшие писатели России XX века – жертвы тоталитарного режима? Жертвы и в том случае, когда оставались по эту сторону колючей проволоки (Л. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, М. Булгаков, А. Платонов).

Есть о чем подумать, не соблазняясь готовым ответом и легким решением.

Николая Заболоцкого арестовали в тридцать восьмом, с сорок шестого дозволили жить в Москве «под агентурным наблюдением» госбезопасности. Мальчишкой Анатолий Приставкин был обречен на бродяжничество, сменив десяток детдомов и колоний...

В хрестоматии рядом с громкими именами имена менее известные. Рядом с произведениями, еще при жизни авторов признанными классикой, – сперва за рубежом, потом у нас («Факультет

ненужных вещей» Ю. Домбровского, «Верный Руслан» Г. Владимова), свидетельства людей, испытавших властную потребность поделиться своим архипелаговским опытом, публицистические исследования, заново открывающие чудовищные страницы нашей вроде бы известной летописи (М. Геллер. «О голоде, хлебе и советской власти»).

Самодовольная уверенность, будто нам ведомо наше прошлое, а потому незачем им заниматься, его «ворошить», тает по мере чтения объемистого тома. Если же не исчезает, если некогда читанные «Сорок дней Кенгира» из солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» не побуждают заново вдуматься в многосложную проблему сопротивления человека насилию, то делается понятнее сегодняшнее приятие уродств наступившей жизни, ее попятных тенденций.

Сопротивление – это не только восстание против звероподобной охраны, диких правил, начальнического иезуитства и самодурства, вечных унижений. Это еще и ясность ума, чувство достоинства, человеческое самообладание в нечеловеческих обстоятельствах, душевная стойкость перед опасностью, невзгодами, угрозой смерти...

Повествования от первого лица как бы привязывают обобщенную картину к строго определенному времени и месту, наделяют ее исповедальностью. В читательских глазах граница между жанрами теряет четкость. Да и надобность в ней слабеет.

Складывается впечатление на одном дыхании написанной книги, и различие манер не нарушает этой цельности. А если доходит до «Последнего боя майора Пугачева» (рассказ В. Шаламова явно на фактической основе) или кенгирского мятежа, то таково неотвратимое развитие мемуарных сюжетов Е. Керсновской, О. Адамовой-Слиозберг, А. Эфрон...

Сама идея такой хрестоматии для старшеклассников (и, добавлю, их родителей) необычна. Она могла прийти в голову бывшего ээка, страстно убежденного, что подобные судьбы не должны повторяться...

Возродится у нас традиция семейного чтения или нет, хресто-

матия «Есть всюду свет...» интересна и – прошу прощения – поучительна для разного возраста, начиная со старшекласников.

*В. Кардин*  
*журнал «Знамя». – 2001. – № 6.*

## **СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕЛОВЕК**

В хрестоматии «Есть всюду свет» собраны – целиком или в отрывках – прекрасные произведения русской словесности двадцатого столетия. В разделе «Душа моя, печальница...» помещены стихотворения Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Николая Заболоцкого, Анны Барковой, Ивана Елагина, Владимира Набокова. В разделе «По обе стороны колючей проволоки» юный читатель, возможно, впервые встретится с «Верным Русланом» Георгия Владимова, «Одним днем Ивана Денисовича» Александра Солженицына, с романом Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» – вещами, где художественность не попирается тенденциозностью. Эта проза не устарела, хотя тема, вновь открытая периодом «гласности», постепенно остывала, такое уж у нас общественное сознание, не могущее долго удерживать острые, жгучие проблемы. Эта проза проникает читателя до глубины существа, исторгает слезы, как и публикуемые документальные свидетельства побывавших в том аду Ольги Адамовой-Слиозберг, Нины Гаген-Торн, Ариадны Эфрон и Евфросинии Керсновской, название книги последней «Сколько стоит человек» недаром вынесено в заголовок моих заметок.

Книга, о которой речь, – хрестоматия, призванная помочь при изучении периода отечественной истории, слишком сложного для обыденного усвоения. Хрестоматия дает обильный материал для понимания общественной психологии тех давних лет, Ольга Адамова-Слиозберг очень точно назвала свою книгу воспомина-

ний «Путь». Путь не только по этапу, но и жизненный, обозначенный вехами-событиями. Это был и путь внутренний – прозрения, сопричастности людскому горю, осознания тех испытаний и тягот, которые выпали на долю человека, посетившего мир в роковые минуты последнего века второго тысячелетия по Рождестве Христовом. В главке «Щепка» автор рассказывает о весьма знаменательном эпизоде, когда в ее благополучном семействе доцента университета вдруг узнают, что у их домработницы, пока она жила в Москве, всю семью раскулачили, мужа сослали в лагерь, мать с детьми – в Сибирь, а там, в сырых землянках, дети-то и померли. Взволнованной происшедшим с Марусей жене муж серьезно сказал: «Видишь ли, революция не делается в белых перчатках. Процесс уничтожения кулаков – кровавый и тяжелый, но необходимый процесс. В трагедии Маруси не все так просто, как тебе кажется. За что ее муж попал в лагерь? Трудно поверить, что он так уж невинен. Зря в лагерь не попадают. Знаешь, лес рубят – щепки летят». Они не знали, что недолго осталось до того часа, когда придут сначала за доцентом, потом за его женой... Ни в чем не повинными людьми.

В разделе «Непокоренные» рядом с главой «Сорок дней Кенгира» из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», повествующей о восстании заключенных, помещен рассказ Варлама Шаламова «Последний бой майора Пугачева». Ныне Шаламова представили писателем апокалиптическим, показавшим, что ад въяве уже наступил на земле, когда всякое исполненное смысла человеческое слово должно умолкнуть навеки. В «Последнем бое...» и публикуемом в хрестоматии другом колымском рассказе «Одиночный замер» писатель выводит характеры героические, людей, предпочитающих умереть, нежели ползти на брюхе к миске с баландой. А сам автор, создавший свои рассказы без надежды на их опубликование в подцензурной отечественной печати, предстает знающим свое предназначение свидетелем о советской каторге, служителем правдивого и полного, без изъятий и умолчаний, Слова.

Уместна и необходима в этом разделе статья Виленского «Со-



АДМИНИСТРАЦИЯ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГУБЕРНАТОРА  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

214008, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 1  
E-mail: okuneva@admin.smolensk.ru  
region@admin.smolensk.ru  
Тел.: (4812) 38-61-27

06.06.2008 № 3/1342

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Московского  
историко-литературного общества  
«Возвращение»,  
Члену Комиссии при Президенте  
Российской Федерации  
по реабилитации жертв  
политических репрессий

Виленскому Семену Самуиловичу

123060, Москва,  
ул. Маршала Бирюзова,  
д. 34, кв. 58

Уважаемый Семен Самуилович !

Комиссия Смоленской области по восстановлению прав  
реабилитированных жертв политических репрессий благодарит Вас за  
подаренные книги «Есть всюду свет... Человек в тоталитарном обществе».

Презентация Вашей книги запланирована на научно-практической  
конференции «Репрессии в СССР».

Желаем Вам творческих успехов, здоровья и долгих лет жизни.

Председатель Комиссии  
Смоленской области  
по восстановлению прав  
реабилитированных жертв  
политических репрессий

О.В. Окунева

ул. Беломорская, 26  
Виленскому С.С.

Уважаемый Семен Самуилович!

От имени библиотекарей г.Северодвинска, читателей настоящих и будущих  
поколений сердечно благодарю историко-литературное общество и Вас лично за  
подаренные библиотекам нашего города книги «Есть всюду свет»: Хрестоматия для  
старшеклассников.

Значение этого дара трудно переоценить, эти книги будут несомненно  
способствовать возрождению исторической памяти, формированию демократического  
мировоззрения, пробуждению духовности в душах молодых людей.

Хочу заверить Вас в том, что они будут бережно сохраняться в наших библиотеках и  
послужат многим северодвинцам в качестве поучительного чтения и мудрого наставления  
на жизненном пути.

Маслова М.Л., директор МУК МБС

противление в ГУЛАГе», а это поныне одна из самых закрытых страниц в истории политических репрессий в СССР. Автор рассказывает о международной конференции «Соппротивление в ГУЛАГе» в Москве в мае 1992 года, организованной обществом «Возвращение», и обещает осветить другие, не менее драматические страницы борьбы узников советских лагерей с тоталитарным режимом в отдельном, также адресованном школьникам сборнике...

17 лет провел в лагерях и ссылках Юрий Домбровский и остался несломленным. В его романе «Факультет ненужных вещей» читаем: «Мне была дана жизнью неповторимая возможность – я стал одним из сейчас уже не больно частых свидетелей величайшей трагедии нашей христианской эры. Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд, Я обязан выступить на нем. А об ответственности, будьте уверены, я давно уже предупрежден». Хрестоматия предлагает молодежи, живущей в XXI столетии, выстраданные суждения о веке минувшем, потому что, увы, злоба его не прошла и его трагические ошибки тяготеют над нами посегодня.

*Татьяна Сергеева*

*«Московская правда». – 2001. – 24 июля*

# Милица Милонова

## Усеченная история

### По поводу учебника «История Отечества. XX – начало XXI века» для 9-го класса

28 февраля 1998 г. я по собственной инициативе отнесла в приемную председателя комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий А.Н. Яковлева письмо, в котором написала, что за 10 лет «Мемориал» не сумел создать мемориальный комплекс жертв политических репрессий, просила помочь с помещением (ранее был обещан так называемый «Расстрельный дом» на Лубянской площади).

В конце письма я написала про учебник «История России. XX век» для 9-го класса, (авторы А.А. Данилов и Л.Г. Косулина, издательство «Просвещение», 1995), третью главу которого я прочитала. По-моему, написано очень плохо.

27.04.98 я звонила в приемную А.Н. Яковлева и разговаривала с одним из двух его помощников. Мне было сказано, что никаких поручений по моему письму нет (ждут), а по учебнику истории послано письмо в высшие инстанции (на «самый верх»).

Время шло. Слышала, что где-то «в верхах» рассматривали вопросы учебников по истории, была критика.

30.10.2000, в день памяти жертв политических репрессий около памятника – Соловецкого камня на Лубянской площади – был митинг, и там же «Мемориал» организовал выставку. На выставке была карта «Архипелаг ГУЛАГ» – большая карта СССР, а на ней только квадратики лагерей и тюрем с указанием количества заключенных. Впечатляет.

Возвращаясь с митинга, у дома встретила симпатичного мальчика и спросила его:

- Ты в каком классе учишься?
  - В десятом.
  - Знаешь, что такое Архипелаг ГУЛАГ?
- Он вертел головой, смотрел вверх и сказал, улыбаясь:
- Наверное, гора большая?

После этого я решила тут же зайти в школу. Задать такой же вопрос директрисе (очень молодой и красивой) я не осмелилась: не была уверена на 100 процентов, что ответ будет правильным. Поговорили, я рассказала про памятник, митинг, выставку и беседу с учеником 10-го класса этой школы. Мне было разрешено пользоваться библиотекой – взяла домой несколько учебников истории.

Мои представления о современном школьном учебнике истории к этим учебникам совсем не подходят...

Про сталинские репрессии в СССР написано мало и невразумительно:

- в учебнике для 9-го класса (авторы А.А. Данилов и Л.Т. Косулина, издательство «Просвещение», 1995) в третьей главе – полторы страницы;

- в учебнике для 11-го класса (авторы А.Н. Чекин, В.Г. Островский, издание «Просвещение», 1995) из 510 страниц теме посвящены страницы 228, 232, 233–234;

- в учебнике для 11-го класса (авторы В.П. Дмитриенко, В.Д. Есаков, В.А. Чистяков, «Просвещение», 1995) из 632 страниц §31 «Большой террор» занимает одну 237-ю страницу.

Как будто намеренно старались написать так, чтобы написанное не произвело никакого впечатления на читающего!

Так как в «Мемориал» я не смогла пробиться и не могла найти того, кто бы занялся вопросом учебников, решила действовать сама.

Добралась до издательства «Просвещение», нашла отдел истории и познакомилась с Виктором Владимировичем Артемовым, редактором этих учебников. Он меня выслушал и согласился, что про сталинские репрессии написано не совсем хорошо, нужно дополнить, внести изменения и пр. Такое возможно только при переиздании учебника. В этом году будет переиздаваться

учебник для 9-го класса В.А. Шестакова, М.М. Горинова, Е.Е. Вяземского, но переписать текст не получится, количество страниц увеличить нельзя и т. п.

Тогда я предложила рядом с существующим текстом вставить всего один лист – карту ГУЛАГа. Можно? Артемов со мной согласился: можно, если она по размеру будет соответствовать странице учебника. Это было 4 декабря 2000 г.

У ближайших знакомых карту ГУЛАГа не нашла, пришлось обратиться в «Мемориал»: у них же все данные, а если нет, то есть право обращаться во все органы. Долго не могла дозвониться до главы «Мемориала» Рогинского Арсения Борисовича. Наконец получила «добро». Вопрос карт (их размером и содержанием) в «Мемориале» ведаёт Сергей Петрович, с которым я не знакома. Он бывает в «Мемориале» по понедельникам, средам и четвергам. С ним созвонилась и рассказала суть вопроса, дала номер телефона «Просвещения» – В.В. Артемова, (а ему – телефон Сергея Петровича).

16 января 2001 г. я позвонила В.В., он обрадовался: будет звонить в «Мемориал». С «написанием», сказал, очень трудно – авторы не соглашаются...

26 января 2001 г. звонила В.В. Он еще не звонил в «Мемориал» – времени нет, обещал позвонить после выходных.

06 февраля 2001 г. В.В. не дозвонился в «Мемориал», будет звонить в среду–четверг.

09 февраля 2001 г. звонил В.В. – в среду дозвонился, но С.П. не было. Просил напомнить ему в понедельник в 12 час.

13 февраля 2001 г. звонил В.В. «Где М. Каретный, 12»?

Рассказала как доехать, поедет завтра.

Я звонила в издательство часто, есть записи: 21.02.01, 22.02.01, 05.03.01, 27.04.01, 17.05.01, 31.08.01, а 10.09.01 записала – разговаривала с Виктором Владимировичем: «карта ГУЛАГа не влезает в учебник – очень много лагерей».

18 сентября 2001 г. я позвонила в «Мемориал» Рогинскому и этому Сергею Петровичу, пыталась объяснить, что карта нужна нам, а не издательству. Мы просим поместить карту в учебник, а для

них это лишняя работа, которая не известно еще, чем кончится.

Время шло, и я решила поискать карту ГУЛАГа в других местах. Журнал «Столица» за 1991 год, где была эта карта, я не нашла. Вспомнила про музей А.Д. Сахарова и поехала туда. Объяснила свою нужду работающим там женщинам (Самодурова Ю.В. не было), и они дали мне карту ГУЛАГа размером с книжный лист!

Премного им благодарная, я тут же поехала в издательство и отдала карту В.В. Артемову.

Шел 2002 год, книга была в работе, но двигалась медленно. Я звонила изредка В.В. в октябре, ноябре, декабре. 17 января 2003 г. В.В. сказал, что книги еще нет, но чтобы в феврале я позвонила (а если буду ехать, то трамвай сняли и от Белорусского вокзала троллейбусом 18 или автобусом 12 до 1-го Стрелецкого пер.)

03 марта 2003 г. В.В. пообещал, что учебник будет готов в марте сего года!

Я звонила 05.06.03, 06.06.03, 24.06.03, 01.07.03, 14.07.03. А 22 июля 2003 г. Виктор Владимирович привез мне домой 6 учебников.

«История Отечества»  
XX – начало XXI века  
Для 9 класса

Авторы: В.А. Шестаков, М.М. Горинов, Е.Е. Вяземский  
под редакцией А.Н. Сахарова  
Издательство «Просвещение», Москва, 2003 г.  
3 издание, переработанное и дополненное.

Но... карты ГУЛАГа в учебнике не оказалось.

В разделе «Индустриализация» на стр. 168 на карте Советского Союза, где были отмечены реконструированные и вновь построенные к 1940 г. промышленные предприятия, маленькие пятнышки неопределенного цвета – лагеря ГУЛАГа – и дана табличка: сколько было лагерей и заключенных в них в мае 1930 г. и марте 1940 г.

В конце книги – в словаре – появилось слово «репрессии» – наказания, применяемые государственными органами.

На стр. 186 помещено цветное фото – остатки лагеря ГУЛАГа,

а на стр. 187 появился вопрос: «Что такое архипелаг ГУЛАГ?»

Немного успокоившись от такого удара, я стала звонить В.В. Артемову, он сказал, что карта «Архипелаг ГУЛАГ» у него, а 05 февраля 2004 г. на мои многочисленные вопросы по поводу «переработки и дополнения» главы про репрессии, сказал: «Указание свыше – ничего плохого в Советскую эпоху не было, только хорошее» и предложил мне написать про ГУЛАГ полторы странички (!)

Я и сейчас уверена, что карту ГУЛАГа в учебнике ни один ученик в классе не оставил бы без внимания (даже если один, и то стоит ее поместить!) Некоторые могли задать вопрос учителю, если что не понятно, учитель вынужден был бы ответить, и это услышал бы весь класс, таким образом какая-то часть учащихся все-таки знала бы что такое «Архипелаг ГУЛАГ» и что такое сталинские репрессии. Это же большой кусок нашей истории и забыть его нельзя, наоборот надо знать, чтобы не повторилось.

Познать помогли бы кино, театр, книги, но сейчас у нас очень трудная жизнь: кино недоступно, и фильмы там американские в основном; билеты хоть и дорогие, на «Крутой маршрут» в театре «Современник» всегда проданы, но этого мало; книги есть, но их не читают (молодежь особенно), купить дорого, библиотек мало. На главное – нет времени.

*08.05.2007*

# СЕМЕН ВИЛЕНСКИЙ

## К ТРИНАДЦАТИ

В Москве тринадцать общественных организаций узников ГУ-ЛАГа, наиболее крупные из которых – «Мемориал» и Ассоциация жертв политических репрессий. Прямо скажем, многовато для нескольких тысяч бывших узников! Но речь не о том, хорош или плох этот раскол и не о том, как возникло дробление некогда единого «Мемориала». Собрать их в одну организацию уже невозможно, да и не нужно. У каждой организации свои особенности, свой стиль, свое понимание целей и задач. Но различия и разногласия, при всей застарелости последних, должны на мой взгляд заканчиваться там, где начинаются реальные дела, значимость которых никто не отрицает. Нужно и, я уверен, можно скоординировать нашу работу.

Сегодня каждый грызет свой грант, не задумываясь о том, что передача исторической памяти новому поколению – наше общее дело. Между тем, в её сохранение вносят существенный вклад организации, которые вообще не получают грантов – такие как наше «Возвращение», существующее благодаря безвозмездной работе своих членов, или Государственный музей истории ГУ-ЛАГа, действующий не столько на бюджетные средства, сколько за счет энергии своего директора и сотрудников.

А как координируют с коллегами свою просветительскую работу «Мемориал» или Ассоциация? Принимали ли они какое-либо участие, например, в распространении и пропаганде книги для школьников «Есть всюду свет. Человек в тоталитарном обществе» и других книг, выпущенных «Возвращением»? Пытался ли «Мемориал» выставить в Музее картины художников-узников ГУЛАГа, хранящиеся в кладовых и подсобках дома на Малом Каретном?

SLOVANSKÁ KNIHOVNA při Národní knihovně ČR  
СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
SLAVONIC LIBRARY

Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Czech Republic  
Tel.: +420 221 663 354, Tel./Fax.: +420 221 663 176  
e-mail: [lukas.babka@nkp.cz](mailto:lukas.babka@nkp.cz), URL: <http://www.nkp.cz>

Прага, 6 января 2005 г.

Уважаемый господин  
Семен Виленский  
123060, Москва  
ул. Маршала Бирюзова, д. 34, кв. 58

№: SK 6/05

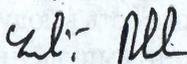
Уважаемый господин Виленский,

5 января 2005 г. г-жа Анна Яковлевна Ширияева передала Славянской библиотеке при Национальной библиотеке Чешской республики в общей сложности 31 том из коллекции «Поэты – узники ГУЛАГа; Малая серия», которая издавалась в 1990-е гг. обществом «Возвращение». Мои коллеги и я искренне обрадованы появлением в нашей библиотеке этих книг. Могу представить радость и тех людей, которые подготавливали эти тексты к изданию. Вклад авторов в мировую культуру неоценим. Читатели открывают для себя совершенно неизвестные поэтические таланты. Учитывая этот факт, а также сами жизненные судьбы этих поэтов, можно сказать, что данная серия представляет собой совершенно уникальное явление.

Я рад сообщить Вам, что Ваш дар обогатил фонды Славянской библиотеки. Можете быть уверены, что он найдет у нас свое достойное место, и эти книги обретут множество читателей. Я, со своей стороны, поставлю в известность о Вашем даре чешскую общественность, работающую на поле славистики.

С уважением

Лукаш Бабка



Директор Славянской библиотеки  
при Национальной библиотеке ЧР

А ведь эти картины были безвозмездно переданы «Мемориалу», для того, чтобы люди могли их видеть, и площадь Музея – 860 кв. м в центре Москвы, частично отремонтированная, – вполне позволяет развернуть не одну экспозицию. Неужели «Мемориал» не может убедить своих грантодателей в полезности такого дела? А если не находятся люди, готовые взяться за создание такой выставки, то где же их искать, как не в дружественных организациях? Каковы бы ни были отношения директора Музея и руководителей «Мемориала», Музей – государственное учреждение, финансируется московскими властями. Вряд ли уважаемый директор имеет что-то против работ таких замечательных художников как Михаил Соколов, Борис Свешников, Лев Кропивницкий.

В 2000–2001 гг. «Возвращение» выпустило хрестоматию для школьников по истории и литературе тиражом 27 тыс. экземпляров, из них 20 тыс. – бесплатных. Вот уж простор для того, чтобы дарить эти книги победителям олимпиад, распространять по регионам! Увы, даже участники мемориального конкурса школьников «Человек в истории» таких призов не получили. В 2003 году Министерство образования присвоило хрестоматии гриф: «Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве книги для чтения в 10–11-х классах общеобразовательных учреждений». Кто-нибудь помог «Возвращению», средний возраст основателей которого за 80 лет, переиздать хрестоматию с этим грифом массовым тиражом?

Если люди, посвятившие себя благородному делу сохранения исторической памяти, не могут ради этого дела объединиться, то какой пример подадут они обществу? Чувствуя локоть друг друга, нам удастся сделать больше, чем поодиночке.



# ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ВЫБИРАЛИ ТЕАТР «ВОЗВРАЩЕНИЕ»

## САМА ЖИЗНЬ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ БЫЛ ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ



На входе в Центральный Дом работников искусств выдавали программки цвета выцветшей газеты. С обложки смотрели лица женщин с тюремных фотографий. Анфас и профиль. Так решили начать свой спектакль авторы и исполнительницы спектакля «Дороги, которые мы не выбирали». Фотографии ожили на сцене под патриотические песни 30-х годов... Сразу говорить об этой работе невозможно. С Ольгой Непахаревой и Еленой Токмаковой мы встретились спустя несколько дней после премьеры. Нужно было время, чтобы принять увиденное на сцене как состоявшийся факт. Как событие, после которого невозможно сказать, что ты не причастен к истории своей страны и что прошлое твоего Отечества лично тебя не касается. Ты был не зрителем, а свидетелем горьких событий, случившихся с твоим народом.

*Вопрос:* Ольга, я в трудной ситуации. Ваша работа потрясает, но вопрос «Понравилось ли?» ставит в тупик. Я никогда столько не плакала, общаясь с искусством.

*Ольга Непухарева:* Некоторые из тех, кого я приглашала на спектакль, отказались прийти: «Это тяжело, расстроюсь, не надо!». Человек инстинктивно бережёт себя. Тех, кто всё-таки пришёл, я сознательно не спрашиваю: «Ну как?», но люди сами подходят и говорят, говорят. Не про нас, а про эту тему. Они забыли, что это был спектакль.

*Елена Токмакова:* Понятно, что никто не хочет плакать и страдать, и когда тебя приглашают в театр, хочется какой-то радости. Но у людей должна быть потребность ощутить в себе способность к состраданию. Это – тоже радость, радость от сознания, что мы не совсем очерствели. Жизнь у нас непростая, иногда кажется, что ты совсем уже озлобился, и вдруг открываешь в себе способность к сочувствию. Мне кажется, что зрелища такого рода необходимы именно для этого. Человек должен понять, что он человек по большому счёту, а не просто существо, которому лишь бы развлечься.

*Вопрос:* С чего началась Ваша работа над «Дорогами»?

*Ольга Непухарева:* Пожалуй, ещё с моей дипломной работы. Это был прозаический отрывок о Колыме. Потом я читала этот отрывок в школах, ребята слушали с большим интересом, и мне стало понятно, что нужно раскрыть тему полностью. Но материал специфический. Я искала везде: магазины, Интернет, библиотеки – нет материала. Наконец нашла книгу Ольги Адамовой-Слиозберг «Путь» издательства «Возвращение». Если бы не Историко-литературное общество «Возвращение», не было бы спектакля. Потихоньку я сделала сценарий.

*Вопрос:* Почему Вы решили, что эта литература должна быть воплощена на сцене?

*Ольга Непухарева:* Потому что я увидела очень яркие образы и ситуации, которые могут взволновать людей. Нас интересовал человек в экстремальных ситуациях, не политика или международное положение того времени, а именно человек. И я думаю всё время: какими мы были бы в той ситуации? Кем бы мы были – предателями или чистыми людьми?

*Вопрос:* Вы нашли ответ на свой вопрос?

*Ольга Ненахарева:* Ну, это сложно.

Я могу теоретически знать, что я хороший человек, но практически... Кто знает, как бы он поступил в концлагере? Сколько я читала воспоминаний, люди, которые прошли это, стали другими. Когда они вернулись из лагерей, они даже не могли общаться с обычными гражданами, настолько изменилось их видение жизни. Они приобрели другую реальность, и им были смешны те проблемы, которыми мучаются обыватели. Им было непонятно и странно, над чем те бьются, когда просто дорога сама жизнь.

*Елена Токмакова:* Когда Оля заговорила о своей идее, я сразу сказала, что буду участвовать. Это очень интересно именно потому, что нет ничего скучнее благополучных положительных героинь. А тут совершенно понятно, что сама среда и сами условия такие, что всё время будут какие-то страшные испытания, какие-то очень трудные ситуации. Это очень интересно по наполненности. Это будет другой язык, другие песни и звуки.

*Вопрос:* Лена, Вы сами испытали состояние шока, вот Вы, в этих предлагаемых обстоятельствах?

*Елена Токмакова:* Себя в этих обстоятельствах очень трудно представить. Когда я впервые прочитала «Крутой маршрут», это всё было на порядок интересней, чем любой граф Монте-Кристо, настолько потрясающие судьбы. Я поняла, что на их месте умерла бы несколько раз. Нельзя писать, нельзя читать, нельзя громко разговаривать. Это же непредставимо. А что тогда делать? Человек начинает создавать стихи и заучивать их. Потрясающие стихи по ритмике, по чувствам.

*Вопрос:* Удалось ли понять: откуда силы берутся, чтобы всё это выдержать?

*Ольга Ненахарева:* Ну, в принципе да. Человек в таких экстремальных ситуациях проявляется весьма ярко. Я прочитала очень много материала, и это меня потрясло. Даже, когда я репетировала первый кусок, у меня случилась истерика, потому что на душе было очень тяжело. Но как на мне отразился этот материал? Теперь мне становится стыдно, когда жизнь кажется

трудной. Переоценка ценностей очень серьёзная. Ну что делать, когда человек остаётся без всего? Он остаётся наедине со своей душой и может черпать силы только оттуда. Тогда человек понимает, что он что-то собой представляет. И если в душе что-то есть действительно настоящее, это чувство ещё больше возрастёт. Именно в таких ситуациях человек может возвыситься духовно. Вот интересная глава у Адамовой-Слиозберг – как раз тот момент, когда она решает жить. Она говорит: «Я найду в себе силы выжить, чтобы всё это рассказать». И вот стихи: Мы пронесли свой крест за всех. Прошли крутым путём. О, Господи, спаси же тех, Что станут жить потом.

*Вопрос:* Почему вам это надо? Даже напрашивается классическое «Тебе-то что?»

*Ольга Непухарева:* Некоторые говорили мне: «Оля, это совершенно не нужная тема!». А я говорю: «Это нужно лично мне!». Я же, когда делала эту работу, не думала заранее о каком-то резонансе. Спектакль получился непростым, тема оказалась близкой и интересной многим и дала возможность поговорить со многими людьми. Наверное, сама жизнь хотела, чтобы этот спектакль был.

*Татьяна Бликова*

*Журнал Комитета по культуре города Москвы  
«Человек. Культура. Город» . – № 11 (27) . – 2005 г.*

## **Дороги, которые мы не выбирали**

Автобиографическая книга Ольги Адамовой-Слиозберг «Путь» (М.: «Возвращение», 1993; 2002.) рассказывает о судьбе женщины, прошедшей сталинские лагеря от Соловков до Колымы и ссылку в Казахстане, и о судьбах многих других заключенных и ссыльных. Рукопись этой книги распространялась в самиздате с 1956 года. Ей дали очень высокую оценку С.Я. Маршак, А.И.Солженицын, Н. Коржавин, Э.Г.Казакевич, А.А.Бек, Ф.А.Вигдорова и многие другие.

Эта книга послужила основой потрясающего спектакля «Дороги, которые мы не выбирали», который создали две молодые московские актрисы – Ольга Непахарева и Елена Токмакова-Горбушина. Сценарий и постановка спектакля – Ольги Непахаревой. В этом сценарии кроме книги Ольги Адамовой-Слиозберг использованы воспоминания, рассказы и стихи других узниц ГУЛАГа – Анны Барковой, Ариадны Эфрон, Галины Воронской, Евгении Гинзбург, Елены Владимировой, Татьяны Лещенко-Сухомлиной, Нины Гаген-Торн, Светланы Шиловой, Юлии Панышевой. Актрисы, захваченные темой ГУЛАГа, разыскали эти произведения в книгах, опубликованных Московским историко-литературным обществом «Возвращение». Оно объединяет бывших узников ГУЛАГа, их потомков и людей, способствующих сохранению исторической памяти. Актрисы стали членами этого общества, выступают со спектаклем от его имени и позиционируют себя как театр «Возвращение». В одном интервью Ольга Непахарева сказала, что без этого общества не было бы спектакля.

Премьера спектакля состоялась в 2005 году в ЦДРИ. С тех пор спектакль с большим успехом играется на разных «площадках». В Москве он показан более 40 раз: в Московском доме общественных организаций, в Центре им. Андрея Сахарова, в Музее Владимира Маяковского, в Доме культуры «Новогиреево», в Культур-



Конференц-зал Института гематологии Академии медицинских наук. После спектакля «Дороги, которые мы не выбирали». *Сидит* – старейший член общества «Возвращение» Паулина Степановна Мясникова, долгие годы игравшая саму себя в спектакле «Крутой маршрут» театра «Современник». *Стоят (слева направо)*: А. Закгейм (сын Адамовой-Слиозберг), Е. Токмакова-Горбушина, Э. Слиозберг (дочь Адамовой-Слиозберг), А. Воробьев, О. Непухарева, С. Виленский, Л. Новикова.

ном центре «Духовная библиотека», в Библиотеке-фонде «Русское зарубежье» и во многих других местах, в том числе в школах и центрах социальной помощи пенсионерам.

Этот спектакль побывал в Петербурге, Саратове, Твери, Подмоскowie и в Пермской области – в музее – бывшем лагере для политзаключенных «Пермь-36». В Подмоскowie спектакль был сыгран, в частности, на проходившем на Бородинском поле ежегодном православном международном молодёжном фестивале «Братья», участники которого приезжают из разных мест России, Белоруссии и Украины. После окончания спектакля огромная масса зрителей аплодировала стоя.

В ноябре 2006 года Ольга и Елена играли этот спектакль в США – в Гарвардском и в Нью-Хэмпширском университетах. Сценарий был переведен на английский, и этот перевод получили все зрители, не знающие русского языка. Спектакль произвел на присутствующих глубокое впечатление. Кто-то из студентов театрального факультета Нью-Хэмпширского университета сказал актрисам: «мы играем, а вы живете на сцене».

Удивительно для нашего времени: актрисы играют бесплатно и вход на спектакль свободный. А зарабатывают актрисы в театрах, на съемках в кино и своим участием в разного рода культурных мероприятиях.

Это чудо, что нашлись две молодые замечательные актрисы-подвижницы, заставляющие зрителей глубоко сострадать жертвам ГУЛАГа. Их деятельность – это феномен, настраивающий на оптимизм: подросло новое поколение, которому не безразлично прошлое и будущее страны.

*Виктор Жук*  
*Газета «Культура». – 2008. – № 8.*

# **Татьяна Шипошина**

## **Записки помощника, или некоторые размышления о семьях с приёмными детьми**

### **Глава 1. Теплый дом у дороги в семью**

Семья Лаврухиных, Сергиев Посад, д. Деулино. Один кровный, шесть приёмных детей, от двух до восемнадцати лет.

Мне было тридцать, когда судьба впервые привела меня в школу-интернат. На работу. Я могу долго расписывать, какой была эта школа, но, вероятно, не стоит этого делать, потому что моя школа-интернат была не хуже и не лучше других школ-интернатов. Была совершенно обыкновенной. Со спальнями на двадцать человек, с поломанными тумбочками, с порванными сетками на кроватях и с нищей кладовой. С сиротами, глядящими из углов и курящими в грязных туалетах. Помню своё тогдашнее состояние. Мне хотелось усыновить всех! Почти всех... Понимая, что этого сделать не могу, я старалась хоть что-нибудь сделать для тех, кто оказывался ко мне ближе других. Так как я врач, я старалась для больных. Для тех, кто попадал в изолятор. Бывало, навлекла своими действиями недовольство администрации, так как у меня резко пополнилась заболеваемость...

Было это более двух десятилетий назад. Но сейчас речь не обо мне. Речь о тех людях, чьё желание «усыновить всех» обрело реальные очертания. Уже сейчас в Подмоскowie стало меньше на шестерых сирот. На шестерых «детдомовских», на шестерых «инкубаторских», брошенных, не нужных никому, даже собственным родителям.

Дом, семья – мечта любого человека. У этих шестерых детей появились дом и семья. Появились мама, братья и сёстры. Старшие, младшие. Любимые! По крупицам, иногда и болезненно, дети осваивают азы своей новой жизни. С чего начинали? Учиться разговаривать. Привыкать к тому, что не бросят. Не будут бить, на нас не будут кричать. Учиться тому, что нас будут любить. И мы будем учиться любить друг друга.

Вечерком мы соберёмся наверху и будем делиться с мамой и друг с другом тем, что пережито за день, всем, что тревожит нас и не дает спать. Мы не побоимся рассказать о своих неудачах и об ошибках. А девчонки поведают маме свои «любовные» секреты. Но это попозже и наедине с мамой. А бабушка научит нас молиться. Там, наверху, целый иконостас. В воскресенье пойдём в церковь. Мы ведь живём совсем близко от Сергиева Посада, около Троице-Сергиевой Лавры. Мы будем учиться любить друг друга.

– А тут у нас книжки!

– А тут компьютер!

– Умеешь им пользоваться?

– Конечно!

– А фотоаппаратом?

– Конечно! Давайте, я вас сфотографирую!

– А тут у нас малыши спят, с мамой!

– А вот там, смотрите, за окошком! Наша коза!

– Не бодается?

– Нет! Молоко даёт! – Пьёте?

– Пьём! У нас и куры есть, и утки!

– Умеете ухаживать?

– Умеем!

– Умеют, умеют, – улыбается бабушка.

Да, мы будем учиться любви.

А сейчас научимся чистить картошку и варить суп. Суп, который надо посолить и попробовать на вкус, прежде чем подать к столу. Прежде чем разлить по тарелкам и накормить братьев и сестёр. Вот тарелка для Оксаны. Ей уже восемнадцать. Она умница, певунья, танцорка. Учится в колледже эстрадного и джа-

зового искусства при Гнесинском училище. Это Настина тарелка. Три года из своих четырнадцати девочка живёт в своей семье. Второй Насте – двенадцать, Лизе – тринадцать. А вот тарелка для главного мужчины в доме, для Ильи. Ему тоже двенадцать, он в семье второй год. Мечтает стать военным, поступить в Суворовское училище. Неплохо рисует. Напоследок ставим на стол две тарелочки поменьше: для Игорька – ему всего два годика, и для трехлетней Алинки.

Мне не хочется подробно писать о том, что происходило с детьми прежде. Боюсь, не скажу тут ничего нового. Это дети-сироты, дети, от которых отказались в роддомах. Ребёнок, у которого мать сидит за убийство сожителя. У другого сожитель убил мать. У третьего мать умерла от болезни, а отчим прогнал дитя из дома. А здесь целая история: девочку усыновили, а через пару лет вернули в приют. Потом эту же девочку взяли к себе родители одноклассницы, и вернули в приют, так как приемыш и их родная дочь «не сошлась характерами». Девочка долго не могла привыкнуть к жизни в семье. Всё боялась, что её снова «сдадут», «выставят», «турнут». Но, к счастью, это всё – в прошлом, в прошлом, в прошлом!

Подождите! Мы не поставили на большой стол две главные тарелки! Догадались, для кого? Для мамы! Для мамы и для бабушки! В нашей семье нет отца. К сожалению, наша большая семья не исключение, она отражает общие тенденции и закономерности. Год назад умер дедушка, который был основой, опорой семьи, мужской силой. Дедушка и построил большой трёхэтажный дом на окраине деревни близ Сергиева Посада. Красивый, большой, хорошо спланированный дом. Только дедушка не успел доштукатурить, отделать стены на кухне, в холле. Не успел провести воду, газ. Воду приходится носить из колодца, суп варить в печке, которую ещё надо научиться растапливать...

- Трудно вам, ребята?
- Да.
- Тяжело воду таскать?
- Да.

– Тяжело за хозяйством присматривать, на огороде работать?

– Да.

– Хотите назад, в приют, на всё готовое?

– Нет! Нет! Нет!

Наконец-то мама Света освободилась и присаживается к столу. И бабушка спускается со второго этажа, держа на руках Игорька. Да, всё в этой семье будет так, как сказал когда-то дедушка: «Я построил этот большой дом для того, чтобы в нём бегали дети». Царство тебе Небесное, дедушка.

Ну что, все в сборе?

– Ребята, я вам сейчас фотографию покажу, – говорит мама. – В приюте появился малыш. И я подумала, что мы могли бы его взять к нам. Могли бы? Как вы считаете? Справимся?

Братья и сёстры по очереди рассматривают фотографию в мобильном телефоне.

– Надо сходить, посмотреть, – отзывается Илья как главный мужчина в доме.

Да. Надо сходить. И каждому из нас не мешало бы заглянуть в глубину собственного сердца. Есть ли там место для кого-нибудь, кроме самого себя?

Мы почти не говорим о высоких чувствах и благородных побуждениях. Слишком часто они вызывают отрицательную реакцию окружающих. И вот досужие кумушки (а иногда и «кумушки», облечённые властью) шепчут вслед молодой женщине, помогающей детям не потерять себя в этом огромном и жестоком мире: «Дура! Дура! Зачем ей это надо?»

Конечно, дура. Только всё в мире относительно. Дура – относительно чего? Относительно кого?

Чтобы завершить работы внутри дома и снаружи, требуется ещё немало средств, которых у семьи просто нет. Да, в нашей многострадальной стране много нуждающихся семей. Но не все они такие, как семья Светы. У многих не хватает душевных сил и на собственных детей. Я не зываю к жалости. Семья Светы будет жить и дальше вместе, даже если стены в их доме не будут окрашены или оклеены обоями. Они будут жить вместе, если

даже им не проведут газ. Но учитывая, какие незначительные суммы получает эта семья от государства, следовало бы поддерживать ее.

Кто изучал литературу в школе, должен помнить что есть у Шарля де Костера такой герой, Тиль Уленшпигель, который ходил по свету, нося на шее мешочек с пеплом сожженного отца. «Пепел Клааса стучит в моё сердце», – говорил он.

Я хочу, чтобы стучал в наши сердца грязный, убогий детдом. Чтобы тревожил нашу совесть. Этот детдом есть символ того, что было сделано со своей страной, со своими людьми, со своими детьми. Жизнь на пепелище – это сироты при живых родителях. Это часть нас, часть нашего народа. И как мы ни пытаемся в своей обывательской жизни отгородиться от происходящего, притвориться, что всего этого нет, не выходит. Не получится, дорогие сограждане! Не получится...

Усынови! Приюти, накорми, научи! Поделись своим теплом, своей любовью. Не можешь усыновить – помоги тем, кто может. Помоги по зову совести, а не по принуждению, не по обязанности, неформально.

Хватит разбрасывать камни. Пришло время их собирать.

## **Глава 2. Театральная история**

Семья Кутениных. Четверо кровных и пятеро приёмных детей, от 24 до 16 лет.

Выбор. Мне хочется написать это слово с большой буквы, потому, что Выбор – это главное, что происходит с нами в жизни. Выбор – это то, что определяет суть нашего существования в этом мире. Здесь на Земле.

Да или нет? Быть или не быть? Делать или не делать? Защищать или обвинять? Предать или не предавать?

Или так: концертная деятельность после окончания консерватории или воспитание детей? Не только своих детей, но и детей брошенных, детей из интерната Восьмого

вида, обреченных, имеющих соответствующие диагнозы и соответствующие прогнозы?

Марина и её муж Дмитрий выбрали свой путь. Их первый приёмный ребёнок – маленькая девочка была, найдена в мусорном контейнере. Свету приютили, выходили и вырастили. Сейчас ей двадцать два года, она окончила среднюю школу и поступила в Высшую школу архитектуры и дизайна. Вторую девочку взяли из детдома в пятилетнем возрасте с диагнозом «олигофрения в стадии дебильности». Валерии уже двадцать четыре года, она с отличием окончила школу, поступила в Высшую школу экономики. Вышла замуж, венчалась, родила дочь.

Выбор сделан. И семья Кутениных, приняв благословение в церкви, оформляет попечительство ещё над тремя подростками: двумя мальчиками, Семёном и Игорем, и девочкой Машей. Из того же интерната Восьмого вида\*. Детей берут после девятого класса вспомогательной школы. Берут не грудных детей. Берут трудных, сложных подростков с «отказными» и трагическими биографиями. Знания подростков соответствуют 2-3-м классам обычной школы. Примерно на том же уровне их представления об окружающей жизни. И только знание о зле, о человеческом отрицательном потенциале превышает средний уровень. Таковы были их университеты.

За лето с помощью преподавателей дети преодолевали программу почти пяти классов и поступили в седьмой класс вечерней средней школы. Сейчас учатся в восьмом. Нет, знание о зле избыть трудно. Возможно, это не забудется никогда. Но старая жизнь, ее понятия постепенно отходят на второй план. Вытесняются пониманием того, что на свете существует много прекрасного, такого, о чём они и не догадывались в своём интернате. Появляются новые чувства – чувство семьи, чувство верности, взаимопомощи. О чувстве любви, пока, промолчу.

Ещё важное: дети попали в семью музыкантов! Дедушка – преподаватель консерватории, мама успешно закончила консервато-

---

\* Интернат Восьмого вида — коррекционный интернат для детей с различной степенью умственной отсталости и олигофрении.

рию. Все в семье учились и учатся музыке – и родные дети, и приёмные. Семён, Игорь, Маша - не исключение. У Маши способности к пению, девочку рекомендовали для поступления на вокальное отделение Музыкального училища имени Гнесиных.

Мы пьем чай на маленькой кухне семейного дома Кутениных. То и дело из коридора выглядывают любопытные, живые лица. Уже не дети. Юноша. Девушка. Очень разные, но уже чем-то похожи друг на друга, а главное – на родителей. Кто на маму, а кто на папу, как и положено в семье.

Разве для мамы дети перестают быть детьми, когда им исполняется восемнадцать? Или двадцать два? Это государству важно. Когда ребёнку исполняется восемнадцать, на него перестают выплачивать пособие. А приёмный ребёнок остаётся жить в семье. Тем более эти ребята, которым ещё надо закончить девятый класс. Им нравится учиться! Перед ними открылись горизонты нового знания. Их желание окончить одиннадцать классов и даже поступить в институт.

Могли ли эти трое мечтать о подобном ещё полтора года назад, в своём «дебильном» интернате?

Марина разливает чай и рассказывает, как она с ребятами ходила в интернат с концертом. Да-да, именно в тот интернат, откуда она взяла детей. Концерт прошёл хорошо. «Артисты» сначала побаивались выступать, но потом справились с волнением, и играли, и пели. Правда, администрация попросила Марину больше не приходиться с концертами. Нет, администрация, в принципе, не против. Но у тех, кто не попал в семью, их посещение вызвало такую боль, такую извините, зависть и даже злость. Почему не я? Почему не меня взяли, не меня выучили? Почему не меня пригнали, не меня приласкали? Почему?! И верно, почему?

Тут самое время сделать небольшое лирическое отступление и поговорить об относительности многих вещей и понятий, в кругу которых мы вертимся. Той же пресловутой «олигофрении в стадии дебильности», которая рассыпается в пыль, едва к ней прикоснутся любящие руки.

Не моя задача проводить исследование, углубляться в пробле-

му, анализируя, социальные причины, приведшие к появлению в нашей стране такого огромного количества брошенных, никому не нужных детей. Сирот при живых родителях?

Сама система приютов и детских домов, существующая ныне, не выдерживает никакой критики. Она далека от какого-то ни было здравого смысла, не справляется с задачей воспитания детей и не стремится к совершенствованию, а идёт по пути наименьшего сопротивления, навешивая на ребенка ярлык «дебилности» и навеки привязывая к психбольнице. Куда как проще назвать воспитанника «дебиллом», успокоить «буйных» психотропными препаратами успокоиться самим. Пусть себе сидят, коробки клеят!

Я бы не хотела, чтобы кто-то из этих троих, на глазах избавляющихся от своих диагнозов, от печатей «дебилности» на своём лбу прочёл эти записки. Я бы не хотела обижать их напоминанием о недавнем прошлом. Я бы хотела, чтобы эти записки прочёл кое-кто из высокопоставленных взрослых, чтобы дрогнуло его сердце от осознания дебилности самой системы, плодящей дебилов.

А семья Кутениных с трудом сводит концы с концами. Кое-кто из преподавателей занимается с детьми «по дружбе», из уважения к Марине, её отцу и ее мужу. Из уважения к тому делу, которое они делают. Но надо платить другим преподавателям, надо платить за музыкальную школу. Муж крутится на трёх работах.

– С Божьей помощью, – говорит Марина – стараемся. Никак не можем закончить ремонт, чтобы у каждого из детей была хоть маленькая, но своя комнатка. Ведь они взрослые уже!

Хорошо, что квартира большая. В доме Большого театра, которую получал ещё дедушка. Не надо думать, что всё легко и просто даётся этой семье. И вообще не стоит смотреть на подвижность сквозь розовые очки. Детям поначалу предстояло привыкнуть к тому, что надо учиться, исполнять определенные обязанности в семье. Трудно давалась наука общения, даже простой семейный разговор. Трудно поддаётся коррекции чувство соперничества, перемешанное с глубоким, исподволь проступающим

чувством собственной неполноценности, «второсортности».

– До сих пор плохое прилипает к ним легче, чем хорошее, – сетует Марина.

Да. Плохому, низменному всегда и везде легче. Оно даётся без усилий. Низменному хорошо там, внизу. Но для того, чтобы подняться к добру хоть на чуть-чуть, хоть на одну ступеньку, надо потрудиться. Потрудиться не только физически. Душой. А если ты к этому не привык? Если ты даже не знаешь, что можно попытаться? Если всю жизнь тебе твердили, что ты – некий отброс на задворках общества и сдвинуться оттуда, у тебя нет никакой перспективы.

Хорошо, если рядом есть плечо, на которое можно опереться, отправляясь в дальний путь. Старайтесь, дети! Да поможет Бог вам! И да поможет Бог тем, кто подставил вам свои плечи!

Марина откидывает со лба прядь волос и говорит:

– Когда-то отец спрашивал меня, неужели я не хочу в красивом платье выступать на сцене, слышать аплодисменты...

– И что вы ответили? – задаю вопрос я.

Марина смеётся:

– Я выбрала. Зато теперь мой отец гордится тем, что у него больше всех внуков. На весь Большой театр!

Такая вот музыкально-театральная история.



# СРЕДЬ ДРУГИХ ИМЕН

## БОРИС ЗУБАКИН

Борис Михайлович Зубакин (1894–1938) – поэт, скульптор, философ, профессор Московского археологического института. Арестован в 1937 году, обвинен в руководстве «Мистической фашистской и повстанческой организации масонского направления» и расстрелян в 1938 году.

## Сюита Пушкинская

### I

«Перед самой смертью Пушкин попросил, чтобы жена покормила его морошкой. Он съел две-три ягоды... и сказал – «довольно».

### II

На месте дуэли и смертельного ранения Пушкина устроены «скачки» и «бега».

### III

Из письма няни к Пушкину: «Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, – всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ждать и молить Бога, чтобы он дал нам свидеться».

#### IV

Немытой Мойки вновь канал  
С угрюмой четкою решеткой...  
Не Пушкина ли доконал  
Весь этот город? Дом двенадцать,  
Где шторы спущены всегда;  
Обстала вечность, как вода,  
Тишайший дом в примолкшем шуме.  
Читаю надпись: «Пушкин умер  
Вот в этом доме». То, что жил  
Он в этом доме, – мир забыл.

#### V

Курчавит ветер рыжие тучи,  
И африканский горит закат.  
Здесь стих вскипал, как «Аи» – шипучий,  
Превыше крепостных аркад.  
Аркадией Блаженной «Острова»  
Тонули в зелени. С иглы Адмиралтейской  
Кораблик плыл, от шпилья отойдя, –  
В лазури, в облаках, в мечтаньях музыкайских...

#### VI

Но там, где скачки злых гиперборийцев  
Смесиli грязью след священных ног,  
С высокой златоверхой колесницы  
Упал поэт... Растаял, вдруг, снежок,  
И капли крови смертною морошкой  
Продернули истории стезок.  
И Натали над блюдечком склонилась.

VII

Морошка мерзлая – морока дней пустых...  
Какое солнце в воды закатилось.  
Какой навек остановился стих.  
И снова лошади топтали круг песочный,  
Песок, – им кровь засыпали певца.  
Скакал жокей с улыбкою порочной  
И «скачки» продолжались до конца.

X

Но кровь цвела – и ягоды алели,  
И лошади сбивались и несли, –  
И Блок глядел, расширив глаз газелий, –  
На блеск копыт – из снеговой пыли!

X

Ты город крепости, мечети, синих пагод,  
Буддийских шидз над сфинксовой рекой, –  
О, дай и мне вкусить от этих ягод  
В мой смертный час преемственно – святой.

XI

Приезжай, мой Ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на  
дорогу выставлю. Я вас буду ждать и молить Бога, чтобы он дал  
нам свидеться...

*22 августа 1928, Берег Невы*

# ДМИТРИЙ УСОВ

Дмитрий Сергеевич Усов (1896–1943) – сын профессора Московского университета. В 1914 году окончил 1-ю Московскую гимназию, в 1918 году – историко-филологический факультет МГУ. В 1918–1923 годах преподавал историю западноевропейской литературы в университете Астрахани, с 1923 года работал в Москве, в Государственной академии художественных наук. С 1927 года вел курс художественного перевода на вечерних курсах иностранных языков Главнауки, переводил с немецкого и на немецкий, а также с французского. В середине 1930-х годов был арестован и отправлен на Беломорканал.

## МОСКОВСКАЯ ВЕСНА

То были вёсны над другой Москвой,  
Сменявшие совсем другие зимы...  
Как был желанен танец снеговой  
И лужи под апрельской синевой!  
Но оценить тогда их не могли мы,  
Доколе не изведали печать  
Тех лет, о коих лучше умолчать.

Но с нами вновь зерно, вода, огонь,  
И город заскорузлую ладонь  
Устал тянуть за недоступной пищей.  
Изглоданный, разграбленный и нищий,  
Перевязавший раны инвалид  
Со вздохом встал, как жизнь ему велит.  
Раскрылась неизбытая тюрьма,  
Явилось вновь лицо родного мира,

Согрелись просыревшие квартиры,  
Окрасились знакомые дома,  
Летит трамвай, сверкнув и прозвеневши,  
И вновь мелькают люди – но не мы...

А город, как больной, переболевши,  
Приветствует уход седьмой зимы –  
Весёлым пеньем петухов горластых,  
Теплом дождей, безудержных и частых,  
И маковками ярких куполов,  
И голосом густых колоколов,  
Под утро говорящих об обеднях,  
И быстрым лепетом ручьёв последних,  
И грохотом сосуллек ледяных...

Но в переулках старых и родных,  
Где гложущих садов узорны ветки...  
...Лишь комсомолка в клетчатой каскетке  
И в белых, как у девочки, носках,  
На чётких и упрямых каблуках  
Отщёлкивает тротуара плиты.

И пусть дома теплом весны облиты –  
Его струит уже не прежний день,  
И зацветёт не прежняя сирень,  
Чтоб окаймить забор лиловым краем,  
Не выкатится детское серсо,  
Не повернётся Счастья колесо,  
И *этот* Май не станет *нашим* маем.

1924

## Гоголь

Я ли разломаю семь печатей,  
Отогну страниц твоих крыла?  
На столбцы нехитрых хрестоматий  
Тень твоя отчётливей легла.

Востроносый, ястреб богомольный,  
Масляный пробор на голове,  
Что тебе в сырой и колокольной  
Из квашни расплзшейся Москве?

После солнца Рима и Помпеи,  
После древнего Днепра в разлив –  
Деревянный шаг отца Матфея  
И в кутье варёный чернослив.

И в золе каминного разгара  
Пачки покоробленных листов,  
И в пыли Никольского бульвара  
Зеленя украинских садов;

Да ещё вот этот ветхий ясень,  
Чёрный осеняющий гранит,  
Где твой лик, что больше не опасен,  
Вечная лампада прояснит.

*4 июня 1926*

## ПЕРЕВОДЧИК\*

Недвижный вечер с книгою в руках,  
И ход часов так не похож на бегство.  
Передо мною в четырёх строках  
Расположенъе подлинного текста:

«В час сумерек звучнее тишина,  
И город перед ночью затихает.  
Глядится в окна полная луна,  
Но мне она из зеркала сияет».

От этих строк протягиваю нить;  
Они даны – не уже и не шире:  
Я не могу их прямо повторить,  
Но всё-таки их будет лишь четыре.

«В вечерний час яснее каждый звук,  
И затихает в городе движенье.  
Передо мной – не лунный полный круг,  
А в зеркале его отображенье».

*15 февраля 1928*

---

\* Об этом стихотворении М.Л. Гаспаров пишет: «Стихотворение изображает процесс перевода: вторая строфа пересказывается в четвёртой близкими, но не тождественными словами, как бы в переводе с русского на русский». Усов весьма убедительно доказал этим стихотворением самую возможность поэтического перевода.

# ЛАЗАРЬ ШЕРЕШЕВСКИЙ

Лазарь Вениаминович Шерешевский (1926–2007) родился в Киеве. В 1937 году был расстрелян его отец. В 1943 году Лазарь Шерешевский был арестован как сын «врага народа» и автор крамольных стихов. Осужден на пять лет лагерей и три года поражения в правах. Автор девяти сборников стихов.

\* \* \*

Воркута, Воркута, Воркута!  
Ни ствола, ни пенька, ни куста.  
Тундры тягостная немота.  
Шестимесячная темнота.  
Воркута, Воркута, Воркута!  
Десен яростная краснота,  
Зубы сами бегут изо рта  
Где полярного круга черта  
Отчеркнула тебя, Воркута!

# АЛЕКСЕЙ ПРЯДИЛОВ

Алексей Николаевич Прядилов родился в 1927 году в Нижнем Новгороде, арестован в 1943 году В приговоре суда сказано: «В городе Павлова Горьковской области с начала 1941 году существовала нелегальная группировка из учащихся старших классов средней школы, которая нелегально по август месяц в 1943 году выпускала рукописный журнал антисоветского содержания под названием «Налим». Приговор – 7 лет лагерей и три года поражения в правах.

## КОШМАР

Стоны, крики, плач и слезы,  
Пистолеты и мечи...  
Кровь сочится из березы...  
Руки крутят палачи...

Этот сон – одно расстройство,  
Всякой нечисти полет.  
Я проснулся в беспокойстве –  
На лице холодный пот.

Иногда такое снится,  
Что милей тюрьма иль плен.  
Как в мозгу моем рождается  
Альманах кошмарных сцен?

Не о скалы в час прибоя  
Бьется гневная волна, –  
Это кошка рвет обои,  
А ее клянет жена.

# Юлия Панышева

Юлия Васильевна Панышева родилась в 1912 году. Окончила Ленинградский филологический университет, арестована в 1950 году, почти три года провела в тюремном заключении: сначала в одиночной камере Лефортово, потом – на Лубянке. Освобождена в марте 1953 года.

## Руки

Лефортово, железный коридор,  
И часовой на перекрестке.  
Тюремщик раздает еду...  
И щелк флажков, как выстрел хлесткий,  
Предупредил: преступницу ведут.

Все стихло... лишь шагов зловещий стук  
Моих и двух солдат, что впереди и сзади...  
Вовек мне не забыть голодных бледных рук,  
Державших миску щей, полученную на день!

Они явились вдруг, случайно в этот раз  
Тюремщик не прикрыл окошка черный выем,  
В окошке руки, нет лица, нет глаз,  
Лишь две руки – мучительно живые!

Чьи эти руки? Кто еще  
Тоскует за железной дверью?  
Кто, как и я, часам теряет счет  
И камеру шагами мерит?

Кто он? А может, этих рук  
В миру мои касались руки?  
О Господи, спаси от мук...  
Всех страждущих избавь от муки!

# АЛЕКСАНДР БЕРШАДСКИЙ

Стихи из записных книжек Алексея Мурзича, с которым Александр Бершадский отбывал срок в Воркутлаге (лагпункт № 59, Воркутинский механический завод)

\* \* \*

Безлунными и душными ночами  
Невыносимы тишина и пыль.  
Ты залетела в собственное пламя  
И нежным пеплом пала на фитиль.

И так живёшь... Из давних лет картина:  
Сама и моль, и жаркая свеча,  
Татуировкой лёгкой балерины  
Танцующей на пальце палача...

\* \* \*

Скиталец, пред тобой врата страны забвенья,  
Бушует белый мрак на сердце и вокруг.  
Не первый вступишь ты, не первый станешь тенью  
Того, чем раньше был, меж стай крылатых вьюг.

Такие же, как ты, там, в глубине, маячат,  
Пытаясь воссоздать в пустой душе уют.  
Осколки старых звёзд в остатках чувства прячут,  
Но птицы снежные их всё-таки клюют...

# СЕМЕН ВИЛЕНСКИЙ

Семен Самуилович Виленский родился в 1928 году в Москве. Учился на филфаке МГУ. Арестован в 1948 году, в 1949 году осужден Особым совещанием на 10 лет особых лагерей. Срок отбывал на Колыме.

\* \* \*

И пуст и гулок безнадежный  
Дом в предвечерней тишине.  
А завтра утром шар железный  
Ударит по его стене.

И наша жизнь и стены эти –  
Улыбка с горем пополам.  
...Лучи закатные, как дети,  
Ещё играют по углам.

# МЕЧЕННЫЕ ГУЛАГОМ

## РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

### ССЫЛКА АБЕЛЯ

В архиве информационного центра ГУВД по Тюменской области я познакомился с хранящимися там более полувека документами Карла Абеля, учителя семилетней школы села Перегребное бывшего Микояновского, а ныне Октябрьского района Тюменской области.

История эта могла бы показаться невероятной, но она случилась. Случилась с людьми, за которыми не было никакой конкретной вины. Просто колесо XX века прокатилось по их судьбам, по ним самим, не щадя ни взрослых, ни детей.

Но прежде, чем перейти к истории Карла Абеля, попытаемся ответить на вопрос: кто такие сибирские немцы, откуда и по какой причине появились они «за Камнем, за Уралом»?

Как уверяет автор книги «Не пыль на ветру» Яков Эзау, тюменский инженер-строитель, ему пришлось самому взяться за перо, поскольку немцы, заброшенные ветром истории в Сибирь, оказались, в отличие от немцев Поволжья, народом бесписьменным, без собственных журналистов и писателей, без историков.

Яков Николаевич тоже из немцев, родившихся, выросших, выучившихся и проживших всю жизнь в Сибири. Долгие годы он собирал историю этого народа, отколовшегося от Европы, и вот что ему удалось выяснить.

Общность нынешних сибирских немцев, как полагает Яков Эзау, начала складываться в эпоху Реформации. Их далекие

предки были участниками Мюнстерской коммуны в 1525 году\*. Когда коммуна была разгромлена (Эзау пишет: пала под грузом собственных проблем), один из ее лидеров – Менно Зимменс бежал со своими последователями в Голландию. Однако записные бунтари и там не прижились. Часть их впоследствии оказалась за океаном, в Новой Англии. Остальные переходили от одного германского курфюрста к другому, все дальше на восток. Когда Петр I, а ним Екатерина II открыли окна и двери в Европу, приверженцы Менно Зимменса, меннониты, как они себя называли, оказались в Сибири: давно отбунтовавшие, спокойные, религиозные крестьяне...

На этом историю сибирских меннонитов я оставляю. Интересующиеся могут обратиться к 600-страничной книге Якова Эзау «Не пыль на ветру».

## Круг первый

У нашего повествования один герой – Карл Карлович Абель. Уроженец деревни Круча Азовского района Омской области. По терминологии сороковых годов – «выселенец». Так на обложке архивного дела № 985 и написано. И так с первой строки этой «документальной истории» начинается лукавство, начинается неправда. Потому что никто и ниоткуда Карла Абеля не выселял. А в 1940 году его, закончившего курсы в Омском институте усовершенствования учителей, областной отдел народного образования направил на работу на Север. В село Перегребное Микояновского района. Началась война. По известному указу в августе 1941 года выселили Республику немцев Поволжья – на Урал, в Сибирь, в Казахстан.

---

\* Мюнстерская Коммуна (1534–1535) – революционная власть религиозного движения анабаптистов в г. Мюнстер (Вестфалия) во главе с Яном Матисом и крестьянским царем Иоанном Лейденским. В осажденном городе Мюнстерская коммуна провела конфискацию церковно-монастырского имущества, отменила денежное обращение. После 14-месячной осады войсками епископа Мюнстер был взят, вожди и деятели коммуны казнены.

Абеля никуда не выселяли. Он и так в Сибири всю жизнь.

Но – «родина слышит, родина знает». Об этом – первый документ в папке, лист дела 1.

«Справка на высленца. Абель Карл Карлович находится на спецпоселении в пос. Перегребное Микояновского района... Абель Карл Карлович из... (в документе пропуск, потому что Абеля ниоткуда не выселяли) переселен в пос. Перегребное... и на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года оставлен навечно в месте обязательного поселения высленцев без права возврата к прежнему месту жительства...» – и размашистый росчерк красным карандашом – «нач. Микояновского РО МВД лейтенант Бузуков».

Переломилась жизнь.

*Лист дела 2. 10 марта 1949г.* «Спецкомендатура N 21 Микояновского района... Категория учета – «немцы». Абель Карл Карлович, немец. Родной язык – русский. Гражданство – СССР. Учитель немецкого языка Перегребинской НСШ. Женат... Состоят на учете выселения – жена Бобова Татьяна Алексеевна, 1918 г.р., сын Абель Александр Карлович, 1947 г.р. Не состоят на учете выселения – теща Бобова Евдокия Ивановна, 1873 г.р...»

Лист дела 3. «Подписка. Мне, Абель Карлу Карловичу, 1919 года рождения, проживающему в пос. Перегребное, объявлено, что я не имею права никуда выехать и уходить хотя бы временно из указанного мною постоянного места жительства без предварительного разрешения органов МВД, и обязан периодически лично являться на регистрацию в место и сроки, которые мне будут указаны органами МВД. Об ответственности за нарушение данной подписки по ст. 82 УК РСФСР я предупрежден. Подписку отобрал комендант Микояновского РО МВД Паршуков».

Надеюсь, вы обратили внимание, как механически вращается властное колесо, давя все, до чего в состоянии дотянуться. Вот и жена Карла Абеля под колесом, чистокровная сибирячка из деревни Агалья Ярковского района, ныне Тюменской области, приехавшая в Микояновский район после окончания фельдшерско-акушерской школы. И двухлетний сын... Все «высленцы». Все

на спецпоселении. У всех расписка, которую отобрал комендант Паршуков, словно петля на шее.

*Лист дела 4. 18 июня 1949 года.* «Расписка. Мне, выселенцу Абель Карлу Карловичу, 1919 года рождения, проживающему в пос. Перегребное, объявлен указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года о том, что я выселен на спецпоселение навечно без права возврата к месту прежнего жительства и за самовольный выезд (побег) с места обязательного поселения буду осужден на 20 лет каторжных работ...»

...За сто с лишним лет до описываемых событий ссыльный поселенец из декабристов писал о себе: «над Сургутом раздвинулись тучи, и сквозь них проглянула луна: не сбежал ли мятежный поручик, не испив свою чашу до дна?» За нашими «выселенцами» смотрит не только луна. Заместитель начальника РО МВД по спецпоселению Киричев регулярно рассылает запросы: «просим проверить и сообщить наличие компроматериалов» – в райотдел МГБ, в народный суд Микояновского района.

Карл Абель все надеется, что с ним произошла какая-то ошибка, ведь он не высленец, не ссыльный. И пишет в надежде, что его услышат.

*Лист дела 8. 4.06.1950г.* «Убедительно прошу снять меня, Абель Карла Карловича, со спецучета, так как я уроженец Омской области Азовского района д. Круч. Родился в 1919 году 24 апреля в семье безземельного бедняка. С 1934 года живу один. Жил и учился в Сибири. Кроме Сибири нигде не был. Прошу удовлетворить мою просьбу».

Резолюция на обороте: «Тов. Кирпичеву. Выслать материалы в ОСП УМВД Тюменской области для решения вопроса в отношении Абель. 24.06.1950 г.»

Власть поняла, что совершила ошибку? Власть готова ее исправить? Власть запрашивает и получает характеристики с места работы («относится честно и добросовестно... проявляет инициативу... к урокам готовится тщательно»)...

Вот и вывод: «Учитывая, что Абель К.К. родился в Омской области и в Микояновский район не высылался, а взят на учет

только 10 марта 1949 г. и показал себя с хорошей стороны, полагал бы – Абель Карла Карловича, как взятого на учет ошибочно, с учета снять и из ссылки освободить» (л. д. 10). Здравый смысл водил рукой помощника оперуполномоченного Рыбкина и согласившегося с ним начальника РО МВД Лутошкина.

Окрыленный надеждой Карл Карлович пишет заявление почти на небеса – начальнику отдела спецпоселения областного управления МГБ подполковнику Васильеву, повторяя: «немец Омской области, сибиряк... жена, русская из Ярковского района...») Указывает на свою инвалидность – «пишу левой рукой» и по простоте душевной, видимо, добавляет чистую правду: «причиной взятия меня на спецучет является моя национальность – немец»... Ах, как он надеется, что есть правда и справедливость, и чтобы быстрее пришла свобода, педантично: «для ответа вложу почтовую марку 1 руб.)...

*Лист дела 12.* «Коменданту Быстринского сельсовета капитану т. Львову... Сообщите выселенцу-немцу Абель Карлу Карловичу, что его заявление, поданное на имя зам. начальника УМГБ по СП подполковника т. Васильева, рассмотрено. В просьбе о снятии с учета отказать, так как взят на учет правильно и снятию не подлежит. Нач. Микояновского РО МГБ капитан Шатрок».

Органы не ошибаются, на что «выселенцу-немцу» было недвусмысленно указано. Правда, в устной форме. И через третью инстанцию – комендатуру, непосредственно наблюдающую за подлежащими учету. Не может же всеисильное ведомство снизойти до переписки со спецпереселенцем...

Но жизнь продолжается.

*Лист дела 15. 13.1.51 г.* «Производственная характеристика, Абель Карл Карлович... к своей работе относится добросовестно... В период уборки урожая вместе с учащимися и под его руководством значительно помогли Перегребинскому колхозу... Является агитатором по десятидворке, эту работу он также выполняет хорошо. Директор школы Волохин».

Есть одна деталь, весьма существенная, когда речь идет о помощи колхозу в период уборки урожая. В деле об этом не гово-

рится, там только вскользь упоминается об «инвалидности с детства». Ольга Карловна Михалева, дочь Карла Абеля и Татьяны Бобовой, рассказала, что отец с детства не владел правой рукой. Даже писал левой. Несмотря на это в годы войны он был мобилизован в трудовую армию и работал в угольной шахте в Кемеровской области. Там во время выброса метана его придавило породой, но остался жив...

В тот же день 13 января 1951 года, когда директор Перегребинской неполной средней школы по запросу отдела спецпоселенцев писал очередную характеристику на Карла Абеля, сам Карл Карлович давал очередную подписку...

*Лист дела 17.* «Подписка. Я, Абель Карл Карлович, даю настоящую подписку в том, что я ознакомлен с постановлением правительства N 35 от 13 января 1945 года о правовом положении спецпереселенцев... За оставление места поселения без разрешения... подлежу привлечению к судебной ответственности...»

Подписка привязывала спецпереселенца к месту и удерживала его там, словно стальная цепь.

Примерно за полгода до этого учителю Карлу Абелю надлежало выехать из Перегребного в райцентр Микояновского района, который тогда назывался не Октябрьское, как сейчас, а село Кондинское. Нынешнее же Кондинское было – Нахрачи. Но это к слову.

*Лист дела 14.* Август 1950 года. Телеграмма. «Кондинск, МВД, Шатрок. Прошу разрешить выезд конференцию учителей Абель двадцатому августа. Паршуков». Резолюция: «т. Рыбкину. Дать разрешение».

...Надо думать, вершители судеб человеческих в погонах МВД и МГБ и не предполагали, что лет через пятьдесят или больше какой-то журналист станет перелистывать эти разнокалиберные листочки, пытаюсь прочесть по ним грустную повесть о человеческих страданиях. Документы в деле Карла Абеля подшиты не по порядку. Поэтому в описании ссылки учителя из Перегребного мы не станем придерживаться нумерации листов дела, а последуем за датами. Итак...

*Лист дела 19. 30 марта 1951 года.* «... Прошу разрешить выезд в город Тюмень на летнюю сессию 1951 года для повышения квалификации».

*Лист дела 18. 14 апреля 1951 года.* Из РО МГБ – заведующему Микояновским РОНО: «К нам поступило заявление от учителя Перегребинской школы высленца Абель Карла Карловича... Просим подтвердить справкой – действительно ли такой нуждается в выезде? Если учится заочно, необходимо приобщить вызов учебного заведения...»

*Лист дела 20. Из РОНО:* «...Абель вызывается на месячные курсы. Просим разрешить...»

*Лист дела 21.* Из района в область, подполковнику Васильеву: «... просим разрешить. Со своей стороны в выезде Абель в Тюмень не возражаем».

*Лист дела 22.* Из области в район: «Секретно. Временный выезд в город Тюмень высленцу немцу разрешаем. Обязите Абель явиться в Тюменское РО МГБ для взятия его на временный учет...»

Разрешение получено в райцентре 4 июля 1951 года, через три месяца со дня подачи заявления. А занятия по повышению квалификации начались 1 июля, но до них еще надо доплыть – по Оби, по Иртышу, по Тоболу и Туре...

История Карла Абеля, как расширяющаяся вселенная – она захватывает в свою жуткую орбиту все новые и новые жертвы.

## **Круг второй**

*Лист дела 23.* 18 февраля 1952 г. Из управления МГБ по Тюменской области начальнику Микояновского РО МГБ лейтенанту Митрясову : «... Сообщаем, что сын Бобковой Т.А. Абель Александр Карлович подлежит взятию на учет, так как отец у него высленец-немец и брак у них юридически оформлен...» Резолюция: «В личное дело Абель».

18 февраля 1952 года Александру Карловичу Абелю шел... пятый год. Перечитываю этот документ, л. д. 23, и пытаюсь

вспомнить: чей опыт так творчески применяли в нашем незабвенном государстве? Американских ли плантаторов, которые установили, что если один из супругов – раб, то и другой обращается в рабство? Российской ли помещицы Салтычихи и ей подобных, которые ссылали на конюшню вольных девушек, если им выпало влюбиться в крепостного? Или тот царский указ, согласно которому дети декабристов, «прижитые в сибирской каторге», лишались всех привилегий своего сословия? Или пресловутые «нюрнбергские законы»?

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» – кажется, так учили нас в детском саду, который я посещал в военные годы?

*Лист дела 25. 17 октября 1952 года.* «Быстринскому коменданту мл. лейтенанту тов. Кирпичеву. Объявите выселенке-немке (так в тексте! – Авт.) Бобовой Татьяне Алексеевне, что заявление по вопросу освобождения из спецпоселения находится в стадии рассмотрения. Зам. начальника Микояновского РО МГБ Лутошкин».

Татьяна Алексеевна пытается отвоевать будущее хотя бы для сына. Много лет спустя она уйдет из жизни после тяжелой болезни. Кто знает, не сыграла ли роковую роль та несправедливость, которую эта женщина, принявшая в свои руки многих младенцев в северном поселке Перегребное, испытала в сороковые и последующие годы, когда переживала за младенца своего и за отца этого младенца?

Вспомним: что было написано в решении о взятии Карла Абея и его семьи на спецпоселение? Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года он и его семья «выселены на спецпоселение навечно без права возврата к месту прежнего жительства». А наивные «выселенцы» упрямо пишут и пишут, надеясь на какие-то перемены. Забегая вперед, напомним, что правы, в конце концов, оказались вовсе не творцы законов, рассчитывающие на вечное существование построенного ими каторжного режима.

Но до этого еще надо дожить. А пока вернемся к хронике безуспешных, в течение долгих лет, поисков свободы и справедливости.

*Лист дела 29.* В заявлении от 25 июля 1951 года Татьяна Алексеевна просит «разобрать мое заявление о нижеследующем... В марте 1948 года взяли меня на учет поселенца как жену немца. Муж мой, Абель К.К., уроженец Омской области, в 1940 году был командирован Омским облоно на работу в Микояновский район в качестве учителя. Я, Бобова Татьяна Алексеевна, рождения 1918 года, Ярковского района с. Агалья, в 1937 году окончила фельдшерско-акушерскую школу г.Тюмени, была командирована на север в качестве акушерки, где и работаю по настоящее время... В сентябре 1950 года мои документы были посланы в областной отдел МГБ о снятии меня с учета. До сих пор не могу получить никакого ответа...»

13 августа того же года в Микояновский РО МГБ поступает ответ капитана Борисова, зам. начальника 3-го отдела УМГБ, на просьбу Татьяны Бобовой. Отрицательный, естественно.

Из райотдела, где бумага зачем-то маринуется целых два месяца, ответ спускают ниже – быстринскому коменданту Кирпичеву: «Объявите выселенке-немке (так в тексте! – Авт.) Бобовой Татьяне Алексеевне, что заявление по вопросу освобождения из спецпоселения находится в стадии рассмотрения. Зам. начальника Микояновского РО МГБ Лутошкин» (л. д. 25 – от 17 октября 1951 г.). Два месяца – куда спешить, если впереди целая вечность, ведь несчастный Карл и его семья обречены навечно и безвыездно находиться в Перегребном! И еще месяц проходит...

*Лист дела 26 от 11 ноября 1951 г.* «Расписка. Мне, Бобовой Т.А., объявлено, что мое заявление о снятии со спецучета находится в стадии рассмотрения».

Улита едет, когда-то будет. А тем временем жизнь ссыльной семьи протекает как бы в двух отдельных потоках. Один, о котором мы только что рассказали, сокрыт. В другом – Карл Абель, как все обычные граждане, «учится заочно... к работе относится хорошо... повышает идейно-политический уровень, изучая Краткий курс истории ВКП(б) с привлечением первоисточников...» (из характеристики, подписанной директором школы Брызгаловым 5 февраля 1952 года – л. д. 32).

Но весь поселок знал, что раз в месяц учитель Абель и акушерка Бобова являются в местную комендатуру и отмечают: мол, никуда без разрешения властей не отлучились, в побег не ушли. Сохранилась в деле N 985 справка за 1952 год о ежемесячной регистрации Абеля Карла Карловича (лист дела 37): 1 января, 2 февраля, 14 марта, 30 апреля, 3 мая, 27 июня, 11 июля, 28 августа, 30 сентября, 9 октября, 19 ноября и 26 декабря – пришел, расписался и продолжай изучать Краткий курс ВКП(б), повышая свой идейно-политический уровень под строгим надзором МГБ.

В 1953 году умер гениальный изобретатель ссыльно-каторжной системы, но ничего не изменилось в жизни Карла Карловича, Александра Карловича, шести лет, и Татьяны Алексеевны.

У Абеля отбирают очередную расписку, в которой ему «разъяснено правовое (точнее, бесправное. – Авт.) положение». Но упрямый поселенец снова и снова бомбит власти своими заявлениями. Неужели чувствует приближение перемен? Наверное, лучше, чем те, в фуражках с голубыми околышами.

*Лист дела 39 от 4 августа 1954 года:* «...Убедительно прошу освободить меня со спецссылки и восстановить в прежних гражданских правах. Я родился в Омской области...»

А ему поспешно отвечают в прежней манере и лексике: «Просим объявить под расписку спецпереселенцу..., что его заявление рассмотрено и в просьбе отказано... 18 августа 1954 года».

18 августа 1954 года! Какая ирония судьбы – именно восемнадцатого августа 1954 года подписано постановление Совета министров СССР N 1738/789, а двумя днями позднее и соответствующий приказ МВД СССР N 00713 об отмене спецпоселения для граждан немецкой национальности. Правда, сам Карл Абель и его родные получают «вольную» только в октябре. А 7 января 1955 года его дело, где хранятся эти жуткие документы жуткой эпохи, будет сдано в архив. Только в 1995 году, еще через 40 лет Карл Абель и его дети – жена до этого времени не доживет – получат справки о реабилитации.



# ВАЛЕРИЙ ОСИПОВ

## ДВАЖДЫ УМЕРШИЙ

25 октября 1917 года по старому стилю (7 ноября по новому) в Петрограде произошел государственный переворот, в результате которого власть в России взяли большевики. Этот переворот в дальнейшем назывался Великой Октябрьской социалистической революцией.

А через 20 лет и 24 дня после этого события, 1 декабря 1937 года (конечно, уже по новому стилю) в заснеженном сибирском селе родился я. И если первое событие громом пронеслось по всей земле, то второе вызвало радостное волнение только лишь у моих родителей. Тем не менее, оба эти события оказались связанными друг с другом. И связанными роковым образом.

Захватив власть, большевики не были полностью уверены в прочности обладания ею. Боясь лишиться власти, они шли на все, чтобы ее сохранить. Не останавливались ни перед чем. С этой целью ими был использован образ «врага народа». Таковым объявлялся каждый, кто допустил какую-либо оплошность в работе, обронил неосторожное слово, осмелился высказать недовольство поступком начальствующего лица, пусть даже самого мелкого ранга. Врагом народа можно было стать и по оговору, доносу.

Большевики создали мощнейший устрашающий репрессивный аппарат, который безжалостно карал всех: виновных, а большей частью невиновных, их родственников, друзей, знакомых. На мой взгляд, трудно найти в стране человека, по семье которо-

го не прошла бы карающая железная «рука революции». Сотни тысяч людей были приговорены «тройками» к значительным срокам заключения или расстреляны. Их родных объявляли «членами семей врагов народа». Они также подвергались наказаниям, вплоть до заключения в ГУЛАГ, с детьми. Даже много-много лет клеймо «родственника врага народа» продолжало оставаться знаком, определяющим дальнейшую судьбу человека, делающим его неблагонадежным, недостойным доверия, «второсортным». Это клеймо вызывало у его носителей желание избавиться от него любым способом, иные даже отрекались от родного человека – отца, мужа, брата. Народ был запуган репрессиями. В такой гнетущей общественной атмосфере ломались судьбы людей, проходило становление подрастающего поколения, утверждалось беспрекословное подчинение властям. При каждом удобном случае власти напоминали: ты не очень-то забывай, что твой отец, брат, дед – враг народа, а яблоко от яблони, сам знаешь...

Клеймом «сын врага народа» я был награжден уже в возрасте двух с половиной месяцев и на долгие-долгие годы. С той февральской ночи злосчастного 1938 года, когда в наш дом, в котором царил радость по поводу появления долгожданного первенца – сына, пришли люди в форме НКВД и арестовали отца, даже не объяснив, за что.

Я сам, конечно, не помню этого, поэтому дальнейший рассказ поведу со слов матери.

Закончив обыск, оставив в доме кавардак и уводя арестованного отца, один из энкавэдэшников бросил с порога матери:

– Стоило бы и тебя забрать, да сосунок твой (это про меня) больно мал. Подождем, пока подрастет.

Наутро чуть свет, закутав меня потеплее, мать побежала к отделу НКВД. Близко ее не подпустили: милиционеры оцепили крыльцо дома и отгоняли людей, окружавших его. Оказывается, в эту ночь арестовали многих в селе.

Наконец на крыльцо вышел начальник райотдела НКВД и приказал милиционерам отогнать всех присутствующих по-

дальше. Люди подались назад. К крыльцу подъехали подводы. Из здания вышло еще несколько милиционеров с винтовками. Они выстроились в два ряда между крыльцом и подводами. Затем начали выводить арестованных, те искали глазами в толпе своих родных и, найдя, пытались ободрить их хотя бы взглядом. Отец, увидев мать со мной на руках, попытался помахать ей рукой, но тут же последовал окрик:

– Руки за спину!

Арестованных усадили в розвальни по два человека. Обоз, окруженный конными милиционерами, тронулся по большаку в сторону города. В толпе раздались крики, рыдания, несколько человек бросились вдогонку саням, но начальник райотдела НКВД, ехавший верхом на лошади сзади, выхватил из кобуры наган и дважды выстрелил в воздух. Бегущие остановились. Он крикнул возчикам:

– Погоняй!

Те ударили кнутами по лошадям, и обоз с арестованными быстро скрылся за ближайшим пригорком.

Теперь мать ежедневно ходила в райотдел НКВД справляться о судьбе отца, пытаясь узнать, где он, что с ним, а главное – за что его арестовали. Но на все вопросы получала равнодушный ответ:

– Сведениями не располагаем.

Однажды начальник райотдела, к которому она сумела попасть на прием, сказал ей:

– Напрасно, гражданочка, ходите. Раз арестовали – значит, было за что. И не мелькайте здесь понапрасну, себе же хуже сделаете. Нужно будет – сами сообщим, что надо.

Но мать не прекращала свои попытки узнать о судьбе отца. Она упорно добивалась истины. И однажды ей ответили:

– Ваш муж приговорен, как враг народа, к десяти годам заключения без права переписки. – И добавили: – Не советуем больше интересоваться его судьбой. Все, что можно было, мы вам сообщили. Большого не ждите.

Это было в последних числах марта 1938 года. Эх, знать бы, что скрывалось за этими словами!

Тем временем обстановка вокруг матери резко изменилась, Она продолжала работать заведующей аптекой, но все бывшие знакомые стали избегать встреч с ней, даже на улице спешили перейти на другую сторону. Перестали заходить не то что в гости, а просто перекинуться парой слов. Боялись поддерживать отношения с женой врага народа!

Лишь однажды, поздним летним вечером 1938 года в окно тихонько постучали. Мать сначала не поверила своим ушам, уже несколько месяцев она не слыхивала таких звуков. Выглянув в окно, разглядела прежнего хорошего знакомого семьи, до ареста отца часто навещавшего их вместе с женой. Он занимал небольшую должность в райисполкоме, его жена работала там же машинисткой. Мать быстро выбежала в сени, открыла дверь, но вечерний гость полупшепотом произнес:

– Нет, в дом не пойду. А тебе вот что скажу: сын у тебя подрастает, скоро можно будет его у тебя отобрать и отправить в детдом, а тебя в лагерь – с женами врагов народа. Уезжай-ка ты с мальцом отсюда поскорей да подальше, пока и до вас не добрались. И еще: никому не сказывай, что я у тебя был. А что тебе рассказал – то из верных уст услышал. Не спрашивай – от кого. Ну, пока.

И гость быстро удалился в темноту.

Надо ли говорить, что матери не нужно было повторять сказанное второй раз! Она и сама была готова бежать из села, бежать от неизвестности, от периодических обысков, проводившихся с непонятной целью, от гнетущей обстановки, которая сложилась вокруг нее в селе. Даже редкие письма, приходившие от родственников, доставлялись вскрытыми. Кем, зачем? А тут еще это предостережение... Решение созрело немедленно: ехать из Сибири к родственникам в Подмоскowie. Кое-как собрав нехитрые пожитки, со мной в одной руке и узелком в другой она уехала из села, с которым сроднилась за десять прожитых здесь лет, где прошли незабываемые счастливые годы рядом с любящим и любимым человеком – моим отцом, где было столько друзей и знакомых!

Да, их было много, почти все село! Как они были приветливы и радушны еще совсем недавно! Но теперь, поверив, что мой отец

враг народа, испугавшись преследований за связь с его семьей, многие отвернулись от матери. Другие, хоть и не очень в то верили, старались не проявлять дружеских чувств или хотя бы сочувствия из-за той же боязни преследований.

...Родственники в Подмоскowie встретили нас не очень дружелюбно – тоже сказала боязнь быть причисленными к членам семьи врага народа. Через некоторое время мать со мной уехала к бывшей своей работнице в большое (тогда – районное) село Нурлаты в Татарии, километрах в семидесяти от Казани.

Но и туда дошли сведения об отце. Людей в форме НКВД заинтересовало, почему молодая интеллигентная женщина приехала в такую глушь с ребенком на руках, почему живет уединенно, стараясь ни с кем не поддерживать отношений? Быстренько навели справки – и все, как на ладони: жена репрессированного с сыном, полутора лет от роду. И все началось по новой: вызовы в райотдел НКВД, обыски. Только народ, не знавший подробностей судьбы матери, вел себя дружелюбнее прежних знакомых. И это грело душу.

А обыски уже помню и я.

Шла Отечественная война, мне было года четыре. Ночью к нам пришли люди в форме. Меня разбудили, подняли. Увидев их, я обрадовался:

– Ура, солдатики пришли!

Но один из «солдатиков», с черными усами, взял меня на руки и почти что швырнул матери: нужно было обыскать мою кровать, а вдруг в ней спрятано что-то опасное для власти или способное сыграть на руку немцам!

Видимо, я был удивлен и напуган обращением со мной «усатого дяди», потому что спросил:

– Мама, дядя – фашист?

Услышав это, «дядя» заорал:

– Заткни пасть своему пащенку, пока мы не отправили его, куда следует! Вот чему ты, стерва, учишь ребенка! Давно нужно было его у тебя отобрать!

Мама прижала меня к себе и, вся в слезах, успокаивала:

– Сыночка, миленький, не пугайся. Дядя пошутил. Он хороший. Ты его не бойся.

«Дядя» что-то фыркнул и отвернулся.

После их ухода мама долго успокаивала меня, хотя (я видел и помню это) ее самую всю трясло.

Дальше – больше. Война продолжалась. В наше село приходили похоронки. Возвращались искалеченные солдаты. На их место отправляли еще безусых мальчишек. Их готовили к боям прямо в нашем селе, в военкомате. Мы, ребятня, с завистью смотрели на них, шагая рядом с колоннами новобранцев, строгаи себе деревянные сабли, ружья, пистолеты. Делали деревянные пулеметы. Играли в битвы, в которых неизменно побеждали наши, красные. Даже убегали на фронт, в том числе и я. Но об этом другой рассказ. Ребята делились друг с другом новостями с фронта, присланными их отцами, старшими братьями, дедами в треугольных письмах со штемпелем «Полевая почта». Мне рассказывать было нечего. Я спрашивал у матери:

– Мама, почему от папы нет письма с фронта?

Я был уверен, что мой отец на фронте, героически бьет фашистов, и ему просто некогда написать нам письмо. Но он скоро напишет, обязательно напишет! А пока моя фантазия рисовала картины боев, в которых папа одерживал победу за победой. Я делился с приятелями своими домыслами, и сам верил в них. Верил, пока один из приятелей, отец которого, инвалид, работал в милиции, невзначай бросил мне:

– Ну, что ты врешь? Твой отец в тюрьме, он враг народа.

У меня потемнело в глазах, зашумело в ушах, вся моя душа, казалось, ушла куда-то, и я, потрясенный услышанным, прибежал к матери:

– Мама, мама! Это правда, что папа враг народа? И он в тюрьме, а не на фронте? Мама, как же так?

– Нет, сынок. Твой папа действительно в тюрьме, а не на фронте. Но он не враг народа. Он очень хороший, честный человек. Его посадили в тюрьму по ошибке. Он освободится и пойдет

на фронт. И будет храбро воевать, вот увидишь. И не верь никому, кто будет говорить тебе, что он враг народа. Ладно? Не верь!

Но среди моих друзей на улице быстро распространилось мнение о том, что мой папа – враг народа. Пытаясь доказать обратное, я в уличных драках нашёл массу синяков и шишек, но переубедить дружков не сумел. Больше того, я сам потихоньку начал сомневаться в правоте моей мамы и своей собственной. Ну, ведь если отец не враг народа, то почему он не напишет из тюрьмы хоть маленькое письмо? Почему тогда его не посылают на фронт? Значит, он все-таки враг народа? Это правда? Для шестилетнего мальчишки подобные мысли были невыносимыми. Как же так: у всех друзей отцы или погибли на фронте, или храбро воюют с фашистами. А у меня? Значит, у них – отцы-герои, а мой – враг народа? Снова и снова я задавал маме и себе этот вопрос. И всегда мама говорила одно и то же:

– Нет, не враг народа твой папа, сынок. Он честный, храбрый, хороший!

Но чем чаще у нас происходили эти разговоры, тем все более слабела моя вера в честность отца, тем сильнее укреплялась моя уверенность в его враждебности народу, тем больше я стыдился его. Стыд переходил в ненависть. Я начал ненавидеть отца.

Так власть сумела воспитать ненависть сына к отцу. Нет, не напрямую, а изощренно: через знакомых, друзей, через всю созданную ими систему.

Во мне родилось чувство неполноценности, замкнутости. Я пытался бороться с ними, храбро вязывался в уличные драки – и был бит; бежал на фронт, чтобы воевать вместо отца – был пойман. Неосознанно я старался доказать свою преданность существующей власти. Вырезал из газет портреты Ленина и Сталина, наклеивал их на карточки и фанерки, украшал ими все уголки дома.

Кончилась война, люди праздновали Победу. Вместе с ними радовался и я. Но в глубине души я чувствовал вину перед победителями, вину за своего отца, который не был на фронте, а всю войну просидел в тюрьме, как враг народа. Я так был настроен против отца, что, приди он домой из тюрьмы,

я бросился бы на него с кулаками, я бы выгнал его из дома, или сам бы ушел из него. Но отец не появлялся. Я запрещал матери (да-да, запрещал!) выставлять его фотографии, говорить о нем, вспоминать его. Сталин – вот кто сделался моим кумиром. Я боготворил его, я верил ему больше всего на свете! Глупец! Тогда я еще и подумать не мог, что именно мой кумир являлся главным виновником всех моих несчастий.

Прозрение наступило нескоро. Когда Сталин умер, я плакал навзрыд, искренне и безутешно. Я обвел 5 марта в календаре черной рамкой. Я нарисовал черную рамку вокруг портрета того, кто, оказывается, был злым гением сотен тысяч семей, миллионов людей...

Шел последний год войны, когда я поступил в первый класс. Чтобы как-то доказать себе и другим, что я чего-то стою, я весь отдавался учебе. Даже четверки у меня были редкостью, я считал за большое несчастье получить хоть одну. Только отлично! Только пятерки! Только впереди всех! Это было делом престижа, стало самоцелью. И это стремление у меня сохранилось на все годы учебы: и в школе, и в техникуме, и в институте.

В октябрята меня приняли вместе со всеми. А вот в пионеры – с заминкой. Вспомнили мне моего отца. Но потом все-таки приняли. Как и в комсомол.

На последнем курсе техникума я вступал кандидатом в члены партии. И там, на общем партийном собрании, когда все уже были готовы проголосовать «за», встал наш завхоз, бывший фронтовик, так и ходивший в старой армейской шинели, и сказал, что сына врага народа принимать в партию нельзя и он решительно против моего приема. Поставили вопрос на голосование. И почти все проголосовали против, даже рекомендующие – и те воздержались. Это был самый большой удар. Я вступал в партию искренне, с желанием и верой в нее, не думал о выгодах и карьере – и вдруг отказ!

На следующий день я пошел в местное отделение КГБ и подал заявление с просьбой сообщить мне о судьбе моего отца. Шел 1956 год. На XX съезде партии был разоблачен культ личности Ста-

лина, было принято решение о пересмотре дел политзаключенных.

Через месяц меня пригласили «на угол», как называлось в народе здание КГБ.

Невзрачный человек в штатском, сидевший под портретом Дзержинского, внимательно рассмотрел меня упорным стеклянно-пронзительным взглядом и, достав из стола какую-то бумажку, спросил:

– Вы подавали запрос о судьбе отца?

– Да.

– Ваш отец умер 7 сентября 1943 года от перитонита. Больше я ничего сообщить о нем не могу. И настоятельно советую, слышите – настоятельно – больше никуда с подобными запросами не обращаться.

Я вышел из здания КГБ. Надо сказать, что я испытывал (сейчас очень стыдно в этом признаваться) большое облегчение, если не радость от полученного известия. Да, отец, которого все вокруг (кроме моей матери, разумеется) и я сам считали врагом народа, давным-давно умер и не мог влиять на мое воспитание!

Я поделился этой новостью с парторгом техникума, и на ближайшем же партийном собрании меня приняли в кандидаты партии.

Тогда я не обратил внимания на несурaziцу ответа из КГБ. Мать неоднократно в послевоенные годы пыталась выяснить судьбу отца. Ведь в 1948 году исполнилось 10 лет, как его арестовали. Он должен был бы уже возвратиться из заключения. Но его не было. На запросы матери в КГБ поступали ответы: «Жив, работает». Больше ничего не сообщали. А отец, оказывается, умер еще в 1943 году! Лишь много времени спустя я обратил внимание на эту безжалостную ложь. Ложь ради чего?

Через некоторое время после посещения мной отделения КГБ мать послала в Сибирь, по месту ареста отца письмо с просьбой выслать свидетельство о его смерти. Свидетельство выслали. Мы так и считали отца умершим 7 сентября 1943 года, как было написано в этом документе.

Так и поминали его, Осипова Михаила Максимовича.

А через два года по ходатайству матери было пересмотрено дело отца, и он был реабилитирован полностью посмертно за отсутствием в его действиях состава преступления. Отец был невиновен! Невиновен! А я считал его врагом народа...

Когда после распада Советского Союза КГБ был заменен другими службами, я обратился в одну из них с просьбой предоставить сведения о причинах ареста, приговоре и смерти моего отца, указать место его захоронения, чтобы я мог хотя бы в малой степени исполнить свой долг перед ним и поклониться его могиле.

Принимавший меня майор разъяснил, что приговор «десять лет без права переписки» означал немедленный расстрел, что мой отец, скорее всего, расстрелян еще в 1938 году. Этот же майор дал мне адрес, по которому мне надлежало обратиться. Через две-три недели я получил архивную справку, в которой уже с подробностями говорилось, что мой отец был арестован и осужден «тройкой» НКВД по 58-й статье за участие в контрреволюционной повстанческой шпионской организации (надо же было выдумать такое!), приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 28 марта того же 1938 года. И реабилитирован в 1958 году. Вот так!

А сколько же нам лгали! И кто? Те, кто боялся упустить власть из рук. И они же толковали о честности, о заботе, о простом народе, о том, что революцию нужно делать чистыми руками!

У меня наступило прозрение и отвращение к партии, в которую я так верил. Понял я свою бедную мать. Как должно быть, нестерпимо больно и тяжело было ей наблюдать за сыном (ребенком, подростком, юношей), который не ведал, что творил, который отвергал и ненавидел родного отца и боготворил убийцу-Сталина!

Мать всегда свято верила в то, что мой отец невиновен! А я?!

Через полмесяца после получения архивной справки пришло второе свидетельство о смерти отца, уже с истинной датой.

Так и оказался мой отец, Осипов Михаил Максимович, дважды умершим.



# Эдуард Алкнист

## БОЛЬШОЙ ТЕРРОР В МАЛОМ МАСШТАБЕ

### 1

С 1931 до 1939 года мы жили на Чистых Прудах, напротив театра «Современник», – тогда это был кинотеатр «Колизей». Местность украшал большой бульвар с красивым прудом, летом здесь плавали лодочки, а зимой светился огнями каток с веселой нарядной молодежью. На бульваре катали детей на пони и верблюдах, китайки продавали чудные игрушки: пищалки «уди-уди», шарики на резинке, пистолеты с пороховыми пробками и бумажные ажурные цветы. Еще были уличные фотографии, киоски со всякой ерундой и прочие приятные вещи. Очень хорошее было место.

Целый квартал новых домов назывался «общежитие начсостава Наркомата Оборонны», здесь жили только военные: от капитанов до комкоров. Ничего похожего на общагу, конечно, не было, жили в отдельных квартирах, по тем временам – роскошных: о военных советская власть всегда заботилась. Красные командиры тех времен были очень привлекательны: с одной стороны они еще не забыли о своем недавнем демократическом прошлом и были просты и общительны, с другой – полны чувства собственного достоинства, ибо верили в свою высокую миссию освобождения человечества от капиталистического ига. Они охотно разговаривали с ребятами, отвечали на бесчисленные «военные» вопросы мальчишек: как стреляет «наган», «максим», гаубица, какие шашки лучше; не уклонялись и от политических разговоров, при этом часто подчеркивали, что ребятам надо готовиться к боям. Дело в том, что в те времена все советское общество было ориентиро-

вано на близкую, неизбежную войну. Ребята лет с 6 (ведь дети военных!) были невероятно политизированы: события в Германии, войны в Испании и Абиссинии обсуждали с великим азартом, носили шапочки-эспаньолки и вопили: «Но пасаран!». В те годы Советский Союз еще не нападал на своих соседей, поэтому наш запредельный патриотизм не подвергался никаким испытаниям, кто прав, кто виноват – никаких сомнений не было. Взрослые тоже сходили с ума: на демонстрациях с воодушевлением пели сплошь военные песни: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед», «Каховка, Каховка, родная винтовка...», «Если завтра война...», «Нас не трогай...», «По военной дороге...», «Мы танки ведем...» и т. п. На воротах висели эмблемы Осоавиахима – это было общество содействия авиационному и химическому строительству (имелись ввиду бомбовозы и отравляющие вещества, а отнюдь не минеральные удобрения). Большевики сумели внедрить в массовое сознание твердое представление о том, что мир делится на «белых» (плохих, «бывших») и «красных» (хороших, за которыми будущее), что первые ненавидят вторых, и поэтому их придется уничтожить. Перспектива войны принималась, как очевидная и объективная неизбежность, поэтому вопрос о гуманности иприта не вставал. Здесь слились групповой нарциссизм и ксенофобия, эта мания держалась не только до войны, но и после.

Представление о внутренних врагах советского государства, строя и народа было также придумано политическими спекулянтами, чтобы оправдать жуткие репрессии ВЧК, ОГПУ, НКВД, обосновать и объяснить особо важную роль репрессивных органов, всю практику непрерывных внесудебных расправ. Все политические процессы с самого начала советской власти, вроде дела «Промпартии» и т. п., были ложными, никакой измены или вредительства не было и в помине, но народ, еще не знакомый с политическим враньем, убедили в коварстве контрреволюции, и он принимал за чистую монету все, что публиковалось в газетах. О массах невинных и несчастных людей на Соловках, Беломорканале и канале Москва–Волга распространялись самые лживые сведения. Чекисты утверждали, что враги и злопыхатели там

проходят перековку трудом и превращаются в добрых патриотов. Этот же миф использовали для борьбы с инакомыслием и немецкие фашисты, превратившие массы политически неблагонадежных в «болотных солдат», и китайские маоисты, согнавшие интеллигенцию в деревню во время «культурной революции».

## 2

Эти воспоминания начинаются с 1934 года, когда нас было пятеро: папа, мама, сестра Юлиана, домработница Поля и я. Папа – Ян Янович Алкнист, крепкий латыш, сдержанный и немногословный, командовал в Белоруссии стрелковой дивизией «имени Чехословацкого Пролетариата», (тогдашний комдив – это, как теперь генерал-лейттенант). Он был старым большевиком, с 1913 года, фанатически преданным коммунистической идее, в гражданскую войну командовал бригадой во 2-й Конной Армии. Вообще, латышские стрелки, которых всего-то не насчитывалось и 12 тысяч, переломили ход гражданской войны в пользу красных и в те времена играли заметную роль в командовании Красной Армией.

Мама, Полина Филипповна, была дочерью лесничего из Орловской губернии, она окончила школу в Болхове и жила у сестры, моей тетки Натальи, в Москве, там ее и нашел в 1918 году папа, который командовал маршевыми ротами. Мама была веселая и общительная, работала техническим секретарем в ЦДКА – это расшифровывалось, как «Центральный Дом Красной Армии» и было очень популярным местом. Юлиане было 14 лет, она училась в 6-м классе, Поля, Пелагея Васильевна Михалева – была умная и добрая орловская крестьянка, которых много тогда бежало в города, а я – дошкольник семи лет.

Как-то зимним вечером 1934 года пришла мама и сказала мне(!): «Ты знаешь, случилось большое несчастье, Кирова убили!». Все взрослые были тяжело удручены, я до сих пор не понимаю, почему они это приняли так близко к сердцу. Единственное объяснение – они инстинктивно почувствовали какую-то большую угрозу.

В 1935 году папа стал начальником кафедры в Академии Ген-

штаба в Москве. С утра до вечера он пропадал на службе, а ночами работал над учебниками, по которым военные учились еще по крайней мере 20 лет.

В том же году поползли слухи о многих арестах, о большой измене и предательстве, но все это было за пределами нашего круга и не вызывало большой тревоги. Гром грянул летом 1936 года, когда разразился первый открытый процесс по делу «террористического центра»: Зиновьева, Каменева и других. Эти люди были виднейшими деятелями подполья, революции и становления советской власти, поэтому народ был глубоко взволнован, а СМИ – переполнены лживыми доказательствами их измены. Мама вслух читала газету о вредительстве, как злодеи подсыпали молотое стекло в соль, чтобы травить рабочих и поглядывала на папу, но он молчал, до сих пор не понимаю, почему. Через полвека я прочел у средневекового ваятеля и ювелира Бенвенуто Челлини, как его хотели уморить. Для этого придворному ювелиру дали алмаз: растолченный он образует иглы, которые впиваются в стенки желудка и человек погибает без видимых признаков отравления. Ювелир пожадничал и алмаз прикарманил, а вместо него растолок топаз, который образует безвредный порошок. Бенвенуто это «раскусил» и возблагодарил Бога за спасение. Размолотое стекло еще менее опасно, вроде песка, но народ глотал эту ложь миллионами тонн и отравился до полного безумия. Конечно, всякие массовые акции: парады, демонстрации, встречи челюскинцев, папанинцев и прочие развлечения очень способствовали этому процессу и к 1937 году советские граждане превратились в зомби, хотя этого слова тогда никто не знал. Теперь, в старости, я понимаю, что оставались умные люди, которые помалкивали и держали фигу в кармане, но тогда казалось, что установилось полное, поголовное, абсолютное единодушие: все спятили, как один человек – кто со страху, а больше от восторга.

### 3

Осенью 1936 мама заболела и умерла. Ей было всего 36 лет. Настал 1937 год. Когда в январе состоялся второй политиче-

ский процесс «троцкистского центра» – над Пятаковым, Серебряковым и другими известными большевиками, уже никакого сомнения в их измене не возникло. Волна возмущения и ненависти захлестнула страну. Самые благодушные люди сбесились: милая детская поэтесса Агния Барто, поэт-романтик Эдуард Багрицкий и тысячи других, с пеной у рта требовали расстрелять «как бешеных собак» гнусных предателей, которые вознамерились восстановить проклятый царизм, снова отдать трудящихся во власть фабрикантам и помещикам. Не было такой гадости, которую не приписывали бы «подлым наймитам империалистов». Они же сами сознались, какие же могут быть сомнения? Об этих добровольных признаниях полвека и в Союзе и за границей ходило множество версий: говорили, что изменников совесть заела, они устыдились и сознались. Еще говорили, что их опоили и загипнотизировали, что сознавались и расстреляны актеры, а предатели искупают вину честным трудом, рассказывали и много других увлекательных историй. Самое простое предположение, что их замучили до того, что они уже только смерти хотели, с негодованием отвергалось: «Это же были узники царских тюрем, политкаторжане, они же любые пытки выдержали бы и не сломались, нет, значит, они были виноваты!» Простейшая мысль о том, что в советской стране, царстве справедливости, можно нечеловеческими пытками, о которых в царских тюрьмах и думать не могли, принудить к чему угодно сотни тысяч людей и сейчас кажется запредельной, а ведь так и было. Кстати, не все сознавались: Блюхер и Рудзутак умерли под пытками; мой папа тоже не подписал обвинительного заключения, крепкий был человек.

Весной пересажали виднейших руководителей Красной Армии, маршалов Тухачевского, Блюхера, Егорова и других. Летом их судили и расстреляли. Вот тут уже наступил настоящий массовый психоз. Поползла зловещая формула «пятая колонна», так один из испанских мятежников назвал силы в Мадриде, которые ожидают наступления четырех франкистских колонн, и так стали называть в Союзе мифические, выдуманные силы диверсантов и вредителей, якобы ожидающих сигнала к выступлению.

4

По соседству жил мой сверстник и приятель Нюмка Перцовский. Единственный сын строгих и добропорядочных родителей, он был умным, веселым и «отвязанным» парнем, нет-нет и выкидывал какой-нибудь фортель, отчего его мама Хинна Наумовна приходила в ужас. Она была образованным и интеллигентным человеком. Помню, мы спросили ее о Германии, почему от нее столько вреда, она же, судя по карте, маленькая; ее ответ был простым и глубоким: «Она маленькая, но очень злая!» и она в двух словах точно описала сущность немецкого фашизма. Были они, видимо, очень добрые люди: после смерти мамы взяли меня с Нюмкой на зимние каникулы с собой в военный дом отдыха, кому бы это надо? С Нюмкой мы очень дружили, все волнующие события серьезно обсуждали, и, по результатам анализа, выносили решение.

А события были ужасные. Военных – «изменников родины» или «врагов народа», как их стали называть – мы боготворили, они были любимейшими нашими героями. Правда, легенды о них были сильно приукрашены, неизвестно было, например, что Тухачевский расстреливал заложников и готовился травить ядовитыми газами тамбовских крестьян, но их личная доблесть и боевые успехи во многих книгах были описаны очень ярко. Например, была очень популярна книжка Серафимовича «Железный поток» о походе Таманской Армии – а ее командир Е. Ковтюх тоже был арестован. Кстати, жили они рядом с нами, сын комкора Путна Алик засматривался на Юлиану. Теперь вчерашние кумиры были преданы анафеме, портреты маршалов в учебнике истории велено было закрасить чернилами, книги о них были уничтожены или переписаны, так из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин» были вырваны фамилии Троцкого и Муралова, пришлось плюнуть на рифму. Книжка Багрицкого вышла с черными пятнами: например в строках «Вот идут они рядами, сбитые толково, / Латыши, за латышами кони Примакова» на фамилии Примакова, это командир «Червонного Каза-

чества», тоже «изменник», стояло типографское клише. В наших домах начались аресты, и мы утром считали потери: «Забрали Р. из 11 квартиры, Н. из 34, О. из 76...!» – «Как же так, О. участвовал в разгроме Деникина, а Н. – красный партизан?» Главный дворовый хулиган, который гордо носил почетную кличку Пахан, авторитетно комментировал: «О. из белых офицеров, замаскировавшийся, бля, а Н. продан за большие деньги, видели на каком велосипеде ихний Женька ездит?» Дети и жены арестованных оказались в полной изоляции, все их избегали; они и сами не задерживались во дворе, юрк – и домой. Да и не долго они глаза мозолили: жен скоро пересажали, а детей отправили в детские колонии. Мало кого забрали родные: всякое, даже такое проявление сочувствия стало опасным.

## 5

Шпиономания приняла патологические формы: людям стали мерещиться совершенно нелепые проявления вредительства, на заводах случайные поломки оборудования и инструмента стали считаться вредительством. На некоторых предприятиях ИТР сплошь пересажали – в ошибках и оговорках, даже опечатках, видели происки врагов. Особенно глупо было у детей: на картинках в разных книгах, журналах и плакатах стали находить какие-то вражеские символы, например обнаружилось, что в учебнике истории папаха революционного солдата изображала жабью морду. Таким способом скрытый враг-художник опозорил революцию, а прочие затаившиеся враги, глядя на это поношение, наполнялись надеждой на реставрацию капитализма, дескать, есть еще порох в пороховницах! На спичечных коробках стилизованное изображение пламени, если перевернуть картинку оказывалось профилем Троцкого, его портретов уже лет десять никто видеть не мог, но все узнавали!

Однажды я застал в просторном школьном коридоре большую толкучку: у каждого окна толпились возбужденные ребята всех возрастов, маленькие прыгали и визжали, старшие солидно переговаривались, все рассматривали на просвет пионерские галсту-

ки. «Где, где, не видать!» – «Ну, как не видать, смотри, смотри, точно!» – «И правда, ясно видно!!!» Оказывается, на галстуках были видны вытканые фашистские знаки, свастики. Иногда подходили учителя, им показывали каверзу и они молча(!), озадаченные удалялись в учительскую, укрепляя дикое самовнушение. Наконец, появился школьный вожатый, уважаемый комсомолец, который серьезно и внимательно просмотрел несколько галстуков, отобрал наиболее наглядные и унес с собой. Тут и самые упорные скептики рухнули, ну уж раз Николай увидел – все! Маразм крепчал.

Не забыть, что и писатели, «инженеры человеческих душ», вносили свой посильный вклад в общее умопомешательство: Макаренко, автор прославленной «Педагогической поэмы», написал глупую и бездарную книжку «Флаги на башнях» о вредительстве, прекрасный Гайдар, написал на ту же тему «Судьбу барабанщика», книга о Павлике Морозове, который разоблачил вредителя-отца было вообще бессчетно, меня такой премировали после первого класса. Кругом были песни про героя-обходчика, что не дал вредителям разрушить путь, кино, спектакли и еще, еще, еще! На карикатурах Б.Ефимова щерились Троцкие и Зиновьевы, радио гудело с утра до вечера! Такой «психической атаки» не выдержали даже ушлые, самодостаточные немцы, а уж у нас, у простодушных, доверчивых, но неуравновешенных, «заводных», русских тем более не было никакой защиты. «Крыша поехала».

Однако, мы с Нюмкой предприняли «мозговой штурм», как это назовут через полвека. Подготовились основательно: сэкономили денег и купили полдюжины «ромовых бутылочек» (шоколадные конфеты с ромом, тогдашний деликатес), как известно, на Руси в трудном деле без бутылки не разберешься! Набрали вещественных доказательств: книги, спички, картины и целую кучу галстуков, забрались под рояль (наше излюбленное место), и стали смотреть и думать. Мы быстро поняли, что на галстуках ничего не выткано, а при ткацком процессе, из-за разнотолщинности ниток, остается случайный ортогональный рисунок, это я излагаю своим нынешним языком – старика-инженера, а тогда мы, два мальчика, из которых и евреем-то был только один,

через какой-нибудь час просто пришли к твердому выводу, что все это вредительство – ерунда! Но, поскольку нам было всего по 10 лет, мы выпили ромовые бутылочки, притворились пьяными и заорали: «Брешут, брешут, брешут, брешут, / И про спички тоже брешут!» Мы исполнили этот нехитрый куплет раз пятьдесят и успокоились. Единственным свидетелем и слушателем была моя сестра (это был ее рояль), но я клянусь, что все это чистая правда, все: и галстуки, и бутылочки, и 10 лет, а народ не понимал по дурусти, но больше потому, что не хотел: «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман!» На вопрос, почему мы плохо живем, всегда следует один ответ: конечно, не от собственной дурусти, жадности, лени и бескультурия, мы же великая нация, народ-богоносец, а только от происков врагов и завистников! Американцы, чеченцы, сионисты, католики и прочая мировая закулиса – все пакостят. Завидуют русским: нашей богатой бескрайней земле, могучей силе, душевной широте – и пакостят, гады.

## 6

Самыми близкими друзьями папы были латыши, тоже видные военные. С ними он собирался чтобы выпить и поговорить. В нашем доме жил его сослуживец по Академии, Г.С. Иссерсон. Он возглавлял кафедру стратегии и известный военачальник Штенко, в своих воспоминаниях, вспоминает его с большим уважением. Дружеской близости с отцом у него не было, но я дружил с его дочкой Иренкой. Вдруг Иссерсона снимают с работы. Это был страшный признак – обычно снимали с работы за несколько дней перед арестом, в таких случаях все знакомые немедленно разбежались и прятались. Все, но не папа. В первый же день он пошел к Георгию Самойловичу в гости и ходил после этого постоянно. Сильный был человек, почему-то сыну ничего не передалось. Так же неожиданно Иссерсона восстановили – редчайший случай! После этого он очень с папой подружился, даже дачу снял вместе с нами, в деревне Мякинино.

У нас дома был чудный альбом «Детские и юношеские годы Ильича», я по нему читать научился. Большой, красочный, слева текст, справа – картинка. Многие в память врезались на всю жизнь: одна страшная была разделена пополам, слева снаряды рвутся и убитые лежат, справа – толстые банкиры деньги считают. А одна картинка совсем неинтересная была, на ней был изображен Ленин, сидящий около шалаша с каким-то, наверное, важным, писанием и еще кто-то с котелком около костра. Этот «кто-то» был Зиновьев, так было в тексте. Я на эту картинку и не смотрел. И вот, однажды Иренка попросила у меня этот альбом и понесла его в школу – от излишней активности. Там увидел вожатый, перепугался, отнес директору, тот – в НКВД(!) и папу вызвали к Начальнику Академии. Ну, разобрались, вроде бы поверили, что это не антисоветская агитация и решили замять дело, но сестра моя была страшно испугана – и неспроста. Сейчас-то ясно видно, что переполох в школе, НКВД и Академии Генштаба из-за совершенно ничтожного пустяка был симптомом тяжелой неизлечимой болезни общества, никакой кардиограммы не надо, чтобы понять, что это государство и политический строй нежизнеспособны. Медведь, который реагирует на комариный писк, обречен: его мозг переполнен случайными шумами, и он не заметит охотника, если раньше сам не издохнет с перепугу.

## 7

Между тем, время шло, и аресты стали массовыми. Наши дома образовывали почти квадратное каре, примерно по 6 подъездов с каждой стороны. Утром было видно, как у какого-нибудь подъезда стоит машина, иногда – две: там идет обыск. Для Юлианы настало страшное время, каждую ночь она слушала шаги на лестнице, пока, измученная, не засыпала. А я спал, как сурок, защищенный детской верой в папину невинность и непониманием того, что понятие вины исчезло. Сажали не виновных, а «кого надо».

Однажды приехал папин сослуживец из Белоруссии, полковник. Я услышал их разговор. Папа спрашивал: «А как там пол-

ковник М.?) – «Арестован, оказался врагом народа!» – «А майор Н.?) – «Оказался врагом народа!» – «А подполковник О.?) – «Враг народа». Ну и так далее. Странно было то, что папа ничего не спрашивал о проявлениях, обстоятельствах, доказательствах, а гость ничего не добавлял, их лица были серьезны, а голоса спокойны, вроде как они говорили об очевидном.

## 8

Дошла очередь до Перцовских: их арестовали обоих. Нюмку увез в Гомель его дядя, но родители этого не знали. Человек, которого сажали, терял все связи с миром и переживания за судьбу и жизнь близких, особенно, детей, были не последним страданием несчастных жертв.

Месяца через четыре Нюмка соскучился и прислал мне письмо, где описывал гомельскую жизнь, критиковал провинциальные обычаи и жуткий акцент. Я что-то ответил, о его родителях я ничего не спрашивал, и он ничего не сообщал. Неужели мы догадывались о перлюстрации? Ей-богу, не знаю. Должно быть, инстинкт подсказывал осторожность.

Через месяц или два был я у одноклассника, поблизости, и вдруг его мама позвала меня: «Тебя спрашивают». Я вышел в коридор. Страшная, старая, изможденная женщина, в которой никто не узнал бы Перцовской, спросила меня голосом, спокойная интонация которого не могла скрыть сверхчеловеческого напряжения: «Эдик, где Нюма?» Я мгновенно все понял и, кинувшись к ней, запричитал: «Он жив-здоров! Все в порядке, Хинна Наумовна, успокойтесь, он у дяди Семы, недавно письмо прислал, оно дома, я вам покажу, у него все хорошо!» Ее отпустило... Она успела восстановить свое положение, квартиру и вернула Нюмку, который приехал из Гомеля с уморительным местечковым поющим акцентом, сейчас такого уже не услышишь. Вскоре она умерла. Я никогда не расспрашивал, что с ней сделали, хотя и не знал еще афоризма: «Меньше знаешь – крепче спишь», просто догадывался, что об этом она никогда не расскажет, а сейчас я и так

все знаю. Ее били и пытали, чтобы получить признания в своей и чужих винах, она, как одна из каждой тысячи, не призналась, и так умно защищалась, что сочли за лучшее выпустить до суда. Во время пыток ей отбили все внутренние органы, то есть «нанесли повреждения, несовместимые с жизнью», как пишут в актах ДТП. Если бы она не выдержала и подписала обвинительное заключение, ее бы немедленно расстреляли, как всех, а родне сообщили бы приговор – 10 лет лагерей без права переписки. Лет через десять сообщили бы, что умерла от сердечной недостаточности, и только через полвека родные узнали бы правду.

## 9

Время шло, сажали весь 1937 год. Затем репрессии за недостатком материала пошли на убыль. В марте 1938 был последний большой процесс «право-троцкистского блока», расстреляли еще кучу врагов народа во главе с «любимцем партии» Бухариным, и вроде бы стало утихать.

17 сентября 1938 года пришли за папой. Он оделся и вышел в коридор. Мы обнялись, он не плакал, но лицо было необычно красного цвета. Я его утешал, что разберутся и выпустят, он молчал, не сказал ни слова.

Когда все ушли, мы с Полей поплакали. Она сказала: «Давай загадаем, вот на этот цветок, если он расцветет – папа вернется». Цветок завял. А был это «Огонек» или «Ванька мокрый», его извести можно, кажется, только серной кислотой или динамитом, но вот – завял. Я в жизни знал четыре редчайших совпадения, и это одно из них.

Всех знакомых как ветром сдуло, за одним исключением: Иссерсон навещал нас и настойчиво приглашал в гости, и я у них часто бывал. А на дворе и в школе было вполне терпимое отношение, не думаю, что нас с сестрой особенно любили, но папа был одним из последних, и, видимо, люди уже начали кое-что понимать. Годом раньше детей заставляли публично отрекаться от родителей-изменников родины, а Юлиана скорее умерла

бы, чем отеклась от папы, однако время прошло, и уже не приставали. Широко ходила поговорка: «Лес рубят – щепки летят». Значит, когда вырубают измену, захватывают и невинных людей, тогда можно и пожалеть несчастных, может они и есть те щепки. Но были и более радикальные мнения. Был у меня приятель Витя Дмитриевский – хороший, веселый парень, тоже сын военного. Разговаривали мы, как-то, наедине, Витька и говорит: «А мой отец считает, что все, кого забрали – не виноваты!». Видно, очень болела светлая душа его отца, что сказал такое смертельно опасное слово.

## 10

Мне светила прямая дорога в детскую колонию, куда отправляли всех детей изменников родины. Там для них были созданы особо тяжелые условия, правда и великая дружба там была. Меня спасла тетя Ната, она оформила на меня официальную опеку, что допускалось специальным постановлением НКВД. Она была замужем за военным врачом Н.И. Турчаниновым и проявлением заботы о вражеском отпрыске навлекала грозную опасность на себя, а особенно, на своего доброго и благородного супруга. Сама она была очень, прямо болезненно боязлива, но веления совести оказались для нее сильнее риска. Миллионная благотворительность миллиардеров – жалкие гроши, ничто, по сравнению с великодушием моей тетки, которая вернулась на работу, чтобы материально поддерживать осиротевших детей покойной сестры. Увы, я не отплатил ей вниманием и заботой за ее великое добро.

## 11

Пока тянулось следствие, мы ничего не знали. Носили передачи и стояли в очередях у стен Бутырской тюрьмы. Об этих очередях написано у Ахматовой в «Реквиеме», лучше не скажешь. Однажды, когда одна страдальца тихо обронила: «Я стою за той дамой», меня, идиота, как кипятком ошпарило! «Дамой! Белогвардейщина, вот куда я попал!».

Папа не признал себя виновным и не подписал обвинительно-

го заключения. Чего это ему стоило, Юлиана увидела, когда пришла на свидание перед отправкой в лагерь: у него были выбиты зубы и он хромал. Тетя Ната слыхала, что он на суде каялся только в том, что не разглядел изменников вокруг. Ему дали 15 лет с правом переписки и послали в лагерь. Нам передали записку на куске оберточной бумаги, очень жаль, что она пропала. Там были такие слова: «Попал, как червь под колесо истории», «меня оклеветали и так бессовестно, что я до сих пор не могу опомниться», но главное в письме – боль за детей. Сначала он попал в Красноярский край, но, примерно, через год был переведен в Коми АССР, в поселок Вожаель, где и пребывал до самой своей мученической кончины.

Нас выселили в комнатку в подмосковной Лосинке. Сейчас это унылый московский район, а тогда был тихий дачный поселок. Десяток двухэтажных домов образовывал городок при местной артиллерийской базе. Половина жителей были выселенные члены семей репрессированных, в том числе мои ближайшие друзья, Лида Гречаник, тоже с Чистых Прудов, и Володя Анцев. В Лосинке была большая еврейская колония, а евреи вообще сердобольны и сострадательны к чужим несчастьям, так что обстановка была сочувственная. Добрая и самоотверженная Поля осталась с нами на все тяжкие годы вместо матери.

Прощание с московским классом было весьма трогательным: мне подарили на память стаканчик для карандашей и два больших портрета – Ленина и Сталина. Эти святыни висели на почетных местах до самой войны, когда немцы подходили к Москве, осторожная Поля их выкинула.

Месяца через 2–3 к нам пришли две женщины и сказали, что они латышки, жены «изменников родины», и что поэтому нам, объединенным общей бедой, нужно дружить и друг другу помогать. Когда гости ушли, я сказал сестре, что наш-то папа невиновен, поэтому у нас с ними ничего общего быть не может. Так что я сетую на дурость народную, а сам-то был полный дурак!

Георгий Самойлович Иссерсон приезжал к нам на мой день рождения, подарил мне набор инструментов, из которого сохранился

только молоток. Я иногда ездил к ним в гости. И как-то незадолго до войны, когда я пришел к ним, в доме шел обыск. Георгия Самойловича арестовали, дали 10 лет и отправили в лагерь, где его, рафинированного интеллигента, ждала скорая и неминуемая гибель. К счастью, по соседству работала геологоразведочная партия, там был нужен геодезист и его взяли на эту должность. Так он выжил.

До войны мы, как могли, поддерживали папу, посылали кое-какую еду, витамины и табак. В войну стало совсем плохо: прекратили прием посылок. Я не знаю, зачем это было сделано, но власти нашей страны всегда делают все, что можно, во вред людям. Вопреки своей великой сдержанности, отец иногда просил что-нибудь прислать. Мы давали посылки соседу, шоферу-дальнобойщику, он возил их по России, иногда откуда-нибудь удавалось отправить и нам самим. Время шло, папа умирал в лагере от голода и пеллагры, а мы не могли ему помочь. Тщетно просил он послать его, военного командира, на фронт, это никому было не нужно, и 22 декабря 1943 года он умер в заключении.

## 12

Сохранились его письма. В них серьезные советы и указания детям, о судьбе которых он беспокоился больше всего: как жить, как учиться, как вести себя, сообщения о здоровье и обстановке, некоторые хозяйственные мелочи. Но есть мысли, которые позволяют понять его мировоззрение. Вот некоторые из них.

*26.6.1939.* «В тюрьме я сильно состарился. Сейчас здоров, но хромаю... Обо мне не беспокойтесь: моя старость обеспечена работой и хлебом. Никакой вины перед советским народом и вами я не чувствую. Меня оклеветали, а доказать это, не имея связи с живыми людьми, очень трудно. Написал и послал длинное письмо К.Е. Ворошилову, который знает мою работу. Ему, при наличии времени, легко установить, что меня оклеветали». (Это Ворошилову-то, который их всех и предал!)

*26.8.1939.* «Работаю довольно много. Работа требует некоторого напряжения, но вы ведь знаете, что я никогда не искал легкой работы. Пока силы позволяют, стараюсь свою норму не только

выполнять, но и перевыполнять... Буду и в дальнейшем стараться работать честно, чтобы вам не приходилось краснеть за своего отца». Дочери-студентке: «...мне кажется, что ты, работая над собой, можешь стать крупным научным работником – писателем. На это у тебя много данных, и основное заключается в том, что ты много пережила. А тяжелые переживания обогащают человека, делают его более восприимчивым. То, что дубина ничего не видевшая, не пережившая, не замечает, то видит человек, много перетерпевший... Но, что бы ты ни изучала, прежде всего надо знать основы марксизма-ленинизма... Ты прочти главу из новой истории ВКП(б), написанную Сталиным, в которой речь идет о диалектическом материализме, затем Энгельса – происхождение семьи, частной собственности и государства, его же «Антидюринг»...»

*1.01.1940. Сыну ко дню рождения:* «Желаю тебе расти большим, быть здоровым, успешно учиться и быть честным сыном советского народа. Это значит, честно служить народу, когда ты вырастешь большим, это значит, бороться за построение нового коммунистического общества не только у нас, но и во всем мире. Только в новом коммунистическом обществе все будут счастливы... Легче строить новую жизнь, когда все люди хорошо грамотны, когда в стране много инженеров, писателей, ученых...Поэтому, если ты будешь хорошо учиться сам, и будешь помогать отстающим ученикам, ты этим самым будешь помогать строить новое общество...»

«Наш край неопишимо красив. Я часто наблюдаю восход солнца и закат. Когда мне раньше приходилось смотреть на картину, изображающую восход и закат солнца, мне всегда приходило в голову, что художник перестарался, что такой красоты в природе нет. А сейчас я должен сказать, что нет такого художника, который мог бы передать на полотне все красоты сибирской природы. Здесь небо красивее крымского или кавказского, здесь и горы красивее крымских или кавказских гор... Тебе, сынок, надо побывать в этих краях, только не в качестве заключенного... Будь здоров, мой милый. Не мечтай! Жизнь не мечта, а кусочек истории, которая ни слез, ни мечты не признает».

*12.06.1940. Сыну:* «Я никогда не сомневался, что ты будешь

трудолюбивым и честным человеком. Надо трудиться! Лень – причина всяких человеческих пороков. Лень толкает человека на воровство и другие преступления. Она губит человека».

*1.04.1941. Дочери:* «Живу весело и радостно. Встаю рано. Часов 15-16 дышу здоровым воздухом соснового леса. (Единственный раз намекнул, как работает) Болеть не болею, но чувствую себя, как мои старые валенки: чем больше их чинят, тем больше они расползаются. Врачами признан пригодным только к легкому физическому труду. Работаю в лесу, на лесоповале» «Посмотреть на Латвию было бы хорошо. Там много красивых мест. Надеюсь, что мы с тобою и Эдиком посмотрим мою родину и «Крутые берега», где мы юношами пели революционные песни и мечтали (именно мечтали, потому что первый день после пролетарской революции представляли себе очень плохо) о социализме. Там же я делал первые доклады о женщине и социализме по Бебелю, войне и революции и т. д.»

*22.05.1942.* «Рыдать, рыдать хочется. Именно рыдать, а не плакать. Плачут тихо, без истерики. А у меня накопилось столько горечи, что без истерики не выплачу. Душа болит, когда вспоминаю вас, страдающих вместе со мной ни за что». «...он совсем забыл, ушел от меня. Бедный мальчик, сколько он пережил в свои 15 лет! И ты тоже, Лялечка. Другая за 100 лет столько горя не видела, сколько ты за последние 5–6 лет...Снова написал председателю Верховного Суда отменить приговор по моему делу, но пока ответа нет. Я прекрасно понимаю, что вопрос обо мне и мне подобных старых членах партии большевиков будет решаться особо. Но напоминать о себе не лишнее. «Дитя не плачет – мать не разумеет» (Мать! Страшнее этой людоедки-мачехи на свете не было) «Я рад, что Эдик будет работать в колхозе. Во-первых, это необходимо для государства, это нужно всему народу. Во-вторых, он привыкнет с малых лет к труду и трудностям жизни, а в-третьих он может окрепнуть физически... Я ведь в 15 лет работал в поле, наравне со взрослыми. Правда, я ел, как у нас говорят, от вольного, поэтому каждое лето от работы становился крепче и бодрее».

**30.05.1942.** *Полине:* «Ляля пишет, что ее могут взять в армию, с кем же останется Эдюша? Страшно обидно, что не меня берут в армию, а мою дочь. Я был бы рад положить голову за нее и еще за двух девушек».

**16.7.1942.** *Сыну:* «У тебя и у меня много тяжелого и трудного позади, а самое трудное еще впереди. Когда я об этом трудном, тяжелом будущем подумаю, меня жуть берет... Вечерами читаю все, что попадет в руки: случайный номер журнала «Огонек», «Большевик». Книг очень мало... Настроение гадкое. Противно смотреть на себя, на других. Постепенно, медленно теряю человеческий облик. Как хочется пережить это тяжелое время. Нужна помощь, но ждать ее неоткуда. Вы мужайтесь, будьте бодры».

**7.11.1942.** «Поздравляю вас с двадцатипятилетием. (Октябрьской Революции!) Желая вам быть честными и сознательными защитниками интересов трудящихся и всего трудового народа. Не будьте низкими делягами, которые знают только свое машиностроение или журналистику. Изучайте внимательно и старательно классиков марксизма: Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Изучите сейчас же лозунги ЦК ВКП(б) к 25-летию и сравните с лозунгами, скажем, к 5-летию, 10-летию, 15-й, 20-й годовщинам. Все эти исторические документы надо знать наизусть. Они нужны нам повседневно, они нужны для истории».

**6.11.1942.** «Блеснул луч надежды, блеснул и исчез. Меня смотрели врачи, признали здоровым. Я надеялся, что отправят в действующую армию. Но прошло уже 6 дней, мне уже кажется, что все пропало, что надежд уехать на фронт уже нет. Буду надеяться» (Это конец 42-го года, когда война достигла предельного ожесточения, Сталинградская битва).

**8.12.1942.** «Месяц назад передо мной пролетел луч надежды, пролетел и исчез во мраке неизвестности... Мне кажется, что надеяться не на что, остается одно бессмысленное существование в тягость вам и самому себе. Приходится жить только потому, что всему живому свойственно подчиняться поговорке «как жить ни тошно, а помирать еще тошней». Видите, я опять испортил вам настроение... Будем жить, будем надеяться...»

2.05.1943. «Живу по-прежнему. Работаю старательно. Беда только в том, что в последнее время потерял здоровье и не могу работать, как работал раньше... Надежду уйти в армию я окончательно потерял. Это дело тянется около полугода, видимо на меня окончательно махнули рукой. Жаль, но ничего поделать не могу. Насильно, как говорят, мил не будешь».

25.05.1943. *Сыну:* «Милый, хороший, будь и впредь старательным и добросовестным защитником интересов советского народа... Я на прежнем месте, жив и работаю старательно, чтобы хоть чем-нибудь помочь советскому народу в его борьбе с фашизмом. Сегодня отдыхаю и читаю биографию Ленина».

29.07.1943. «Письма не доходят. Почему, отчего? Ничего не понимаю. Вот и получается, что против моей воли, против воли вашей вы удаляетесь все дальше и дальше. Мы становимся чужими, а я без вас – заживо погребенным. Точнее – мое духовное я (хотя оно и не отделимо от материального) уже умерло, а физическое еще продолжает жить, есть, портить воздух, ощущать какие-то физические боли. Как было бы хорошо, если бы и мое физическое перестало существовать. «Понемножечку шажком, серым вереском, песком...» А хочется вас повидать, взглянуть хоть одним глазком, а потом уже «серым вереском, песком». Временами хочется и большего – жить полной жизнью, быть полноценным гражданином советского общества. Но это мечты, мечты неосуществимые. И вот эти мечты о неосуществимом меня и мучают, мучают днем и ночью, мучают до обалдения, так, что я иногда не замечаю окружающих. Кое-кто на моем месте чувствовал бы себя хорошо: работа у меня в настоящее время легкая (он уже болен пеллагрой), а кушаю я не плохо, лучше вас, в этом я не сомневаюсь. Иногда даже удается почитать. Вот недавно читал литературно-критические статьи М.Горького... Гоняюсь за публицистическими статьями Добролюбова... Дней пять писал вам письмо и все еще не написал. Морально выдохся. Нужен какой-то сильный толчок, чтобы я пришел в себя, вновь стал бы человеком».

14.9.1943. « Я болен. Болею давно. Болезнь моя заключается в том, что на почве отсутствия в организме некоторых необхо-

димых веществ кишки перестали переваривать пищу. Отсюда, так называемый, авитаминозный понос. Нужны овощи и другой климат. Здесь эта болезнь неизлечима... Поэтому поправившихся отпускают, но не всех, а по выбору. Почему? Об этом писать не могу, да и долго писать. Чувствую себя спокойно. Совесть моя перед вами и перед народом чиста. И вы не унывайте, не печальтесь. Сделать мы ничего не можем. А одной смерти не миновать. Рад, что доблестная наша армия гонит врага. Кончится война, и жить народу станет легче. Газет и книг не получил, очевидно, и не получу... Вам желаю вернуться с лесозаготовок здоровыми и бодрыми... Всем желаю здоровья, счастья, Победы над врагом...» Приписка: «Как только закрою глаза, Поля меня угощает то картошкой с творогом, то капустой со свининой. Одним словом, каждую ночь ем что-нибудь острое у вас в гостях. А Эдик по-прежнему любит поджаренную картошку и макароны с сыром?»

Это последнее письмо. Через три месяца папа умер, ему было 48 лет. В 1956 году он был посмертно реабилитирован «в связи с отсутствием состава преступления».

### 13

Святая душа. Величайшая верность целям и принципам, верность всепоглощающая, слепая, иррациональная, типично религиозная: «Верую, ибо абсурдно». Доброта и детское, ангельское простодушие. Видимо, эта когорта вся была такая. Да что же их ввергло в эту геенну огненную? Ответ один – соблазн.

Я знакомился с христианским вероучением, читал Библию и как-то обратил внимание на несвойственную Евангелию жесткость в одном месте: «Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через которого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море...» (Лк, 17:1), причем эти слова повторяются и у Матфея и у Марка, это значит, они восприняты, как очень важные. «И если рука твоя, нога или глаз соблазняют тебя – вырви и брось...» Вспомнил еще, что в главной молитве – «Отче наш»,

заповеданной Христом в Нагорной проповеди, христиане ежедневно умоляют Господа «не вводить в искушение». Кажется, велика ли беда? Ну соблазнится человек, согрешит, и что? Стыд – не дым, глаза не выест. Но, значит, великие древние Учителя думали иначе, если видели в соблазнах главную опасность для человечества.

Мера, степень опасности определяется двумя показателями: тяжестью последствий опасного воздействия и силой ощущений опасности, воспринимаемой органами чувств. Чем больше первое и меньше второе – тем страшнее. Гамма-излучение менее разрушительно, чем огонь, но не ощущается, поэтому – неизвестно, что хуже. Соблазн, как и радиация, не ощущается, и человек не чувствует ни боли, ни страха. И воображение не помогает, ибо «желание – отец мысли», чего человеку не хочется думать – того он и не думает. Пока соблазняет чужая жена, это опасно только для ее мужа, но когда соблазны охватывают общество – возникает грозная опасность для всего человечества, вот что открылось творцам мировых религий, вот от чего они пытались спасти человека, вот ради чего они старались запугать и очаровать его. Пока «религия – опиум народа» наполняла человека смирением, он не был опасен.

Оказалось, что социализм – сплошной беспредельный соблазн. Пропал страх Божий, охранявший нравственность и стало все можно, все разрешено. Мучить в тюрьмах и убивать, грабить, обижать и обманывать – можно, принуждать массы народа к глупым и вредным занятиям – можно, застроить города военными заводами и производить безумное количество ужасного оружия – можно, разорять и отравлять землю, растрачивать ее недра и плодородие – тоже можно. Все можно! Но, мало того, выяснилось, что можно не работать «в поте лица», как было заповедано Ветхим Заветом, а только делать вид, что работаешь, ибо оплата труда не зависела от его результатов. Это был «сверхсоблазн», против которого не мог устоять никто, вот люди и разучились производительно работать, иначе и быть не могло. Оказалось, что можно безнаказанно тащить с работы все, что ни попадя, ибо общественное – ничье и все перли, кто во что горазд. Весь

народ превратился в воров, которых, для благозвучия, стали называть «несуны». Казалось бы, заповеди и молитвы – слабая защита от соблазнов, но угроза морального осуждения со стороны верующих была сильным сдерживающим фактором, пример – российская деревня, ныне погрязшая в воровстве и пьянстве.

Несчастные красные командиры, герои моего детства, одним из которых был папа, пали не первыми жертвами рокового соблазна. Всей душой поверив, что им выпало счастье построить на земле Царство Небесное, они были беззащитны против зависти и злобы и сгинули вместе со своими жертвами – теми, против кого они боролись и миллионами других, причастных и непричастных к этой борьбе.

Все совершалось по слову Христову: «Ибо многие придут и многих прельстят. И тогда соблазняются многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И, по причине беззакония, во многих охладает любовь». (Мф. 24:10)

Но кто же были те соблазнитель, кому «лучше бы жернов на шею»? Кто придумал дьявольский соблазн? Не злодеи-человеконенавистники и не бесчестные властолюбцы, а тихие мыслители-гуманисты: фантазеры и мечтатели. Они «хотели, как лучше», но были носителями бредовой идеи, что можно, не совершенствуя человека, создать совершенный порядок, царство добра и справедливости, где сильные и слабые, злые и добрые, алчные и щедрые – все будут жить в довольстве и согласии, стоит только обобществить средства производства и ввести государственное «научное» планирование всех видов человеческой деятельности. Этот призрак долго бродил по Европе без вреда для людей, пока Маркс не гальванизировал его классовой моделью общества и закланием «диктатура пролетариата», а потом он забрел к русским экстремистам, тут-то все и завертелось. Российская тоталитарная империя с некультурным и беспокойным, но доверчивым народом идеально подошла для реализации химеры. И вот результат: полное разорение страны. Экономика разрушена. И промышленность, и науку и сельское хозяйство, и армию надо создавать заново, здравоохранение и образование – пере-

дельвать. Но самое страшное – изуродованная ментальность, потеря нравственности и ответственности за свои поступки.

## 14

Особую роль в ужасной истории России XX века сыграл Ленин. Он не был главным носителем соблазна, но именно ему удалось наполнить бесплотную социалистическую утопию кровавым содержанием. Его пришествие предугадал и предсказал гений Льва Толстого: «Благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических, которые вызывают сомнения и колебания, он очень скоро занял в революционном мире удовлетворявшее его самолюбие положение руководителя партии. Раз избрав направление, он уже никогда не сомневался и не колебался и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно. И при узости и односторонности его взгляда все действительно было просто и ясно, и нужно было только, как он говорил, быть логичным. Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей или подчинять себе. А так как деятельность его происходила среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубокомыслие и мудрость, то большинство подчинялось ему, и он имел большой успех в революционных кругах. Деятельность его состояла в подготовке к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор. На соборе же должна быть предложена составленная им программа. И он был вполне уверен, что программа эта исчерпывала все вопросы, и нельзя было не исполнить ее» («Воскресение», ч. 3, XV).

Ленин точно соответствовал толстовскому описанию – типичный образованный маргинал, доктринер и фанатик, не лишенный здравого смысла, отсюда – НЭП. А его сторонники и соратники-большевики в массе своей, за редкими исключениями, были попроще, из народа, они болели душой за угнетенных, но были малообразованны, поэтому не могли правильно оценить утопии Маркса в исторической ретроспективе. Они и были той полити-

ческой силой, которая, уверовав в марксизм, поверила Ленину и стала принуждением и насилием устанавливать новый порядок. После смерти Ленина, они выдвинули Сталина, как самого решительного и бескомпромиссного и наделили его всей полнотой власти. Если Ленин был недалеким, то Сталин был просто «дураком и психопатом» (диагноз Бехтерева). Уточним термин: здесь «дурак» не брань, а квалификация, то есть, человек, неспособный к адекватной самооценке и корректному расчету последствий своих слов и поступков. Чтобы убедиться в этом достаточно заглянуть в любую его печатную работу, например, «Марксизм и вопросы языкознания», и все сомнения в том, что автор – дурак, возмнивший себя гением пропадут. Вот в чем наша Великая Военная Тайна: в течение ровно 30 лет, огромным неустроенным и беспокойным государством правил буйно помешанный, которого мы сами неустанно славим, как «Великого Вождя и Мудрого Учителя». Все его планы, действия и начинания несли стране и населению вред и несчастья. Разорение сельского хозяйства, убыточная индустриализация и опустошительная война явились прямым результатом его безумной деятельности. Его рабочим инструментом и стал Большой Террор. Истоки и развитие его изучены и описаны, лучше всего, в книге Р.Конквеста «Большой Террор», цикле статей Г.Х. Попова («МК», 2003) и прекрасной статье И. Ефимова («Звезда», 1999, №5). ВЧК-НКВД-КГБ – эту жуткую организацию создало партийное руководство для самозащиты и борьбы с политическими противниками. По закону бюрократического равновесия, для послушания и управляемости к грязной работе были привлечены самые примитивные и убогие люди, такими легче руководить, они не склонны к интригам, другие были бы опасны, да и не согласились бы. Таким образом, Большой Террор развернули и осуществляли густопсовые дураки, которые никак не могли ни понимать, ни защищать интересы государства и общества. Репрессированный чекист М.Шрейдер в книге «НКВД изнутри» (М., «Возвращение», 1995) показал сущий дурдом с кретинами-исполнителями, которые, отождествляя свое черное дело с интересами государства,

«хотели, как лучше», а получился ад кромешный. 1937 год стал роковой вехой, потому что Сталин официально разрешив попытки подследственных (неофициально пытали и раньше), раскрутил дьявольский порочный круг: чем больше признаний выколачивали изверги-следователи, тем более пугала и Сталина, и их самих, иллюзорная опасность заговоров и вредительства, поэтому палачи еще больше изощрялись в истязаниях – и так далее, и так далее. В технике такое явление называется «положительная обратная связь» – объект управления при этом «идет вразнос» до полного разрушения.

Страну захлестнул вал доносов и фальсификаций. Больше всего пострадали люди непокорные, независимые, принципиальные, с чувством собственного достоинства, но это признаки профессионализма, поэтому и Туполев, и Королев не избежали лагерей. Большой Террор был отрицательной селекцией: погибли лучшие, выжили худшие. Между прочим, все бывшие латышские стрелки, спасители революции, были перебиты поголовно вместе со своим командиром, И.Вацietисом, первым Главнокомандующим Республики, именно потому, что хотели служить, но не могли выслуживаться. Борьба стала фантазмагорией: истребляли не врагов, не иноплеменников, не иноверцев и даже не инакомыслящих, нет, истребляли глупые – умных, злые – добрых и бессовестные – честных. Такого на земле не было никогда.

## 15

Большой Террор оставил мрачный отпечаток на советском, а теперь – российском обществе. Словно бы по дьявольскому плану, всех порядочных и энергичных людей собрали под знаменами ВКП(б), чтобы потом разом всех и уничтожить. Эта напасть в России не первая. Веком раньше Николай I выкорчевал декабристов: «Количественно число повешенных и сосланных, сравнительно с общим множеством дворян, было ничтожным, однако изъятие этого меньшинства лишило общество нравственной точки зрения на себя. Общественная безнравственность сделалась знаменем эпохи». (Ю.М. Лотман. «А.С. Пушкин»). Точно так же советское

общество вместе с уничтоженными им самим гражданами утратило тот каркас, который удерживал его от деградации. Теперь все повисло только на страхе, а в XX веке страх не мог обеспечить развитие промышленности, экономики и тем более культуры. Конечно, Сталин был только корнем зла, а самым злом было отсутствие гражданского общества, безнравственность и политическое безразличие народа. Опять процитирую Ю.М. Лотмана: «От пронизательных современников не укрылось, что потерявшее стыд общество столь же активно формировало своего императора, сколь он лепил общество по своему образу и подобию».

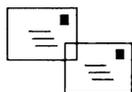
## 16

В детстве мне казалось, что пересажали только военных. Потом выяснилось, что пересажали и перебили великое множество советских граждан всех сословий, возрастов, национальностей и профессий. Большой Террор изменил всю новую историю России. Все социальные процессы, экономика и события, приняли иррациональный характер, особенно – Великая Отечественная Война. Цвет населения остался на полях сражений и в застенках НКВД, страна понесла величайшие потери, а народу выпали невысказанные страдания. Гибли лучшие, и от поражения генофонда Россия не оправится и за несколько веков. Осмысление и понимание же так и не пришло, поэтому история не закрыта. Пока самая безумная старуха не выкинет с омерзением в помойку портрет Сталина – трагедия России продолжается.

Тяжкая вина лежит на русской интеллигенции, она сама поддерживала соблазнитель и уступала изуверам. Во искупление своих смертных грехов многим ее поколениям предстоит создавать гражданское общество, возрождать христианские ценности и просвещать ослепленный народ, который до сих пор не может понять, что с ним произошло.



# ПО ОБЕ СТОРОНЫ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ



## **СЕРГЕЙ ШЕЙБУХОВ**

Сергей Владимирович Шейбухов (1900—1968) окончил МГУ и работал экономистом. В 1937 году осужден на 5 лет лагерей. После отбытия срока в Воркуте отправлен на поселение в Красноярский край. Реабилитирован в 1955 году.

## **Письмо сыну из лагеря**

6 июля 1937 г.  
Станция Уса

Милый мой, дорогой мальчик Димочка!

Когда это письмо принесёт тебе почтальон, тебе будет уже пять лет. Ты стал уже совсем большой. И поэтому папа пишет тебе такое же письмо, как и маме.

Живу я сейчас, Димочка, далеко, на берегу реки, похожей на нашу реку Москву. Хотя сильно греет солнышко, цветут цветы и распустились на всех деревьях листочки, за рекой ещё не успел растаять снег. Лежит такой же белый, какой бывает у нас зимой.

Деревья здесь растут – совсем маленькие, такие, что у каждого до верху ты мог бы достать рукой. Деревья эти – берёзки. Растут здесь и ягодные кусты. Ягоды вырастут на них – в конце лета.

Называется это место, где я живу – тундра. День здесь – очень длинный, солнце совсем не заходит, а ночью опускается только ниже и не греет. Отсюда видны высокие горы. Называются они – Уральские горы. Вершинами они достают до облаков, и на них ещё лежит снег.

Зоопарка здесь нет. Только олени. Трамваев и автомобилей – тоже нет, но есть не очень большие паровозики, которые возят на платформах уголь. Есть ещё радио. Слышно, как какая-то тётя говорит: «Алло, алло, говорит Москва!»

Я здесь, Дима, работаю. Насыпаю лопаткой в вагонетку – это такая железная тележка – уголь и вожу его к реке. И высыпаю уголь в баржи – большие лодки, а в баржах уголь везут потом по реке, и передают его в пароходы и паровозы для топки. Такой же уголь лежит у нас в Москве, у котельной. Когда вагонетка с углём катится вниз по реке, папа встаёт на неё сзади, и тоже немного катается. Вечером здесь очень много комаров. Чтобы они не могли кусаться, я ношу на лице чёрную сеточку, похожую на те, что носят некоторые модные тётки.

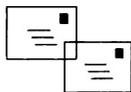
Ну вот, я и рассказал тебе, как я живу. А когда научишься писать, напишешь и ты мне сам.

Милый мой Димочка! Ты уже теперь вырос большой, и как большой, слушайся лучше маму, и помогай ей работать, не обижай Эллочку, береги и жалея её.

Если ты будешь хороший, я напишу тебе ещё письмо, а когда приеду, привезу тебе что-нибудь интересное.

Ну, а теперь до свидания. Поцелуй за меня крепко маму и Эллочку.

Папа



# ЛЕОНИД ТИТОВ

## ПИСЬМА РАЗЛУКИ

Мои родители – Сергей Николаевич Титов (1905–1938) и Анна Дмитриевна Розанова (1907–1988) попали под каток сталинских репрессий в 1938 году. Хотя они, спортсмены-лыжники и преподаватели физкультуры были весьма далеки от политики, «железный нарком» Ежов, выполняя указания вождя и «лучшего друга советских физкультурников», добрался и до них.

В сентябре – декабре 1937 года в Москве были арестованы и расстреляны многие спортивные функционеры, члены Всесоюзного и Московского комитетов по физкультуре и спорту, преподаватели и студенты Института физкультуры.

С.Н. Титов, заведующий кафедрой лыжного спорта, был арестован в ночь на 9 января 1938 года на основании ложных показаний, выбитых под пытками из членов «террористической группы» мастеров спорта Москвы. Эти «враги народа» якобы планировали стрелять по членам Полит-бюро, которые стояли на Мавзолее

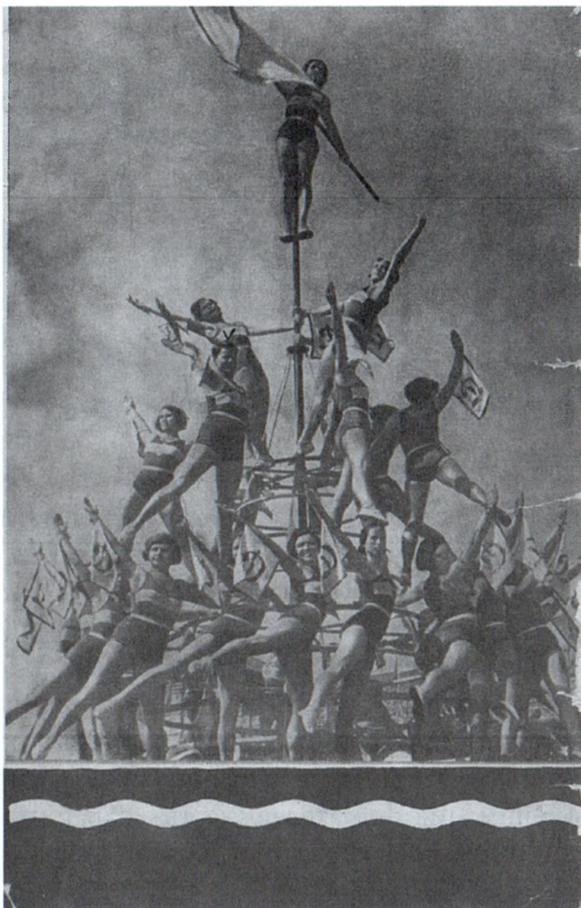


Сергей Николаевич Титов

во время парада физкультурников 1 Мая 1937 года. К январю 1938 г. пять «террористов» этой «антисоветской группы» уже были расстреляны.

Отец был расстрелян 9 мая 1938 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

Моя мать, известная московская лыжница, динамовка Анна Розанова, чемпионка юбилейной лыжной Спартакиады СССР (февраль 1938 года), была арестована 1 июня 1938 года и осуждена на 5 лет лагерей, которые отбывала в Находке и на Колыме.



Парад физкультурников на демонстрации 1 мая 1937 г. Во втором ряду снизу вторая слева - Анна Дмитриевна Розанова



В это время мне было пять лет, и мне грозил детприемник НКВД, куда отправляли детей «врагов народа», но сестра матери, Мария Розанова, несмотря на давление «органов», взяла меня под опеку и спасла.

Шесть лет без отца и матери я жил то у дедушки с бабушкой, то у теток. Голодал и холодал во время войны... Все приключения своего детства и историю репрессий членов семьи Розановых я описал в книге «Записки магаданского мальчишка» (М., «Зебра-Е», 2005).

Предлагаю вниманию читателей часть сохранившейся чудом переписки 1939–1944 г.г. матери с родителями, сестрами и со мной.

*Леонид Сергеевич Титов*

## Участники переписки и люди, упомянутые в ней:

*Аня* – Анна Дмитриевна Розанова, заключенная, ЧСИР – член семьи изменника родины.

*Лёня, Лёничка* – ее сын, Лёня Титов (Розанов).

*Дедушка, Папа, Папочка* – Дмитрий Васильевич Розанов (1875–1956), учитель, член ВКП(б) с 1919 г., персональный пенсионер республиканского значения, отец Анны.

*Бабушка, Мама, Мамочка* – Александра Федоровна Розанова (1876–1964) – учительница, член ВКП(б) с 1917 года, персональный пенсионер республиканского значения, мать Анны.

*Тетя Маня, Маня, Маничка* – Мария Дмитриевна Розанова, кандидат медицинских наук, сестра Анны.

*Арсик, Арся* – Арсен, *Тома, Томочка* – Тамара – дети Марии.

*Тётя Паня, Паночка, Паня* – Прасковья Дмитриевна Пшеная-Северина, учительница естествознания в деревне Кочелаево Мордовской АССР, сестра Анны.

*Витя* – Виталий Семёнович Пшеная-Северин, учитель в деревне Кочелаево, муж Прасковьи.

*Галя, Ира, Семен* – дети Прасковьи.

*Ваня, Ваничка* – Иван Дмитриевич Розанов, брат Анны, технический директор и главный инженер треста «Северолес»; расстрелян по приговору Архангельского Военного трибунала в сентябре 1939 г.

*Тётя Вера, Вера, Верочка* – Вера Дмитриевна Розанова – кандидат медицинских наук, сестра Анны.

*Дядя Шура* – Александр Ильич Любимов, муж Веры, военный химик, умер 2 сентября 1941 г. от воздействия отравляющих веществ при обучении красноармейцев.

*Леночка, Леник (Елена) и Маечка, Маичка, Мая* – дочери Веры Дмитриевны.

*Мария Ивановна* – приёмная мать А.И. Любимова.

ЗНЮНЯ.  
МАМА ТЫ У МЕНЯ  
~~МАМА ТЫ У МЕНЯ~~ ЧИ  
ТО ОУДИТ ТВОИ ПИСМА  
ЧИТОЮСОМ. МАМА ТЫ  
~~У МЕНЯ Ш ПРАШЬ В ВЕЩ~~  
Ш ПОНЯТНЫ. МНЕ С  
О ВАИ БУ В ВЕЩ. ПОНЯТН  
БЛ МА МАТ БЛ У МЕНЯ Ш  
П. РАШ В ВЕЩ Ш ЧИШТ  
Л ОЯ З В ВЕЩ ЧИШТ  
МА МАТ БЛ У МЕНЯ Ш

ПРАШИ ВАШ КАКИЕ ЦВЕ  
ТО М МОИ ТРИ КИ  
КОТОР Б КИ КИ ЛАМ  
НО Т Е Т Я М А Н Я Ч Е Р К Ы  
С И С И Н И Е . МА МА Т Ы  
У М Е Н Я Ш П РА Ш И В А Е  
Ш КА К Ю О У С И Ш П РО  
И Т О К С К О С К И З Л О  
С Е Н К А Ц Э Л А Ч О Т Е Б Я  
1000 РАЗ Л Е Н Я Б .

1938 год

*Лёня Розанов – матери, Анне Розановой. Конец 1938 г. Москва*

*Письмо под рисунком Лёни – длинный дом, похожий на колымский барак, с семью окнами и одной дверью.*

**МОЯМАМА АТ ЛЁНЯ**

*В письмо был вложен замасленный лист бумаги, на котором карандашом обведены контуры ладошек и ножек пятилетнего Лёни.*

1939 год

*Лёня Розанов – матери. 30 сентября 1939 г. Москва*

**ДОРОГА я мамочка!!!!!!!! Я шебеШлю п р и веЕт.**

*Далее пишет А.Ф. Розанова: «И заплакал. Видимо на него нахлынуло много воспоминаний, но, когда и я заплакала, он сейчас же стал меня рассмеивать. Он меня так рассмешил: «Упрямая Фома»... Вот видишь, как мы с ним живём: не можем жить – ни я без него, ни он без меня. Я думаю только об одном: чтобы он был здоров, чтобы сдать тебе его на руки здоровым. А пока мы все здоровы... А когда ты приедешь, настанет совсем настоящая жизнь.»*

*Анна Розанова – родителям и сыну. 17 ноября 1939 г. Находка*

**Здравствуйте, дорогие мои родные и мой сынок Лёничка!**

*Вчера вечером получила от вас посылку, большое спасибо за сало и масло – очень необходимые вещи в моем «домашнем» хозяйстве. Очень приятно было брать конфетки, уложенные Лёничкиной ручкой... Сало и масло я давно не кушала... Ты мне писала, что с Лёничкой ходили на почту – сдавать посылку – я живо представила, как вы идете рядышком... и разговариваете. И в ту же ночь увидела сыночка во сне очень большим. Получили ли вы мое письмо от 13/XI – там я написала Лёне сказку. Понравилась ли она ему и писать ли продолжение? Как у вас у всех здоровье? Мамочка, ты, наверное, страшно устаешь к вечеру? Мамочка! Сейчас такое положение, что я могу*

переменить своё местожительство (вернее, меня могут). Так что, если будет некоторая задержка с письмами, не волнуйся.

Крепко вас всех целую. Спасибо за посылку. И за Лёничку. Ваша Аня.

1940 год

*Александра Федоровна — дочери Анне. 23 апреля 1940 г. Москва*

Милая моя Аничка!

Очень давно я тебе не писала, и уже много времени прошло с тех пор, как от тебя не получала. Напиши в точности, как тебе писать, по какому адресу. Почему № п/ящика к тебе на конверте был указан не 89?

Через 7 дней 1-е Мая. Поздр. тебя с 1 Мая. Желаю тебе здоровья. Это главное. Лёничка здоров. Аппетит увеличивается. Как захочет есть, так берёт хлеб с маслом, намазывает как следует и ест. Ячменей на глазах у него в этом году не было. Занят он по уши. Даже писем не успевает тебе писать. Сегодня всё же написал, хотя и поплакал, т. к. не знал, как писать некоторые слова. С неделю назад он с Шурой и Маичкой был в зоологическом саду. Впечатления огромные, рассказов не оберёшься. Через несколько дней мы с папой и с ним поехали в Измайлово. Пробыли там 6 часов. В конце прогулки он сел на пенёк с книгой, а мы с папой ходили по полянке и потихоньку любовались им, как он увлекается чтением. Папа сказал: «Вот бы Аничка посмотрела, как Лёня сидит на лужайке среди леса и читает». Он много читает. И читает хорошо. Сейчас он приводит в порядок библиотеку с Томочкой. Маня придет, и мы с ним поедem домой. Завтра он пойдет к Маичке. Жизнь его очень разнообразна. Вчера они с Маичкой и Марией Ивановной были в кино «Волга-Волга». Перед 1-м Мая у меня много собраний. Когда я провожу общественную работу, его отвожу к Маичке. Дядя Шура его всегда приглашает к себе. Дядя Шура его уже пригласил к себе на дачу. 2-го мая, как будто, мы их отвезем на дачу. Готовлю ему теплое одеяло и постель туда. Я, наверное, поеду несколько позднее, т. к. все-таки Тому

и Арсю нельзя одних оставлять. Приятно, что Лёню приглашают. Значит, он не в тягость, а даже полезен. Наверно, ты не совсем здорова, что от тебя нет писем. Мы все сравнительно здоровы. И все работаем. Тебя целую много раз. Мама.

*Лёня Розанов – матери, Анне Розановой. Конец декабря 1940г.  
Москва*

### МАМА Я ЛЕЧУ К ТЕБЕ

*Написано на обертке «Детского шоколада», где нарисован мальчик в летном комбинезоне и шлеме рядом с самолетом.*

1941 год

*Мария Розанова – сестре Анне. 6 февраля 1941 г. Москва*

Бухта Находка. Приморский край. Буденовский район. Почт. ящик 89. Розановой Анне Дмитриевне.

Адрес отправителя: Москва. Спартаковская площ. 9/1, кв.3.

Милая Аничка! Несколько минут тому назад я, Томочка и Лёничка с шумом и смехом ввалились в квартиру. Целый час Лёня и Тома катались с высокой и очень длинной горки. Это был сплошной восторг. Они оба старались, съехав под горку, свалиться в снег, при этом хохотали на весь парк. Мы все здоровы, работаем. Арсен мой призван в ремесленное училище, учится на слесаря. Стал выше меня ростом, много мне и бабушке помогает. Я очень рада, что он получает настоящее и трудовое воспитание. Уже сейчас ты его не узнаешь. Мои заботы о нем уменьшились на 50%, я знаю, что он будет полезным гражданином и активным строителем коммунизма. Все ребята очень дружны. Лёня смотрит на Арсена, как на идеал. Арсен Лёне покровительствует и заботится о его удовольствиях. Посылку тебе послала Галя...

*Лёня Розанов – матери. 15 марта 1941 г. Москва*

МаМа спасибо за поздравление. 14 Марта я получил твою

телеграмму-молнию. Мама ты говоришь, что я осенью пойду в школу. Я тебе отвечаю, что я в школу пойду. Мама ты пишишь чтобы я учился хорошо. Я буду учиться хорошо и отлично. Мама ты пишишь что я научусь читать. Я уже научился читать. Мама я уже прочитал дом которой построил джек. Щенок. Рассказы о пограничниках. скаски. про умных зверюшек. Мурзилка. птичий двор. другую Мурзилку. Васька бобка и крольчиха. удивительные звери. юний натуралист. забавное воскресенье. стихи и рассказы. Звери большие и маленькие...ошская песенка. (Анна так долго носила письмо в кармане, что оно совершенно стерлось по сгибам – Л. Т.) Три медведя. Девочка чумазая. мойдодыр. русский народные скаски. Рассказы в картинках. И много других. ЛЁНЯ.



Лёня Титов с матерью, Анной Дмитриевной Розановой

*Александра Федоровна – дочери Анне. 17 марта 1941 г. Москва*

Моя милая Аничка! Вчера Лёничка получил твоё поздравительное письмо. Он прижал его к своей груди и бросился ко мне на шею. Я посоветовала ему сохранить это письмо на всю жизнь, т. к. в сущности, это письмо есть программа на всю жизнь. Письмо твоё читал он сам громко, потом с бабушкой, потом ещё со мной. Потом он заложил себе за рубашечку. Телеграмму много раз перечитывал и нам, а когда шел к Маичке, брал с собой и всем читал. Когда получил, очень рассмеялся, произносил: «Лёньку...». Дедушка сегодня распорядился, чтобы его день рождения справляли сначала у нас 19-го для наших домашних жителей, т. к. к нему все относятся очень бережно и ласково, и всегда его угощают – то конфеткой, то оладьями, то пирожками... И высказывают, что он замечательный мальчик...

Пишу утром. Папа ушел на работу, а Лёничка только что проснулся... Встал и убирает своих «мам». «Мои мамы» – так он называет твои две карточки, которые ты прислала... Мы с Лёней очень много говорим о тебе. Уже готовимся к его дню рождения. Он уже давно считает, сколько дней осталось до 19-го марта. Лёня говорит: «Должно быть, мама опять пришлет телеграмму». Лёня готовится к школе. Тома уже купила ему 5 тетрадей с косыми линейками.... Итак, видишь, у нас все благополучно. Я Лёничке сказала: «Напиши маме приглашение, чтобы она приехала на твой день рождения». Он рассмеялся и сказал: «А разве она может приехать, а, может быть, она отпросится?».

Итак, за делами, не заметим, как время пройдет и ты приедешь. Наше счастье в том, что мы всегда заняты в работе. Мама.

*Лёня Розанов – матери. 24 марта 1941 г. Москва*

Мама вчера на гаврикове переулке у бабушке мы справляли Мой день рождения на нем были Люся Ляля Тома. люсин папа. Тетя Маня, бабушка. дедушка. Тетя Лиза (Елизавета Васильевна, соседка, сестра Д.В. Розанова – Л.Т.). Тома подарила котенка на картинке и сомалет. Тетя Лиза каропку с шикаладными канфетами. Тетя Маня торт. бабушка шокаладку. дедушка яблоко и но-

жачик. а Маичка и арсик. арсик уехал а маичка зобалело свинкой....

целую тебя 100 раз. лентя.

22 июня 1941 года началась война, и переписка Анны Розановой с родными прекратилась. Во всех ИТЛ был ужесточен режим, всякая переписка заключенных была запрещена.

В связи с опасностью нападения Японии на Дальний Восток СССР и захвата заключенных, почти все они были переброшены на Чукотку, Камчатку и Колыму. В конце лета 1941 года Анна Розанова вместе с другими женщинами-заключенными была этапирована из Находки, где она отбывала «срок» с 1938 года, на Колыму.

До весны 1943 года о ней ничего не было известно.

Семья Розановых эвакуировалась в Мордовию. Там, в деревне Кочелаево (10 км от узловой ж-д. станции Ковылкино), учительствовали сестра Анны, Прасковья Дмитриевна и ее муж Виталий. С ними жили и дети Ирина и Семен. В июле 1941 года с детдомовским эшелонем уехали в Мордовию Александра Федоровна с Тамарой и Лёней и Мария Ивановна с Майей. После паники в Москве 16 октября эвакуировались и остальные члены семьи Розановых – Дмитрий Васильевич, Мария Дмитриевна с Арсеном и Вера Дмитриевна с Леной. Им буквально пришлось идти из Москвы по шпалам до Ковылкино, 500 км, так как на никакой поезд сесть было невозможно. Ночевали они где придется, иногда какой-то участок пути им удавалось проехать на товарняке.

Голодной зимой 1941–1942 гг. семья жила в деревне. Д.В. Розанов работал в местной школе, врачи Мария и Вера – в госпиталях, дети учились. В 1942 году Розановы переехали в Ковылкино, потом – на хутор Белинского, где размещался госпиталь Марии. Вера Дмитриевна с семьей вернулась в Москву в 1943 году после того, как её старшая дочь Елена закончила 10-й класс. Д.В. Розанов, Александра Федоровна, Мария, Арсен, Тамара и Лёня вернулись в Москву в феврале 1944 года.

1943 год

*А.Ф. Розанова – Анне Розановой. (Написано рукой Д.В. Розанова). 19 марта 1943 г. Ковылкино Мордовской АССР.*

Дорогая Аничка! Давно мы не получали от тебя известий – сообщи хотя бы по телеграфу. Сегодня мы скромно, но отмечаем день рождения твоего Лёни. Ему теперь 10 лет. Он вполне здоров.

Мы тоже здоровы, хотя живем не без трудов.

Будь здорова и уверена в полной победе над подлыми врагами фашистами. Твоя мама.

*Анна Розанова – родным и сыну. 19 июня 1943 г. Магадан*

Дорогие мои Мамочка, Папочка и мой единственный сыночек Лёничка! Крепко Вас всех целую, обнимаю, очень о вас скучаю, и очень хочется вас видеть. Как вы там живете? Как здоровье? В начале июня послала вам 2 телеграммы, но ответа пока всё нет. Послала письмо с новым адресом. Мне теперь пишете: Магадан, Школьная улица, д.8, кв. 16, Авдеевой Клавдии Александровне (для Ани).

С 1-го июня я работаю в Спортбазе профсоюзов, получаю 700 рублей, с комнатой устроилась. О выезде буду хлопотать, пока выехать нельзя.

Напишите, как вы там живете? Как бегают мой Лёньчик? Пошлю вам свою фотокарточку, снималась перед 1-ым июня. (Правда, немного сердитая вышла, но это я спросонья снялась). Чувствую я себя хорошо. Здорова. Всё было бы хорошо, если бы скорее увидела вас. Как поживает Маничка, Паночка, Верочка и их детки? Как здоровье Шуры? Как Мария Ивановна? И главное, как здоровье мамочки и папочки?.. Все мои мысли с вами. Как окончил этот учебный год Лёничка? Где Галя и прочие? Напишите хоть по одному слову обо всех. Есть ли одежда у Лёнички? Чем хворал в этом году? Крепкий он мальчик или не очень? Крепко всех вас целую. Больше всех моего Лёничку. Я пришлю вам денег, если можно, снимите Лёничку и пришлите карточку.

Всех, всех обнимаю. Ваша мама – Аня. Пишите.

*А. Ф. Розанова — дочери. 14–15 августа 1943 г. Ковылкино*

Аничка! Какое счастье – я получила от тебя письма от 8-го июня и от 19-го. Как будто жизнь возвращается. Я вижу, как ты пишешь. Я вижу твою фотографию. Тебя скоро можно будет обнять.

Вчера оборвалось мое письмо неотложными делами. Так накопилось много тебе писать, что всего не напишешь. Прежде всего: Лёничка здоров. Заказали ему новый костюм для твоей встречи. Теперь мы живем мыслями, как мы тебя встретим. Очень тебя ждём. Я тебе перестала писать после того, как я тебе очень много писала и от тебя ничего не получала. Как-то создалась мысль, что через пространство я тебя вижу и ты приедешь...

Не знаю, с чего начинать тебе писать. О Шуре спрашиваешь. Шура умер 2-го сентября два года назад. Эта грустная мысль опять и опять нас почти никогда не покидает. Очень тяжело мы перенесли его смерть. Верочка уехала в Москву и перевезла всех своих. Лена уже окончила десятилетку и работает вместе с мамой. Маничка очень много работает здесь и кормит нас. У меня тоже очень много работы так, что не успеваю всё сделать. Хорошо, что все мы на ногах и на работе. И у меня есть уверенность, что я тебя увижу и что увижу Ваничку, хотя от Ванички нет никаких известий.

В газетах была статья, в которой хвалили вашу дальневосточную работу, поэтому я надеюсь и Ваничку увидеть. Галя на фронте. Пишет, что у неё все в порядке. Мария Ивановна уехала в Москву. Паночка по-прежнему в Кочелаеве. Лёничка, по-видимому, стал ответ тебе писать и каждую минуту он чем-нибудь занят. Мы живем как на даче. Кушаем новый картофель и солёные огурцы. Мама.

*Елена Любимова — Анне Розановой. Октябрь 1943 г. Москва*

Миленькая наша Аничка! Хотя ты нам всем и тётя, но хочется называть просто Аничкой, какой ты осталась в наших воспоминаниях с детства...

Милая Аничка! Как давно мы тебя не видали! Как много переменялось с тех пор! Мне уже 19 лет, и я учусь на 1 курсе физфака в Университете. Маечке 9½ лет, она в 3-ем классе учится. Живем

мы теперь одни, нет у нас папки. Горюем без него с 1941 года.

Аничка, в эвакуации вся наша большая семья жила вместе. Я хочу написать немного об Лёнике.

Он стал теперь не капризный избалованный мальчик, что отчасти замечалось у него раньше. Теперь у него этого почти не заметишь. Особенно он изменился в эти последние годы, во время эвакуации. Дедушка с бабушкой приучили его к трудолюбию. Он уже помощник бабушки в хозяйстве. Учится он хорошо. Немного, правда, почерк у него страдает. Но соображает он хорошо. Главная его черта – он очень любит читать. Он, несмотря на свои небольшие годы, перечитал массу книг.

Благодаря бабушке и дедушке он не подпал под влияние окружающей среды деревенских ребят. Он всё больше находится со своими.

С Лёничкой мы всегда все дружили. Про Московское время и говорить нечего. Он часто приходил к нам и жил у нас некоторое время. Они дружили с Майкой. В Мордовии Лёник до самого последнего времени дружил с Томой. Она была спутницей в его играх и защитницей, когда его обижали. Но сейчас Томка немного повзрослей стала. И их отношения не стали столь тёплыми. Он переписывается сейчас с Маечкой. Мы очень зовем его пожить у нас, как они все вернутся в Москву...

Милая Аничка! Мы любим твоего Лёнчика, и ему неплохо живется сейчас даже в условиях тяжелого времени. Но скоро, может быть, восстановятся хорошие времена. Тогда будет хорошо, радостно. Ты должна обязательно приехать в Москву пожить среди своих. Мы очень соскучились о тебе.

Пока целую крепко. Племянница Лена.

*Анна Розанова – сыну. 12 ноября 1943 г. Магадан*

Мой дорогой мальчик Лёничка! Крепко тебя целую и хочу, чтобы ты мне чаще писал письма о том, как ты учишься, какие у тебя отметки, а особенно по письму. Какие читаешь книги и какая тебе больше всего понравилась.

Милый мальчик! Пройдет эта зима, наступит тепло, растает лед в море – тогда я обязательно к тебе приеду, хорошо? Так что

не скучай – последняя зима пройдет, и мы будем вместе с тобой жить, а в школе, где будешь учиться, я буду учительницей по физкультуре. Целую тебя 1000 раз. Поцелуй бабушку и дедушку. Мама.

*Лёня Титов – матери. 22 декабря 1943 г. Ковылкино  
22/XII-43 г. – 1 ч. 20 м.*

Дорогая мама!!!!

Я тебе давно не писал. За первую четверть я принёс такие отметки: русский письменный – хор., устный – отл., арифметика – отл., география – хор., естествознание – отл., история – отл., поведение – отл. – Я ударник. У нас есть 1 петух, 15 кур, 1 селезень, 4 утки, 1 поросенок. Бабушка варит для них 4 чугуна картошки в день.

Мы живем хорошо, все здоровы. У нас уродилось: 130 мер картофеля, много свеклы, моркови, 20 тыкв, огурцов, капусты, помидор, мы грядки копали сами, сажали сами, собирали сами и едим сами.

Весной может встретимся. Твой сын Лёня. Целую 1.000.000, много много – много, много много – много – много, много раз!!!

1944 год

Лёня (теперь уже Титов) 4-й класс закончил в Москве. Жил у тётки Веры на Большой Почтовой, но после уроков часто забегал к бабушке и дедушке на Спартаковскую площадь...

*Вера Розанова – сестре Анне. 7 апреля 1944 г. Москва*

Моя сестрёнка, родная, милая Аничка!

Мы вчера получили твое трогательное письмо, из каждого слова которого смотрит вся твоя исстрадавшаяся по Лёнику и по нам душа, родная, милая детка! Мне так стало жалко тебя, как Лёника, как малого ребенка, которого вот уже 5 лет как лишили возможности быть в семье. Как хочется в эти строки вложить всю любовь к тебе, всё моё страстное сочувствие. Не видеть своего ребенка 5 лет, стремиться к нему, и когда всё это близко – встреча – напряжение ожидания и тоски, я представляю, как может нео-

быкновенно возрастать... Я тебя все 5 лет чувствовала, я вместе с тобой переживала и горе, и холод, и голод, все твои душевные мученья. Теперь же всё наиболее тяжелое позади. Ты правильно пишешь. Надо утвердить себя в жизни, надо закалять свой характер, находи утеху в серьёзных книгах. Это ведь совсем особый мир. Когда мы были помоложе, иной раз для отдыха читали всякую лёгкую белиберду, щекочущую нервы, после которой остаётся в голове туман. Читай классиков литературы – только им можно отдать драгоценное время остальной жизни. Прочти Ромэн Роллана «Кола Брюньон». Это – наша любимая с Шурой книга была. Как много там жизнеутверждающей философии...

Занимаясь (с нашими детьми – *Л.Т.*) английским, я наблюдаю, как Лёник хорошо соображает и старается. По приезде их из Кочелаева я была обрадована, что на Лёне новый костюм из чёрного вельвета, в котором он выглядит очень прилично. С пальтушкой у него несколько хуже, но после того, как я наложила несколько подходящих заплат, – оно стало прилично. Маня обещала что-нибудь ему подыскать. Я покажу им (Мане и маме) твоё письмо, и, может быть, они ещё что-нибудь подыщут.

Мы справляли его день рождения. Бабушки спекли пироги, Лёнику – специальный сладкий – только в его распоряжение. Он (нрзб) угостил только Маечку. Вначале было немного грустно. Мама принесла твой портрет большой, и бедняжка разрыдался – он вообще плачет редко, но тут прорвалось. Мы даже пожалели, что принесли его. Но потом процедура подарков отвлекла мальчишечку. Подарили ему денег, конфет, печенья, сливочного масла, книгу и т. п. Я их с Маечкой стараюсь водить в кино, но беда – по воскресеньям слишком много народу. 2 раза мы зря проездили. Залечила им зубы. 200 рублей твоих мне мама передала. Они пошли в общий мой хозяйственный котёл – приходится выкручиваться с питанием. У меня семья сейчас 6 человек. Я получаю приличный кандидатский паек, и когда получаю печенье или конфеты – делю всем поровну, и Лёник всегда очень экономно тратит их. Всё время у нас есть сироп сладкий или сахарин, так что особого голода к сладкому ребята не ис-

пытывают, хотя всё же маловато. Маня достала Лёне рыбий жир. Пока он спит на сундуке. Закрывается двумя твоими байковыми одеяльцами и тонким ватным. Сегодня достала для него кровать, и скоро устроим ему уголок. Очень часто он бегаёт к бабушке Розановой, получает там гостинцы и подкорм чем-нибудь вкусненьким. Да и мама через день ездит к нам готовить на газе. Вот, кажется, все основное, что хотела написать. Целую тебя, родная. Вера.

11 июня 1944 года Леонид, 11-летний мальчик, с провожатыми уехал к матери в Магадан. Пароход «Джурма» прибыл в порт Нагаево 26 июля 1944 года. После шести лет разлуки Анна Розанова снова увидела своего сына.

*Вера Розанова – сестре Анне. 10 июня 1944 г. Москва*

Милая Аничка! Родная наша сестрёнка! С большим волнением отправляем мы Лёню в далёкий путь, в который никто из нас, из взрослых, ни разу в жизни не ездил. В самом начале нам казалось это совершенно невозможным, и мы этот вопрос решали отрицательно. Но потом, когда познакомились с Марией Васильевной и другими женщинами, которые объединены общими чувствами – увидеться и жить после долгой разлуки со своими родными, нам показалось это более реальным. И действительно, кто этот путь уже раз проделал (Мария Вас.), тому он уже не кажется столь трудным. Мы слишком понимаем невозможность откладывать больше вашу встречу с Лёником. Он повезёт тебе живой привет от всех нас. Собирали его, по возможности обеспечив самым необходимым. А в остальном полагаемся на его горячее желание прибыть и прижаться к тебе, на его умишко (он умный мальчишка, немного, очень немного нервный, но очень хороший) и материнское отношение его спутниц. Нас тронуло то, что Мар. Вас. Дмитриева сама вызвалась его проводить. Мама с папой и все мы искренне горюем о разлуке с Лёничкой, но ему надо ехать к мамочке! Как подумаю я, как вы встретитесь, так слёзы на глазах навёртываются. Как будем

мы тревожиться весь этот месяц его пути. Но хочется надеяться, что будет всё благополучно.

Когда ты будешь читать это письмо, все эти мои чувства будут далеки. Все зальёт необыкновенная радость вашей встречи. Лёник очень разумный мальчик. Он тебе будет и помощником хорошим. Учится он хорошо и быстро всё схватывает. Немного только горячится. Но, может быть, с тобою он будет спокойнее. Наши занятия английским языком дошли до той ступени, когда они начали с Маечкой немного читать хорошо. Если бы в школе у них был английский язык, ему эти занятия пригодились бы, а может быть, удастся ему заняться и в частном порядке? И Лёнику и Маечке нужна была известная строгость и в режиме (вовремя ложиться, кушать), и в выполнении некоторых обязанностей и решений (у них ведь воля еще не окрепла, взрослый должен добавлять воли от себя), но я всегда замечала, что эту строгость надо проявлять твердо, но сдержанно, не раздражаясь и не срываясь. Бывают очень редко – 1-2 раза в жизни – случаи, когда и более строго можно наказать (даже надо), но чтобы была ясна логика этого наказания и чтоб оно запомнилось. Строгость надо суметь смягчать потом шуткой и лаской. Но Лёнику, конечно, больше нужно последнее.

Я живу хорошо. Буду тебе писать о себе. Сейчас же целую тебя вместе с Лёником. Вера.

*Д.В. Розанов – дочери Анне Розановой. 11 июня 1944 г. Москва*

Милая и дорогая Аничка! Отправляем к тебе самое наше общее драгоценное для нас и тебя – твоего Лёничку. Всей семьей дружно мы собрали его в дорогу. Отправляем его не без тревоги, но с надеждой, что хорошие люди, которые едут с ним, не бросят его при всех трудностях, которые могут встретиться в таком дальнем пути.

Милая Аничка! 6 лет мы берегли твоего сына. Больше всего заботы приложила наша Мама: она оказывала ему самые тёплые ласки, она больше всех заботилась о нем. Затем во время голодное в Ковылкине всех нас спасла от голода Маничка: она питала 6 че-

ловек. Это дело великого труда... В последнее время Лёня пожил у Верочки, а перед отъездом недели две – опять у бабушки. Много внимания оказали ему и Верочка и Паночка. Одним словом, что было в наших силах (а их теперь немного), мы сделали и своё слово тебе «сберечь Лёню» – выполнили. Немедленно по приезду телеграфируй. Это будет для нас великое счастье. Ты не огорчайся, что польтечку у него старое: у меня осталось только одно зимнее, такое же, как у него, ведь мы тебе не писали о наших трудностях, которые пришлось пережить, – нужно будет, напишем.

Только бы Лёня доехал благополучно, и это будет счастье. А из остального выход найдём.

Ты напиши – как и когда и что нужно будет переслать тебе из твоих вещей.

Дорогая Аничка! Я не знаю, когда мы увидимся. Посылаю тебе свой отцовский привет и завет коммуниста: всеми силами и при всех обстоятельствах трудись на благо Родины, и это ставь превыше всего. Целую тебя, родная, обнимаю и желаю счастья.

Твой любящий тебя отец и друг Д. Розанов.

*А. Ф. Розанова – дочери. 27 июля 1944 г. Москва*

Милая Аничка! Прошло уже 46 дней, как уехал Лёня, а мы не имеем известий, что с ним. Вчера уже папа послал тебе срочную телеграмму с запросом, где Лёня и что с ним, я уже ходила в Дальстрой справляться. Мы полны тревоги, его письма с дороги и телеграмму из Находки получили. Лёничка, ты сам пиши, а то маме с твоим приездом прибавилось забот и затруднений. Каждую минуту о Лёне делаем всякие предположения. Пиши, Аничка, о всех твоих трудностях. Наверно, всего мало мы послали с Лёней, но он больше не мог с собой взять. Хватило ли ему питания в дороге? Приехал ли он? Здоров ли? Как переезд перенес?

Целуем, скучаем о Лёне. Твои Папа и Мама.

Я знаю, что у тебя всего мало, что всё очень трудно достать. О всём напиши. Мама. Тогда я буду соображать, как тебе помочь. Мама.

ПРОСМОТРЕНО военной цензурой. Почт. штемпель – 14.09.44.

*Д.В. Розанов – дочери. 1 августа 1944 г. Москва*

Милая Аничка!

Вот мы получили и 2-ю телеграмму о том, что Лёничка благополучно доехал. Ведь ехал он 45 дней! И вот велика наша радость за то счастье, которое испытываешь ты и Лёничка при вашем свидании. Мы глубоко радуемся Вашему счастью. Леночка Верина даже прослезилась, когда прочитала твою телеграмму. Целый ряд наших знакомых с тревогой спрашивали о судьбе Лёнички, беспокоились вместе с нами о нем и радовались его прибытию в Магадан. У нас с мамой есть и 2-е основание радоваться за выполнение большого дела: мы сохранили тебе сына. Величина этой задачи особенно остро стала перед нами, когда мы переехали от Пани в Ковылкино, где нужно было мне поступать на работу: здесь вопрос о тепле и, главное, о пище, встал со всей остротой (месяцев 6), пока не поспела наша картошка. Нужда была настолько велика, что мы для варки в кухне имели только 1 горшок (кубан), а приобрести новый за 150 р. не могли; конечно, не было мыла, керосину, теплых вещей, спал я в холодной сырой кухне. Конечно, за все эти 6 лет главный труд и забота и любовь к Лёничке была от мамы, но и она металась за хлопотами до изнеможения даже до самого выезда из Ковылкина: ежедневно топила печь 3 раза, потом в последний год появились огород, куры, свинья, а силы у мамочки совсем не те, что ты знала раньше, дух её бодр, желание работать велико, физические силы очень ослаблены. Ты спроси у Лёни – какая она стала худенькая и слабая. Она стала отдыхать немного только, когда мы перебрались в свою комнату на Гавриков (переулок – Л.Т.). Да и то на днях она попала под дождь и очень нас напугала своим состоянием здоровья. Температура поднялась до 39,3°, и она ужасно страдала, но быстро болезнь захватили, и сейчас она уже ходит сама и радуется меня своим выздоровлением...

И вот я говорю, что нельзя нам не радоваться, что мы и при таких условиях сохранили Лёничку, сдержали свое слово, данное тебе 6 лет тому назад. О хлопотах Манички и Верочки я уже упоминал в прежних письмах. Не забывала Лёничку и Паня:

о многом заботилась она. Я больше всего вспоминаю, как Лёня на переменах в школе, где я был директором, а Паня завучем, – как Лёня подбегал к ней, и она угощала его хлебцем; перед уходом на улицу тепло его укутает и т. п. Не забывала его и Вера: вот она последние месяцы взяла его к себе и заботилась о нём.

Теперь, дорогая Аничка и Лёничка, напишите вы нам, как же вы встретились? Как Лёничка ехал. Хватило ли ему питания? Мы дали ему питания из расчета на 30 дней, зашили ему в рубашку около 350 р., на руки дали около 150 р. и т. Дмитриевой вручили 750 руб. Здесь нас выручила Верочка, которая дала 1000 р., полученные ею за дачу. Она отдавала нам долг за те средства, которыми мы помогали ей в постройке дачи (ныне разрушенной).

Напишите нам – где жил Лёничка в Находке? Как он проехал по морю? Всё ли время был здоров? Не было ли каких опасностей в дороге? Как относилась к нему М.В. Дмитриева и др. спутники? И много другого, о чём сами думаете написать. В частности, какие вещи довез Лёня? (Перечисли, мы их помним, укладывали все вместе: мы с Мамой, Вера и Маня.) Получен ли тобой аттестат об окончании института? Напиши, что делать с оставшимися вещами твоими?

Интересно, что ты думаешь о своем дальнейшем местожительстве? Нам, конечно, интересно, как Вы устроились? Есть ли у Вас комната? Как питаетесь? Хватает ли Вам и т. д. Напиши, таким ли ты ожидала встретить маленького, но великого путешественника, проехавшего почти половину земного шара? Мне очень прискорбно, что я не мог выполнить твою просьбу о фотографии Лёнички, о чем ты просила, когда мы жили в Ковылкине. Я и много раз помнил, несколько раз пытались мы с Лёней попасть на съёмку, но не удалось – за это прошу прощения, главной же причиной была все же – неотступно и ежедневно – забота о пище.

Ну вот, моя милая дочка, описал тебе многое. Пиши подробно и ты.

Целуем мы тебя с мамой крепко. Целуем и нашего спутника жизни Лёничку. Не забывай нас. Любящие вас Мама и папа.

ПРОСМОТРЕНО военной цензурой. Почт. штемпель – 12.10.44.

*А. Ф. Розанова – дочери. 23 августа 1944 г. Москва*

Дорогая Аничка! Сегодня получила от тебя заказное письмо от 9 июня с фотографической карточкой. Хорошо тебя видеть с прежней прической и всё такое же лицо, как прежде. Но как давно ты его писала. Я уже отвыкла тебе писать. Ты моих писем не получаешь. Главное сделано – Лёня у тебя! Но меня каждый день и час беспокоит то, что мы тебе не могли ничего переслать. Твои вещи маячат передо мной здесь и напоминают, что они тебе нужны. А вчера получила письмецо от тебя от 15 июня...

Милый Лёничка! Я улыбаюсь, когда вспомню о тебе, я вижу твоё личико, а когда что получу из питания, то думаю: «Вот бы Лёничка съел яичко, вот бы попил чайку с сахарком». А у вас, наверно, этого нет. И скучаю по Лёничке. Только мне стало спокойнее, знаю, что ты с мамой, никто тебя не будет обижать. А то моё внимание было напряжено целых 6 лет – как бы с Лёничкой чего не случилось, как бы он не заболел. Моя одна была цель – привезти тебя за ручку к Маме. И вот я достигла. Я довела тебя к Маме. Теперь буду ожидать, когда я вас увижу вместе с Мамой. Сейчас я пишу письмо, а сама вспоминаю, как ты, бывало, сам готовишь себе яичницу или лепёшки на сковородке. Бельца старенького Лёниного у меня много осталось, я сложила отдельно, в чемоданчик, может быть, приедешь ещё, используешь... Я очень ждала от тебя письма. Бабушка. Целую, прижимаю к себе. Мама.

*А. Ф. Розанова – дочери. 3 сентября 1944 г. Москва*

3 сентября. Какое счастье! Получила от Вас письмо. И Ленин почерк. Как я его ждала из Магадана. Я приехала сейчас с картошкой и очень хочу есть, но села, чтобы поделиться с Вами своей радостью, что я получила письмо от Лёни и от Анички. Мы все очень ждали этого письма, несмотря на то, что две телеграммы о его приезде к маме уже давно получили. Ведь это же чудо, что Лёничка проехал такой дальний путь! Я очень рада, что для Лёни уже есть обувь, а то я всё время страдала, что я его отправила в очень плохой обуви и в очень старом пальто. Большое спасибо Марии Васильевне за её заботу и труды. Она очень

хорошая. Она ведь сама предложила отвезти Лёничку. Она стала мне как родная.

*9 сентября.* Мы снова получили телеграмму о том, что Лёничка учится. Как Лёничка питался в дороге? Какой трудный путь он проехал! Это просто удивление. Лёничка, напиши, как тебе нравится твоя новая школа и трудно ли тебе учиться.

Мы тоже живы и здоровы. Картофель у нас есть хороший, и много его. Папа сегодня поехал за ним. Далеко только. Не скоро перевезешь. Папа ездит каждое воскресенье за картошкой...

ПРОСМОТРЕНО военной цензурой. 15424. Почт. штемпель 23.10.44.

*Д.В. Розанов – Анне Розановой и Лёне. 10 сентября 1944 г. Москва*

...Милая Аничка! Предпоследнее письмо, несмотря на всё его хорошее содержание, доставило огорчение Маничке. Я неоднократно подчеркивал в письмах её самоотверженный труд по сохранению жизни Лёнички. Теперь ещё раз хочу повторить: она мужественно взяла его на опеку, она одевала и кормила его 6 лет. Особенно велика её заслуга в том, что она сохранила нашу жизнь и Лёничкину во время трудного времени в Ковылкине, где мы не могли заработать даже на хлеб. И вот она все эти годы за своими детьми и Лёничкой «не видала личной жизни» и все же безропотно в Ковылкине кормила 6 человек, и Лёничка хорошо делал, что в последнее время в Ковылкине звал её «мамочкой». Повторяю, для нас с Мамой никто так много не сделал в это трудное военное время, как Маничка. Правда, до войны и Мама огромное участие принимала главным образом в воспитании и питании Лёнички, но всё это не привело бы Лёничку в Магадан, если бы мы с голоду свалились с ног. Маничка сделала самое важное для сохранения жизни нашей...

И вот, читая твое общее для всех письмо, она огорчилась тем, что ты очень много превозносишь Марию Ивановну. Ведь она-то нахлебник у Веры, она ничем не пожертвовала для Лёни, а наоборот, приходится и об этом говорить, всячески отрывала что можно при общей нашей жизни у Мани и у нас. Это человек дру-

гого мира, чем мы. Я хочу, чтобы ты исправила свою недооценку великих (непосильных) трудов Манички для Лёни и для нас. А сравнение Манички и М.И. – даже обидно и нам.

Я пишу то, что думаю; скрывать свои мысли не хочу, а то, может быть, ты их и совсем не узнаешь: 4-го августа мне пошел 70-й год. Неизвестно, что будет с нами дальше...

Ну, будь здорова! Целуй от нас нашего внучка Лёничку. Прими от нас наш родительский тёплый поцелуй и пожелание видеть радость вместе с сыном.

Твой любящий Папа.

*Д.В. Розанов – Анне Розановой и Лёне. 22 октября 1944 г. Москва*

Милая наша Аничка и наш дорогой Лёничка! Вчера мы получили Вашу телеграмму. И очень порадовались Вашему счастью, и я был горд тем, что в этом великом для матери счастье были участниками не только Мама и Маня, но и я. Живите, дорогие, и радуйтесь друг на друга. А ты, милый Лёничка, засядь как-нибудь часа на 2 и опиши подробно свое геройское путешествие – нам всё очень интересно. Самое главное – как ты плыл по морю, ты не описал. Геройским я считаю путешествие маленького Мальчика – 45 дней в пути... Я счастлив, что ты у мамы и радуешь её своим присутствием: расти, учись и будь полезен твоей дорогой Мамочке и нашей Великой родной стране и советской власти. Не забывай, что значит пионер!

Милая Аничка! Огромные заботы и труды мои всё задерживали моё желание написать тебе письмецо, чтобы оно отплыло с пароходом (да, а когда прерывается сообщение морем?). Ведь начиная с 1/V я не имел совсем выходных, так как каждое воскресенье я ездил на сельскохозяйственные работы вплоть до сегодняшнего, когда мы с Мамой вывезли последнюю свеклу с мамино подмосковного огорода. Кончена эта работа: с интересом буду ожидать следующего воскресенья, чтобы заняться некоторыми домашними делами. В будний день я весь поглощен работой: у меня 11 школ и около 200 учителей, работы с которыми через край хватает, а силы у меня уже дале-

ко не те, что были когда-то в Костроме или Наркомпросе.

Очень много нужно готовиться, чтобы удовлетворительно вести свою работу, вот я напрягаюсь. Много дел и по дому, так как у нас очень много пропало, много поворовали, а это опять составляет трудность, хотя и неизмеримо меньшую сравнительно с тем, что мы испытали в эвакуации...

Милая Аничка! Каждый день, разъезжая по Москве, я тебя непрерывно вспоминаю. Ежедневно я езжу в трамвае по Радищевской улице, и я вспоминаю, как часто мы с тобой гуляли вдоль линии трамвая у забора. Забор при начале войны сломали, а теперь уже построили новый, а воспоминания сильные остались. Также ежедневно я проезжаю и по Басманной, мимо красной церкви, мимо поворота к Инфизкульту, и опять вспоминаю тебя, моя дорогая. Каждый день я прохожу по Подколокольному (переулку) ... и тут, у остановки «Солянка», мы расстались с тобой, я помню, тебя провожал и видел тебя здесь в последний раз. Об этих воспоминаниях я давно хотел написать тебе.

А Лёничке скажу, что он, наверно, будет учиться отлично: наши московские школы учат лучше, чем школы провинции. Ты только порекомендуй и присмотри за ним, чтобы не спеша и почище он писал, а также не чересчур, а в меру читал книги.

Ну вот, дорогие мои, пока кончаю письмо и буду с интересом ждать письма от Вас. Будьте здоровы. Целуем Вас. Папа.

Вечером мы были у Веры с Маничкиным семейством. Там вместе обедали и там отмечали день рождения Верочки.

Целую Вас и за Маму и бабушку.

*Приписка А.Ф. Розановой, 25 октября 1944 г.*

Всё-таки всё время я беспокоюсь за Вас: хватит ли Вам твоего заработка на питание и на все расходы. Мама. Как бы хотелось послать Вам посылочку.

Милые мои Аничка и Лёничка! Каждую минуту я вспоминаю про Вас и особенно о Лёничке. Как пью чай, то думаю: «А есть ли у Вас сахар?»... Наверно, у Лёнички нет чулочек, я ему ни одних крепких чулочек не положила. И до сих пор не попадают мне чулки, чтобы купить для Лёнички. У нас очень вкус-

ный картофель свой и овощи, так что я ем вдоволь. Вообще питанием мы совершенно обеспечены. Хотелось бы и Вас угостить. С уборкой я покончила. Сегодня я новые ботинки себе получила, простыни, а то у нас, когда мы приехали, не было ни одной простыни, ни одной подушки. Доски на постели были сожжены. Но твой гардероб, стол, стулья целы, только кухонный столик пропал. Вот теперь для Лёни я могу достать и ботинки и галоши. Наверно, у Лёни дорогой развалились его ботинки.

Мои письма почему-то не доходят к тебе, Аничка. Или я неразборчиво пишу? Не знаю. От Ванички я не получаю никаких известий. Лёничка для меня делал большое дело. Он был для меня вместо Ванички. А то я всегда очень беспокоюсь о Ваничке. После Лёни опять больше стала думать о нем. Но в общем я очень занята своими домашними делами. Чиню чулки. Целую Вас много раз. Мама и бабушка.

*А. Ф. Розанова — Анне Розановой. 11 декабря 1944 г. Москва*

Милая Аничка! Я живу твоим письмецом. Прочитала, когда получила, потом с папой читали, потом с Маней и, наконец, вчера с Верочкой. А уж Лёнино письмецо нас всех развеселило, когда мы все получили по пятерке в подарок, а я даже две пятёрки... Лёничка научился большое письмо писать. Это потому, что с мамой. Я Лёничке говорила всегда: «Когда будешь с Мамой, все будет хорошо». Ты так хорошо обо всём написала, что мне стало легче. А то, как настали холода, я часто думала: «А вдруг Лёня простудится? Зачем мы его отправили?» – А сейчас я буду спокойна. Я знаю, у него есть тёплая одежда, а, главное, он с Мамой. А то ведь он каждый день и каждый вечер спрашивал у меня: «А скоро ли Мамочка приедет?»...

Аничка! Три месяца назад я была на приеме в Н.К.В.Д. Подала заявление о твоём возвращении. Мне обещали тебя возвратить в Москву. Пойду еще в Н.К.В.Д. хлопотать. Буду добиваться, но я очень не надеюсь...

Обнимаю тебя и Лёничку. Вчера мы получили письмецо от тебя от 3 сентября и очень обрадовались. Лёничкин папа по-

слан в командировку обучать войска лыжному мастерству. (Отец был расстрелян, но семье сообщили: «осужден без права переписки» – Л.Т.). Война его застала в командировке, и его оттуда не отпускали. В настоящий момент писем от него давно уже нет. Может быть, уже и погиб. Окончится война, тогда узнаем. А, может быть, и возвратится. Во время войны на таком положении все. И Ваня тоже, может быть, возвратится. Есть сведения, что работают они по своей специальности. Ты молодец, так и надо. Целую. Мама.

*А.Ф. Розанова – Анне Розановой. 28 декабря 1944 г. Москва*

Милая Аничка! Я перед тобою походатайствую за Лёничку. Ты не очень строго спрашивай с Лёнички. Может быть, и наше упущение. Лёничка у нас был очень самостоятельным. У нас не было возможности его дома проверять. Он у нас не заикался. А если был иногда намек на заикание, я моментально и незаметно это слово протяжно вместе с ним произносила. Это такое лечение в данном случае, но ему никогда не давала почувствовать, что он заикается...

А потом ты спрашиваешь: когда о себе Лёничке правду рассказать. На это я тебе очень веско и с большим знанием скажу: «Да разве это была правда? Это было недоразумение, ошибка, это было дело наших врагов». Когда-нибудь это, может быть, и разберётся. Я об этом ещё буду писать и в Центральный Комитет и в Н.К.В.Д. Я уже обращалась в Н.К.В.Д., но мне сказали: «Разбор возможен только после войны...» А Лёничкину головку этой путаницей не надо совсем и никогда омрачать. Хорошо, если ты и сама навсегда забудешь это время. Живи светлым будущим. А Лёня пока ничего и не поймет...

Тебя целую, обнимаю. Мама.



Александра Федоровна и Дмитрий Васильевич Розановы

# МИНА ВОЛЬФ

## О ГАЛЕ ВОЛЬФ, ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЕ ГУЛАГА

Хочу рассказать о сестре своей Галине Степановне Вольф, но сделать это очень трудно. Не потому, что нет у меня никаких документов, а сама она о себе мало рассказывала; не потому, что пропали все её письма, а фотографии пожелтели и выцвели... Нет-нет, я прекрасно её помню, вижу, говорю с ней, хоть нет её уже с 1982 года.

Дело в том, что меня мучает один вопрос, на который, вероятно, никогда не будет ответа. Но я все же должна о нём рассказать, начни я без этого свой рассказ, вопрос этот все время будет тут как тут, он не позволит мне ни думать, ни вспоминать. Так лучше я начну с него: может тогда он хоть ненадолго оставит меня в покое.

Впрочем, к делу! Объясните мне, как могло случиться, что двадцатилетнюю, ни в чём не повинную Галю (много позже это подтверждено было полной её реабилитацией), ещё в 1928 году, выхватила из жизни цепкая лапа репрессий, и держала, забавляясь, как кошка с мышью, не присуждённые ей три или четыре года, а чуть ли ни все тридцать лет, швыряла её в тюрьмы, ссылки, лагерь?... И почему, отбыв очередной срок к 14 июня 1941 года, она не была выпущена на волю, а вынуждена была «пересиживать»: когда началась война, уехавших освобожденных снимали с поездов и снова водворяли в родные зоны – «война ведь, а они наверняка шпионы»? И почему пересиживание это не закончилось хотя бы вместе с войной? Ведь мою Галю не отпустили до апреля 1946 года!

Почему в 1949 году её вновь зацепили и закрепили на вечное проживание? И режим этого «проживания» был так строг, что, провожая нас в отпуск, она прощалась с нами не у ступенек ва-

гона, а дома: появление на вокзале считалось побегом и каралось большим сроком.

Давно уже подсчитывают, сколько народу сторело в этом дьявольском горне репрессий. Число жертв велико и все растёт, но почему же считают только осуждённых? Кто сосчитает число осиротевших и погибших детей; жён, выгнанных с работы, из квартиры, из родного города? Кто расскажет о муках матерей, о страданиях близких, любящих и просто сочувствующих? Они ведь и слез своих показать не смели: «ах, страдают, переживают, плачут – значит сами такие же!» Сколько несчастных сослал Бог знает куда, сколько детей остались бездомными... Сколько горя, сколько мук! Подле каждого репрессированного – водоворот. Водоворот, втянувший в себя миллионы несчастных судеб.

И что, так никогда и не найдут виновных?

Ведь это же не Ленин! Святой, скромный, мудрый человек, гений. Вспомните хотя бы некоторые его открытия: «интеллигенция – говно» или «священников надо отстреливать сотнями»

Конечно, он не может быть виноват! Вспомните, с какой яростью масса людей встречает предложение предать его тело земле! Вспомните Виктора Анпилова в январской программе Владимира Соловьёва «К барьеру!» – эти безумные глаза, этот истощенный крик: «Похоронить Его – кощунство, святотатство!» – казалось Анпилов, вот-вот упадёт замертво!

Так может, виновник Сталин? Непохоже. Поговорите со встречным-поперечным: окажется, что его чтут, боготворят миллионы: «ах, при Сталине хорошо было!», «ах, какой низкий и подлый фильм это "Покаяние"», «если что и было, нечего сор из избы выносить», «да ничего и не было: я вот ни в чём не виноват – и никто меня не репрессировал!»

Нет виновных. И похоже, в этой безумной стране так и не будет своего Нюрнберга. А ведь только полное переосмысление нашей истории, раскрытие архивов и искреннее, публичное, фактическое и формальное признание всех ужасов, что пережили народы России, могут спасти нас от их повторения. Иначе так и будут тихой сапой возвращать нам атрибуты сталинских вре-

мен (гимн – уже вернули). Так и будет миллионными тиражами публиковаться фашистская литература. Так и будут убивать маленьких девочек лишь потому, что они не русские. Так и будут запрещать сочувствие народам, депортированным Сталиным. Так и будут навешивать нам на глаза шоры. А там, глядишь, и природные катаклизмы исчезнут, настанет тишь и благодать... не забыть бы, только, всегда иметь наготове тюремную сумку.

А теперь о Гале и не только о ней.

Восьми лет Галя осиротела. До этого она жила с родителями в Швейцарии, но в конце 1912 года мама, взяв её с собой, поехала рожать меня к родным в Одессу. Увы, моё появление на свет убило нашу маму. Отец так и не приехал, позже это объяснили тем, что он «занимался распространением ленинской литературы». Нас взяла к себе его сестра, тётя Маня. Жили бедно, впроголодь, но нас любили, и мы были счастливы.

Всё изменилось, когда году в девятнадцатом-двадцатом вернулся отец. Он привел нас в большую коммунальную квартиру, подвел к незнакомой женщине («вот ваша мама») и ушёл в свою комнату. Видели мы его только за столом. Детей своих он не любил, а меня – так просто ненавидел: «Ты, дрянь, Соню убила!» Не припомню между нами ни одного человеческого разговора.

Клара, мачеха, была, возможно, неплохим человеком, но, окончив курсы детсадовских воспитателей, она свято поверила во все догмы официальной педагогики эпохи военного коммунизма. Если во всём цивилизованном мире естественно любить детей и в меру баловать их, то у нас всё было наоборот. Новорожденных не разрешалось брать на руки, а уж тем более тетешкать или баюкать. Нельзя было утешать плачущих, совать соску-пустышку в голодный ротик. Считалось, что песенки и сказки очень вредны. Ребенка запрещалось красиво одевать, голову надо было брить наголо. Кормить полагалось самым невкусным. Надо было тщательно изучать характер ребёнка, его поведение, и всё, что в нём плохого, выносить на суд общественности: в школе, и даже в детском садике провинившегося судили его товарищи.

Так шла подготовка к будущей борьбе с мировым капитализмом.

На каждого ребенка составлялись характеристики-анкеты. «Галя, что ты сделаешь, если найдешь 20 копеек?» – «Подберу и куплю мороженное». Тут же в анкете появляется запись: «Склонна к присвоению чужих денег. Лакомка». Галя была красивой, обаятельной, общительной, из школы её всегда провожали мальчики. Это тоже нашло своё отражение в анкете: «Склонна к обольщению противоположного пола, может пойти по дурному пути».

Кормили нас хуже, чем у нищей тети Мани. Особенно обидно было двойное меню: родителям курочка в бульоне, молодая картошка, цветная капуста, а нам – постный перловый суп и тушёная морковь. Знала об этом вся квартира, очень, кстати, дружная. Нас жалели, потихоньку подкармливали. Клара, когда узнавала, ругала соседей: «нечего вмешиваться в процесс научного воспитания этих дрянных девчонок».

Галя терпела-терпела, да и сбежала в Харьков, в семью Маниного сына. И он, и жена его очень Галю любили и с самого своего переезда в Харьков звали её к себе.

Она всегда меня любила, писала, посылала деньги и вкусные вещи – конечно, не по почте, а с оказией, чтобы Клара не знала. Одну зиму я даже провела у Гали в Харькове, но после летних каникул в Одессе Клара меня больше не отпустила: «Соседи загрызли, мол, сбагрила девчонок!»

Галя поступила в ВУЗ, вышла замуж. Ее муж, Мотя Елисаветский, стал впоследствии одной из многочисленных жертв кашкетинских расстрелов.

В 1928 году, когда я уже окончила семилетку и целый год была разнорабочей на стройке, отец запретил употреблять мне Галино имя и объявил, что она умерла. Я поверила, горевала, плакала. Но вскоре до меня дошел слух, что она сидит. Несколько лет никаких известий о ней не было, но однажды незнакомый человек принёс коротенькое письмецо – увы, без обратного адреса, чтобы я не могла ответить: «для твоей же безопасности». Только тогда я полностью поверила, что Галя жива.

В 1932 году я вышла замуж и рассталась, наконец, с отцом и мачехой. В сентябре 37-го, уйдя в декретный отпуск, поехала к родственникам в Питер. Там походила по театрам и музеям, и спокойно вернулась домой, а через пару месяцев, вскоре после рождения сына Володи, меня исключили из комсомола за тайную поездку к сестре в лагерь. И я не смогла никого убедить, что даже не знаю, где она: «Не лги! За тобой слежка велась! Денно и ночью!»

Вот так и меня втянула, засосала, та самая околорепрессивная воронка-водоворот!

В начале 1941 года я наконец получила сведения о Гале, ждали, что 14 июня она должна освободиться и приехать в Одессу. Но увы, она так и не появилась, и в начале октября, мы – Клара, Ира, Володя и я – эвакуировались. Я была уверена, что она попала в бомбёжку и погибла.

Но вы же не знаете, кто такая Ира. Это Галина дочка. Она родилась в 1934 году в Сыктывкаре, где Галя и Владимир Афанасьевич Куликов, её второй муж, были в ссылке. Кормить ребёнка было нечем: молока у Гали не было, а молочная кухня ссыльных не обслуживала. Покупали гнилую, сто раз перемороженную морковь и её соком поили ребёнка. Очередной арест (Ире было меньше года) оказался спасением: в тюрьме была хоть какая-то еда. Мужа Гали не взяли: он был прекрасным пианистом, а тут надвигался какой-то юбилей города. Забрали и расстреляли его после празднеств.

Из тюрьмы Галя примерно через два года попала в лагерь в Усть-Усу. Формально участвовала в охватившей все лагпункты Коми голодовке заключённых; фактически же – нет из-за маленькой Иры.

Голодовка длилась 5-6 месяцев, потом всех её участников согнали в Воркуту на кирпичный завод, где с большинством и расправились. Но Галя попала в Кочмес\* – туда собрали всех мамок с детьми, но вскоре детей стали отбирать и увозить в детдома.

---

\* Лагерь неподалеку от Воркуты.

Весной 39 года увезли и пятилетнюю Иру, а в июле, основательно отругав меня за то, что я снова пачкаю свою анкету, мне всё же выдали в НКВД доверенность на ее получение.

Через два дня я была в поезде на Архангельск и нашла девочку в концлагере Архангельской области. Это был скелетик на двух спичках. Наголо бритая голова, голодные, испуганные глаза, скорбно сжатые губы. Одежда – серая майка и что-то вроде бязевых кальсон. На теле синяки, ссадины, царапины. А запах! запах страданий и голода, давно не мытого тела, запах погребца, земли, могилы. Всю жизнь обоняние помнит его... Но описать – тут Достоевский нужен.

Вскоре мы были в Одессе. Мой муж Толя и вся его семья приняли Иру, как родное дитя, хотя у нас было очень тесно: 26-метровая комната в коммунальной квартире на 10 человек. Незадолго до этого умер в тюрьме мой отец, арестованный в 38-м, и Клара была близка к самоубийству. К тому времени она уже поняла, что такое педология\*, стала намного добрее, очень привязалась к моему Володе, а к Ире – так просто прикипела. Поэтому вскоре Ира переехала жить к бабушке. Мы помогали, чем могли, Иру все любили, а она больше всех – Клару.

Эвакуировались мы вчетвером. Через год узнали, что Галя жива и находится в Воркуте. Всю войну мы переписывались, а в 1945 году, 8 октября уже втроем (Клара умерла в 1944 году) поехали к Гале. Увы, оказалось, что Галя, несмотря на то, что ее срок окончился за неделю до начала войны, всё ещё не свободна, и Иру взять не может. Я набралась храбрости, пошла с детьми к генералу Мальцеву, начальнику комбината «Воркутауголь», и объяснила ситуацию: ехали к вольному человеку, а приехали к заключённой, чего, в принципе, делать было нельзя. Он спросил меня о специальности и образовании, велел не волноваться: «К вам завтра придут». Я оставила адрес Хели Профис, которая нас

---

\* «Применение на практике теоретических принципов «марксистской науки о детях» в конце концов было отвергнуто даже большевиками, и 4 июля 1936 вышло постановление ЦК ВКП (б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов»

приютила, и через 8 дней после приезда уже работала на ВМЗ, и имела крохотную кабинку, а Гале разрешили проживание за зоной. И только теперь я стала заново её узнавать.

Как-то случилась беда: мы потеряли хлебные карточки и на две недели остались без хлеба. Стали приходиться незнакомые люди: «Галя Вольф тут проживает? Вот, передайте немного картошки» (или стакан сахара, чуть-чуть муки или кусок хлеба). И объяснение: «Она мне в зоне так помогала!»

Хеля два с лишним года копила на пальто, и вот оно, наконец, куплено. Тут приходят люди, которые собирают одежду для освобождающихся женщин – и Хеля отдаёт обновку. Я возмущаюсь, а Хеля спокойно говорит: «А ты у Гали своей спроси, она знает: дарить надо то, что тебе нужно, а не обноски». А Хелины посетители ахают: «Ты Галина сестра? Ну и повезло тебе». И рассказы, истории... Подробности выпали из памяти, но знаю, что в зоне она мирила ссорящихся, ухаживала за больными, делилась едой с голодными.

В 1946 году мне дали комнату. Тогда же Галя наконец получила паспорт: «Вольф-Куликова Галина Штефановна». Здорово, видно, изучали отцовское прошлое. С трудом удалось заменить отчество на привычное «Степановна».

Пришёл как-то в гости добрый Галин знакомый по зоне – Анатолий Борисович Бережанский. Она нас сосватала, но брака мы не оформляли ради чистоты анкеты (моей, конечно). По правде говоря, пожениться надо было бы им: у обоих главное в жизни – помочь человеку. Помню я мало, объектов их забот давно уже нет в живых, как и их самих, но кое-что рассказала мне Эльда Абрамовна Веселова.

Эльда – дочь Галиной близкой приятельницы Раисы Давыдовны Смертенко, и всегда считала Галю близким, родным человеком. Рая и Галя вместе пережили голодовку, и много лет, до самой Раиной смерти были близкими друзьями. У Эльды был очень трудный момент: она поехала учиться в Москву, и там у них с подругой украли деньги и документы. Восстановить паспорт можно только в Воркуте, но не на что купить билет. Рая

в это время была в Сыктывкаре, её муж Владимир Викторович Щуко попал в очередную ссылку, и она тоже осталась совсем без денег. Положение Эльды безвыходное, но вдруг – почтовый перевод, немного денег от Гали. Приехав в Воркуту, чтобы восстановить паспорт, Эльда остановилась у Гали – в Москву уезжала, нагруженная съестными припасами.

А с Раей особое дело было. Я уже говорила, что в Кочмесе у заключённых мам стали забирать детей. Забрали у Раи маленького мальчика. В Архангельском детском доме погибло 11 детей, и он в том числе. Рая была в тяжёлой депрессии, и спасла её Галя, которая ни на шаг от неё не отходила, всё время ей что-то говорила, заставляла есть и спать, следила даже, чтобы все петельки на бушлате были пришиты, заштопаны чулки... Галя помогла ей пережить самое трудное время да и потом никогда не оставляла.

Когда у кого-нибудь были проблемы, помощь приходила от Гали.

Была такая Люся К. Эта женщина, которая не умела украсть, оговорить кого-нибудь, ещё как-нибудь обидеть, была всё же сущим бичом для окружающих: нытик и истеричка она ждала от людей только пакостей. И вот, она должна освободиться, а ехать некуда. Люся остаётся в Воркуте, уже договорилась о работе и надо приютиться где-то на первое время, но всех знакомых это пугает до смерти. Разумеется, дело кончилось тем, что взяла леже ей становилась совсем нестерпёж, включалась Рая: «Поживи у меня немного, Люся, мне так тоскливо одной без Эльды». Так и просуществовал этот тандем три месяца, пока Люся не получила жильё. Этот случай описан в книге Ады Вайтоловской\*.

Вот другой случай: Ира В., вольнонаёмная, жила в коммуналке. Сосед-алкоголик дошёл однажды до того, что пришлось с маленьким ребёнком удирать из дому. Куда? Конечно, к Гале.

И так всегда, до самой смерти, была она доброй и отзывчивой.

А вот как помогал людям Анатолий Борисович. Мы тогда жили в небольшом частном доме, и у нас была своя домовая кни-

---

\* Вайтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991, с. 334

га. Многим освобождающимся некуда было ехать, и они хотели остаться в Воркуте, но нет прописки – нет работы. Вот он их и прописывал. Мы и не знали об этом, пока Ира, поступавшая в 1951 году в Питерский мединститут, не взяла книгу, чтобы выписаться. Часто ночевали у нас незнакомые люди: сегодня освободился, а поезд только через три дня.

Кстати, в своей книге\* «Гулаговские тайны крайнего севера» Елена Владимировна Маркова пишет, что я помогла ей, когда она освободилась, с пропиской, жильём и работой. Так вот она забыла, что не ко мне подошла на улице, а к Анатолию Борисовичу. Он её прописал у нас, нашёл работу, моя же роль свелась к тому, что я подсказала, в каком бараке освобождается комнатёнка. Я и познакомилась с Леной много позже.

В порядке анекдота расскажу о двух Мишах.

Один из них, бывший вор, наглухо завязавший, механик-золотые руки, освобождается через неделю, а Таня, его тайная вольнонаёмная жена, уходит в декрет лишь через три недели. Где переждать это время, чтобы ехать вместе? Можно бы с ворами связаться, да он не хочет. Делится проблемой с кое-кем на работе, но – увы! Когда я рассказала о нем дома, оба, муж и сестра, рассердились, что сразу к нам не позвала. В результате он прожил у нас до Таниного декрета, всё в доме перечинил, потом мы их проводили. Года через два жильё наше обчистили догола. Не успели мы поохать да поохать – подъезжают большие сани, и в домик наш вносят всё похищенное с извинениями: «Пахан нас чуть не убил, но мы не знали, что это вы тогда Мишу приютили».

Родители другого Миши в 1902 году, ещё до его рождения, решили напоследок попутешествовать по Европе. В Лондоне – схватки, преждевременные роды, семимесячный Миша. В Россию вернулись через несколько месяцев. Так вышло, что Миша стал уроженцем Лондона, и потому естественно, оказался английским шпионом. Освободившись, он подошел на улице к Анатолию Борисовичу спросить, есть ли в Воркуте гостиница

---

\* Маркова Е.В. Дорога, которую я не выбирала. Радость. – 1995. – № 3–4. – С. 8–10.

или постоянный двор, и остался ночевать у нас. Когда выяснилось, что ехать ему, собственно говоря, некуда, Анатолий Борисович его прописал и нашел работу. Миша пошел оформляться, приходит расстроенный, кадровик не принимает анкету:

– Ну ты написал Лондон, – орет, – а область Пушкин писать будет?

– Но это Англия, нет там областей!

– Ничего не знаю! Вот, гляди, русским языком написано: Укажите город, район, область...

Анатолий Борисович посоветовал написать «Кентская область». Сошло. Через пару дней Миша работал.

Ира росла такой же доброй, отзывчивой, как мать, умела почувствовать. Ещё маленькая, в эвакуации, она с утра припрятывала кусочек хлеба от своей пайки и перед сном отдавала Володе. Была она хрупкая, очень слабая. Читала, писала письма, рукодельничала – только лёжа. В школе и мединституте была отличницей, по мере сил помогала отстающим.

Она была настолько слаба, что, выработав 20 лет стажа, ушла на пенсию. Я не врач, но думаю вот что: до 5 лет она молока в глаза не видела. Организм, не получая кальция, не научился его усваивать, поэтому она из дому не выходила без куска сыра или стаканчика с творогом.

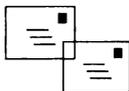
Кое-что от Галиного характера передалось и племяннику, моему сыну Володе. Он плакал при виде побитого, раненного, замерзающего котёнка. Домой их носил пачками, кормил, лубки накладывал, отогревал за пазухой. Всю жизнь свою носил еду для бездомных кошек, а однажды, увидев, как пьянчуги играют в футбол беременной кошкой, один отбил её у троих.

Борис – наш с Анатолий Борисовичем сын. Сейчас он только один подле меня – очень заботлив, всё в доме делает, старается меня побаловать, чем только может. Ему уже 55 лет, у него своих двое, но на первом месте я. Единственный его недостаток – называется наследственность: если даст деньги в долг, стесняется требовать. Тут уж мне приходится вмешиваться, тем более, что живём мы скромнее скромного.

Мне 91 год и я почти слепа. Понимаю, рассказ мой сырой и бессвязный, но всё же надеюсь, читатель, если он будет, поймёт две вещи.

В нормальной стране Галя и Анатолий Борисович – добрые и отзывчивые люди были бы благотворителями, правозащитниками. И ещё: если таких, как они было хотя бы 10–20% из числа невинно загубленных, подумайте, скольких прекрасных людей лишилась Россия!

Спасибо всем, кто им посочувствовал!



# **НАТАЛЬЯ ШЕСТАКОВА**

## **«Живу я усиленно...»**

### **Письма подруге**

#### **От публикатора**

Этой публикацией писем моей матери Натальи Петровны Шестаковой ее подруге – Вере Антоновне Перес – я хочу рассказать о дружбе людей той далекой эпохи, дружбе, пронесённой через долгие годы, об их мужестве и способности противостоять жутким трудностям, сохраняя при этом душевное богатство и любовь к жизни во всех ее проявлениях.

Мой дед, Петр Михайлович Шестаков был профессором московских Женских педагогических курсов имени Д.И. Тихомирова. С бабушкой Татьяной Сергеевной, урожденной Посниковой, он познакомился в Петербурге, где Петр Михайлович был студентом университета, а Татьяна Сергеевна – вопреки воле своих родителей, считавших, что «дворянке неприлично иметь высшее образование» – училась на Высших женских курсах. В 1886 году они участвовали в запрещенной властями панихиде, которая состоялась на Волковом кладбище и была посвящена 20-летию со дня смерти Н.А.Добролюбова, за что были высланы под надзор полиции в Нижний Новгород.

Там они познакомились с В.Г. Короленко, и стали близкими друзьями его семьи. Вольнолюбивые бабушка и дедушка не хотели оформлять церковный брак, но перед рождением первенца, по настоятельному совету старшего друга все-таки венчались в церкви – в обручальных кольцах Владимира Галактионовича и его

жены, поскольку денег даже на кольца у молодой пары не было.

Позже семья Шестаковых переехала в Москву, где воспитывала пятерых детей – Лидию, Ольгу, Всеволода, Наталью и Веру.

Моя мать, Наталья Петровна Шестакова родилась в Москве, в 1897 году. После окончания гимназии Потоцкой она поступила на Тихомировские женские курсы, где в память об отце ее учили бесплатно, а с 1915 года стала подрабатывать в дошкольных учреждениях. Она продолжала эту работу и после революции 1917 года, начав публиковать первые труды о детском воспитании в сотрудничестве с будущим академиком АПН К.Н.Корниловым.

Казалось бы устоявшаяся жизнь оборвалась в 1923 году, когда ее брат Всеволод, член ЦК партии социалистов-революционеров, был приговорен к ссылке на Соловки, и Наталья Петровна поехала в концлагерь, чтобы навестить брата. По возвращении в Москву она была немедленно арестована, доставлена на Лубянку, а затем выслана в Тверь.

Там в конце 1924 года Наталья Петровна познакомилась с Владимиром Борисовичем Базилинским, выпускником юрфака Петербургского университета, высланным за членство в партии эсеров. В 1925 году он самовольно вернулся в Ленинград, чтобы попытаться тайно перейти через границу в Финляндию. Его арестовали и приговорили к трем годам тюрьмы с последующей ссылкой.

Вскоре закончился срок ссылки Натальи Петровны, она приехала в Ленинград и стала через Политический Красный крест добиваться разрешения поехать в челябинскую тюрьму для регистрации там брака с Владимиром Борисовичем. В 1926 году разрешение было получено, в 1928-м она уехала вслед за мужем в ссылку в Березов Тюменской обл., где через год у них родилась дочь Наталья. Условия жизни были настолько невыносимы для маленького ребенка, что маме пришлось вернуться в Ленинград и ждать окончания ссылки мужа, после чего в 1931 г. семья переехала в Казань, где в 1932 г. родилась я.

В 1934 г. мы переехали в Воронеж, а в июне 1935-го отца аре-

ставали, приговорили к трем годам за «контрреволюционную деятельность» и отправили в ярославскую тюрьму. В 1937 г. его дело было пересмотрено, 3 сентября «тройкой» управления НКВД СССР В.Б. Базилинский был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение на следующий день – за 10 дней до моего пятилетия и за три с небольшим месяца до расстрела его старшего брата Михаила, который к политике вообще не имел никакого отношения. А 15 января 1938 г. в Воронеже был расстрелян и мамин брат, мой дядя Всеволод Петрович Шестаков.

Мама очень любила Москву, но ее жизнь сложилась так, что с 1923 года жить там она не могла. Для постоянного жительства родной город был ей закрыт. За два года до ее смерти в 1967 году я возила маму по новому и старому городу. Как она смотрела! Теперь же, когда сносят и сносят старую Москву, я смотрю на всё это ее глазами и думаю: что бы сказали они, старожилы?

Еще в гимназии мама познакомилась, а вернее возобновила дружбу раннего детства с Верой Перес, дочерью присяжного поверенного Антона Ивановича Переса. Дружбу эту они пронесли через всю жизнь.

Закончив гимназию и женские Тихомировские курсы, Вера Антоновна вместе с Натальей Петровной работала в дошкольных учреждениях, а затем – в Комитете помощи политзаключенным, со дня его основания и до закрытия в 1937 году.

Через всю свою жизнь она пронесла поистине благоговейное отношение к организатору этого комитета и его бессменному руководителю – Екатерине Павловне Пешковой, бывшей жене А.М.Горького. Когда после смерти Веры Антоновны мне пришлось разбирать ее вещи, я нашла пакет с надписью «Самое дорогое»: там лежали фотографии Е.П. Пешковой. В том же архиве я нашла и письма мамы – гимназические, студенческие, письма из ссылок (хранить их было совсем небезопасно). Только прочитав их, я поняла, почему Вера Антоновна подарила мне в свое время том Рабиндраната Тагора, где был напечатан роман «Гора»: именно о нем с таким восторгом писала ей в 1924 году мама.

Прошло уже более двадцати лет после смерти Веры Антоновны

(1982 г.), и я, оставшись единственной хранительницей этих живых документов, предлагаю их вниманию читателей. Перебирая пожелтевшие и ветхие страницы и думая обо всём, что выпало на долю дорогих мне людей, размышляя об окружающей жизни, я всё больше понимаю правоту слов, сказанных мамой еще в 50-е годы: «Горе, которое можно поправить деньгами – не горе».

*Марина Базилинская*

*Письма печатаются в сокращении.*

## **Письма подруге**

**1924-1933 гг.**

*16 апреля 1924 г. Тверь*

Дорогая Вера! Третьего дня получила твою телеграмму\*. Известие о смерти близкого человека снова вводит в круг дум последнего периода жизни. Да, велика тайна смерти. Но истина бессмертия – еще больше. Не замыкается для меня круг жизни – круг бытия – здешним мимолетным бытованием. Вечен мир и един во всех своих бесчисленных элементах. Конструкцией целого обусловлена конструкция части. И подобно тому, как не может исчезнуть мир, не может исчезнуть из него ни один человек...

Много отошло в Нигде, или вернее в Везде, из числа дорогих мне людей. Но ни один, ни на одну секунду не стал для меня несуществующим. Я не могу определить словами своего чувства, т. е. доказать этого. Но одно определенно ощущаю: мертвые для меня несколько не менее реальны, нежели живые. Нет у меня этой невообразимой черты: был – и нету. Я не могу себе ее представить и не могу понять, как можно с нею жить... Вот то, что хотелось тебе написать. Если есть у тебя время и желание – м.б.,

---

\* Товарищи Всеволода Шестакова по партии эсеров, находившиеся в ссылке на Соловках, устроили там забастовку, за что некоторые были расстреляны.

приедешь к нам. Я бы очень этого хотела. И одна у меня просьба: не пиши и не говори о том, что было с Севиными друзьями. Я скрываю это от мамы.

Целую тебя крепко-крепко, Наташа.

*29 апреля 1924 г. Тверь*

Пока что работаю на площадке\* и на уроке.

Читать ничего не хочется. Серьезные книги валяются из рук. Интересует только философская часть самопознания, да книги, которые у меня были по этому вопросу, пришлось отдать, а больше читать не могу. С упоением читала «Гору»\*\*. Посланные тобою книги получила. Больше, чем спасибо... А вот Соловьев еще с большей силой приковывает к себе. И я, например, очень рада, что первым стоит то стихотворение, которое я всегда считала основным: «Хоть мы навек незримыми цепями...»\*\*\*

Вообще же говоря, день проходит в бездействии (в нерабочее время). Думаю сегодня приняться за работу о детском сообществе.

...Живу преимущественно эстетическими эмоциями. Читаю стихи, смотрю книги по искусству, которые удалось достать: Врубель, Рерих, Джотто, Мурильо, Боттичелли. Смотрю на цветы.

Как и чем ты живешь? Пиши мне и приезжай. Я теперь остаюсь совсем в одиночестве, и это очень тоскливо. Но жить все-таки хорошо! Привет Москве. Она все-таки необходима мне.

\* «Детскими площадками» взамен запрещенных библейских слов «ясли» и «сад» назывались в советской России дошкольные учреждения

\*\* Роман Рабиндраната Тагора

\*\*\* Хоть мы навек незримыми цепями  
Прикованы к нездешним берегам,  
Но и в цепях должны свершить мы сами  
Тот круг, что боги очертили нам.  
Всё, что на волю высшую согласно,  
Своею волей чуждую творит,  
И под личиной вещества бесстрастной  
Везде огонь божественный горит.

(Вл. Соловьев // Русские поэты: антология русской поэзии в 6-ти т. – М.: Детская литература, 1996.)

*1 июня 1924 г. Тверь*

Сегодня выкроился неожиданный свободный день: с утра дождь и на площадку не пошла. Не могу сказать, чтобы грустила о ней. Сажу дома и читаю Вл. Соловьева.

Живется как-то тревожно. Смотрю вдаль. Но будущее больше, чем всегда, – непроницаемо. О прошлом думать не хочется. Настоящее не очень радостно.

Но все-таки хорошо уж и то, что нет пустоты. Существует какая-то, хоть и болезненная, наполненность. И это облегчает трудное шагание по жизни. С пустою сумою идти (наперекор всем физическим законам) – тяжелее.

За последние годы я очень полюбила Тверь. И ее церквушки, и травую поросшие улочки, и зазеленевшие речонки. И уезжать отсюда мне жалко. Вообще мне многое в провинциальном укладе жизни очень приглянулось. Работать здесь можно куда лучше, чем в Москве, не распляясь на ее каторжные расстояния и миллионы людей. И человека чувствуешь лучше. Он подходит здесь ближе, и не одной стороной только, оставляя в тени всё остальное, но – целиком. Если я попаду в Москву когда-нибудь, я, безусловно, буду опьянена ее простором и гулом и блеском. С восхищением пошла бы теперь в Щукинскую галерею и даже в Третьяковскую (специально к Врубелю), и в Камерный театр. Их мне сильно и ощутимо не хватает здесь. Но возместили ли бы они мне потерю здешних тихих улиц, жасминовых кустов и сирени, – не знаю. Думаю, что нет.

Живу всё так же. Читаю мало. Т. е. очень много, но всё одно и то же: стихи. Читать систематически что-нибудь сейчас не хватает силы воли. Да как-то и особенно тяги не ощущается. А насиловать себя не хочу. Вообще внешне, за исключением трех часов площадки и полутора часов урока (еще два часа на ходьбу), – жизнь довольно бездейственная. Теперь только осознаю я, насколько отравлены мы привычкою к ежедневным заседаниям и докладам, – их отсутствие выбивает из колеи. А, в сущности, всё это – мишура, «суета сует и всяческая суета». А живу я вот этими строками:

«Не веруя обманчивому миру,  
Под грубою корою вещества  
Я осязал нетленную порфиру  
И узнавал сиянье божества»\*

*1 июля 1924 г.*

О себе не знаю, что сказать. Тяжелое настроение, вообще говоря, сгущается и крепнет. Но в настоящий момент – какое-то успокоение. Почему оно? – Не знаю точно.

Тяжесть же зависит от сознания того, что мы – люди такого психического склада и содержания – выбываем из строя действующих, жизнь творящих людей. Плестись в хвосте жизни я не хочу и не могу. Прекраивать свою личность – не могу. Жить пассивно для меня хуже отсутствия жизни. Где-то должен быть выход. Но где? Быть пассивным зрителем совершающегося жизненного бега – для меня это лишь ступень к самовольному переходу в небытие. О последнем я думаю все чаще и чаще – не под влиянием эмоциональных каких-то передраг, но рассуждая трезво и спокойно. Если в человеческом мире для меня нету места – уйдем туда, где человеческое «Я» доведено до беспредельного слияния со «ВСЕ». Я ведь не верю в присутствие жизни «там», по ту сторону материального воплощения. И это не трусость, но простое ускорение естественного процесса отбывания земной жизни. И лишь одно останавливает меня: «там» мы будем все.

Уйти от этого нельзя. В этот спокой, в котором умиротворяется всё напряжение отдельных индивидуальных волей, мы и так придем естественною чередою событий. И не будет ли ущерба лично для меня, если положенную мне книгу я не дочитаю до последней странички? Вероятно, нужно найти иной выход. Найти какое-нибудь место и здесь, где при всех условиях можно творить и действовать. Ищу этот выход мучительно.

---

\* Вл. Соловьев. «Три свидания».

21 июля 1924 г. Тверь

...Сейчас я – самая счастливая тварь в мире: купила себе скороходовские башмаки за 14 р.40 коп. А ведь чуть было не погубила себя на всю жизнь: никак не могла найти приличного фасона, и мне везде давали уродливые чертовы венгерки, из-за коих я уже давно бы повесилась от боли в большом пальце и от тоски по поводу их уродства.

От Ник. Ник. получаю письма такого содержания: в семье 9 человек, большинство детей; все без работы. Пишет, что не сможет писать так часто, как хотел бы, т. к. «не всегда будут 6 коп. и конверт». Интересное все-таки экономическое равенство... И велика же зависимость наша от экономики. Ведь вот сейчас он не только не может работать там, где предлагают – т. к. проезд, прожитие там – всё требует монет, но даже лишен возможности поддерживать то общение (письменное), в котором сейчас так нуждается.

Но голова все-таки не желает пригнуться и смешаться с придорожной пылью. Как велико во мне уважение к таким людям! Последний год меня угнетает то, что в жизни воцарилась и властвует в качестве основного принципа – морального и житейского – нянькина песенка из «Песни Еремушке» Некрасова:

«Ниже тоненькой былиночки  
Надо голову клонить,  
Чтоб на свете сиротиночке  
Беспечально век прожить»...

Мне все время хотелось встретить в непосредственной жизни такого человека, который восстал бы против этого пригибания к земному праху. И верилось, что встречу дерзновенного человека...

Помнишь из «Небесных верблюжат»\*: «Но дерзкого неженку, барчонка, умеющего говорить правду, я люблю больше героев!»? Нелегко дается жизнь небесным верблюжатам. А из их «нежного золотистого пуха, словно небесное сияние», делали «фуфайки»

---

\* «Небесные верблюжата» (1913) – роман Елены Гуро.

и «набрюшники». Но все-таки лучше жить на свете, когда знаешь о существовании небесных косолапых верблюжат. И потому до некоторой степени умиротворилась сейчас.

Читаю мало и глупо. Разнобродно. Стараюсь достать Пильняка – «Инейный вечер». Он мне очень нужен. Если тебе встретится (только не покупай!!!), то придержи для меня. Я очень хочу его прочесть. Думаю сегодня взять Мечникова и начать читать серьезно, а то развинтилась очень и недовольна сама собою.

*7 августа 1924 г. Тверь.*

«...И душа моя вступила  
В предназначенный ей круг...»\*

Живу... И больно, и хорошо, и светло, и непонятно. Рябина уже красная. В саду астры и георгины говорят, что осень уже у нас. Ездил недавно через Волгу. И потому – в душе еще остались приволья, ветра, волны с барашками. Пусть плохо в прошлом. Хочу идти в будущее твердым и бодрым шагом. Мечтаю о деревне, о школе, о детях... Не знаю, что получится на деле, а в мыслях сделала из своих учеников – гениев. По уму – Мечниковы, по душе – Блоки, по жизнерадостности – Пушкины, по симпатичности – Шестаковы.

*21 августа 1924 г. Тверь*

...Сейчас живу странно. Очень плохое физическое самочувствие при нормальном виде. Всё время кружится голова, и состояние дурмана. Как будто начало помешательства. При этом обострённое тяготение к красоте и чувствование её.

Приезжал в Тверь Камерный театр, была на всех трёх спектаклях. И вовсе с ума сбрела. А теперь читала «Эдду» (скандинавский Эпос) и русские былины. Помешалась совершенно на «Эдде», и если бы не была в хороших отношениях с библиотекарем, то увезла бы её с собою в Воронеж...

*22 августа 1924 г. Тверь*

Ничего... верно, так нужно. Можно жить и жить неплохо, увле-

\* А. Блок. Из книги «Фаина»

каясь чужим творчеством. Подтверждение этому я вижу в «Эдде» – старинной, чужой по духу книге, но пленительной, как всё са-мобытное. И в этих древних, далёких веках находишь, не смотря на их отдалённость и чуждость, – всё же свои, волнующие мотивы:

В меру быть мудрым для смертных уместно,  
Много лучше не знать:  
Редко тот радостен сердцем, чей разум  
Больше, чем надо, узнал...

Не для нас ли это изречение?

Или это – совсем, совсем наше, современное, теперешнее:

Кто незнакомый меня беспокоит –  
Тяжким путем заставляет идти.  
Снег был на мне; орошал меня ливень  
Росы кропили; мертва я давно...

### *25 августа 1924 г. Тверь*

Устала душа, устала голова от обилия дум. Хочется положить голову и не думать... А жизнь требует страстной напряженности дум, чувств и воли. Нить стыдно. И я пытаюсь поставить преграду этому кислоразмеренному состоянию. Иду к людям, которые меня хотят, а для меня они – лишь обстановка. Ладно. Читаю Мечникова. И в этой громадной, мудрой душе нахожу элементы, из которых выстроится будущий покой. В нем мудрость и гармония не примитива, но синтетика. Это недоступно нам, мелким сошкам, в самостоятельном творческом акте. Но можно приближением к чужой мудрости учиться и обретать...

И веришь усталою душою, что «Сорок лет искания рационального мировоззрения» и на твоём личном пути увенчаются «Этюдами оптимизма»...

### *1 октября 1924 г. Тверь*

Дорогая Вера! Со вчерашним днем Ангела поздравляю тебя.

Я не забыла об этом дне, но просто на душе было таковское состояние погоды, при котором писать трудно. Очередной период депрессии ликвидировался вчера. Вернулась домой и принялась за энергичную уборку (в этом всегда выявляется победа над собой). Никого не было дома. Я пошвыряла всё на пол и принялась скрести и мыть. И только для вящего вдохновения поставила на видное место букет осенних листьев.

...Живу я усиленно, быстрым и бодрым темпом. Всё время заполнено интересно. Очень довольна обоими уроками: с 7-летним мальчиком и 16-летней девочкою. С одним увлекаюсь сбором шишек и раковин, с другою – литературою...

### *23 октября 1924 г. Тверь*

Очевидно, не всё проходит без наказания, и милая моя Москва окончательно на меня осердилась за то, что я ее сильно и зло ругала полтора месяца тому назад. Но ведь я ее уже давно люблю по-прежнему, а она всеми своими людьми всё молчит-молчит-молчит...

Живу... Сегодня день моего 27-летия (старость уже за ближайшими дверями стоит и улыбается) и годовщина прибытия в Тверь. Сейчас «утро осеннее бледное». Вечером будет кутерьма.

Да, живу... Плохо ли, хорошо ли – нет времени размышлять. Но одно знаю: «так сделать жизнь единой дрожью». Дрожь эта пронзила всю жизнь и болью, и радостью. Хочу ли чего-нибудь иного? Нет, ничего. Хотя временами и не достает покою... Но это скорее достоинство, чем недостаток.

Есть, к сожалению, и неприятности иного характера, о которых писать не хочу, но они сгущаются. Очевидно, для того, чтобы еще больше оттенить «удачи» моей жизни.

Приедешь? Напишешь ли?

### *8 ноября 1924 г. Тверь*

Ждала-ждала тебя как путную, как честную. Считала недели, потом дни... И только собралась отсчитывать часы, как узнала, что не приедешь. А ждала тебя не только я, но и все мои близкие.

Ждали, ждали... и остались в тверском кругу. Ну, что же поделаешь? Хотя и печально, хоть и злюсь, но всё же пишу, живу, живу... День проходит, как всегда, «в сумасшествии тихом» (Блок). Последнее время переживаю тяжелейшее чувство сильнейшего упадка. Когда душевная усталость переходила в полное психическое равнодушие, с одной стороны, и физическое недомогание, с другой. Есть люди, которые, в сущности говоря, мне близки, другие только безразличны, а временами вызывают отвращение. Я совсем не имею возможности быть одна. Как только освобождаешься от работы, приходят люди, которые требуют только твоего внимания, всецело твоего присутствия с ними. А я слишком привыкла к одиночеству, и потому это меня тяготит.

Теперь стало легче. Пересилила свою усталость, но все-таки «неудач» больше, чем достижений. Куда вынесет волна – не знаю... Чувствую, как быстро и верно уходит молодость и идет – не старость, но зрелость. И от Блока постепенно перехожу к вещи мудрости Пушкина: «Телега на ходу легка, /Лихой ящик – седое время – /Везет, не лезет с облучка...» – и в этом жизнь.

Последнее время вдруг до отчаяния потянуло к Москве. Закроешь глаза – и видишь Тверскую, яркие окна. Даже слышишь звон трамваев. Но вместо этого – моя тверская светелка, диван, Блок и несколько близких человек, выброшенных на берег одной и той же волной. Все мы здесь – беспочвенные, оторванные от своих корней. Все дорожи друг другу, любим друг друга, и, м.б., только это перепутанное, переплетенное чувство взаимной любви и дает хоть некоторую зыбкую основу жизни. Но мало в ней прочности, слаба основа. Пока что держит. А дальше...

Сейчас вечер. Через час придут люди. Надо будет быть спокойной, радостной, веселой, чтобы своими невзгодами не мучить их непрочного покоя. Уйдут – и снова нападет тоска. Так ускользает маска спокойствия, обретенного причала. Ибо его нет, нет. И лишь для того, чтобы умиротворить дух более слабых и еще более мятежных, надеваешь эту маску величавой мудрости и умиротворенности. И они уходят от меня успокоенные и не знают того, что мне-то вовсе, вовсе не легко.

*20 декабря 1924 г. Тверь*

...Живу последнее время неважно. Месяц сидела без дров, что отразилось на ноге. Спасаясь от холода, ходила ночевать к Юл. Павл., что брало много времени и сил. Завтра покупаю дрова, а посему чувствую себя счастливой. Не пошла сегодня на урок и буду мыть пол с вдохновением, но со скорбью. Скоро Рождество, а меня все забыли...

Я все-таки жду тебя и очень грущу. Привези «Москву кабацкую» Есенина и «Последнюю главу» Гамсуна. Мне бы хотелось справиться Рождество уютно, но меня раздражают два стиля. И не знаю, когда справлять. Сержусь.

*29 декабря 1924 г. Тверь*

...Сейчас я живу только одним человеком\* и стремлением избавить его от боли, страшной участи, от гибели. Чувствую, что и этот бьющийся в тоске мальчик никогда не уйдет из моей души, из моей жизни: он слишком вошел в нее и слишком поглотил меня собою. Поглотил так, что нет жизни моей вне моего отношения к нему. все поступки обусловлены им и стремлением сделать ему лучше. не всегда это удается, глупая это черта, идиотская, но не могу пройти мимо человека, когда он нуждается во мне.

*10 апреля 1925 года. Тверь*

Получила, получила, получила твое письмо!!! Жизнь? Хотя, м.б., слишком много радуюсь сейчас... «Так хорошо, что хочется плакать» – частые его слова. Но не пересилило ли «желание плакать» и не было ли горьких сожалений о невозвратности, недосягаемости?

И не было ли сознания еще большей затерянности и бесприютности? И что теперь в этой далекой, хотя и близкой душе? Ну, ладно... Ведь этого всё равно не представить. А в дальнейшем покажет жизнь сама. Если дойдет мое пись-

---

\* В конце 1924 года Наталья Петровна познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Борисовичем Базилинским.

мо, буду счастлива. А почему бы, зачем ему не пойти?!

Я не поняла относительно второй посылки для В.Б.\*

1. Почему посылается не всё?

2. Что именно не пошлетя?

3. Как же тогда поступить со списком?

Мне бы очень хотелось, чтобы пошло по моему списку. Белье все-таки перешлите. Если даже там белье имеется, то не из-за самого белья, а из-за меток, т. к. эти буквы его очень порадуют (не смейся). На днях пошлю две книжки, если смогу их здесь достать. Спасибо тебе за всё. Подходит невеселая Пасха. Невеселая психологически, да и материально. У меня опять остался один только урок из-за Юриной скарлатины (Таня выздоровела), и, очевидно, Пасху встречу только тремя пучками вербы.

*27 апреля 1925 г. Тверь*

Дорогая Вера! Вчера получила твое письмо от 24 апреля. Спасибо за всё, а, главное, – за внимание к В.Б. Мне это, конечно, важнее в данное время, чем к самой себе.

Сначала деловая часть. Разве ты не получила на Страстной бандеролью две книги для В.Б. (Ключевский – «Письма» и Межковский – «Декабристы»)? Ты пишешь только об одной книге, которая была в посылке. Ведь моя посылка пошла без моей записки? Очень жаль, если так. Книгу (или книги, если они получены) пошли поскорее. И вот каким путем: срежь надписи, и пусть идут просто так... Жалко...

Как живу?.. Да ведь Судьба любит меня сталкивать с людьми, несущими большую скорбь, горе. А я настолько радиоактивна, что начинаю жить их болями. В данное время – с трех сторон натиск; мучительное разрывание во все стороны, и в результате – никому ничего... Ну, о В. и так всё понятно. Он источник и муки, и счастья. Да если б я получала от него письма, я б действительно была счастлива. Но...

Плохо ли живу? Не знаю, Вера. Ведь я – я. И не условия меня

---

\* В.Б., Вл., Вл.Б. – Владимир Базилинский.

определяют, но я оформляю их. Я ведь никогда не могу «жить покоем». И никогда счастлива не буду тою формою счастья, которая держит душу на одном уровне. У меня всегда будет бултыханье. А в данное время этих бултыханий так много, что жизнь ими полна. А значит, – живу не зря. А значит, – хорошо. Тебе страшно, что я могу сказать «хорошо», если В. так скверно сейчас? Ты права, но не совсем. Потому что в этом «хорошо» так много горечи и боли, а те тоненькие ниточки света, которые пронизывают его целиком (или точнее – в большинстве случаев), обусловлены существованием его, этого непутевого сорви-голови.

Хочу уехать из Твери. Наметила переезд на конец мая, но не вытяну материально. Очевидно, придется задержаться, чтобы подработать. Живем теперь дома. Хоть бы когда-нибудь приехала! Если я сказала, что уступаю В. часть твоего внимания к себе, то это не значит, что уступаю самой себя.

Смотрю на Волгу, она помогает жить. Но и огорчает глубоко. Ведь она так спокойно течет из Твери в Ярославль, ни о чем не думая. А, впрочем, как знать? М.б. и в этих ясных весенних струях – своя боль? Ведь они так неумно бегут-бегут, спешат. Но вместо этого попадают в замкнутый Каспий. Разве это не трагедия?

А всё же с каждым днем ближе Питерская жизнь. Хоть и жаль мне Твери, говорю искренне. Мне всегда больно отрываться от комнаты, улиц, домов, так что я – фетишистка. Ведь уже все кривые улицы одушевлены здесь. И, уезжая отсюда, я оставлю свою часть. И кто знает, не лучшую ли? А всё же:

Благословляю эту долю,  
Я лучшей доли не искал.  
О, сердце, сколько ты страдало,  
О, разум, сколько ты пылал!  
(Блок)

Приехала б на денек! Мы б не поступили теперь так глупо, а пошли бы на Тверцу в зелена куда-нибудь. Пора, пора, приезжай! М. б., 1 мая? Буду ждать, целую крепко.

PS Книгу-то я просила не для себя, а все для него же. Он

ведь помешан на Салтыкове, а для меня это – не очень близко.

### *14 мая 1925 г. Тверь*

За посылку спасибо большое. А красное яичко я приняла за восковое, и оно пролежало много дней на столе. И только потом, в голодную минуту, расколупала и была счастлива.

От Вл. получила два письма. И хорошо, и печально. Особенно тяготит такое ограничение в числе писем. Ему нужно писать еще матери. И вот получается, что одна из нас обрывается на одно письмо в месяц. Это очень тяжело, а в данное время, когда мы только идем в направлении друг к другу, – особенно. Напиши мне, Вера, очень тебя прошу.

Получила ли бандеролью «Письма» Ключевского и «14 декабря» Мережковского. А то не смогу их вызволить с почты. В разное время мною послано тебе вот сколько книг:

Салтыков – «Сказки» (в посылке почтою) – 1 апреля; Ключевский – «Письма» и Мережковский – «14 декабря» (бандеролью) – 15–16 апреля; Генри – «Пути, которые мы выбираем», Генри – «Марионетки», два номера «Шахматного листка»; шоколад – с рыжею Валькою 5 мая; Уайльд – «Портрет Дориана Грея» (на англ. языке), Тагор – «Гора», Шолом-Алейхем – «Дачные усадьбы» – с женою Ник. Сав.

Возьми на них разрешение и пошли от меня. Он очень ждет этих книг. Я уже ему писала. Боюсь, что теперь они уже опоздают в Ярославль. Но всё же попытаемся. И напиши мне о результатах. Я живу смутно. И хорошо, и плохо. Трудно и долго идут месяцы, а их ведь тридцать шесть\*.

### *Май 1925 г. Тверь*

...Мне неловко и неприятно писать о себе, когда ничего не знаю о тебе, о твоём настроении, самочувствии в данное время. Роптать на Судьбу не буду, она слишком милосердна к своей непокорной, строптивой и шалопайской дочери.

Получила несколько дней назад письмо из Ярославля – и счаст-

---

\* 6 месяцев, 3 года – срок В. Б. Базилинского

ливый по сему случаю человек. Все сомнения разлетелись. Знаю, что нужна моя ничемная жизнь для того хотя бы, чтобы радовать малорадостную жизнь своего недолгого попутчика. А для меня этого вполне, с избытком достаточно. Жизнь свою считаю оправданной. Много горестей и позади, и в настоящем, и в будущем. Но без них, очевидно, нельзя, да и не надо... Можно и с ними быть и жить.

Тоскует без книг. Потому пошли скорее Салтыкова. И обязательно ответь, получила ли бандеролью две книги. Если нет, то я их буду тут вызволять на почте. Если сможешь достать «Письма» Салтыкова (изд. Госиздата), пошли ему же. Ну, вот. Да, меня удивило, что В., говоря о трехлетней разлуке, ничего не пишет о переезде на север. М. б. он будет зимовать здесь? Спроси и напиши. Целую и жду письма, тебя.

### *26 июня 1925 г. Тверь*

...Вновь нашли друг друга\*. На радость ли? На горе ли? Бог весть. «Я из таких, что счастье приношу на миг, а тревог и забот на годы», – пишет В. Б. Но ведь и я из таких, что не могу пить счастье день и ночь. Всё равно отравлю. Пока что счастье дают письма... Быть может, удастся свидеться... Ну, а там... Настоящее нереально. Еще более загадочно – будущее.

В прошлом – вечера осенние перед топящейся лежанкой. Они врезались в жизнь навсегда. И вот переломили ее. Железная решетка связала крепко воедино, чтобы разъединить. Теперь уже отойти нет сил (да и желания). Хотя и не знаю, что я могу ему дать. Не вообще, а теперь, вот в этих условиях. Писать глупые письма... Мало в них толку. Он бодр духом, хотя последнее письмо меня встревожило и огорчило – какое-то колебание в настроении. Книги он получил, но почему-то девять вместо десяти.

Из приведенного им списка вижу, что не дошел Генри («Дороги, которые мы выбираем»). Не знаешь ли, где затерялся? Я фи-

---

\* Письмо написано после свидания с Базилинским

зически чувствую себя дюже плохо. Уже три раза на улице поднимали без чувств.

*23 октября 1925 г. Тверь*

Решила отругать тебя на все корки, да ты и заслуживаешь. Ты меня совсем доконаешь сообщением сведений, из которых одно уничтожает другое. Это касается вопроса о моей поездке. Если б ты могла себе представить, насколько вопрос этот серьезен и для меня, и для Вл.! А потому пойми и степень моего усилия все выяснить.

В августе я получила отказ. Пережила его достаточно болезненно, но всё же пережила. Потом я получила весть от Вл. (от 1 сентября). Он писал, что ему «подали новую надежду». Я тогда же запросила тебя, является ли это недоразумением или имеет какие-либо основания. Ты мне ответила, что можно будет повторить попытку, указав, что я – жена. Я очень прошу тебя ответить мне немедленно:

1. Какая же версия правдива?
2. Чье это было мнение – возможность повторить попытку?
3. Если была такая возможность, то почему исчезла?

А затем сообщаю, что я могу взять в домоуправлении справку, что я – жена, и Вл. хочет зарегистрировать наш брак (если я к нему попаду, то это можно сделать на свидании) и говорит, что надо это указать в заявлении. Узнай и напиши, есть ли в таком случае надежда. Мне кажется, что была сделана ошибка, когда мне был дан титул невесты. Но что можно иметь против жены, я не знаю. Я тебя страшно прошу ответить, заклинаю тебя самым дорогим. Но не знаю, чем. Я уже совсем было решила в декабре ехать в Челябинск (знаете ли вы, что Вл. и др. уже там?), а вчера мне совсем подрезали крылья.

Пиши же скорее. Seriously, если бы ты могла себе представить, как треплются нервы! Я эту ночь не спала ни минуты.

Твоя Наташа.

27 декабря 1925 г. Питер

Дорогая Вера! Тебе, вероятно, было обидно, что я уехала так стремительно. Хочу написать в оправдание свое несколько слов, и, м.б. ты поймешь меня. Ведь несмотря на всю чепуху, что я болтаю, и на всю свою бесшабашность, мне отчаянно тяжело сейчас.

Тяжело было в Москве. Ведь где бы я ни была, о чем бы ни говорила – у меня в душе всё время одна мысль, одно чувство. И мысль эта – тяжкая, и чувство – болезненное. В театре и то у меня всё время перед глазами один образ. И оттого я так беспокойна. Когда я была в Москве, вокруг были свои, близкие, родные люди. Они любят меня и сочувствуют мне! Но мне было среди них еще тяжелее, так что я чувствовала себя среди них еще более одинокой.

Почему? Потому что в моих переживаниях они видят лишь одну сторону – что страдаю я. А между тем теперь страдаем *мы*. Но для всех Вл. или не существует вовсе, или существует лишь как объект моего страдания. Меня тянуло в его семью, где б его образ был дорог не только мне. И это я нашла здесь. Но даже здесь, в его семье, где существует культ Володи, где имя его окружено ореолом, я чувствую себя совсем одинокой. И надо принять это одиночество. У всех – своя жизнь.

Ясно, что жить только им они не могут. А я живу только им.

По-прежнему дергаюсь и извожусь безумно. И больше всего меня мучает мысль о том, что дергается Володя. Ведь я по себе знаю, как натянулись нервы за эти полгода, с того дня, когда я подняла вопрос о поездке. Я совсем издергалась от этого. А во сколько раз вопрос этот острее для него! Нервы тоже имеют предел для своего перенапряжения.

Тяжело и больно.

Целую тебя и жду известия, Наташа.

5 января 1926 г. Питер

Дорогая Вера! Опять уже жалею, что уехала из Москвы. Не потому, что хотела б воспользоваться веселой стороной московской жизни, но потому, что снова в полном и абсолютном неведении. А это тяжело бесконечно. От Володи было на днях очень тяжелое

письмо. Пишет, что чувствует себя плохо в смысле нервов. А если это написано, значит, на деле вовсе плохо. Здесь я не устроилась ни в одном отношении. Работы нет, нет и помещения. У меня к тебе ряд просьб, и очень прошу ответить:

1. Есть ли хоть какое-нибудь продвижение с моим делом? Положительное или отрицательное? Говорила ли с кем-либо К.П. или с моим отъездом забыла обо мне вовсе?

2. Что она думает о том, если я сейчас перееду в Челябинск? Не будет ли это иметь плохого влияния на мое дело? Вл., между прочим, этого боится. Но я не знаю, насколько он прав. А это единственный способ оказать ему материальную помощь.

3. Не сможешь ли прислать мне самую минимальную субсидию – рубля 3–4, ибо я прогорела дотла.

В надежде на службу с обедами послала Вл. посылку, а служба прогорела, и я осталась не только на бобах, а на воде. Но это ничего. Лишь бы перспектива была более или менее удовлетворительная.

*6 января 1926 г. Питер*

Сегодня устроилась на работу в очаг\*.

... Не найдется ли у вас верхней фуфайки, чтобы послать Володе? У него нет шубы, легкое пальто. А я совсем не могу сейчас осилить этой вещи. Напиши обязательно. А то я постараюсь купить.

*8 февраля 1926 г. Петербург*

Дорогая Вера! Твое письмо и деньги я получила!!! И с громадным запозданием – благодарю тебя. Я живу по-прежнему. Работаю в детском саду. Получаю 44 р. За комнату плачу 20 р., так что материально устроена слабо. У родственников бываю часто: примерно раза два в неделю. Они – люди славные, и ко мне хорошо относятся.

Большую часть времени провожу в детском саду. Очень много сплю. Мало читаю. Живу глупо. На разрешение махнула рукой. Володя уже давно это сделал, я его убеждала в обратном, но теперь перестала. Устала надеяться и этими надеждами жить. Ни-

---

\* Советское наименование детского дошкольного учреждения.

чего хорошего больше от жизни не жду. Знаю, что всё, что могло еще развернуть свои хорошие стороны, давным-давно прошло.

Володя взывает к бодрости: «Прекрасна жизнь, и весь ее смысл в борьбе». Не хочу такой жизни и такого бессмысленного смысла. Если «бороться» надо за каждый глоток воздуха, то жить не стоит.

Что хорошего в этой борьбе, если она поборола Есенина – человека с такою жадною к жизни душою? Вообще к чему всё? К чему наша с Володей «борьба» с теми препятствиями, которые стоят между нами? Моя далекая, недоступная близость причиняет ему лишь страдание.

Дать ему не могу ничего. И если даже пройдут эти два года, оба будем ни к чему не способны.

Думаю, что всё абсолютно ненужно и абсолютно никчемно. Тебе спасибо за очень-очень многое – и внешнее, и внутреннее. Перечислять не буду, так как займет слишком много времени и места. Думаю, что все радости жизни остались в далеком прошлом.

Целую тебя. Передай мой привет всем, кто меня знает, Наташа.

*28 августа 1926 г. Челябинск*

Дорогая Вера! Давно уже не писала тебе по-настоящему... Уже два раза видела я Володю и могу теперь сказать, что уже никогда не буду бояться к нему ехать. И сегодня окончательно умерло сомнение, которое нет-нет да и копошилось в душе: а есть ли правда в этих отношениях? Так ясно вижу теперь его и так ясно чувствую, что нельзя не любить человека с такою большой душой. Эта встреча утешила меня во всех смыслах: теперь вижу, что он чувствует себя физически совсем не так плохо. И это утешает.

В общем, он надо сказать, юноша легкомысленный: пришел в дикий восторг от цветов, которые я ему подарила, и сообщил мне, что раздарил их (правда, не все) дамам. И говорит, что товарищи его в этом упрекали: «Для этого Вам дарили?». А он смущенно спрашивает меня: «Ведь ты для этого дарила?». Ну, что скажешь!

Чернильница тоже произвела странное впечатление: он ее «бо-

ится». Говорит, что никогда не имел хороших вещей и боится сломать. Странное отношение к подаркам! Брюки произвели фурор, так как предыдущие сваливались уже. Теперь он очень элегантен. Стал красивым, похож на Анатэму\* (красота не только от брюк!).

Все вещи для других понесу во вторник (31-го авг.)

Пока что я чувствую себя счастливейшим существом и отдыхаю душою и телом. Я привезла сюда хорошую погоду, за что получаю уже незаслуженные благодарности. В Челябинске мне очень нравится, и я уже обещала Володе, что как только он приедет в Петербург, я перееду в Челябинск. Он сердито сверкает глазами и говорит: «А все-таки жить будем в Питере!», но я всё же уродничаю, – благо впереди еще несколько часов встреч.

Очень жду списка книг и, конечно, ордера.

Да, мы получили разрешение зарегистрировать брак, что и совершим в понедельник, если не спросят с меня метрики...

Если можешь, то поспеши.

Целую тебя, Наташа.

### *20 ноября 1926 г. Петербург*

Дорогая Вера! Не думай, что я собираюсь замотать перед тобой свой денежный долг, он меня грызет бешено. Когда я вернулась в Питер, начались всякие служебные передраги. Чуть было не осталась без работы. Все это время стучалась во все двери по приисканию второй работы, но пока что ничего не вышло. В одном месте, где были все шансы устроиться, мне ответили: «Вы слишком большая величина, чтобы предлагать вам такую маленькую работу»... Я вышла тебе в два приема, а ты не сердись, или сердись, но не кляни.

У меня бывают приступы такого отчаяния, что жить в миллион раз труднее, чем не жить. Останавливают от всяких решительных мер лишь мысли о Володе. Но счастья с ним я не жду... Его здоровье всё ухудшается, возможности поддержать его силы нет никакой.

Никогда так не страдала от материальной неустроенности, так как в данное время от нее всё зависит – и возможность видется,

---

\* Анатэма – герой одноименной пьесы Леонида Андреева

и возможность увеличить его жизнеспособность. Тяжелее всего, что есть руки и есть голова, а работы нет и нет надежд на нее, ибо все, какие были, уже рухнули. От этого – поганое чувство бесилия и беспомощности, до крика доходящая боль в душе. И вообще – гадко.

Целую тебя крепко-крепко.

### *5 декабря 1926 г. Петербург*

...Живу я сейчас очень тяжело: от Володи со 2 октября нет писем. Последнее письмо было очень тяжелое. Одно время совсем сходила с ума, послала телеграмму две недели тому назад. Получила ответ, но письма все-таки нет, и я не вполне уверена, что телеграмму писал он.

Иногда бывают приступы такого отчаяния, что кажется – не пережить этого времени. Потом опять как-то справишься и живешь... Если б знать, что В. останется жив, то жила бы бодро и спокойно. Прошло уже 23 месяца, а впереди «всего» 15. Но вечная мысль о том, что за эти 15 месяцев может случиться всё, что угодно, приводит в отчаяние. Последняя поездка дала мне очень много в смысле сближения, несмотря на все дикие условия наших встреч (не помню, писала ли я тебе, что мы зарегистрировали свой брак). В бытность мою в Челябинске опять появились в душе какие-то намеки на звучальность, и вырвалось следующее, что выражает меня сейчас больше всего:

...Отдохни! За годы долгой боли  
Только раз вздремни покойным сном  
И опять лети в свои раздолья,  
Воздух режь отточенным крылом...

Да, впереди бесприютность, но она манит к себе, зовет, и ни на какую тишь ее не променяю. Но эта встреча, эти встречи там, в тяжелых условиях, дали так много, что теперь нет никаких сомнений. Знаю: для того, чтобы окончательно сблизиться душою с Вл., нужно еще очень много усилий с обеих сторон.

Но уже за эти годы, даже при разделенности тысячами верст, сделано в этом смысле очень много.

Как-то недавно я представила себе, что, м.б., когда-нибудь мы приедем с ним в Москву, и я смогу привести его к тебе на «зеленый диван». Жаль только, что это будет не в Шереметьевском переулке...

Единственную и очень большую радость дают ребята, с которыми работаю так, как давно не работала, давая им много-много. У меня в этом году новая группа – двух и трех с половиной лет. Очень удачный состав.

### *12 декабря 1926 г. Петербург*

Несколько дней тому назад получила письмо от Володи. Чувствую себя теперь много лучше и спокойнее, но всё-таки...

А всё-таки, Вера, несмотря на всё новое, что вошло в жизнь, то старое-старое не забывается. И мне бы хотелось вернуться хоть на один день в Шереметьевский пер. и то, что было вокруг него. Гимназию, первую колонию, курсы... Как свежа была тогда жизнь и насколько лучше были мы! Не находишь ли ты?

### *13 июня 1927 г. Петербург*

... Живу опять тревогою, ничего не зная и ничего не понимая. Волнуюсь до бесконечности отсутствием вестей. Ощущение жизни странное: больше всего ощущаю ее со стороны избытка света и воздуха, и даже солнца, несмотря на весь ленинградский минимум.

Последнее время всё чаще и чаще склоняюсь к мысли, что еще не всё тяжелое изжито и впереди еще бесконечно много самых тяжелых испытаний. Вот второе свидетельство о жизни предыдущих месяцев:

...Изомлели снежные дали,  
Синь небес за решеткой окна...  
Мы положенный круг отстрадали,  
Горький кубок испили до дна!  
Неужели же солнце весеннее

Не растопит набухший лед?  
Неужель эта капля последняя  
Нерацветшее счастье убьет?

Читаю сейчас Горького, всё подряд, и считаю это единственным утешением в жизни. Жить очень мерзко, очень больно и как всё-таки, несмотря ни на что, – чудесно!

*21 февраля 1928 г. Петербург*

Дорогая Вера! Постараюсь написать тебе несколько строк... Маме все хуже и хуже. Вере лучше \*, но ее поправка в наших теперешних условиях будет неважная.

Теперь о Володе. Ведь он уезжает ровно через две недели – 6 марта. На днях получите просьбу послать ему на дорогу денег. Их надо будет послать телеграфом. Обязательно меня известите скорее, послали ли эти деньги.

Трудно мне всё-таки писать. Через 2-3 месяца мне предстоит уехать, а я не знаю, смогу ли это сделать в связи с мамой.

Вообще мне сейчас очень трудно. Стараюсь не думать и не решать: «Всё решится само», – утешаю себя. Но так ли? Быть с Володею сейчас мне нужнее, чем когда-либо, а осуществить это еще труднее, чем раньше. Не знаю ничего, и тяжело мне. Что касается наших с тобой взаимоотношений, то ведь они из той породы, что складываются на всю жизнь, а потому не боюсь и долгих перерывов в общении.

*7 апреля 1928г., Петербург*

Дорогая Вера! Получила на днях телеграмму от Володи из Тюмени, куда он просит адресовать ему письма. Если есть возможность, пошлите ему денег (Тюмень, Исправдом), так как я совсем зашилась. Маме очень плохо, с каждым днем становится хуже. Настроение у нас, конечно, очень тяжелое. Беспокоит меня Вл., так как давно уже не имею возможности посылать ему.

---

\* Татьяна Сергеевна Посникова умерла от рака летом 1928 г; младшая сестра Вера Шестакова переболела тифом.

Напиши, пошлете ли. Он получил Тобольский округ, пока без указания города. Пишу мало, а сказать хочу много. Вера вернулась из больницы и уже работает. Целую тебя крепко.

Наташа.

*15 августа 1928 г., Березов*

Дорогая моя Вера!

Вот уже третью неделю живу здесь. Первый вопрос, который – знаю – встает в твоей душе: «Ну, как?». Писать трудно об этом (вечный припев моих писем)... Но одно скажу тебе вполне уверенно и твердо: «Мне хорошо». А ведь ты знаешь, как трудно угодить мне, как я умею всегда находить всякие «но». Сейчас их нет. ...Живем мы хорошо, хотя никак еще не можем уложить себя в 24-часовую норму суток. Смеемся много, хмуримся мало, узнаем друг друга быстро, дружим крепко. В комнате у нас хорошо и светло, на душе бодро и ясно.

Сейчас утро, свежее и хмурое. Ходила на пристань за рыбой, но не достала. Видела семью остяков у костра, грязных и рваных, но в расшитых бисером костюмах. Теперь дела... Со служебным нашим устройством пока еще ничего не выяснено. Надеюсь, что устроюсь с 1 окт. в школе, куда подала заявление. А сейчас пришлось кликнуть клич по родным и друзьям, так как к 1 сентября остаемся на мели. Обращаюсь с тем и к тебе: сколько будет возможно, переведи телеграфом – Березов, Тобольский округ...

Целую тебя, Наташа.

*18 сентября 1928 г., Березов*

Дорогая Вера! Поздравляю тебя с именинами. Знаю, что письмо запоздает, но не моя в том вина, что так глупо-редко ходят пароходы... Я послала тебе телеграмму с просьбою выслать картон и цветной бумаги. Дело в том, что я надумала здесь делать наглядные пособия, и до окончания навигации мне очень нужно получить материал. Как только получу за них деньги, возвращу тебе стоимость материала. По моим расчетам там должно быть рублей 10. Так или нет? Чтобы сразу покончить с неприятной

«деловой» стороной, повторяю, что сейчас очень-очень туго приходится в денежном отношении, и очень прошу, если есть возможность, выслать телеграфом, что можешь.

Живу в других отношениях больно дюже хорошо. Лучше Володи людей не встречала. А если кто-нибудь осмелится мне сказать, что бывают лучше, прямо объявляю: «Врешь!». Хотелось бы только иметь возможность создать ему после лет лишений – условия, восстанавливающие силы, которые достаточно подорваны.

Жду письма. Здесь всё-таки тоскливо. Пиши о театре, о Чехове. Я здорова, чувствую себя прекрасно. Целую крепко. Наташа. Привет всем.

### *28 декабря 1928 г. Березов*

...У нас была распутица, стала зимняя дорога, и, б.м., скоро уже наступит новая распутица. А письма от тебя всё нет и нет. Ну, да ведь это молчание в порядке вещей. В порядке вещей и моя назойливая болтовня. А потому начинаю болтать.

Всё тихо и мирно в наших северных палестинах... Встаю затемно, ибо светает теперь к 9 с половиной, и выхожу «по морозу» (за 30 бывает) в школу. Возвращаюсь из школы к двум. Вижу худую фигуру, склоненную над столом. И вспоминаю Блока:

А я склонен над грудой книжной,  
Высокий сторбленный старик...

Кормлю старика манной кашей и ухожу в кухню (не потому, что меня не пускают на барскую половину, а потому что – «дела»... В воскресенье и четверг по вечерним улицам проезжают 6–7 нарт. Колокольчик «будит сонный воздух», встряхиваются в своих комнатах люди, занесенные сюда из разных краев, и во всех головах одна мысль: «Почта!». На завтра идем в деревянный домик на краю села и получаем вести из дальних краев.

### *23 мая 1929 г. Березов*

...Теперь живу уже новым существом, которое скоро поя-

вится на свет. Это – большой перелом. Пора остепениться. По-видимому, сожалея об уходящей нестепенности, пока что вовсю дурачусь, хотя блеснул уже первый седой волос. Осень приближается... Весна заглянула, однако, и к нам. Сегодня тепло и ясно. Идет лед на Сосьеве, и есть надежда на то, что когда-нибудь придет и пароход. Если он привезет от тебя хоть два слова, напишу тебе побольше, а пока замолкну. Так как временами всё-таки является каверзная мысль: а вдруг при чтении этого письма, как и предыдущих, ты шлешь мне не очень лестные ответы! Мало верю в это, но всё бывает в жизни, особенно сейчас, когда она так оголенно оскалила зубы.

*28 сентября 1929 г. Березов*

Живем изо дня в день. Два месяца с небольшим я работала в яслях. Было трудно, но хорошо. Теперь опять безработная. Отдыхаю, готовлюсь к скорому прибытию в мир человека, которого долго ждала. Заботами друзей он сейчас вполне обеспечен всем имуществом, которое требуется его породе. Скоро обновит все свои одежды и перевернет вверх дном весь наш строгий семейный уклад.

Внешняя сторона нашей жизни в этом году обещает быть суровой, так как норма продовольствия здесь весьма миниатюрна (сахар – 500 гр. в месяц, масло 300 – гр. в месяц и т. д.), а для людей вроде Володи не полагается и этого. Писать об этом скучно и неинтересно, но для того, чтобы уяснить фон, на котором разворачиваются небогатые события нашей жизни – приходится.

О тебе хотелось бы знать что-либо большее, чем то, что ты существуешь. Если будешь писать, пошли заказным: пространства, нас разделяющие, многое хоронят по пути в реках, болотах и лесах. А знать хочется, что творится с близкими мне людьми.

Где ты была летом? Видишь ли ты моих сестер? И каковы новости театрального сезона?

Я живу сейчас очень хорошо. Рада, что «вернулась домой» – во время работы в яслях бывать дома не приходилось. Теперь отдыхаю физически и духовно в тишине нашей (очень хорошей) комнаты и рада тому, что вокруг снова стало уютно. Вошла снова

в роль домашней хозяйки; убираю и стираю. Читаю понемножку. Смотрю, как быстро облетает листва на деревьях, и быстро-быстро приближается зима.

Большой город где-то далеко в воспоминании. С трудом верится, что он есть. Но звон трамваев вспоминается отчетливо.

Наша связь с цивилизованным миром в виде еженедельного прихода пароходов оборвется через 10–15 дней. Опять залягут снега. И не один еще раз.

Порою бывает тоскливо. Но пока еще нет сожаления, что приехала сюда. Оно является лишь в те моменты, когда Володя «закапчивает» примус или плохо метет пол. А так – все в порядке...

Пиши. И пусть хоть одно письмо дойдет. Всем привет и благодарность. Наташа.

И опять просьба: в наших краях нет возможности купить бумаги и конвертов, потому всюду рассылаю зов хотя бы о нескольких листах.

*30 ноября 1929 г. Березов.*

За моря, за океаны,  
Где царевна спит.  
Спит в хрустальной,  
Спит в кровати  
Долгих сто ночей,  
И зеленый свет лампы  
Светит в очи ей... (Блок).

Дорогая Вера! За моей спиной в деревянной белой кровати только что перестала кричать и уснула маленькая, черноволосая, лохматая, сероглазая царевна. Вот уже второй месяц пошел, как явилась она на свет, и как-то по-другому теперь живет...

Несмотря на то, что явилась вопреки моему желанию, перебежав дорогу в этот мир у маленького Борьки, – заняла она почетное место, и случилось это уже в тот момент, когда я впервые увидела ее, – отчаянно смешную. Тогда я ей простила, что «она» – не «он».

*3 декабря 1929г. Березов*

Опять сижу за столом, и опять за моею спиной раздается громкий плач, время от времени прерывающийся отчетливо произносимым: «Ля!» (этот звук нас очень умиляет). Как же описать нашу девочку, чтобы составилось о ней представление?

Трудно...

Кричит много, спит маловато. Кроме еды, есть два утешения: сосать свои кулаки и смотреть на свечу. Кулаки сосет с упоением. Хорошо, что теперь эти маленькие неловкие кулачки научились скоро находить дорогу в рот. Раньше их никак не удавалось изловить: руки с растопыренными пальцами летали около лица, и слышался отчаянный рёв.

Если во время самого горького плача поставить на решетку кровати горящую свечу, глаза становятся огромными-огромными, рёв прекращается, и, кажется, что сейчас вся девчонка выпрыгнет в свои раскрытые глаза.

Ну, вот... Это наши радости. А горести: никак не налаживается желудок, и плохо идет прибавка веса. Доктор обещает, что к трем месяцам она выровняется – ждем... На Рождество думаем устроить ей елку. И в это же, приблизительно, время снимем ее. Тогда карточку получишь.

Надеюсь (слабо), что получу и от тебя письмо. Ну, хоть с годовщиной Наталки. И то ладно...

А в остальном – по-старому: мороз, снег, олени, безработица. Пиши о себе и о своих. Я целую тебя, Наталья приветствует криком, Вл. Бор. приветствует ласковым словом.

*20 декабря 1929 г. Березов*

Почти месяц прошел. Дочка подросла за это время. Начала улыбаться во всю ширину беззубого рта. Пришли 2 почты, а от тебя письма нет. Наташа.

*22 февраля 1930 г. Березов*

Дорогая Вера! Опять не знаю, доходят ли до тебя мои письма. Во всяком случае, «ни привет, ни ответа» от тебя нет. Теперь,

очевидно, мы уже скоро увидимся, так как я собираюсь летом (по-нашему – весной, в конце июня, когда откроется навигация) отсюда тронуться. Одна сторона вопроса этого – необходимость отъезда – решена. Другая же – материальная возможность осуществить это – висит в воздухе.

Жизнь наша течет... Наталка уже смеется и два раза «гуляла» – по две минуты, с завязанным ртом и носом. Она немножко поздоровела, но всё-таки еще очень худа, – в весе недостает 1 кг. Исследовательский инстинкт развит сильно, и по этому случаю она всё тянет в рот: и свои кулаки, и одеяло, и чужие руки, и даже пытается попробовать вкус отцовского носа – благо, он достаточно велик. Лицом она похожа как будто на меня, но еще больше на Берту Эрнестовну. Стала она очень веселой и нас веселящей. К сожалению, только, порядочная кривляка (и в кого это, батюшки-светы?!): жеманничает, стреляет глазами и поджимает губы, как институтка. А в общем я всё-таки ею довольна, несмотря даже на то, что это девчонка.

В этом году я служила всего месяц в школе, и перспективы в дальнейшем невеселые. Необходимо отсюда уезжать, так как Наталку кормить здесь абсолютно нечем, и службы никакой нет, и не будет. Куда мы двинемся, еще неизвестно, выбор между Питером и Воронежем. Вернее всё-таки, что в Воронеж. Теперь встает очень остро вопрос о том, как отсюда выбраться, ибо денег надо больше сотни и как-то надо дотянуть эти месяцы. Приходится сейчас обращаться ко всем с просьбою помочь в этом. Обращаюсь с этим и к тебе, хотя, конечно, очень хорошо знаю, что сейчас всем очень трудно. Но другого выхода нет. Во всяком другом месте я работу получу, а здесь – петля. Очень хочется увидеть своих, особенно детей. Но еще больше не хочется разбивать свою семью. Не хочется, чтобы Наталка, хотя бы временно, росла без отца. Но, с другой стороны, здесь ее не вырастить...

Сейчас у нас началась прекрасная погода. Наталка гуляла сегодня минут 5. Мечтаю о том времени, когда сможем ее выносить на часы, а не на минуты. Сейчас она лежит в кровати, почти голышом, ловит ручонками солнечный луч.

Не знаю, как буду устраиваться со службою при наличии девчонки. Вернее всего, что буду пытаться устроиться вместе с нею в ясли.

Пока прощай. Целую тебя крепко. Наташа.

### *7 апреля 1931 г. Петербург*

...Наталка всё время болела гриппом и воспалением среднего уха двусторонним. Мы обе сильно извелись. Пришлось много помыкаться по холодным питерским углам. Теперь я служу, у Наталки няня. Если б не полтора месяца безработицы, то материально жили бы удовлетворительно, а сейчас, конечно, сильно трудно. Но самое трудное и страшное уже миновало: Наталка поправляется и принимает нормальный вид.

### *20 апреля 1931 г. Петербург*

...Ваше письмо получила давно. Не отвечала потому, что Наталка все время болела: за 3 месяца – 3 воспаления среднего уха. Сейчас только оправляется после третьего. Вдобавок схватила коклюш, и мне пришлось бросить работу. К довершению всего и жить негде, так как комната моя была при очаге, а с коклюшем в ней жить нельзя. Вл. Б. поехал в Казань. Как только найдет комнату, поедem к нему. Нельзя ли пока остановиться у вас? Деньги на житьё имеются.

### *9 ноября 1931 г. Казань*

Дорогая Вера! Хотя на предыдущее письмо и не было ответа, и я даже не знаю, получили ли вы с Наташей две карточки, но всё же пытаюсь написать еще раз и даже посылаю новую карточку. Может быть, откликнешься, бездна молчаливая?

Наталку снимали за 3 дня до двухлетия. Вышла она очень похоже. В данный момент она возится, приводя в порядок свой уголок. Убирается она очень хорошо. Теперь это громадная девочка, всё говорящая и ясно выражающая свои мнения и желания.

Живем мы пока что по-старому, В. Б. служит, я продолжаю быть дома. В общем, нахожусь на распутье: более, чем необходи-

мо, брать работу, и страшно бросать Наталку – ее жизнь только что более или менее наладилась за эти 4 месяца. Не знаю, к чему придем.

Как живешь ты? Не выберешься ли как-нибудь отдохнуть к нам? Буду очень рада. В былые времена ты была гораздо совершать такие поездки, может, и теперь тряхнешь стариной? Я тоже собираюсь тряхнуть совсем древней стариной и мечтаю сесть за «Учебник по русской истории» Платонова. Если у тебя сохранился, то не сможешь ли мне послать?

Мы живем материально очень трудно, а духовно очень хорошо. Было бы еще лучше, если б столько времени не уходило на благоустройство быта. Но, во всяком случае, жаловаться на судьбу сейчас не приходится. Это было бы слишком большой требовательностью к жизни. Самое важное, что мы все вместе, Наталка здорова, и я могу хотя бы временно быть с нею дома. Это я очень ценю.

Как твоё здоровье? Целую крепко, В.Б. шлет привет.

Наташа.

PS Как ни печально мне вновь и вновь обращаться с просьбами, но теперешняя жизнь толкает на это: можно ли в Москве достать рыбий жир?

### *3 февраля 1932 г. Казань*

Живем мы несколько по-новому. Я служу уже два месяца – статистиком. Наталка в часы моего отсутствия бывает в соседней квартире, где чувствует себя хорошо? и за что мы платим 50 р. Получаю я 125, устаю дико, а по приходе домой приходится исполнять все домашние работы. Гулять по вечерам уже не успеваю, и вся эта безалаберность сильно отражается на ребенке. Выглядит гадко, но, в общем, сейчас здорова. В начале зимы (ноябрь–декабрь) тяжело болела двумя гриппами с осложнениями на уши. С завтрашнего дня буду работать не до 4-х часов, как до сих пор, а до 2-х, и это уже внесет большое облегчение.

Живем мы почти исключительно домашними делами, бьемся со всякими неурядицами быта. Но не унываем. К сожалению, часто раздражаюсь на Наталку. Недавно я на нее рассердилась и го-

ворила с ней резким тоном. Она обратилась ко мне с выговором: «Мама! Ты ведь не поросенок. Ты ведь мама – Наталия Петровна, а не поросенок!» – и долго, долго ворчала.

Последнее время очень много поет, с большой экспрессией: «Трусишка зайка серенький», «Желтые листья кружили на дороге» и многое другое. Уже 3 мечты: сумка «ходить в школу», лыжи «с палками» и коньки.

Недавно отец положил ее в постель. Она разразилась горькими слезами: «Я ведь не черепаха! Я ведь девочка Наталочка, я умею сама ложиться» (черепаха не может повернуться со спины на живот!)

С автомобилем возится с большим увлечением, но по преимуществу превращает его в «трамвай» и едет «в ясли». По-прежнему отсутствуют капризы, и если б здоровье было в порядке, то всё было бы вполне удовлетворительно... Если б к лету мы нашли квартиру, то, м.б., тебе действительно имело бы смысл отдохнуть у нас.

#### *4 февраля 1932 г. Казань*

...Сегодня Наталка опять заболела. Лежит с 38,6<sup>0</sup>. Боимся за уши. Только сейчас вспомнила, что не поблагодарила тебя за первую посылку. Большое спасибо за всё.

#### *23 апреля 1932 г. Казань*

Дорогая Вера! Пользуюсь тем обстоятельством, что на работе свободный час, и потому пишу тебе. Дома же день так уплотнен, что буквально нет «ни отдыха, ни срока». Потому и пишу более чем редко. Прежде всего, хочу поблагодарить за внимание и заботу в отношении посылки. Подобрана она очень умело и толково. Только опечалило меня то обстоятельство, что помеченный в списке компот не оказался в ящике. Пропал он или его не вложили? Правда, вместо него оказались не записанные в перечне конфеты. За всё большое спасибо. Мармелад Наталка ест в намазанном на бутерброд виде – иначе не признаёт. Сейчас пришлось всё очень вовремя. И потому, что очень вскочили цены, и на рынке ничего нет, и потому, что Наталка опять лежит в постели с ежегодным приступом малярии. Извелась сильно, и здо-

рово поражена нервная система. Надо менять комнату (она в самом малярийном районе), а найти ее трудно.

Меня очень обрадовал и даже тронул вложенный в посылку волчок. Я как раз последнее время хотела его купить и уже решила это сделать из первой полочки. Но здесь есть только железные и порядочная дрянь. Наталка очень его одобрила. Обидно, что болезни так мытарят девчонку. Только-только успеет она немножко оправиться, как опять привяжется что-нибудь новое. Если бы не болезни, всё бы шло хорошо. Она хорошо развивается, жадно схватывает все впечатления, хорошо болтает, очень много поет. Мне бы очень хотелось, чтобы ты ее увидела. Я уже не один раз писала тебе относительно отпуска: м. б., тебе улыбается провести его у нас? Мне лично этого очень бы хотелось. Хотя не скрою, что здесь больше говорят эгоистические желания. Когда же я начинаю думать о том, насколько это будет полезно для тебя, меня берет сомнение. Жить ведь надо в городе, с питанием плохо...

Единственно, что можем тебе предложить – это свое радушие и гостеприимство, но боюсь, что этого слишком мало для человека, протрубившего на работе круглый год. Всё-таки подумай и реши, а меня извести хотя бы открыткой.

Должна тебе сказать, что в более или менее близком будущем (август) наша семья увеличится еще одним членом, поэтому в июле я, по-видимому, пойду в отпуск. В теперешнее время несколько страшно думать о новом кандидате в живые существа, но теперь уже поздно протестовать. Его существование уже властно дает о себе знать, и тревога начинает уступать место более положительным чувствам.

Что написать еще? Жизнь идет сумбурно. Большая часть времени и сил уходит на службу, мало для меня интересную, лишённую даже элементов творчества. Крошечный кусочек оставшегося времени уходит на домашние дела. Голова занята мало свойственными мне хозяйственными расчетами, больше ни о чем не думается. Жаль, что на ребенка не остается ни времени, ни сил. Еле-еле успеваешь его помыть и накормить, а подойти со свежими силами, чтобы дать что-то ценное в духовном

смысле, – не удастся вовсе. Часто попусту раздражаешься, кричишь, хотя знаешь, что всё это ни к чему, ничем не вызвано со стороны ребенка, а есть лишь результат собственной усталости. Всё это противно и гадко. И потому-то в особенности тревожно ожидание нового малыша. Что дашь ему? Но не стоит особенно хмуриться – без того серо и хмуро вокруг, и всё трудное и тяжелое придет и без того, чтобы его вызывать из будущего.

Ну, пока прощай. Постарайся черкнуть хоть открытку.

Целую крепко, Наташа.

### *14 июля 1932г. Казань*

...Встряхнувшись после сypняка, пишу тебе. О тебе, конечно, ничего не знаю, и от тебя, как полагается, ни слуху, ни духу. Не знаю, была ли ты уже в отпуску и где его проводила. Вопросов не задаю, так как не надеюсь на ответ, но всё, тебя касающееся, меня живо интересует. Я чувствую себя хорошо, отдыхаю сейчас.

Наталка здорова и весела. Очень развилась за последнее время. Мы с нею обе с круглыми стриженными головами, но она утешает: «Ничего, мама! У нас с тобою вырастут красные волосы и красные банты». С ужасом жду этого момента. Надеюсь, что хоть меня минует эта чаша.

Через 2 месяца наша семья увеличится еще, и опять изменится ее строй. Трудно только, что вся жизнь протекает в одной комнате.

### *13 июля 1933г. Казань*

Душный летний вечер. Днем пронеслась гроза, но как-то мало освежила. Очень знойно и томит. Девочки засыпают. В.Б. ушел.

Сегодня рухнуло несколько надежд на устройство. В связи с этим рушится и план относительно моего отпуска: уйти в отпуск – это значит лишиться обедов Наталку и себя, а на мое одно жалование нечего и думать прожить. Поэтому с грустью приходится оставить мечту об огороде и о том, чтобы как следует прожарить девочек на солнцепеке. Очевидно, или совсем не удастся уйти, или же – в начале зимы.

Я сильно страдаю от малярии. Слава Богу, что хоть Наталочку этот год она не треплет. Кроме того, в связи с ранним вставанием после Маринкиного рождения – сейчас жесточайшие боли, от которых вчера весь день прокорчилась.

А всё-таки живем неплохо. Сейчас гуляла с детьми в прекрасной местности, в полном безлюдье. Только птичий щебет да детское агуканье ему в ответ. Высокие холмы с зелеными склонами, березовая роща, а внизу – Казанка голубеет и плещет на солнце.

Кажется, что это уж совсем мешанство, но мне бы страшно хотелось пожить одно лето спокойной дачной жизнью, типа красково-малаховского. Чтобы можно было никуда не спешить, не рваться на тысячу частей. Спокойно-лениво отдыхать, читать, лежать на солнце, в мшистом сосновом лесу и смотреть на две маленькие фигурки девочек. А всё-таки!.. М.б., ты еще не была в отпуску? Я бы могла устроить по соседству очень хорошую, чистую, спокойную комнату. Купанье у нас чудесное: река в 2–3 минутах ходьбы. Есть хорошие прогулки.

Приезжай! Будем очень-очень рады, а я – счастлива. А то детишки вырастут, и никто из близких не будет знать.

Целую крепко. Или, б.м., Наташа выберется? Буду очень рада ей, но, само собой понятно, что тебя видеть хочу во много раз больше. Да и не может ведь быть иначе. Всё-таки слишком много лет было пройдено рядом. Вычеркнуть трудно.

Хочется, до боли хочется, чтобы две маленькие сестры любили друг друга крепко и жили дружно и тесно. Пока что они очень расположены друг к другу. Что-то будет дальше? Мне бы очень хотелось, чтобы ты их узнала покороче, поближе. Они очень милительные и уморительные, и легче становится на душе, когда смотришь на них.

Как ты живешь? Желая тебе от всей души всего хорошего, светлого.

Целую крепко, Н.

24 сентября 1933 г. Казань.

Дорогая Вера! Теперь ты, вероятно, уже знаешь, что Наталочка в Москве. Сегодня неделя, как она уехала отсюда. Дом опустел и омертвел. Правда, осталась золотоволосая голубоглазка. Она морщит носик, смеется... Но...

Пустая кровать. Спрятанные игрушки. А главное – невероятная пустота в душе, которую ничем не заполнить: ни работой, ни заботой, ни тревогой.

С их отъездом\* сразу окончилось лето. Осенние деревья вспыхнули золотом. Сыплются листья. Цветы в скверах кричат осенними красками. Как-то тоскливо отдаются в душе эти беззвучные крики. Мертво, пусто, беззвучно вокруг оттого только, что нет одного голоса, который звенел рядом почти 4 года. Знаю, что всё это было необходимо, что без этого нельзя, но не утешают эти доводы: так трудно оторвать от себя самую сущность жизни, всё ее оправдание, весь смысл.

Если ты видела мою девочку, напиши мне, какое она произвела впечатление (и в смысле ее оценки, и в смысле настроения ее в тот момент).

Вера, вероятно, тебе рассказала обо всех тех материальных неурядицах, которые заставили меня оторвать от себя ребенка. Не знаю только, поможет ли эта сильная мера чему-нибудь.

Последние месяцы девочка начала так катастрофически худеть, что все окружающие, а больше всех – врач детского сада, забили тревогу. Почти уверена в том, что дело в недоедании. И если в Москве удастся ее подкормить, то, б.м., дело наладится. Верю в это. Через несколько дней ухожу в отпуск. Раньше ждала его для того, чтобы привести в порядок детей. Теперь это наполовину вычеркивается. Безумно хочу отдохнуть, надеюсь, что смогу это осуществить. Самым большим отдыхом было бы сидеть с девочками и шить им... *(Конец письма не сохранился)*.

---

\* Старшую дочь Наталя Петровна была вынуждена отправить в Москву со своей сестрой Верой.

*Увы, сохранилась лишь малая часть переписки, которая длилась практически всю жизнь. Подруги встречались нечасто — во время маминых приездов в Москву и Веры Антоновны в Воронеж и Владимир.*

*В своем предпоследнем письме в январе 1969 г. мама пишет, что ждет Веру Антоновну в гости: «Можно будет посидеть уютно на большом низком диване и вспомнить далекое-далекое прошедшее, наши полудетские годы, юность, молодость, дорогих ушедших. Чем старше становимся, тем сильнее тяга к прошлому...»*

*В декабре 1969 ее не стало.*

*В подготовке материалов принимал участие А.Н. Григорьев, сын В.П. Шестаковой.*

*Более подробно о семьях Шестаковых и Базилинских, а также стихотворения Натальи Петровны, посвященные мужу, см. альманах «Третье дыхание» (М., «Интер-Весы», 2004).*



# ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

## *СОПРОТИВЛЕНИЕ В ГУЛАГЕ*

В истории ГУЛАГа далеко не все прояснено. Особенно засе-  
кренной была и в немалой мере остается тема сопротивления в  
тюрьмах и лагерях. Пример тому – Норильское восстание.

То, что лагерное и конвойное начальство спровоцировало вос-  
стание в Горлаге (Норильск) очевидно, но остается неясным,  
действовало ли оно по собственной инициативе или по науще-  
нию из московских кабинетов.

Особые лагеря по составу заключенных были интернациональ-  
ны, причем большинство составляли «западники» – так в лагерях  
называли жителей государств и территорий, отошедших СССР  
по сговору с Гитлером. Как же складывались отношения между  
руководителями и активными участниками восстания – людьми  
весьма не схожих, порой взаимоисключающих взглядов? Что по-  
будило заключенных к солидарности и самодисциплине? Почему  
этот их опыт оказался невостребованным, и в пору перестройки  
они не были призваны в качестве руководителей правозащитных  
организаций? Какова роль созданной в Горлаге подпольной ор-  
ганизации – Демократической партии России (ДПР) в восстании  
заключенных и последующих событиях? Каковы были психоло-  
гические предпосылки её создания бывшими советскими воен-  
нопленными? Несомненный интерес представляет и сильная са-  
мобытная личность Сергея Дмитриевича Соловьева – составителя  
или одного из составителей Устава и программных документов  
ДПР; по его словам чудом избежавшего смерти за отказ служить  
в войсках СС. Совершенно не прояснены связи активистов ДПР  
с офицерами Горлага, конвойных войск и вольнонаемными спе-

циалистами, жившими в Норильске. И вообще, насколько мягкая, либеральная программа ДПР соответствовала умонастроениям узников Горглага в большинстве своем осужденным на 25 лет?

Вопросов много. Надеемся, что ответы на них даст «Дискуссионный клуб».

## **ЛЕВ НЕТТО**

### **ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА СПУСТЯ**

История Демократической партии России, созданной и действовавшей в ГУЛАГе, как живое дерево корнями уходит в Норильский Горлаг.

После подавления Норильского восстания многие его участники были этапированы в тюрьмы и особорежимные лагеря. Многих везли на Колыму в наручниках, среди них был и Сергей Дмитриевич Соловьев.

С Соловьевым меня познакомил осенью 1952 года Федор Каратовский, который четырьмя годами раньше принял меня в члены ДПР. Правда, Соловьев тогда не мог передать мне программу партии, она у него была записана на французском языке. Русский перевод её появился позже.

К Сергею Дмитриевичу я проникся огромным уважением – в нём чувствовалась сила духа, мужество. Он считал, что освобождение от сталинского гнета должно быть осуществлено без какого-либо революционного насилия, без человеческих страданий. Российская земля и так уже предостаточно пропитана кровью своих сыновей и дочерей. Он говорил: «Нашим главным оружием должно быть Слово – Слово объединяющее».

В ту пору мне довелось быть рядом с ним только два месяца.



Лев Нетто и Сергей Соловьев

Тогда я не мог себе вообразить, что встречу с Сергеем Дмитриевичем через 53 года в Алтайских предгорьях в Змеиногорске. Шел 2005 – оставался ровно год до его 90-летия. Когда в 54-м году Сергея Дмитриевича привезли на Колыму, программа ДПР была у него с собой – не на бумаге, а в памяти. Как он рассказывал мне, какая-то сила побуждала его действовать, и чей-то знакомый голос напоминал о долге перед погибшими во время восстания друзьями.

Соловьев восстановил программу, а потом и устав, наладил приём заключенных в ДПР, обдумывал действия, необходимые в условиях громадной территории Колымского края.

Но случилось непредвиденное: готовился групповой побег. Один из членов партии, входивших в эту группу, предал организацию. Его фамилию надо назвать – Невзоров Петр Иванович. В то время Соловьев был в производственной зоне лагеря Холодный. Со своими друзьями он успел укрыться в шахте. Начался усиленный поиск. Более трёх месяцев подготовленное ранее укрытие в подземелье скрывало беглецов. Выйдя на белый свет, начали готовиться к зимовке, но последовал арест, следствие, новый приговор.

В постановлении следственного отдела УКГБ по Магаданской области записано: «...Тринадцатого июня 1954 года в помещении электроцеха участка «Заманчивый» Утканского горно-рудного комбината Ягоднинского района Магаданской области был обнаружен и изъят антисоветский рукописный документ, представляющий из себя программу и устав антисоветской организации так называемой «Демократической партии России», начинающийся словами: «Программа (краткая) Демократической партии России...» и оканчивающийся – «...Рекомендации даются без ведома вступающего в партию». Указанные антисоветские документы, как установлено графическими экспертизами, изготовленные Соловьевым и Белоусом Александром Яковлевичем... приобщить как вещественные доказательства к следственному делу № 844 по обвинению Соловьева и Антонова. Старший следователь следотдела УКГБ при СМ СССР по Магаданской области майор Резанцев».

11 марта 1955 года Магаданский областной суд приговорил Соловьева и его товарищей к 25-ти годам лагерей.

Дальнейшая судьба Сергея Дмитриевича стала известна только в 1991 году. Председатель общества «Поиск» – Ягоднинского отделения «Мемориала» Иван Александрович Паникаров на свой запрос о судьбе С.Д. Соловьева получил ответ из информационного центра УВД Иркутского облисполкома.

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
Иркутского облисполкома

664003, г. Иркутск,  
ул. Литвинова, 15

тел. 29 ноября 1991 г.

№ 9/18-П-57

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю общества

"ПОИСК"

Паникарову Ивану

686230, Магаданская обл-ть,  
Ягоднинский район, пос.  
Ягодное

На Ваш запрос сообщаем, что по данным Информационно-Центра УВД Иркутского облисполкома и ГИЦ МВД СССР значится Соловьев Сергей Дмитриевич, он же Росс Дмитрий Сергеевич, 1916 г.р. уроженец Смоленской области, Сафоновского района п. Вышегар, который 26 января 1952 г. военным трибуналом Московского военного округа был осужден по ст. 58-1"Б" Ук РСФСР, срок 25 лет.

11 марта 1955г. судим коллегией по уголовным делам Магаданского областного суда по ст. 82 ч. 1; 182 ч.1 58-2; 58-10 ч. 1 Ук РСФСР, срок 25 лет.

С 1958 года до 10 апреля 1960 года отбывал наказание в местах лишения свободы Иркутской области.

10 апреля 1960 года переведен в Дубравный ИТЛ Мордовской АССР. Определением Верховного суда Мордовской АССР от 30 декабря 1961года признан особо опасным рецидивистом.

21 октября 1977 года восстановлены родовые данные - Соловьев Сергей Дмитриевич. Освобожден из Мордовской АССР 8 сентября 1979 года по отбытии срока наказания.

Народным судом Алтайского края 15 апреля 1987года осужден по статье 198 УК РСФСР, срок 1 год. Освобожден 9 февраля 1988года из Кемеровской области по отбытии наказания.

Сведений о реабилитации Соловьева Сергея Дмитриевича нет.

Начальник ИЦ УВД  
полковник милиции



О.С.Прокофьева

(подчерк  
ред.

На родной Смоленщине Соловьев не нашел никого из близких родственников, и уехал в Алтайский край. Там его ждала Анастасия Павловна Шеруденко, с которой он познакомился в лагере, где она отбывала срок за веру. Не желая иметь ничего общего с органами преступной, по его убеждению, власти, Сергей Дмитриевич отказался от получения паспорта и, как не имеющий регистрационной прописки, был осужден народным судом на год лишения свободы.

В ноябре 1992 года Сергей Дмитриевич Соловьев реабилитирован.

В феврале 2005 года я держал в руках программу Демократической партии России и устав партии – заверенные копии документов, изъятых в 1954 году.

## **ПРОГРАММА (краткая) ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ДПР)**

Мы не должны ждать милости от природы.

Мы не должны ждать свободы от работодателей.

Мы сами должны взять ее!

### **Введение. Демократия**

Демократия – это всенародная свобода, участие всех граждан в управлении государством. Демократия – это многопартийность. Демократия – значит воспитание человека свободного в духе гуманизма, в духе человеколюбия; воспитание такого человека, который, не считаясь ни с чем, борется за свободу.

Сущность демократизма: не будь рабом и не позволяй закабалить других. Борись за свободу.

## **Диктатура**

Диктатура и демократия – два противоположных полюса, две диаметрально противоположные формы жизни. Одно исключает другое: при наличии диктатуры не может быть демократии, и наоборот, при демократии не может быть диктатуры. Диктатура – это отсутствие свободы. Демократия – это свобода, без свободы она невозможна, как жизнь без воздуха. Бороться за демократию – значит бороться за свободу.

## **Коммунизм**

Творцы марксизма не могли убедиться в фантастичности своей идеи. Социальная надежда прошлого оказалась утопией настоящего. Советский Союз – это марксизм на практике, это претворение в жизнь идеи коммунизма.

Страна миллионов заключённых, страна варварской эксплуатации человека государством, страна нищеты и бесправия рядового гражданина (таков СССР) – не может быть страной передовой социальной мысли.

Призрак Маркса сбросил свой саван – перед нами предстало государство-тиран, государство диктатуры кучки политических фанатиков.

СССР – детище большевизма – страна рабства.

Коммунизм тянется к нам из советских подвалов миллионами костлявых рук – жертв диктатуры.

## **Государство**

ДПР предлагает на территории бывшей России организацию Демократической федерации России – ДФР.

Окончательно политическую структуру определяет народ. Форма определения общего мнения – всенародный опрос.

ДФР – добровольное объединение демократических фракций, основанное на исторической общности, политическом единстве и экономической взаимосвязи.

Предлагаемый состав ДФР:

1. Русская демократическая фракция;

2. Украинская фракция;
3. Закавказская фракция;
4. Балтийская фракция;
5. Белорусская фракция;
6. Средне-Азиатская фракция.

Каждая демократическая фракция делится на области и национальные округа. Область и национальный округ делятся на районы, район – на участки, участки – на комплексные и простые хутора.

Каждая федерация определяет себе самостоятельно образ жизни, оседлость, религиозные культы, обычаи и т. п.

Каждая федерация определяет самостоятельно, быть или не быть ей в ДФР. Законодательной властью ДФР является съезд народных посланников, в период между съездами страной руководит Президент, избираемый народом на 4 года.

Президент назначает исполнительную власть – Совет Министров. Как каждый посланник, так и Президент могут быть в любое время (по заявлению двух третей избирателей) переизбраны. Выборы прямые, равные и тайные.

ДПР считает неоспоримым законом, что: государственная власть – слуга народа. Ее обязанности:

1. Охранять демократию и целостность государства.
2. Гарантировать правильное исполнение законов.
3. Охранять и укреплять частную собственность.
4. Регулировать экономику.
5. Отчитываться перед народом.

## **Законодательство**

Законодательство основывается на принципах:

1. Каждый гражданин свободен от рождения: он волен в своих поступках, но среди людей он не должен преступать нормы поведения человеческого общества.

2. На столкновении противоречий рождается истина (т. е. многопартийность).

3. Частная собственность – основа государственной безопас-

ности. Чем выше благосостояние граждан, тем прочнее государство. Укрепление частной собственности – священная обязанность государства.

## **Суд**

Суд открытый и выборный. Народ избирает:

1. Федеральный (верховный) суд.
2. Областной суд.
3. Суд национального округа.
4. Районный суд.

Верховный суд назначается собранием народных посланников. Весь состав суда или отдельные члены его переизбираются при желании 2/3 избирателей.

## **Свобода**

Все граждане ДФР имеют право:

1. Организовывать различные общества – политические, научные, экономические, благотворительные и другие, т. е. свобода организаций.
2. Свобода печати. Учреждение печатных заведений, издание книг, газет, журналов и т. д.
3. Свобода митингов, собраний, демонстраций.
4. Свобода слова. Гарантия неприкосновенности за высказываемые мысли.
5. Свобода передвижения, как по своей стране, так и выезда в другие страны.
6. Свобода вероисповеданий.

## **Равенство**

Все граждане ДФР независимо от национальностей, политической принадлежности, пола, образования, занимаемой должности, вероисповедания – равны перед законом.

## **Частная собственность**

Частная собственность – основа благосостояния граждан, по-

казатель прочности государства и уровня культуры граждан. Частная собственность – основной стимул повышения производительности труда.

Частная собственность:

1. Неограниченная – на продукт человеческой деятельности (машины, заводы, предприятия и т. д.).
2. Ограниченная – на землю, воду, леса и природные ископаемые. Частная собственность охраняется законом.

## **Труд**

Труд – физиологическая потребность организма человека. Способности людей к труду различны.

Нормирование, определение форм труда противоестественно. Труд является добровольным занятием каждого гражданина.

Определение места, вида и объема труда – дело совести каждого гражданина.

Наемный труд разрешается. Оплата и условия труда устанавливаются законом.

Устанавливается продолжительность рабочего дня:

1. В промышленности – от 30 часов в неделю.
2. В сельском хозяйстве – до 60 часов в неделю.

## **Земля**

Земля выдается всем гражданам ДФР в частное личное пользование бесплатно.

Размер земельных участков устанавливает собрание народных посланников по федерации и области. Пользование землей обязывает владельца обрабатывать ее. В целях лучшего использования силовых установок, машин, обучения, проведения дорог и т. д. рекомендуется как наиболее рентабельный (выгодный) вид землепользования – хуторская система (отруба).

Хутора состоят от 3 до 4-дворового состава, как исключение возможны отдельные однодворовые хутора. Наряду с этим граждане по своему желанию могут выбирать любую форму землепользования (общины, артели, кооперативы и т. д.). Земля не продается.

## **Торговля**

Торговля – один из видов труда. Гражданам ДФР разрешается на всей территории демократических федераций продавать как продукт своего труда, так и. продукт труда других граждан.

Торговля регулируется, гарантируется и контролируется государством.

## **Воинская обязанность**

Воинская обязанность отменяется.

При возникновении опасности целостности государства чрезвычайным законом собрания народных посланников вводится воинская повинность на период опасности.

Государство содержит наемную армию, служба в которой подобна службе в других государственных учреждениях.

## **Образование**

Все граждане ДФР обязаны иметь среднее образование. Начало образования – с семилетнего возраста. Образование ведется по специальным программам, мальчиков – в мужских школах, девочек – в женских. За образование детей перед государством ответственны родители. Среднее обязательное образование бесплатно.

## **Женщина**

Равноправие женщины в Советском Союзе приняло самые уродливые формы. Женщины вынуждены работать в шахтах, мотобойцами, пахать землю плугом и т. д.

Женщина в СССР превратилась в рабыню. Подобно тому, как если бы работников интеллектуального (умственного) труда принудить копать землю, объясняя это равноправием рабочих и интеллигенции, так же и использование женщины на тяжелых физических работах не является равноправием женщины.

Призвание женщины – воспитание подрастающего поколения, создание домашнего уюта, но женщине предоставляется право самостоятельного выбора любого вида деятельности. Женщина

равноправна с мужчинами во всех видах политической, общественной и экономической деятельности, а также и в правовом отношении.

## **О благосостоянии и быте**

Все должны быть имущими (зажиточными). Пролетариата, нищеты (наследия диктатуры и национальной отсталости) не должно быть.

Каждому гражданину будет оказана материальная помощь государством. Каждый должен иметь необходимое для быта: участок земли, свой дом, автомашины, электромоторы, мотоциклы, велосипеды и т. д.

Изменить архитектурный общий ансамбль городов; вынести за черту города в промышленные пояса все предприятия.

Изжить из практики скученное расквартирование семей – общежития, казармы, многоквартирные дома – места, где у человека развивается отрицательный коллективизм – стадность, где разрушается человеческая здоровая мораль, где происходит опшление человека.

Создать условия воспитания у граждан демократической морали, человека самостоятельного, независимого мышления, но не раба коллектива.

Дело демократии победит! Россия будет свободной! Помни! Начиная улучшать общество, улучшать мораль человека, начинай с самого себя. Ты должен быть примером в этом!

## **Дополнение**

Для построения жизни в демократии создан революционный комитет Демократической партии России. Задача революционного комитета ДПР:

1. Свержение Советской власти.
2. Освобождение политзаключенных: политзаключенный Советского Союза – почетный гражданин Демократической федерации России.

3. Освобождение уголовных заключенных с полной реабилитацией (уничтожением) – аннулированием дел.

4. Поддержание порядка и создание условий для установления демократии.

5. Материальная помощь гражданам (питание, одежда, место жительства).

6. Обеспечение безопасности бывшим советским работникам независимо от занимаемой должности, пожелавшим быть честными гражданами ДФР.

7. Гарантия всеобщего прощения. Каждый должен простить все обиды, пережитые им за весь период существования Советской власти.

# ЛЕОНИД ТРУС

## ЗАГАДКА НОРИЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ

Минуло 47 лет с того дня, когда черный флаг над производственной зоной Горстроя возвестил всем категориям населения Норильска\* о забастовке политзаключенных Горлага.

Сначала забастовали заключенные 4-го лаготделения, на следующий день к ним присоединились 5-е и 6-е (женское) лаготделения, через неделю – 1-е, еще через два дня – 3-е (каторжное). В общей сложности больше 16 тысяч человек, доведенных до этой беспрецедентной для ГУЛАГа акции нечеловеческими условиями жизни, изнуряющим трудом, садистскими издевательствами и смертельными расправами лагерного начальства. Причем – неслыханное (не только для ГУЛАГа) дело! – они требовали (именно требовали, а не просили) не только смягчения лагерного режима, но и либерализации советского режима в целом. Позднее эту забастовку справедливо назвали восстанием, имея в виду, что для ее участников она была подлинным восстанием духа, полностью, казалось бы, раздавленного лагерным террором.

Это восстание описано во множестве публикаций в т.ч. и автором [10]\*\*, наиболее полное из которых сделано А.Б.Макаровой [6], но главное до сих пор остается невыясненным: как могло случиться такое массовое и хорошо организованное выступление, да еще в условиях свирепого горлаговского режима, исключаящего – по замыслу его создателей – самую возможность какой бы то ни было организации. Заключенных обыскивали ежедневно – при возвращении с работы в лагерь, кроме того, не реже, чем

---

\* На вопрос о национальном составе населения полуострова Таймыр одна норильская школьница ответила: «Вэны, зэки и охра»; так она интерпретировала принятые здесь сокращения: в/н («вэны») – вольнонаемные, з/к («зэки») – заключенные, охр («охра») – работники охраны.

\*\* В квадратных скобках – ссылка на источники, список которых приведен в конце публикации на с. 473.

еженедельно, устраивались внезапные ночные обыски в бараках и подсобных помещениях, и, если у заключенного находили что-либо «неположенное», стандартным наказанием было 30 суток БУРа с выводом на работу. К этому надо добавить «всюду плотно»\* стукачество: в 4-м лаготделении, например, забастовщики, вскрыв сейфы оперотдела, обнаружили списки на 620 стукачей – каждый пятый заключенный [Макарова]. И все же это невозможное событие состоялось. Причем не как истерическая выходка горстки маргиналов, а как продолжавшаяся от четырех до восьми недель четко организованная забастовка 16378 заключенных (не считая почти четырех тысяч кайерканских заключенных, не выходивших на работу всего несколько дней, не успев ни сорганизоваться, ни просто понять, что происходит).

«Докладная записка» комиссии МВД СССР объясняет это следующим образом: «Основной причиной, вследствие чего стала возможной такая массовая волынка и массовое неповиновение заключенных в Горном лагере, является крайне слабая работа оперативного и режимного аппаратов лагеря и его малочисленность». Но речь не о простом ужесточении и без того жестокого режима Горлага и не о еще более тщательном надзоре: «Вместо своевременного выявления и пресечения в зародыше намерений и попыток заключенных к созданию в лагере нелегальных антисоветских формирований оперативный аппарат, вскрывая среди заключенных эти формирования, заводил на них агентурные разработки (выделено мною – Л.Т.; по сути это означает, что «оперативный аппарат» не только не принимал мер к пресечению выступлений заключенных, но провоцировал их!), выжидая, пока это подполье обрстет активом, распространит свою деятельность за пределы лагеря и приступит к практическому осуществлению своих преступных замыслов» [4]

---

\* Математический оборот речи: выражение «точки на прямой расположены всюду плотно» означает, что, как бы ни были близки друг к другу какие-либо две точки, между ними всегда можно поместить бесконечное множество других точек.

Это уже не объяснение, а обвинение. Но оно и объясняет очень многое. Фактически это констатация того, что забастовка заключенных Горлага была продуктом провокации горлаговских чекистов.

Такая интерпретация может показаться надуманной. Но вот показания заключенного И.С.Касилова, данные им в ходе следствия по Делу № 74 (по обвинению в организации норильской забастовки): «... примерно 9 мая 1953 года (т. е. чуть более, чем за две недели до начала забастовки — Л.Т.) з/к Вольяно ... находясь в изоляторе, ... узнал о том, что ... группа заключенных, завербованных работниками оперативного отдела для производства так называемой «волынки» ... получила инструктаж от работников оперативного отдела и администрации лагеря, как и когда начинать ... «массовые беспорядки». 22 мая з/к Вольяно был выпущен из ШИЗО, отсидев срок. ... в это же время, т. е. между 20 и 25 мая из всех штрафных изоляторов и БУРов Горного лагеря были выпущены ранее содержавшиеся в них, чтобы эта озлобленная и завербованная масса смогла начать массовые беспорядки... При встрече на руднике «Медвежий ручей» Вольяно сказал мне: «Иван, готовится ужасное дело, люди, которым все верят, ... завербованы оперотделом, чтобы подвести массу заключенных под расстрел» ... Я посоветовал Вольяно, чтобы он оповестил заключенных ... <но он> страшно перепугался и начал упрашивать меня, чтобы я никому ничего не говорил об услышанном, т. к. в противном случае нас немедля убьют\* ... 26–27 мая в жилую зону 1-го лаготделения были занесены 200 ломов и топоров, чтобы устроить ... резню. Но ... лагерники поняли провокацию, резни не произошло. ... Интересно отметить, что вокруг зоны была выставлена дополнительная охрана (солдаты стояли на расстоянии 10 метров друг от друга, чтобы во время резни заключенные не могли выскочить за зону) [3].

\* Справка. «Заключенные Горного лагеря Вольяно Ставр Георгиевич и Быковский Анатолий Николаевич 1/VII–53 покончили жизнь самоубийством через повешение. Выписка из протокола вскрытия от 3/VII–53 находится в оперативном отделе Горного лагеря, Уполномоченный УМВД по Красноярскому краю майор А.Попов.» (Их обнаружили повешенными на балке барака лицом друг к другу. Тела носили отчетливые следы побоев.) [1]

Аналогично в 3-м лаготделении в конце мая в ШИЗО были переведены «24 бандита с большими сроками ... В камере № 3 ими организована «молотилка». 2 или 3 июня оперуполномоченный Калашников ... лично передал в эту камеру завернутые в полотенце ножи... В этот день каторжан в неурочное время сняли с объектов и возвратили в лагерь... <К этому времени> охрана усилена, установлены пулеметы. 3 июня каторжан на работу не выводили. На собрании заключенных, отвечая на их вопросы, начальник лаготделения капитан Тархов заявил, что «ничего не произошло», «всем дан на время производственный отдых», а усиленная охрана – «это вас не касается». 4 июня надзиратели ШИЗО попытались втолкнуть в камеру № 3 к «молотобойцам» заключенных Милова и И.Смирнова. Те подняли отчаянный крик, увидев в руках бандитов ножи: «Помогите, убивают!» Их товарищам ... удалось выбить дверь камеры и вырваться в коридор, а затем вместе с Миловым и Смирновым – во дворик ШИЗО. Бандиты ... бежали из ШИЗО в дивизион охраны и были пропущены сквозь проволоку. Солдаты с палками в руках бросились избивать выбежавших во двор, тяжело ранили в голову И.Воробьева... Вырвавшись из рук солдат, Милов и Смирнов бежали в зону и спрятались в бараках. Когда все чуть успокоилось и начали расходиться, командир дивизиона майор Полстяной приказал открыть огонь по заключенным зоны. Результат: 4 убитых, 17 раненых, из которых 2 вскоре умерли от ран. Администрация тут же покинула зону, отключив при этом электроэнергию (что серьезно затруднило работу больницы и кухни) [6].

Даже когда забастовка уже была в полном разгаре, провокации продолжались. Так, в производственной зоне рудника «Медвежий ручей» группа неизвестных в бушлатах с номерами («под заключенных Горлага») 1 июня попыталась взорвать главный трансформатор на ГПП, питающей рудники «Медвежий ручей» и 3/6. «Когда же заключенные, заметившие диверсантов, хотели поймать их, ... эта группа пустилась наутек и была пропущена сквозь колючую проволоку» [3]. В том же 1-м лаготделении 4 июня «по заданию оперотдела Горлага был подожжен стацио-

нар с больными» [3]. Сопоставив сведения, почерпнутые из общения с лагерниками разных зон, И.С. Касилов пришел к выводу: «Ни в одном из лаготделений Горлага заключенные не бастовали по собственной инициативе, а были втянуты в «волынку» при помощи мерзких провокаций и неприкрыто оголтелых террористических актов со стороны работников МВД» [3].

Тридцать лет спустя в беседе с Е.С.Грицяком, одним из руководителей забастовки заключенных 4-го лаготделения, полковник ГБ Павленко, подтвердил: «Да, вас провоцировали, но они не ожидали таких масштабов...»

После подобного признания дальнейшие соображения доклада комиссии МВД видятся в другом свете: «Используя попустительство оперативного аппарата и работников режима, наиболее враждебно настроенные к советской власти заключенные сумели безнаказанно организовать, привлечь на свою сторону демагогическими и провокационными призывами значительную массу заключенных». То есть лагерные оперативники и администрация сделали все, что могли, чтобы названные «наиболее враждебные заключенные» сумели-таки «организоваться». Но чтобы еще суметь «привлечь ... значительную массу заключенных», одного «попустительства» мало. Авторы доклада это понимают и добавляют: «Одной из причин, которая облегчила организаторам саботажа привлечь на свою сторону значительную массу заключенных, является **грубое обращение** с заключенными со стороны работников охраны и работников надзирательской службы, а также **невнимательное и бюрократическое отношение** со стороны лагерной администрации к жалобам и заявлениям заключенных». Разумеется, выделенные мною слова являются стыдливymi инсказаниями по отношению к произвольным расстрелам, избиениям, демонстративному пренебрежению к элементарным нуждам заключенных. Но не будем ставить эти эвфемизмы в упрек авторам «Записки»: другого языка они не знали. Тем не менее, на этом советском новоязе они сумели артикулировать более существенный «фактор» забастовки, зафиксировав вложенные в уста «наиболее враждебных заключенных» «заявления о том,

что все заключенные осуждены неправильно и являются жертвами органов МГБ и МВД».

Преувеличивать степень осознания значения этих слов авторами «Записки» не стоит. Не говоря уже о более высоких инстанциях. Замминистра внутренних дел генерал Серов\* отреагировал на «Записку» следующими указаниями:

«1. Тщательно профильтровать всех заключенных... выявить организаторов и активных участников, а также подстрекателей волынки, и возбудить дела для привлечения их к уголовной ответственности.

2. ... проведите вербовку агентуры из числа лиц, не принимавших участие в волынке... с тем, чтобы ежедневно, повторяю – ежедневно, через которых знать настроение заключенных и в случае поступления агентурных данных о враждебных замыслах заключенных – принимайте немедленные меры к изъятию организаторов...

3. Начальнику Горного лагеря тов. Цареву лично следить за состоянием агентурной работы... Оперработников, несвоевременно докладывающих об агентурных материалах, заслуживающих внимания... строго наказывать, вплоть до увольнения.

4. Комиссии разработать план мероприятий к дальнейшему расчленению заключенных третьего лаготделения.

5. Предупредить... что если и впредь лагерной администрацией будет допущено неповиновение заключенных, МВД СССР вынуждено будет принять решительные меры в отношении начальствующего состава лагеря как не обеспечивающего руководство лагеря» [9].

Итак, мы видим явную провокацию. Метод, характеризующий карательное ведомство, «холодная голова и чистые руки» работников которого направлялись «умом, честью и совестью» «руководящей силы общества». И единственный, похоже, урок, который

---

\* Через 8 месяцев генерал-полковник И.Серов, награжденный орденом Ленина за организацию и проведение депортации «антисоветских элементов» из Прибалтики и орденом Суворова 1-й степени за депортации народов ряда автономий (немцев, чеченцев, ингушей, калмыков, балкар, карачаевцев, крымских татар), стал главой вновь созданного КГБ.

МВД извлекло из этих событий, состоял в том, что заключенных надо просто «расчлнять», не пускаясь ни в какие хитрые «разработки» (т. е. провокации). Разумеется, провокация как особый вид специальных операций исключалась не вообще из арсенала этого ведомства, а лишь из ведения лагерных «оперчекистов».

И это всё?

Трудно поверить, что только этим и ограничивалась рефлексия властей по поводу подобных фактов «классовой борьбы». Тем более, что сама по себе проблема контрпродуктивности ГУЛАГа, как важнейшего блока системы трудовых ресурсов СССР, обсуждалась еще при жизни Сталина\*. Правда, это обсуждение шло в рамках чисто экономической целесообразности, и, надо полагать, вовсе не имело в виду «политических» заключенных, тем более «особо опасных» заключенных специальных лагерей, подобных Горлагу. Тем более, что, по общему признанию гулаговских чинов и руководителей, сами по себе «политические» были наиболее трудоспособными из всей армии заключенных (в силу отсутствия среди них склонности к анархии, поножовщине, да и просто в силу их трудовых навыков: квалификации, дисциплины, уважения к труду и его результатам; иными словами, они и без всяких амнистий и «вольных поселений» работали споро и качественно). Но ведь тем серьезнее должны были восприниматься забастовки этой своеобразной «элиты»: первый звонок!

Ореакции «верхнего эшелона» власти – Политбюро ЦК КПСС – на норильские, или к примеру, кенгирские события архивы молчат.

---

\* Так, в январе 1952 г. инженер-полковник В. С. Зверев директор НГМК и одновременно начальник Норильлага и Горлага, направил начальнику ГУЛАГа генералу Долгих доклад, в котором утверждал: «Вообще, задачу поднятия производительности труда и целесообразности производственного процесса может решить лишь досрочное освобождение и закрепление на предприятиях комбината 15000 заключенных». Тогда же начальник тюремного отдела ГУЛАГа генерал С.Н.Круглов предложил Берии освободить 6000 заключенных с тем, чтобы они работали на строительстве Сталинградской ГЭС как «вольные» вместо 25000 заключенных с их крайне низкой производительностью. [5]. Стоит вместе с тем отметить, что председатель комиссии МВД в Норильске полковник М.В.Кузнецов аналогичное предложение, высказанное полтора года спустя заключенными Горлага (перевести их на «вольное поселение»), оценил как «антисоветское» [4].

Одно из двух: либо никакой реакции и не было, «высший эшелон» не счел названные события достойными какого бы то ни было внимания, либо реакция все же была, но соответствующие документы остаются недоступными исследователю. Историки, с которыми мне довелось обсуждать этот вопрос, скорее склоняются к первому варианту: система обратной связи фильтровала информацию, поступающую наверх, так, чтобы выполнялась Первая Заповедь Бюрократа (ПЗБ): «верхи не должны иметь оснований ни подозревать подчиненных в стремлении к переменам, ни самим к таковым стремиться». Разумеется, события, подобные норильской забастовке, скрыть от верхов было бы невозможно\*, однако информация о них препарировалась в соответствии с ПЗБ: особлаговские заключенные, хотя и особо опасны по составу своих преступлений, но сами по себе не склонны к неповиновению. События, о которых идет речь, представляют собой обычную «волынку», к которой послушных заключенных подстрекнула кучка отъявленных смутьянов – бандитствующих националистов, воспользовавшихся отдельными недочетами оперативников и спекулируя на «невнимательном отношении некоторых администраторов к жалобам и обращениям заключенных» (Кузнецов). Последнее, правда, как-то не вяжется с характеристикой особлаговских эков как особо опасных преступников, что подтверждается и почти поголовно 25-летними, по сути пожизненными, сроками заключения: на что так им жаловаться? На жестокость обращения? Так она подразумевается самим фактом их нахождения в **особорежимном лагере!**

Тем не менее, похоже, «верхи» начали понимать, что ГУЛАГ – как стеновой хребет всего народнохозяйственного комплекса страны – является серьезнейшей проблемой, решение которой откладывать нельзя. Повторюсь, документы, характеризующие уровень рефлексии верхов, остаются недоступными, но множество свидетельств подтверждают эту догадку косвенно. К таким свидетельствам относятся, прежде всего, известные указы Президиума Верховного Совета об амнистиях, изданные после смер-

\* По слухам, уже на второй день норильской забастовки о ней сообщал в своих передачах «Голос Америки».

ти Сталина. Первой была знаменитая «ворошиловская» амнистия (хотя инициатором ее был Берия)\* – откровенно популистская акция, но благодаря ей почти 2,5-миллионное население ГУЛАГа сократилось без малого вдвое. В большинстве своем были люди, осужденные за незначительные преступления (типа мелких краж) или за действия, в остальном мире не относящиеся к сфере уголовного права вовсе: «самовольный уход с работы», «нарушение паспортного режима», «предпринимательская деятельность» и т. п.

Затем последовали:

Указ от 8.09.53, распространивший эту амнистию на осужденных по Закону от 7.08.32 «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и укреплении общественной социалистической собственности (знаменитый закон «семь восьмых», по которому можно было схлопотать 10 лет, а то и расстрел за выловленное в море «государственное» бревно или за горсть шурупов, найденных в кармане спецовки рабочего при выходе с завода).

Указ от 24.04.54, по которому получили свободу те, кто совершил преступления в возрасте до 18 лет (правда, при условии отбытия не менее 1/3 срока и положительной характеристики со стороны администрации места заключения. Но все же!).

Указ от 17.09.55 об амнистии тем, кто сотрудничал с оккупантами в период Великой Отечественной войны. Имевшие сроки не более 10 лет освобождались, остальным срок снижался наполовину; кроме того, освобождались, хотя и с направлением в ссылку – независимо от срока, те, кто служил во время войны в немецкой армии, полиции и специальных формированиях\*\*.

---

\* Письмо Л. П. Берия в ЦК КПСС и Совмин от 26.03.53 с предложением проведения широкой амнистии. Мотивировка: 2 526 402 заключенных - это слишком много, да и опасности большинство из них не представляют, за исключением, естественно, «особо опасных государственных преступников», заключенных специальных лагерей в количестве 221–435 человек [7].

\*\* Дикий парадокс: осужденных за борьбу против советского государства «с оружием в руках» (слова из Указа) амнистировали, тогда как те, кто был осужден за «антисоветскую агитацию», под которой понималось любое критическое суждение о режиме или его деятелях, да и просто анекдот, продолжали сидеть.

- Указ от 28.09.55 об освобождении германских военнопленных и других германских граждан, осужденных за военные преступления, в том числе за «особо тяжкие преступления».

Кроме того, для заключенных, «твердо вставших на путь исправления», вводились существенные льготы: облегченный режим, разрешение проживать вне зоны (в этом случае разрешалось даже вызвать к себе семью) и – по отбытии 1/3 срока – условно-досрочное освобождение (с обязательством работы по указанию лагерной администрации).

К этому следует добавить никем, насколько известно автору, не отмеченное беспрецедентное для советской репрессивной машины явление: начиная с 1954 года прокуратура и суд стали принимать к рассмотрению заявления «политических», обжалующих свои приговоры. До этого времени все такие заявления не имели результата, поскольку «... заявления полит-заключенных ... дальше лагерной спецчасти не шли. В соответствующую инстанцию отправлялся заполненный бланк: такой-то (ФИО, год рождения, статья, срок и пр. реквизиты) ... Инстанция в ответ тоже заполняла бланк – крошечный клочок оберточной бумаги: Верховный Суд (Прокуратура, Президиум Верховного Совета...) не находят оснований для пересмотра дела (снижения срока, помилования). Я оказался одним из первых, чье заявление было реально рассмотрено: одну статью из моего обвинения исключили и срок снизили до 10 лет. Это было сенсацией!...» [11]. О смысле этой... странной игры с перебрасыванием бланков можно только гадать, но, учитывая участие в ней нескольких высоких инстанций, надо полагать, что упразднение ее было санкционировано инстанциями еще более высокими. Что не могло произойти без какого-либо предварительного обсуждения и соответствующей переписки, следов которой в архивах пока не обнаружено. (Высшие инстанции всё ещё не хотят раскрывать секреты функционирования механизма принятия политических решений, самым наисекретнейшим из которых является то, что никакого такого «механизма», по всей видимости, просто не существовало). Что, конечно, не означает, что обсуждения не было вовсе. Напрасно Мы лишены

документальных свидетельств, дабы узнать, как формулировался предмет обсуждения, какие предлагались подходы к решению проблемы, какие в ходу были концепции, доводы и контрдоводы. Можно лишь предположить, ориентируясь по некоторым косвенным признакам, что предметом обсуждения был вопрос: «Как нам обустроить ГУЛАГ?». Причем концепции жесткой силовой регламентации как внутрилагерных отношений, так и отношений лагеря с обслуживаемыми хозяйственными объектами противостояла концепция ГУЛАГа «с человеческим лицом»\*. Иными словами, и те и другие исходили из основополагающей посылки: «социализм» без ГУЛАГа \*\* невозможен.

В том и состоит значение Норильского восстания (и серии других подобных забастовок политзаключенных), что оно показало невозможность существования этого строя и с ГУЛАГом. Внутри ГУЛАГа понять это было, естественно, невозможно. Но те, кто находился вне ГУЛАГа хотя бы формально – скажем, в ЦК, или в Совмине, понимали ли они? Или ликвидация этой системы, последовавшая после XX съезда КПСС и освобождения в течение 3-4 месяцев почти всех политических заключенных, всего-навсего

\* Ее активным проводником был знаменитый полковник Барабанов, сделавший основную карьеру, будучи начальником Севпечлага (ГУЛЖДС), после чего был начальником скандально известной 503-й Стройки (будущая «мертвая дорога» Салехард – Игарка), затем начальником Цимлянского ИТЛ (Главгидровологдонстрой МВД) и в 1952–53 гг. – начальником Главспецнефтьестроя МВД [Система]; его деятельность в период войны была воспета В. Ажаевым в получившем Сталинскую премию романе «Далеко от Москвы», в котором Барибанов выведен под именем Баранова, начальника строительства некоего нефтепровода. В 1954 г. он в качестве одного из руководителей ГУЛАГа объезжал лагерь, пропагандируя, говоря более поздним языком, «новое мышление». В Норильске он собрал конференцию представителей заключенных всех лаготделений Норильлага и Горлага, на которой провозгласил утопическую программу «перестройки», в соответствии с которой в лагерях вводилось своеобразное «самоуправление» во главе с выборным Советом актива, задачей которого объявлялась защита интересов и прав заключенных от посягательств администрации, в том числе и права на перевод на облегченный режим и даже не условно-досрочное освобождение. Заключенные восприняли эту программу с энтузиазмом, администрация – естественно – без.

\*\* В данном контексте под ГУЛАГом понимается, естественно, не сама по себе советская система пенитенциарных учреждений, а особая система принудительного труда – основа советской общественно-экономической формации – «азиатского способа производства», по терминологии Маркса. Одна «только сметная стоимость программы капитального строительства МВД составляла (в начале 1953 г.) 105 млрд.руб» [Пихоя].

побочный продукт предыдущей подковерной борьбы в верхних эшелонах за власть?\* Хочется все же верить, что этот результат, хотя был и не единственной целью Хрущевской «команды», но входил в число сознательно преследуемых целей, сознательно ставившихся хрущевской «командой».

Только архивные документы да, может быть, какие-нибудь откровенные мемуары смогут подтвердить или развеять эту надежду.

---

\* События политической жизни 1951–56 годов можно представить происходящими на трех уровнях: уровень решения общенациональных проблем, уровень кадрового обеспечения решений первого уровня и уровень интриг по поводу того и другого. Вот первая дюжина из множества острейших проблем, стоявших в то время перед страной: господство принудительных отношений во всех сферах жизни общества и связанное с этим доминирование органов неограниченного насилия (МГБ - МВД), превращение самого государства в исполнительную структуру этих «органов»; огромная и малопроизводительная трудовая армия заключенных (более 2,5 млн. человек); дисбаланс общественного производства в пользу группы А (производство ради производства); милитаризованная экономика, засилье ВПК («танки вместо масла»); огромные военные расходы (армия численностью более 2,5 млн. человек); агонизирующее сельское хозяйство (работа в колхозах «за палочки»); жилищный кризис; нормализация международных отношений СССР; засилье воинствующей некомпетентности в науке (лысенковщина и пр.); техническое и технологическое отставание от развитых стран во всех отраслях народного хозяйства; позорное состояние системы социального обеспечения.

На решение перечисленных проблем так или иначе были направлены слияние МГБ с МВД в единое МВД<sup>Б</sup>; «бериевская амнистия» Б; передача ГУЛАГа из МВД в ведение Министерства юстиции и обратно; снижение сельскохозяйственных налогов<sup>М</sup>, повышение закупочных цен на сельхозпродукты<sup>М</sup>; нормализация отношений с Югославией<sup>Б</sup>; отмена закона 1940 г. о запрете самовольного изменения места работы; осуждение «культы личности Сталина» БМ<sup>Х</sup>; массовая реабилитация политзаключенных<sup>Х</sup>; ликвидация ГУЛАГа<sup>Х</sup> (буквы верхних индексов означают инициаторов соответствующих действий: <sup>Б</sup> – Берия, <sup>М</sup> – Маленков, <sup>Х</sup> – Хрущев) это первый уровень. Событиями второго уровня в это время были: назначение Маленкова Председателем СМ СССР, Берии - министром внутренних дел, уход Маленкова с поста секретаря ЦК; арест Рюмина; изгнание из ЦК Игнатъева; появление в ЦК Г.К. Жукова; «чистка» МВД; изгнание из ЦК Б. Кобулова, Гоглидзе; арест Багирова. На третьем уровне в это же время происходит укрепление позиций МВД (Берии); выдвижение «национальных кадров» в союзных и автономных республиках; превращение МВД в «параллельную власть» на местах; показание бывшего следователя по особо важным делам МГБ Рюмина, указывающие на роль Маленкова в организации массовых репрессий 30-х - начала 50-х годов.; объединение Хрущева с Маленковым против Берии; возвращение в «верхний эшелон» Во-

*Источники*

1. ГРИЦЯК Е.С. Норильское восстание. Перевод с украинского (Грицяк Е.С. Норильське повстання. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги. – 79 с., 1999) / пер. В.С.Камышан, В.Н. Манович, А.П. Меняйло, Д.И.Штирмер; ред. Л.С. Трус. – Новосибирск: СВЕЧА, 2001.
2. КАСИЛОВ И.С. Жалоба Генеральному прокурору. – Дело № 74. Красноярский краевой государственный архив. Ф. 2041, оп. 1, д. 2 (арх. № 3). т. III.
3. КУЗНЕЦОВ М.В., СИРОТКИН А. А., КИСЕЛЕВ А.И. и др. Докладная записка о работе комиссии МВД СССР в Горном лагере. – Норильск, 1953. ГАРФ. Ф. 9413, Оп. 1, Д. 159, лл. 162-180.
4. КУРТУА Ст. Преступления коммунизма. // В кн. Куртуа Ст., Верт Н., Панне Ж.-Л. и др. Черная книга коммунизма; пер. с франц. – М.: «Три века истории», 1999.
5. МАКАРОВА А.Б. Норильское восстание. – Воля, № 1, 1993.
6. ПИХОЯ Р.Г. Советский союз: история власти. 1945 – 1991.– Новосибирск: «Сибирский Хронограф», , 2000.
7. СИСТЕМА исправительно-трудовых лагерей в СССР. Справочник / О-во «Мемориал», ГАРФ; сост. М.Б.Смирнов, под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. – М.: Звенья, 1998.
8. СПРАВКА. ГАРФ. Ф. 9413, Оп. 1, Дело 159, л. 161.
9. ТРУС Л.С. Введение в лагерную экономику. – ЭКО, № 5, 1990.
10. ТРУС Л.С. Зеркало реального социализма или Введение в экономику и социологию принудительного труда // Возвращение памяти, 2 вып. – Новосибирск: «Сибирский Хронограф», 1994.

рошилова, Кагановича, Микояна, Молотова; арест Берии; учреждение должности Первого секретаря ЦК КПСС - возвышение Хрущева - усиление роли аппарата ЦК. Четкое разграничение принадлежности тех или иных событий к этим уровням не всегда возможно, но в этом и нет необходимости. Важно другое: даже беглого взгляда достаточно, чтобы заметить, что события третьего уровня то и дело «выводят из игры» как раз тех, кто пытался решать те или иные общенациональные проблемы: Берия – Маленкова, Маленков, Хрущев – Берию, Хрущов – Маленкова. Это наводит на мысль, что и решение каждой из проблем первого уровня рассматривалось соответствующими «игроками» тоже не как цель, а как средство решения проблем третьего уровня, что превращало всю страну в заложницу этих «игр». В наличии трех уровней функционирования государственной машины нет ничего специфического, что отличало бы советский режим от каких-либо других. Советская специфика (сохраняющаяся почти в нетронутом виде и поныне) заключалась в другом – в полной закрытости от общества как того, что происходило на двух других уровнях, так и механизмов и процессов принятия решений на всех трех уровнях.

Возвращаясь к предмету настоящих заметок – Норильскому восстанию, приходится признать, что собственно загадкой является не само по себе это событие (и другие подобные акты сопротивления в ГУЛАГе), а то, какую конкретно роль сыграло оно в размораживании постсталинского СССР.

# ДА В РУКУ МНЕ

## МИХАИЛ ЛЕВ

Еврейский писатель Михаил Аронович Лев родился в 1917 году в местечке Погребиче Киевской губернии.

В начале советско-германской войны ушел добровольцем в Красную армию, стал курсантом Подольского пехотного училища и участвовал в боях на дальних подступах к Москве (о чем позднее рассказал в повести «Курсанты»). В октябре 1941 года был тяжело ранен, попал в плен. Летом 1942 года бежал из лагеря для советских военнопленных. В Беларуси стал бойцом партизанского отряда, прошел путь от рядового разведчика до начальника штаба партизанского полка, награжден орденами и медалями.

После войны Михаил Лев работал в Москве литературным сотрудником в издательстве «Дер эмес», где вышла его первая книга «Партизанские тропы». Он одним из первых в советской литературе рассказал о плене и концлагере.

В 1996 году иммигрировал в Израиль, пишет на языке идиш. Его произведения переведены на русский, английский и многие другие языки. Особой известностью в мире пользуется его роман «Длинные тени» о восстании в лагере смерти Собибор в Польше.

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ ИОСИФА РАБИНА

*Иосиф Рабин родился 18 апреля 1900 года в Гродно (по паспорту — в Вильно), умер 9 декабря 1987 года в Москве.*

Я дух испущу в этом диком лесу,  
Мое имя будут проклинять в этой стране.  
Я ищу человека — честного, мужественного,  
Который добром вспоминал бы мое имя...

И. Рабин.

Красноярский лагерь, февраль 1939 г.

(Подстрочный перевод)

В сибирском «диком лесу» наш идишский писатель, к счастью, не погиб. В 1943 году, после шести лет заключения в тюрьмах и лагерях, ему сказали: «Иди отсюда!» И, как только он немного пришел в себя, ему выдали шинель, пару больших сапог с длинными портянками, винтовку, и солдатом стрелкового полка он отправился сражаться с немецкими нацистами.

Кажется, никого из видных европейских писателей я не знал так хорошо и ни с кем не был так дружен, как с Иосифом Рабином. Одна из причин в том, что довольно длительное время мы в Москве жили в соседних домах.

В самые мрачные для еврейской советской литературы и культуры годы (1948–1953) не было дня, чтобы Иосиф не заходил к нам. Считалось, что заходит он не ко мне, а к моей дочурке, которая тогда еще лежала крошечная в своей кровати. Но разница в возрасте не мешала им затевать игру, которая не только у них вызывала смех.

Гость, только что переступивший порог нашей коммунальной квартиры, явно встревоженный, вел себя по-мальчишески шаловливо. Его переполняла такая буря радости, что даже глаза блестели.

– Иосиф, – однажды сказал я ему, – ваши красивые, длинные усы уже поределели. Мой ребенок вырывает из них волоски, а вы не только не стонете от боли, но даже получаете от этого удовольствие.

Его ответ:

– Пока она еще не знает о другой, гораздо труднее переносимой боли, пусть рвет мои волосы.

Сказал – и приставил к губам палец, что означало: не будем больше об этом говорить.

Иосиф Рабин всю жизнь помнил сталинские лагеря, я – гитлеровские. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в нас обоих страх так глубоко укоренился и мы очень часто приставляли к губам палец. Впрочем, тогда в большом страхе жили миллионы советских граждан, пока еще находившиеся на свободе.

При аресте Рабина во время обыска, когда рылись во всех

уголках, обнаружили страшную «крамолу»: прекрасно изданный сборник «Евреи в СССР» (Москва, 1935). Его составителем и редактором был Шимен Диманшетейн. А автором специальной главы «Еврейские научные труды в Советском Союзе» – Иосиф Либерберг.

Сперва Рабина обвиняли в том, что он принимал активное участие в троцкистской группе, которой якобы руководил Либерберг. Затем за него взялся другой следователь, который с самого начала объявил, что обладает неопровержимыми доказательствами того, что Рабин – руководитель писательской организации в Европейской автономной области – занимался не литературой, а шпионажем в пользу соседнего государства, и требовал чтобы тот сам назвал страну, которой за соответствующее вознаграждение продался. Отнюдь не сразу ему подсказали, что шпион он – японский. Более того: он к тому же был вербовщиком новых шпионов – а это вам не служба в молельне. У меня хранится довольно большая часть архива Иосифа Рабина. Почти все записи, которые он делал до смерти Сталина, бесследно исчезли. Вначале это случилось при его аресте, а потом он и сам не раз так «убирал» ящики своего письменного стола, чтобы от этих бумаг даже следов не осталось.

Он же говорит об одном из своих героев, которого зовут Мойшеле: «Он бы мог рассказать очень многое, но не может говорить. Ему все кажется, что за ним гонятся. Его опять поймают. Посчастливится ли ему еще раз остаться в живых?»

Я уверен, что большинство материалов, которые сохранились после смерти Рабина, уже давно должны были бы быть опубликованы. Но поди сделай это! Поэтому хоть немного приоткрою завесу над тем, что находится в моем книжном шкафу.

Передо мною обыкновенная почтовая открытка с двумя крупными штампами. Указан адрес и адресат: станция Иланская, Иланское отделение Крашлага, Рабину. Отправитель: проездом, поездом № 1. Дальше узнаю почерк Бузи Гольденберга (бывшего редактора «Биробиджанской звезды»). Писал он, видимо, в спешке, и за лагерные годы отвык держать перо в руках.

«Дорогой Йосл!

Мы, я, Нотэ Вайнгауз (до ареста редактор в биробиджанском радиокомитете. – М.Л.) и Гирш Добин едем поездом Хабаровск-Москва. Свой «марш» мы завершили 14 марта сего года. Теперь мы навсегда покидаем Биробиджан. Относительно тебя мы делаем все, что можем. В Москве мы еще подождем. Будь здоров.  
1939».

Бузи Гольденберг свое слово сдержал и, оказавшись в Москве, делал все возможное, чтобы Рабина тоже освободить. Одним из первых, к кому Гольденберг обратился, был Перец Маркиш. К счастью, тогда Маркиш еще сам не пережил тюремного несчастья и, возможно, даже в мыслях не допускал того, что впоследствии с ним самим случилось. Пока что его ценили даже в самых верхах. Помогло ли ходатайство Маркиша тому, что Рабина освободили, трудно сказать. Во всяком случае, кровавые колеса повернули вспять. Арестовали и расстреляли главного чекиста Ежова.

Вот отрывки из двух писем Переца Маркиша:

«1943

Дорогой, любимый Рабинчик!

Можешь ли представить себе мою радость, когда я получил твою открытку? Наверно нет. Одним словом, я тебя поздравляю, дорогой мой, с обретенной свободой, которая тебе и всем нам так дорого стоила. Какое нынче время, не стану тебе рассказывать. Понимаешь и знаешь сам. Свое место ты наверняка найдешь... На днях уехала в Америку еврейская делегация: Михоэлс и Фелфер. Еврейские писатели Москвы послали защищать родину прекрасную делегацию добровольцев: Росина, Винера, Гурштейна, Годионера, Зельдина и т. д. Один Арке Кушниров остался в живых...»

«18.08.1943

...Эх, Рабинчик, если бы ты был среди тех, которые ныне воз-

вращаются. Мы, эти несколько старых пьяниц, уж напились бы и главное – наговорились бы. И очень больно, что это пока лишь мечта, но, как говорил Тевье, у нас есть большой Б-г.

Ну, будь здоров и бодр. Пиши письмишки.

(Я попрошу в издательстве, чтобы тебе выслали немного бумаги. Это для тебя, наверно, большой дефицит)».

Еще письмецо – ответ от известного литературного критика и драматурга Йехазкэля Добрушина.

«Дорогой товарищ Рабин!

С прибытием! Я от всей души обрадовался Вашему письмецу... Начнем новую жизнь и, как говорит старик Шолом-Алейхем, первый день на свете, только тужить! (У нас теперь в моде святой язык (иврит. – Прим. перев.)...)

Так вот, дорогой Рабин, включайтесь в работу. Засучите рукава и беритесь за перо. Это будет Вашим лучшим объявлением о Вашем возвращении. Куйбышев нуждается в материалах как для газеты «Эйникайт» («Единство»), так и для заграницы, куда ежедневно уходит масса материалов. Тема о евреях-бойцах, о работе евреев в тылу. Форма – рассказы, зарисовки, факты, материалы. Все, что может возбудить чувства и вызвать мысли. Обязательно включайтесь в эту работу...

Будьте здоровы, бросьте в почтовый ящик письмо. Я желаю Вам всего наилучшего.

Ваш И. Добрушин».

Слишком много времени заняла бы передача сути множества сохраненных писем, которые ему посылали еврейские писатели, литературные критики, читатели. Но мимо одного письма и стихотворения, которые он получил из моих рук, пройти нельзя.

Это было в конце ноября 1961 года. В поздний послеобеденный час в редакцию журнала «Советиш геймланд» зашел Иосиф Рабин. Человек ниже среднего роста, не сухощавый, а словно усохший до худобы, он выглядел моложе своих лет. И походка у него

была легкая, а в глазах еще много лет блеснул молодой задор.

На улице Кирова, 17, где помещалась редакция, его можно было встретить часто. Но просить он приходил не за себя. Этот обычно тихий, деликатный человек на сей раз был язвителен и саркастичен. Пустых разговоров, просто болтовни, он не любил. При себе всегда имел листок плотной бумаги, и с ним переходил из одной комнаты в другую: в отдел прозы к Аврому Гонтарю его просил зайти Ирме Друкер из Одессы (впоследствии их дружба расстроилась), оттуда – в отдел поэзии к Мойше Тейфу – просил Гирш Ошерович из Вильнюса... И так – до тех пор, пока в его памятке почти все было вычеркнуто. Когда он заходил ко мне, я уже по его лицу узнавал, как ему удалось выполнить многочисленные просьбы своих коллег, которые жили не в Москве.

На этот раз он как обычно, придвинул стул поближе к моему столу и стал загадывать в свою узкую бумажку. Я порылся в ящике и передал ему письмо, вслух повторяя написанные на конверте слова: «Лично товарищу Иосифу Рабину».

К тому времени журнал успел опубликовать три прекрасных рассказа Рабина: «Рохл и ее дети», «Бурые косы» и в «В уральском городе». Читателей, надо полагать, было намного больше, нежели тираж журнала (25 тысяч!). Почтальоны ежедневно приносили кипы писем. Часть из них была адресована непосредственно писателям.

Иосиф письмо взял, но вскрыть конверт не смог. Руки дрожали, он несколько раз доставал и надевал очки, встал, прислонился к стене и с закрытыми глазами все повторял:

– Бранд, Бранд, Гирш Бранд жив!

Было заметно, что его мысли витают где-то далеко-далеко. И пока что он завел разговор с самим собой.

Кто – Бранд? Что – Бранд? Я не понял, но теперь прочел обратный адрес: город Ольгополь, Винницкая область, Чечельницкий района, Бранд Г.М.

Не в тот день и не в редакции он мне дал прочесть это письмо. И хочется, чтобы не только я знал его содержание. Поставьте перед собой стакан воды и послушайте:

«Дорогой мой друг Иосиф Рабин!

Я прекрасно понимаю, что ты очень удивишься, когда прочтешь первые строчки и захочешь узнать, кто тебе пишет. Может, ты меня уже давно забыл, а я еще жив. Мое сердце еще бьется. Да. Дорогой мой, это я, Гершеле Бранд, бывший председатель Бирюфельдского сельсовета Бирюбиджанской области. Мы были вместе в Иланске Красноярского края. Я не знал, что ты еще жив. В журнале я увидел твой портрет.

Трудное, очень трудное время мы с тобой пережили, но чаще всего я вспоминаю свой побег из Иланска и как меня туда привезли обратно. Много наших друзей погибло. Среди них Клитевик. Теперь об этом можно писать.

О многом, очень многом надо бы писать. Пока я тебе напомним о поэме, которую ты создал не на бумаге, а в мыслях. Поэму, посвященную моей дочери. Этого я никогда не забуду, до самой смерти.

Дорогой мой друг! Там, где я теперь живу, я не видел ни одной еврейской книжки. Пошел на почту, хотел выписать журнал, но мне сказали, что уже поздно. Поэтому прошу тебя, пришли мне еврейский журнал, а также свои произведения. Я уверен, что ты это сделаешь. Буду тебе очень благодарен.

Пришли мне свой домашний адрес, и мы будем переписываться.  
Твой Гершель Бранд»

...Тогда мы уже не жили на одной улице, и даже не в одном районе, но однажды мы отправились в наш старый садик. Как прежде, с обеих сторон с грохотом и скрипом носился туда и обратно трамвай, ласково прозванный «Аннушкой», которому приходилось справляться с непростым спуском от Сретенки до Трубной (я его однажды описал в рассказе «Перо Рус» и больше, надеюсь, к нему не вернусь.)

Иосиф завел разговор о Бранде. В том, что он выполняет просьбу друга и посылает ему журнал и книги, я не сомневался, но все же спросил:

– А сами вы от Бранда часто получаете письма?

– Получаю. Но вы не можете себе представить, до чего мне трудно отвечать. Бранд постоянно вспоминает мою поэму о его доченьке, а я не знаю, как выкрутиться. Что вы на меня так смотрите? Я этого дорогого человека обманул. Тогда я вынужден был так поступить, но теперь не могу рассказать ему правду.

Прошло несколько минут, и Рабин принялся рассказывать:

– С Брандом я был знаком еще до того, как мы оба попали сперва в хабаровскую тюрьму, а затем в иланский лагерь. Бирофельд было за что любить, и мы, писатели, журналисты там чувствовали себя как дома.

Чтобы попытаться совершить из этого лагеря побег, надо было быть героем. Или самоубийцей. Бранд был смелым человеком и к тому же он на самом деле не мог больше выдержать. Об этом я знал, но что он собирается убежать, он никому не говорил. Делиться этим намерением нельзя было.

В лагерь его привезли избитого до неузнаваемости и, по всей вероятности, еще и тут охранники принялись снова избивать его. Мы пытались его оживить, но поди сделай что-нибудь, когда человек скорее мертв, чем жив. Когда все уже отступились, я не много приподнял его голову и зашептал ему в ухо ненаписанное, но навсегда запомнившееся стихотворение, в котором первые строчки:

«У меня есть дочка, она еще дитя...»

Следующие строчки я опустил и продолжал читать:

«Она будет спрашивать,  
Будет искать на дорогах,  
И когда его увидит, то спохватится,  
Что это ее добрый отец»

Так я шептал раз, другой и третий, пока Гершель хоть еще очень слабо, коснулся моей руки. Потом, когда он уже начал приходить в себя, стал, как и я, запоминать мое стихотворение наизусть так,

как я ему тогда нашептывал, и он даже предположить не мог, что посвящено оно не его дочери, а моей. Эту тайну я ему до сегодняшнего дня не раскрыл. Казалось бы, в чем я согрешил? Но все равно не хочется его разочаровать. Вранье есть вранье...

Я попытался его успокоить, но Иосиф твердил свое:

– Когда Бранд пришел в себя, я должен был открыть ему правду. Он бы меня понял.

Некоторое время спустя после кончины Иосифа Рабина его дочь Люба попросила меня помочь ей разобрать архив отца. Что мне вам сказать... Там обнаружили сокровища, который только он мог записать. Из множества отзывов о его произведениях приведу лишь несколько строк из письма Аврома Шленского от 31 декабря 1969 года: «С большим интересом и величайшим удовольствием я читал Ваш роман «Дорогой чудак». В одной из папок я обнаружил оригинал стихотворения «У меня есть дочка, она еще дитя», и я его перевел Любе в вольном переводе. По ее реакции я понял, что для нее это неожиданная новость.

В дни, когда было достаточно причин для того чтобы перо не слушалось, я сел за письменный стол и с довольно большим опозданием попытался восстановить разговор с Рабином, который мы вели в садике на Рождественском бульваре. Сегодня я перебираю эти пожелтевшие листочки, и хочется верить, что правы те, кто не раз уверял, что у меня хорошая память (правильнее, наверно, будет сказать, что была хорошая память).

У всего, как известно, есть завершение. На сей раз оно таково. В 22-м номере «Иерусалимского альманаха» за 1992 год под заголовком «Рукописи, которые не сгорели» опубликованы несколько стихотворений «известного еврейского советского прозаика Иосифа Рабина».

Привожу первое спасенное стихотворение, где весь сыр-бор завязался из-за разных имен:

У меня есть дочка, она еще дитя,  
Не знаю, то ли она радуется, то ли плачет.  
Я знаю, моя дочь отцу не изменит,

Она его не забудет.  
Ей не надоест его ждать,  
Она будет спрашивать,  
Будет искать на дорогах,  
И увидит его, и спохватится,  
Что это ее отец, Йосл Рабин.  
Дочь моя, я еще дальше от тебя,  
Чем ты от меня.  
Ты будешь спрашивать, будешь плакать,  
Я ничего не скажу, ни о чем не спрошу,  
Я уйду обратно по старым дорогам,  
Кривой, седой, старый надломленный хромой еврей...  
И когда настанет час,  
Я обращаюсь к твоим воротам  
И умру...

*15 марта 1937 г., хабаровская тюрьма  
Подстрочный перевод*

О записях Иосифа Рабина, которые сохранились в его архиве, о том, сколько всего ему пришлось пережить, еще рассказывать и рассказывать. Так что упомяну хотя бы еще одно письмо, которое ни к нему, ни от него, но о нем. Там были фальшивые, колючие, словно штыки слова. Мне это письмо показали в издательстве «Советский писатель», где должна была опубликоваться книга Рабина «Город моей юности». Я в издательстве уже не работал, но еще был членом правления.

К 85-летию его снова догнали беды. Чтобы с ними справиться, требовалось много сил. В таких случаях он среди своих был молчуном, но его душа говорила без слов.

Это было актом мести, цель которой была ясна: чтобы произведения писателя больше не публиковались. Так хотели с ним расправиться за его выход из редколлегии журнала «Советиш геймланд». Произошло это тогда, когда еврейский журнал стал не только литературно-художественным, но и общественно-

политическим. Тем не менее книга все же увидела свет.

Возможно, мне не следовало этого делать, но в моем возрасте... Я позволю себе привести дарственную надпись автора на титульном листе этой книги.

«Посылаю Вам свою книгу, которую Вы спасли от гибели.

Ваш И. Рабин

Москва, 17.10.1985».

Иосифу и Поле Рабин доставляли много радости преданная им всей душой дочь, внуки и правнуки, которые достигли многого и с большим почтением относились к бабушке и дедушке.

На сей раз кто-нибудь из моих читателей может подумать или сказать: «Глянь-ка, он о Рабине столько написал и даже не попытался обсудить его произведения, рассказать о его художественной мощи». Возражать не стану, потому что это так. В данном случае считаю достаточным лишь добавить: в очень добротной еврейской советской литературе Иосиф Рабин занимал почетное место. И еще: если бы так не относились к еврейскому языку, Иосиф Рабин был бы писателем не только своего поколения. Думается, что далеко не о каждом даже знаменитом писателе можно сказать такое.

*Перевела с идиш Маша Рольникайте (Рольник)*

*Санкт-Петербург*

# ЛЕОНИД ГУРЕВИЧ

## **«НЕОСТАЛИНИЗМ»: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ** **о книге Нэнси Адлер** **«Трудное возвращение»\***

И снова на дворе март. Март 2008 года. И снова очередное «весеннее обострение»: все, электронное и бумажное, что пишет и вещает, обращается к личности, занимающей в мировой истории место среди самых жестоких вероломных диктаторов, сумевших превратить свои страны с древнейшими историческими и культурными традициями в единый, даже если они и воевали друг против друга, концентрационный мир. Совсем не удивительно, что о событиях 30-х–90-х годов вспоминают именно в день смерти одного из этих тиранов. Ибо для многих людей она стала спасением и освобождением.

По историческим меркам полсотни лет, пролетевшие после его ухода, срок, казалось бы, мизерный. Но сколько эпохальных событий он вмещает! Живем мы в новом, «глобализированном» мире, в другом государстве, на дворе не только новые времена, но и, хотя бы внешне, новые страсти. В России, как всегда, мечтают об экономической, политической духовной стабильности, и как всегда при очередном повороте, с тревогой и надеждой вглядываются в день грядущий. И невольно, неизбежно обращаются к истории, актеры и свидетели которой еще живут рядом с нами. Многие из них еще спотыкаются о камень у стен московской Бастилии...

---

\* Nanci Adler. The GULAG survivor: Beyond the soviet system. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) Transaction Publishers, 2002.

Нэнси Адлер. Трудное возвращение. Судьбы советских политзаключенных в 1950–1990-е годы / Общество «Мемориал»; перевод с английского С.Я. Крушельницкой под общей редакцией А.В. Крушельницкого – Москва: «Звенья», 2005.

То и дело раздаются призывы «не ворошить историю», разумеется, «во имя национального мира и согласия», дать спокойно уйти жертвам и палачам. И все будет хорошо, все забудется... Не забудется! Больше 20% избирателей отдают голоса «вечно вчерашним», снова формируется образ врага, бесчинствуют разного рода «скинхеды», до поры ласково именуемые хулиганами, множатся жертвы среди «инородцев», гремит псевдопатриотическая риторика, отдающая фашизмом.

Выходит, что страшных войн, массового террора, искалеченного преступными режимами массового сознания недостаточно, чтобы извлечь уроки из трагедий XX века, не говоря о том, чтобы гарантировать их исключение из жизни человечества.

К счастью, есть еще люди неравнодушные: у нас в России и повсюду в мире. Их усилиями создана целая библиотека: от свидетельств жертв гитлеровского и сталинского «гулагов» до воспоминаний участников исторических процессов в Нюрнберге и Токио. Они стараются осмыслить природу нацизма и сталинизма как чудовищных явлений в мировой истории, природу страшной трагедии, метастазы которой угрожали и после смерти тирана погубить нашу страну. Увы, параллельно растет собрание сочинений самих палачей, их наследников и подручных, стремящихся обелить виновных в геноциде собственных и иных народов.

В силу понятных исторических причин первые аналитические работы и мемуары были опубликованы на Западе. В качестве примера можно привести книги Жермены Тильон. Узница Равенсбрюка не только описывала нацистский «концентрационный конус», создала портретную галерею нацистских бонз, но и попыталась с научных позиций объяснить драматические последствия «постлагерного синдрома». В лагере она даже знакомится с немецкой коммунисткой Маргаретой Бубер-Нойман, жертвой сталинских репрессий, предательски выданной Сталиным Гитлеровскому гестапо. Что это было: только ли предательство или «естественная кооперация двух концентрационных систем»?

Постепенно эта библиотека пополнялась за счет тех, кого в СССР и на Западе именовали «советологами», «кремленолога-

ми» и т. п. Очень пестрая компания авторов, чьи оценки и выводы приходилось воспринимать весьма критически, порой осторожно, но несомненно одно: во многих случаях они впервые, еще до частичного и порой условного открытия советских архивов, позволили нам соприкоснуться с доселе тайными документами и свидетельствами.

Постепенно в эту работу стали включаться и отечественные просветительские и мемориальные центры, среди которых особую роль сыграло и общество «Возвращение», чья подвижническая деятельность, в том числе издание поэзии ГУЛАГа, была высоко оценена творческой и научной интеллигенцией России. Книги «Возвращения» органично дополняли такие фундаментальные работы, как «Омут памяти» Александра Яковлева. Среди них выделяется своего рода завещание Татьяны Ступниковой «Ничего, кроме правды». Даже чтение этой исповеди требует немалого мужества.

Менялись поколения. Но тема эта по-прежнему порождает и вовсе небезобидные спекуляции «неосталинистов», и новые серьезные исследования. К числу их авторов принадлежит и американский профессор Нэнси Адлер, чья книга «Трудное возвращение. Судьбы советских политзаключенных в 1950–1990-е годы» была создана и опубликована в рамках издательской программы Общества «Мемориал» в 2005 году.

В связи с этой публикацией возникает несколько вопросов: насколько оправданно утверждение, что «данная книга – первое на русском языке специальное исследование трудного процесса социальной адаптации» жертв массовых репрессий, каковы принципиальные выводы автора, выделяющие эту работу среди многих других, какие аспекты адаптации – политические, социальные, психологические, сугубо индивидуальные либо массовые – исследуются автором? В чем заключается специфика проявления в России «постлагерного» синдрома? Насколько усугубляет эту ситуацию отношение, вчера и сегодня, разных слоев общества к бывшим репрессированным?

Как для любого серьезного исследователя, вполне естественно

стремление автора, отталкиваясь от характеристики советского режима, его специфических черт, дать современное, историей проверенное и документально подтвержденное, толкование таких базовых понятий, как государство и его машина принуждения, государство и гражданин, личность и общество, личная и коллективная ответственность, личная и коллективная вина, и т. п. Представляется, что успех этого исследования предопределен исходным тезисом автора: «Последствия сталинизма могут быть лучше всего поняты как система взаимозависимых и взаимообусловленных – системообразующих – элементов, которые настолько неразрывны, что изменить лишь одну какую-либо часть системы крайне трудно» (с. 23).

Не приходится удивляться и тому, что автор постоянно, и невольно, сравнивает два диктаторских режима: сталинский и гитлеровский – в этом проявляется не только объективный, и методологически наглядный характер анализа, но и взгляд человека, сформированного в рамках либеральных ценностей «другого», параллельного мира. И это тем более важно для понимания различий и нюансов в оценке преступлений нацизма, прежде всего в самой Германии, и преступлений сталинского режима у нас в стране.

Нэнси Адлер предваряет анализ главной темы – адаптации бывших узников ГУЛАГа к советской действительности 50–90-х годов – кратким, но достаточно содержательным экскурсом в историю подготовки и осуществления массовых репрессий, формирования и развития советской лагерной системы в тесной связи с эволюцией самой диктатуры. Особенно хотелось бы отметить структурный анализ лагерного мира на фоне событий, происходивших в стране на каждом конкретном историческом этапе, а также описание автором масштабов репрессий. Впрочем, автор подчеркивает, что в центре ее внимания были «люди, перенесшие репрессии, исследование воздействия, которое приобретение ими травматический опыт оказывал на них самих, на советское общество, на советскую политическую систему» (с. 37).

Автор уделяет большое внимание условиям, в которых произошло освобождение и растянувшаяся на полвека реабилитация

бывших зеков. Причем речь идет о реабилитации не только правовой, но и социально-политической и психологической в условиях «большой зоны». Если заключенные гитлеровских лагерей возвращались в сложный, зачастую равнодушный, но все же ощущающий синдром вины мир, «наши» узники возвращались в мир, в котором «советская система загода и прочно приспособилась к жизни без этих отверженных...» (с. 49).

Переходя к свидетельствам очевидцев, автор рассказывает о роли так называемой «устной истории» и художественной литературы (Солженицын, Шаламов, Домбровский...), особенно на первых этапах Возвращения. Причем во всех историях постоянно присутствуют страх возвращения на каторгу, враждебное отношение обывателей к «врагам народа», всякого рода «минусы», синдром «вины»... Жизнь З.Д. Марченко, З.Ф. Веселой, С.С. Виленского и их друзей, прошедших испытание ГУЛАГом и сумевших сохранить не только свое человеческое достоинство, но и объединить бывших гулаговцев в содружестве «Возвращение», не позволивших обществу «списать» за временем память о ГУЛАГе, показавшим и показывающим сегодня пример активной общественной позиции – а это лучшее лекарство от «лагерного синдрома» – это не только образец личного мужества, но и ответ на многие вопросы, которые задает себе и читателям автор этой книги, утверждая, что «освободиться из лагеря оказывалось проще, чем освободиться от лагеря» (с. 145).

Рассуждая о «жертвах и палачах», автор затрагивает важнейший вопрос. Ведь в определенном смысле и сами палачи, и многие обыватели были жертвами этой «мясорубки». Так вправе ли мы сегодня говорить о том, что они, их духовные «наследники» осознали свою вину перед жертвами ГУЛАГа? Скорее нет. И дело не только в том, что последние служат им вечным укором. Они не могут простить своим жертвам того, что, выжив, они и сегодня мешают им вернуться в гулаговское прошлое!

Думаю, что книга Нэнси Адлер в достойном переводе С.Я.Крушельницкой не затеряется в многотомном собрании трудов, избобличающих тоталитаризм во всех его проявлениях.

*Москва 24.03.2008 г.*

# Владимир Петрицкий

## Записки библиофила

Я, Владимир Александрович Петрицкий, родился 24 июня 1933 года в Ленинграде. Отец – комиссар корабля на Балтийском флоте, мать – швея, а потом работала в женотделе политотдела Северного флота, куда отца перевели с Балфлота в 1933 году.

В декабре 1934 отец был арестован, увезен в Ленинград и в сентябре 1935 г. расстрелян. В 1958 г. отец реабилитирован. Мать с двумя сыновьями в 1938 году из Ленинграда выслали в город Рыбинск Ярославской области.

В Рыбинске, переживая с матерью и братом голод, холод и бомбежки во время Отечественной войны, я окончил в 1950 г. семь классов и поступил в Рыбинский авиационный техникум. После техникума работал технологом литейного цеха на заводе. В 1961 году уже с семьей вернулся из ссылки в Ленинград. Работал мастером литейного цеха на заводе «Арсенал».

В 1963 году, интересуясь темой сталинских репрессий, я начал покупать брошюры Политиздата из серии «Герои и подвиги» о трагических судьбах полководцев Гражданской войны и некоторых политических деятелей, погибших в годы репрессий. Книги по этой теме комплектовались также при помощи службы «Книга – почтой» многих городов страны. Сейчас этот раздел моей библиотеки насчитывает около 800 томов. С 1964 года началось собирательство книг репрессированных писателей.

Работая в районе Театральной площади, я почти ежедневно доезжал до Невского проспекта и начинал обход с угла Невского и улицы Герцена (ныне Б. Морской), затем посещал Дом военной книги, Дом книги, Книжную лавку писателей на Литейном, магазины «Букинист» и «Академкнига». Часто такой обход

завершался очередным уловом. Помимо вновь переизданных книг, после длительного запрета в букинистическом магазине стали появляться прижизненные издания расстрелянных или прошедших лагеря писателей. За 45 лет собирательства у меня образовался большой массив книг, который к сожалению еще не каталогизирован и не подсчитан. Некоторые книги имеют дарственные надписи авторов: Ю. Берзина, С. Колбасьева, Г. Куклина, Б. Четверикова, Б. Корнилова и других.

В 1968 году брат привел меня на собрание в секцию библиофилов. Там я сделал несколько докладов по теме своего книжного собрания, участвовал в книжных выставках к разным торжественным датам. В 1972 году я вступил в секцию книги и графики Ленинградского Дома ученых и сразу принял участие в выставке, посвященной 150-летию Ф.М. Достоевского. В дальнейшем я участвовал во всех выставках Дома ученых и одной общесоюзной – «Книга сражается», в Москве в 1985 году.

Было у меня и три персональных выставки:

1. Художественная книжная обложка художников СССР 1920 -1940 годов.
2. Книга и гравюра (о роли гравюры в книге).
3. Книги писателей, репрессированных в 1930-50 гг.

Последняя после Дома ученых триумфально прошла по Ленинграду, экспонируясь в городской библиотеке им. Маяковского, в магазине подписных изданий на Литейном проспекте, в Доме культуры Выборгский, в кинотеатре «Ленинград». Выставка имела много откликов в городской печати.

В последние годы я почти каждый сезон выступал в секции книги и графики с докладами или сообщениями о редких книгах своего собрания. После начала выхода альманаха «Невский библиофил», я сотрудничал в каждом из его 11 выпусков, где публиковал результаты своих поисков о судьбах людей и книг в годы репрессий.

Наряду с биографией книжника-коллекционера надо несколько слов сказать о себе, как инженере. По образованию техник-литейщик, я начинал работу технологом, затем мастером литей-

ного участка цеха. В 1964 году перешел на работу в проектно-конструкторский институт «Союзпроммеханизация», где и трудился до выхода на пенсию: начав с должности старшего техника, прошел, приобретая опыт, должности инженера, старшего инженера, инженера-конструктора I категории.

За время работы в институте я участвовал в проектах механизации литейных цехов Ижорского, Кировского заводов, Одесского центролита, Красноярского завода автоприцепов, Орского завода тракторных прицепов, Ульяновского автозавода и многих других. Мой творческий вклад был оценен наградами того времени: помещением на доску почета, почетными грамотами, патентами на изобретение, медалью «Ветеран труда».

*С.-Петербург, 18 октября 2002 года.*

## **Собрание книг советских писателей, репрессированных в 1930 — 1950 годах**

В моей библиотеке основным разделом является собрание книг репрессированных писателей бывшего Советского Союза, начиная с 1930-х до 1950-х годов. Из примерно двух тысяч томов большая часть – в прижизненных изданиях, и лишь около одной трети в современных переизданиях (1960–1990 годов).

Побудительным мотивом такого собирательства стало появление в конце 1950-х – начале 1960-х годов большого количества книг о неизвестных ранее деятелях партии, военных полководцах периода гражданской войны, литераторах первых лет советской власти. Приобретение этих книг, особенно серии Политиздата «Герои и подвиги», и дало начало моему собранию. Некоторые из военачальников, например В.М. Примаков, Р.П. Эйдеман, Ф.Ф. Раскольников, А.И. Окулов были и литераторами. После XX–XXII съездов КПСС в газетах стали появляться статьи в рубрике «Борцы за великое дело». Всё это обостряло интерес к людям и событиям времени репрессий.

С малых лет я был увлечённым читателем художественной

литературы, конечно, сначала детской, а потом и для взрослых. И в начале 1960-х годов не прошли мимо моего внимания возвращающиеся после долгого замалчивания и даже уничтожения книги репрессированных писателей И. Бабея, А. Веселого, В. Кина, М. Кольцова, В. Зазубрина и многих других. Сначала я покупал переиздания 1960-х – 1970-х годов, а затем в букинистических магазинах мне стали попадаться и прижизненные довоенные издания. К этому времени я уже не мог прожить и дня, чтобы не зайти в один или несколько магазинов и поискать в витринах или на полках нужные мне книги. Именно тогда в 1970-е годы я собрал большую часть прижизненных изданий репрессированных писателей. Сейчас в моей библиотеке имеются книги около семидесяти репрессированных ленинградских авторов, около девяноста москвичей, двадцати пяти сибиряков, двадцати украинцев, пятнадцать белорусов, а также кавказцев, писателей Средней Азии и других регионов страны. Началом серьезного собирательства я считаю 1960 год, и оно продолжается по сей день. В последнее время я дополняю своё собрание книгами писателей-диссидентов 1970-х–1980-х годов М.Владимова, В.Войновича, Б.Хазанова, И.Ратушинской, А.Глезера, В.Некрасова, И.Губермана и других.

Собирательство происходило не одинаково по разным авторам. Так например почти полное собрание сочинений ленинградского писателя Юлия Берзина (1904–1938) мне удалось собрать за шесть лет. В 1968 году Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» выпустило книгу Ю.Берзина «Конец девятого полка» с предисловием М.Л. Слонимского, который был лично знаком с Ю.Берзиным. Я эту книгу купил и, пользуясь библиографией книг Берзина, приведенной в предисловии, стал искать их в букинистических магазинах. Сначала в той же лавке писателей в букинистическом отделе увидел и купил роман Берзина «Форд», второе издание 1928 года. Через год в магазине «Академкнига» удалось найти книгу «Завоеватели и мелочь» [М., ЗИФ., 1930]. Книга оказалась с дарственной надписью автора ленинградской поэтессе Розе Карельской. Еще через год, снова в лавке писателей, я купил «Возвращение на Итаку», роман о гео-

логах в Казахстане, который высоко оценил с профессиональной точки зрения геолог академик В.Смирнов («Литературная газета» от 1 января 1971 года). Затем в разное время мне везло в одном из самых популярных букинистических магазинов на Литейном проспекте. Там были приобретены «Конец девятого полка» 1929 года издания, сборник рассказов «Путешествие, факты и лирика» 1931 года, «Нокаут» 1931 года. Все книги в хорошем состоянии, имеют яркие обложки, оформленные известным книжным графиком М. Кирнарским. Точку я поставил летом 1974 года: находясь в отпуске в Москве зашел в букинистический отдел Дома книги, и тут мой опытный глаз из множества книг на прилавке выхватил «Оптимистический роман» 1930 года издания. Вот история шестилетнего собирательства почти полного собрания сочинений одного из ярких представителей начального периода советской литературы, чьи произведения достойны переиздания в более полном объёме.

Совсем другой пример собирания прижизненных книг ленинградского поэта Бориса Корнилова. Одной из первых в июне 1970 года я приобрел поэму «Триполье» 1933 года издания. В 1972 году в магазине Академкнига я купил поэму «Моя Африка» 1935 года, переплёт, иллюстрации автолитографии художника Льва Канторовича, на титуле дарственная надпись автора своей матери. В 1973 году брат подарил мне на день рождения книгу стихов Б.Корнилова «Все мои приятели» [Л., ГИХЛ., 1931], в 1974 году в магазине «Букинист» я купил книгу стихов «Новое» 1935 года. В 1976 году в лавке писателей мне попало второе издание книги-поэмы «Триполье», оформленное художником Н. Травиным. Затем был большой временной перерыв, и только в 1986 г. Мне встретилась «Книга стихов» 1933 года. В 1987 г. я купил самую первую книгу Б.Корнилова «Молодость» [Л., «Красная газета», 1928], посвященную Ольге Берггольц. В 1992 г. мне опять чудовищно повезло: в магазине «Букинист» я купил книгу «Стихи и поэмы» [Л., ГИХЛ., 1933] с двумя дарственными надписями: одна – режиссеру В.Э.Мейерхольду от автора, а другая от его жены Людмилы. Таким образом, на собирательство вось-

ми книг Бориса Корнилова мне понадобилось двадцать два года.

Книги некоторых, а пожалуй и всех репрессированных писателей исключительно редки. Есть в моей библиотеке авторы, представленные одной или двумя книгами. Московский книговед И.В. Поздеева в своей статье «Принципы выделения книг-памятников истории и культуры» оценила мою коллекцию запрещенных и уничтоженных книг репрессированных советских писателей как редкую. («Редкие книги и рукописи. Изучение и описание». Л., Издательство ЛГУ, 1991, с. 27).

## Певец родного края

В далёком уже 1967 году во время отпуска я поехал в город Рыбинск Ярославской области, чтобы, наконец, воссоединиться с матерью, которая после реабилитации так и жила в Рыбинске, куда нашу семью выслали из Ленинграда в 1938 году. Надо было помочь матери собрать вещи, выписаться, сдать комнату, и перевезти ее в Ленинград, где мы с братом уже жили полноправно после ссылки. Перед отъездом мать захотела на несколько дней съездить в Ярославль, повидать сына старичка, с которым мать жила вместе, когда мы уехали в Ленинград. Этот человек занимал высокую должность начальника Ярославского отделения Северной железной дороги; он заботился об отце и моей матери, помогал деньгами и лекарствами. Мы с мамой были гостеприимно встречены. В его доме я случайно узнал, что на той же лестничной площадке (дверь напротив) живёт поэт Дмитрий Максимович Горбунов, который был в заключении с 1937 года. Я захотел с ним познакомиться, и в тот же вечер родственник проводил меня к Горбунову.

В разговоре я упомянул о нашем расстрелянном отце, о ссылке в Рыбинск, о том, что я собираю книги репрессированных писателей. Мы поговорили о книгах, и Горбунов достал книжечки своих стихов и одну из них надписал мне, добавив в подписи слова: «Он же Егорка Богатырёв». Он пояснил, что работает над

книгой прозы о своём детстве, где главного героя зовут герой Егорка Богатырёв. Мы тепло распрощались и затем с мамой уехали в Рыбинск, а оттуда в Ленинград. Когда в 1968 году в Ярославле «Егорка Богатырёв» вышел из печати, Дмитрий Максимович прислал мне эту книжку. Ещё раньше, когда я сам жил в Рыбинске, я купил изданный в 1959 году сборник стихов ярославских поэтов «Родные берега», в котором участвовали 18 поэтов. Среди них были Горбунов и ещё один репрессированный поэт Николай Якушев. Но тогда я ничего не знал о них.

В августе 1968 года мне по коллекционерскому везению пришла удача: на Литейном проспекте в букинистическом магазине № 61 в развале попалась книга стихов Дм. Горбунова «Черёмуховый след. Стихи» [Ярославль, издание Ярославского отделения Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, 1927], тираж 1000 экземпляров. Я сообщил об этой находке Горбунову и предложил прислать ему книгу. Он поздравил меня и написал, что мне она нужней. Это было его последнее письмо, Дмитрий Максимович Горбунов скончался в июне 1970 года.

Вот краткая биография Д. М. Горбунова. Он родился в 1894 году в деревне Киселюха недалеко от Ярославля в бедной крестьянской семье. В 1905 году отца взяли на русско-японскую войну где он вскоре погиб. Мать была вынуждена была отдать десятилетнего сына в «мальчики» в Петербург в услужение к пекарю. Условия службы были такие: первые три года работать бесплатно только за харчи, после трёх лет получать три рубля за месяц. Позже он покинул пекаря и перешёл работать к мяснику. В деревне Горбунов окончил лишь первый класс церковно-приходской школы, но в редкие часы свободы от своих обязанностей сидел со случайной книжкой и постепенно приобрёл достаточную грамотность. Далее летом он жил в деревне, занимаясь крестьянским трудом, а зимой работал у разных хозяев в Петербурге.

В 1914 году Горбунова мобилизовали в армию и он попал на кавказский фронт. После февральской революции был избран в солдатский комитет, но тропическая малярия выбила его из строя. После болезни получил отпуск на родину. В Киселюхе

Горбунов стал одним из организаторов первого волисполкома, где ведал делами просвещения и продовольствия. В 1918 году он ушёл в Красную армию, воевал в 15-й Инзенской дивизии. В 1923 году демобилизовался и вернулся домой.

После гражданской войны начался литературный путь Дмитрия Горбунова. В 1924 году он переехал в Ярославль, где стал продавцом в книжном магазине. Тогда же были опубликованы его первые стихи: книжечка «Черёмуховый след» вышла в 1927 году. Далее он активно работал в писательской организации Ярославля, печатался в газетах и журналах. Написал пьесу «Шестнадцать дней» о белогвардейском мятеже в Ярославле, которая была поставлена и шла в ярославском театре. Так было до 1937 года, когда его неожиданно арестовали, осудили на 10 лет лагерей, которые растянулись из-за войны на долгие 18 лет до реабилитации в 1956 году. Вернувшись в Ярославль, Горбунов стал творцом новых стихов, новых книг поэзии и прозы. Темой большинства его новых стихов стали природа родного края и люди ярославщины. В 1969 году ему исполнилось 75 лет, а в 1970 году он скоропостижно скончался. В моём собрании есть пять книг Д. М. Горбунова – четыре поэтических и «Егорка Богатырёв».

## Воин и писатель

До 1976 года я не знал о существовании русского писателя Глеба Алексеева. В 1976 году московское издательство «Советский писатель» выпустило книгу Г. Алексеева «Роза ветров» (Роман и рассказы). Из предисловия писателя Льва Никулина я сделал вывод, что жизнь Алексеева окончилась совсем не просто. Я стал искать в разных мемуарных книгах и справочниках сведения об Алексееве и убедился, что в самом деле он был репрессирован в 1937 году и расстрелян в 1938 году.

Уже зная о судьбе писателя я искал его книги в букинистических магазинах, и поиск увенчался успехом. В том же 1976 году я купил сборник рассказов «Иные глаза», издание артели писа-

телей «Круг» (М. 1926). Позже, не помню где, купил книжечку «Дунькино счастье» (М., «Огонёк», 1926) с портретом автора на обложке. В 1980 г. на Литейном в «Букинисте» мне повезло: я купил книгу Г.Алексеева с дарственной надписью литературному критику В.В. Ермилову: «Вл. В. Ермилову на «разнос». Глеб Алексеев. 28 февр. 1928. Москва.», вышедшую в издательстве «Недра» в 1928 году. До нынешнего времени были приобретены ещё три прижизненных издания – сборники рассказов и повестей: «Шуба», [Харьков, «Пролетарий», 1927], «Повесть о ненаписанном законе», [М., «Жизнь и знание», 1930] и «Приданое» [«Недра», 1930]. Итого шесть прижизненных книг.

Биография Глеба Васильевича Алексеева с самого начала была трагична. Он родился в 1892 году в Москве. Ещё в гимназии он начал писать стихи. Отец хотел, чтобы сын стал бухгалтером. Мать поддержала литературные стремления сына. Во время отбывания воинской повинности в Твери в 1912 году Алексеев стал печатать в местной газете стихи и рассказы. В годы первой мировой войны Алексеев перешёл служить в авиацию, окончил курсы лётчиков и летал. Тогда Франция поставляла России устаревшие самолёты «Блерио», на одном из таких самолётов Алексеев потерпел аварию. Его аэроплан рассыпался в воздухе. С переломами и черепными травмами он долго лежал в госпитале, здоровье его было подорвано на всю жизнь. Конец гражданской войны застал Алексеева в Новороссийске. Его, заболевшего тифом, вывезли в Константинополь. Выздоровев, он уехал в Югославию, там работал на виноградниках, откуда потом перебрался в Берлин. Там Алексеев познакомился с писателями эмигрантами из России, особенно он сблизился с А.Н. Толстым.

Организовав в Берлине небольшое издательство, Алексеев печатает произведения советских писателей. Он посещает М. Горького на Капри, затем в 1923 году с разрешения советского правительства вслед за Алексеем Толстым возвращается в Москву, где живёт и работает ещё четырнадцать лет. В разных издательствах были опубликованы его романы, повести, рассказы. Ранние рассказы и повести были, в основном, посвящены дореволюционно-

му быту деревни и города и послереволюционной ломке жизни простых обывателей. За это его клеймили критики, считавшие его попутчиком пролетарской литературы. Роман «Роза ветров», опубликованный в 1933 году – поздняя попытка писателя рассказать о современности, эпохе социалистического строительства первых пятилеток. Последние годы он подвергался обильной и жестокой критике. Печататься становилось трудней, и пришлось перейти на литературную подёнщину. Алексеев написал пропагандистскую брошюру «Против антисемитизма», киргизские очерки «Иссык-Куль», книгу о лучшей лошади в СССР «Граб». Уже после ареста в Архангельске вышел первый том фольклора народа коми в обработке Глеба Алексеева. Я полагаю, что творческое наследие Г. Алексеева останется одним из ручейков большого потока русской литературы.

## Приоткрытая тайна ГУЛАГа

С начала 1920-х годов в тюрьмах и лагерях сидели примерно шестьдесят тысяч человек – элита ушедшего в историю общества: дворяне, чиновники, священники. В 1920 году вышло разрешение властей издавать в местах заключения газеты, и лагерная интеллигенция бросилась печататься. С организацией строительства Беломоро-Балтийского канала в культурно-воспитательной части этого учреждения родилась газета «Перековка», родоначальница всей лагерной прессы, и поныне находящаяся в спецхране.

Такие газеты как «Перековка» издавались на всех великих стройках, где трудились заключённые. В Белбалтлаге в разных секторах издавалось тринадцать газет. Позже на канале Москва-Волга (Дмитлаг) издавалось более тридцати газет. На газетах и прочих изданиях обязательно стоял гриф «Не подлежит распространению за пределы лагеря».

Весной 2004 года мне, как собирателю книг гулаговской темы, повезло: знакомый библиофил, знавший о моём увлечении этой темой, предложил мне на обмен книгу стихов украинской поэ-

тессы Лады Могиланской. Запросил он тысячу рублей или пять книг с художественными обложками художников-графиков начала двадцатого века. Подумав и поторговавшись, я всё же уступил ему, позволил взять из моей коллекции художественных обложек пять книг по его выбору и приобрёл этот сборник стихов. Почему я так уступил? Да потому что эта книжечка – редчайшее издание, вышедшее в Дмитлаге с грифом «Не подлежит распространению за пределы лагеря». Мало того, книга с дарственной надписью автора. Тираж книги порядочный, 3200 экземпляров, но в продаже она нигде не была, и на волю попали считанные экземпляры. Пути таких книг неисповедимы и запутаны.

В книгу оказалась вложенной страница украинской газеты «Культура и жизнь» № 12 за 20 марта 1988 года. На седьмой полосе газеты киевский автор Р. Доценко коротко рассказал о трёх украинских женщинах-писательницах, погибших в годы репрессий в лагерях. Одной из трёх была Лада Могиланская. На основе дарственной надписи на книге и скудных и неполных сведений из газеты я написал короткий очерк о Ладе и опубликовал в десятом выпуске альманаха «Невский библиофил» (СПб, «Сударыня», 2005, с. 150). Альманах был разослан мной моим корреспондентам-библиофилам в разные города. В ответ один из них прислал мне ксерокопии публикации из журнала «Зона» № 16 от 2005 года, издаваемого обществом политических узников в Киеве. Украинский литературовед и краевед Ю.В. Пьядек параллельно со мной опубликовал в журнале «Зона» свои разыскания о Ладе Могиланской. И теперь я вынужден дополнить свой очерк новыми данными из статьи Ю.В. Пьядека.

Лидия (по-семейному Лада) Могиланская родилась в 1889 году в городе Чернигове в семье писателя Михаила Михайловича Могиланского, который ещё до революции активно работал в печати как публицист и критик. Печатался он и в советской прессе – рассказы, рецензии и воспоминания. Могиланский был близок к писателям Ивану Франко и Михаилу Коцюбинскому.

В семье было три дочери и сын. Старшая Лада училась в петербургской гимназии и летом на каникулы приезжала в Чернигов.

Средняя дочь Елена училась в Киеве и впоследствии стала журналисткой. Младшая дочь Ирина очень рано вышла замуж и жила с мужем в городе Днепропетровске. Сын Дмитрий, 1901 года рождения, учился в Киеве и стал писателем. До 1930 года он выпустил две книги рассказов, писал также стихи, публикуя их в газетах и журналах под псевдонимом «Дмитро Тась».

После 1917 года Лада всё время жила в Чернигове. Там впервые в газетах появились её стихи, там она вышла замуж за сына поэта Коновала-Воронковского, и вскоре у них родилась дочь Инна. Параллельно складывалась литературная деятельность Лады. С 1923 года по 1929 она печаталась в провинциальной и центральной прессе (журнал «Червоний шлях») и даже за границей (Львовский «Вестник»).

Дальше начинаются трагические страницы истории семьи Могилянских. В 1930 году первыми были арестованы Лада и её муж Виктор Коновал. Если судьбу Лады можно было проследить до конца, то судьба ее мужа совершенно неизвестна. Их дочка Инна (по-семейному Нюся, Нюточка) сначала жила с дедом Михаилом, затем переехала к родным отца в Харьков, а далее её судьба неизвестна.

С 1930 года целое десятилетие на Украине продолжались массовые репрессии против интеллигенции. Арестовывали ученых, артистов, техническую интеллигенцию, одних только писателей посадили около 500 человек. После ареста Ладу приговорили к 10 годам трудовых исправительных лагерей и этапировали в Соловецкий лагерь особого назначения. Неопубликованные воспоминания о ней оставил композитор М. Черняк, написавший музыку к некоторым стихам коллективных сборников, где участвовала и Лада Могилянская. Оставила воспоминания и ее подруга по лагерю Успенская. Академик Д.С. Лихачёв посвятил Ладе страницу воспоминаний в своей книге «Воспоминания» (СПб, «Логос», 1995). На Соловках Лада работала машинисткой в здании Управления лагеря, кое-что из её русских стихов было опубликовано в журнале «Соловецкие острова». С Соловков её этапировали в начавший строиться Белбалтлаг. Где она там рабо-

тала точно неизвестно, может быть, в культурно-воспитательной части. В пришедшей ко мне книжечке есть стихи, посвященные Беломоро-Балтийскому каналу.

За хорошую работу Лада в 1935 году была освобождена из заключения, но не отпущена на родину, а направлена на строительство нового канала Москва-Волга. В одном из номеров журнала «Огонёк» за 1935 год упоминается имя Л. Могиланской как одного из авторов летописи строительства Беломоро-Балтийского канала. Уже работая в КВЧ Дмитлага, Могиланская составила и напечатала свою книжечку стихов под названием «Два канала». На титуле имеется дарственная надпись: «Милой дорогой Нюточке на память от Лады Могиланской». Книга красиво оформлена художником Глебом Куном, который, как я полагаю, был близок автору: ему посвящено одно из стихотворений, а художник сделал на



*Лада Могиланская*

втором титульном листе силуэтный портрет автора. Стихи Лады, конечно, далеки от совершенства, темы их навязаны условиями лагерной жизни, где автор был обязан воспевать вождя, правительство и саму стройку. Несмотря на это Ладе и её мужу, которого она обрела в Дмитлаге, не повезло. В 1937 году в новой волне репрессий они снова были арестованы и расстреляны. Имя её не упоминается в антологии украинской поэзии, и только автор статьи в газете «Культура и жизнь» в 1988 году впервые напомнил о ней украинским читателям.

Заканчивая очерк о Л. Могиланской, не могу умолчать о других членах её семьи. В 1938 году репрессии обрушились на других её родственников. Сестру Елену арестовали. После следствия

в Москве на Лубянке её выслали в селение Великая Мурта Красноярского края. Был арестован брат Лады Дмитрий и 28 января 1938 года расстрелян в Москве. Отец М.М. Могильянский выслан из Киева и уехал к младшей дочери Ирине в Днепропетровск. В начале войны в 1941 году он вместе с Ириной уехал к Елене в Великую Мурту и там умер в 1942 году. Ирина одна из всех не была репрессирована и После войны вернулась в Днепропетровск. После смерти Ирины Елена приехала к племяннику в Днепропетровск и там умерла. Сын Ирины Еремей и сейчас живёт в Днепропетровске, он металлург, кандидат наук. У него остался весь семейный архив.

Такая же книжечка «Два канала» была прислана в 1935 году и сестре Елене. Хотя книга не должна была распространяться за пределы лагеря, Лада взяла на себя смелость и послала её родным, как я полагаю, сестре и дочери. Ю.В. Пьядек не пишет в своей статье, была ли на книге Елены дарственная надпись. В 1991 году московское издательство «Художественная литература» выпустило книгу «Ой, упало солнце. Из украинской поэзии 1920–1930-х годов». В книге представлена поэзия двадцати репрессированных авторов. О Могильянских упомянуто лишь в послесловии к книге и то с неточностями.



# К ИСТОРИИ «ВОЗВРАЩЕНИЯ»

Общество «Возвращение» возникло в 1962 году в дружеском кругу бывших узников Колымы, живущих в Москве, в других городах и республиках СССР. После выхода в свет осенью 1989 года первой книги сборника «Доднесь тяготеет», к колымскому кружку присоединились несколько десятков авторов воспоминаний, опубликованных в этой книге, а также авторы, чьи мемуары и лагерные письма были отобраны для второй книги. К моменту официальной регистрации Моссоветом в марте 1990 года общество насчитывало около 100 человек. Членами общества, согласно уставу, могли стать бывшие политзаключенные – авторы воспоминаний, написанных до 1985 года, а также лица, которые сохранили рукописи таких авторов, не доживших до наших дней. (До 1985 года рукописи, свидетельствующие о преступлениях режима, в случае их обнаружения изымались, а их авторы или хранители рисковали личной свободой)\*. «Возвращение» стало первой и до сих пор единственной организацией, объединившей в своих рядах участников сопротивления в ГУЛАГе, репрессированных в 1920–50 годах.

Главной целью общества является обнаружение мемуаров неизвестных авторов, документов и художественных произведений, созданных бывшими узниками советских концлагерей. Одновременно общество оказывает помощь своим престарелым и больным товарищам.

*Из информационного письма  
Московского историко-литературного  
общества «Возвращение»  
от 20 марта 1991 года*

---

\* Год спустя устав был изменен: членом общества мог стать любой гражданин, помогающий осуществлять цели Общества.

# ЛАЗАРЬ ШЕРШЕВСКИЙ

## И участники, и летописцы

«Советские официальные историки – по-своему очень талантливые люди, – они ухитрились написать историю страны после революционных лет, не заметив бесчисленных тюрем, лагерей и ссылок, через которые прошли миллионы людей».

Так начал свое выступление на сцене Колонного зала Дома Союзов Семен Виленский – составитель многотомного сборника «Доднесь тяготееет», первый выпуск которого уже увидел свет в издательстве «Советский писатель» года полтора назад.

Обращены были эти слова к собравшимся в зале авторам и этой, и ряда других планируемых книг, к их близким и друзьям, – к тем, кто составляет актив Московского историко-литературного общества «Возвращение».

Речь идет о воспоминаниях бывших узников ГУЛАГа, выживших и успевших не только вернуться к жизни, но и запечатлеть пережитое ими в воспоминаниях, дневниках, письмах, документах.

Все это создавалось в течение десятилетий, следовавших за реабилитацией, но не дававших возможности громко и всенародно сказать всю правду о временах террора и бесправия. Люди писали «в стол», в назидание потомкам, в надежде, что хоть их близкие прочтут эту летопись страданий и сопротивления. Творческий и гражданский подвиг Александра Солженицина, создавшего свой «Архипелаг ГУЛАГ», в значительной мере опирался на эти собранные им свидетельства, – но далеко не на все! Тысячи и тысячи судеб, тысячи и тысячи рукописей остались неизвестными ему.

Всем теперь знакомы имена творцов крупных книг о лагерях и тюрьмах Олега Волкова, Евгении Гинзбург, Варлама Шаламова, – но сколько еще страниц, каждая из которых по-своему неповторима, повествует о тех страшных временах! Сделать их достоянием

читателя, написать общими усилиями как коллективную историю, так долго скрывавшуюся от народа, – главная задача общества «Возвращение», в котором собрались мужественные люди.

От них требовалось мужество и для того, чтобы написать эти страницы – даже и во времена «оттепели» это не слишком поощрялось, а в последующие годы прямо запрещалось, и мемуаристы сильно рисковали.

Требовалось немалое мужество и от их близких и друзей, чтобы сохранить рукописи тех, кто не дожил до эпохи гласности: ведь за хранение и распространение таких свидетельств о «темных пятнах» истории полагались кары, вплоть до уголовных: их легко было подвести под статью о «заведомо клеветнических измышлениях». Но мужество еще не перевелось на нашей земле, как не перевелось и правдолюбие.

Когда с первым томом воспоминаний бывших узников ГУЛАГа смогли ознакомиться такие авторитетные историки сталинского террора, как Роберт Такер и Роберт Конквест, – они их подстоинству оценили как произведения, вносящие вклад – и весомый вклад! – не столько в мемуарную литературу, сколько именно в историю, то есть становящиеся подлинным документом эпохи.

И вот они собрались в Колонном зале, – большей частью уже пожилые люди, прошедшие через ад лагерей и через долгие годы непризнания и ущемления, получающие грошовые пенсии, – ведь до самого недавнего времени пребывание на каторге не считалось достойным трудовым стажем.

Год назад они решили зарегистрировать свое общество, чтобы своими усилиями издавать книги, сборники документов, письма, дневники, – издательства-то это делают выборочно, нерегулярно, соблюдая свои интересы, – а для этих летописей нужна система, единый замысел, целеустремленность.

Общество «Возвращение» признал и оформил Моссовет, – и предпринимаются активные шаги, чтобы оно заработало в полную силу, – но пока еще нет у него ни помещения, ни денег.

А первый том «Доднесь тяготееет» между тем получил между-



Некоторые авторы сборника «Доднесь тяготеет» на сцене Колонного зала Дома союзов. Слева направо: Татьяна Лещенко-Сухомлина, Зоя Марченко, Ада Федерольф, Заяра Веселая, Вероника Знаменская, Наталья Запорожец, Надежда Канель. У микрофона: Семен Виленский. 2 февраля 1991 года.

народный резонанс: переводится в ряде стран Европы и в Америке.

Рукописи, находящиеся в портфеле «Возвращения», открывают множество имен, не знаменитых, но достойных внимания и уважения, как достоин его каждый, кто был и участником, и летописцем трагических событий. Это они, рукописи малоизвестных свидетелей, властно подтверждают, что было сопротивление страшному гнету тоталитаризма, и духовное, позволявшее узнику оставаться личностью, и прямое сопротивление, – о чем говорят воспоминания участников Кенгирского и других лагерных забастовок и восстаний, единичных и совместных акций протеста.

Но вернемся в Колонный зал, в первую субботу февраля. Перед собравшимися в нем выступают хоры духовной музыки, инструментальные ансамбли, певцы, актеры, – их концертные номера перемежаются с выступлениями самих авторов воспоминаний, поэтов, чьи стихи были созданы в лагерях и годами сберегались в памяти авторов: доверить их бумаге, – да и где ее в лагере найдешь? – было опасно.

Думали ли они, что доведется им собраться в этом зале, где не-

## Благотворительный вечер общества «Возвращение»

### 1.

**Презентация книги -**  
сборника воспоминаний, рассказов,  
стихов и писем узников ГУЛАГа  
«Доднесь тяготееет»

Выступление авторов и составителя  
сборника.

### 2.

#### Концерт

• Московский камерный ансамбль  
хорового русского духовного пения.  
Художественный руководитель –  
Т.Н. Прудникова

• Исполнительница старинных  
романсов Татьяна Ивановна  
Лещенко-Сухомлина  
Аккомпанирует на гитаре Михаил  
Столяр

• Инструментальный квартет

• Лауреат всесоюзного и  
международного конкурсов  
заслуженный артист УССР Валентин  
Анисимов (бас)

• Народная артистка СССР Ия  
Саввина (МХАТ им. Чехова)

• Народная артистка РСФСР Лилия  
Толмачева (театр «Современник»)

• Заслуженная артистка РСФСР,  
лауреат Государственной премии  
РСФСР Тамара Дегтярева (театр  
«Современник»)

• Народная артистка РСФСР  
Людмила Иванова (театр  
«Современник»)

• Артистка Ариадна Ардашникова  
• Московский академический  
камерный хор под управлением  
Владимира Минина

Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 1.  
Колонный зал Дома Союзов  
2 февраля 1991 года

когда на торжественном постаменте  
стоял гроб Сталина?

Не решусь сказать, что справедли-  
вость всегда торжествует, но замечу,  
что история подчас и пошутить лю-  
бит.

Впрочем, не до шуток тем, кого  
осталась лишь горстка, – сколько тех,  
кто дождался прихода справедливо-  
сти на безымянных погостах, в брат-  
ских могилах, выдолбленных в веч-  
ной мерзлоте! Казалось, что тени их  
витают в этом зале, в сиянии люстр,  
в белом свечении гордых колонн...

Их память почтили минутой мол-  
чания. Но главная дань их памяти –  
не молчание, а слова о них, запеч-  
чатленные в книгах. Очень хочется,  
чтобы минута молчания преобра-  
зилась годы, наполненные речами,  
статьями, книгами, звучащими как  
предупреждение, как наказ грядущим  
поколениям, как веский пригово-  
р истории. А история должна быть  
объективной. Поэтому в материалах,  
которыми располагает общество «Воз-  
вращение», представлены не только  
свидетельства жертв, но и – к сожа-  
лению, немногочисленные, – до-  
кументы и тех, кто находился по ту  
сторону барьера, – следователей,  
охранников, вольнонаемных служа-  
щих НКВД, в чьих сердцах заговори-  
ла совесть и стремление к правде.

Некоторые из этих свидетельств,

связанных между собою сюжетом одного события, представлены сегодня на страницах «Московских новостей»\*. «Там, где кончается документ, начинаю я», – говорил Юрий Тынянов, поясняя свой подход к историческим романам. Общество «Возвращение» стремится, чтобы заговорило все: и документы, – многие из которых, увы, еще недоступны, – и живые человеческие голоса испытавших и уцелевших. В свое время в дореволюционной России существовал журнал «Былое», воспроизводивший летопись освободительного движения. В первые годы советской власти бывшие политкаторжане царских времен издали журнал «Каторга и ссылка» – продолжая ту же тему.

Но гигантская волна сталинских репрессий не только сме-ла этот журнал, но и поглотила, погрузила, выражаясь словами Олега Волкова, во тьму горы жертв. Придет время, и летописи царских репрессий покажутся малой брошюрой перед многотомными фолиантами.

Эти книги только создаются, только обретают дорогу к читателю. Их, я верю, будет много, очень много.

Нас с детства учили, что творцы истории – народные массы. В данном случае – народные массы могут стать и летописцами истории, в которой воплотились и кровавые годы гражданских раздоров, и голодный путь коллективизации, и ужас «большого террора», и судьбы тех, чей крестный путь пролег через сражения, плен и отечественные тюрьмы, и участь их жен, детей, родственников... «Хотелось бы всех поименно назвать», – горестно воскликнула Анна Ахматова. Всех назвать, вероятно, не удастся.

Но общество «Возвращение» постарается назвать как можно больше имен. В этом – смысл и цель его деятельности.

---

\* Эта статья была напечатана в 1991 году в газете «Московские новости». В архиве «Возвращения» представлена в рукописи.

# РУФЬ ЗЕРНОВА

## КОНВОЙ ЖДЕТ Отзыв на книгу «Доднесь тяготееет»\*

Это – последние слова эсерки Берты Александровны Бабиной-Невской. Медсестра пыталась помешать ей подняться с постели. И тогда больная произнесла:

– Конвой ждет.

И умерла. Ей было девяносто семь лет. Она была эсерка «с младых ногтей» и до конца жизни. И колымчанка. Впоследствии, уже в Москве, она была душой Колымского землячества. Провела на Колыме семнадцать лет.

Воспоминания ее, точнее отрывок из ее воспоминаний, напечатан в книге «Доднесь тяготееет». Это неудобопроизносимое название – цитата из «Пошехонской старины» Салтыкова-Щедрина. А теперь обратите внимание на выходные данные: Москва, «Советский писатель», 1989, подписано к печати 20 апреля, 588 страниц текста. Тираж – 100 000 экземпляров. По свидетельству газеты «Московские новости», тираж разошелся за несколько часов.

Подзаголовок этой книги «Записки вашей современницы». Я бы добавила – вашей старшей современницы. Потому что самой молодой из мемуаристов, Заяре Артемовне Веселой, около шестидесяти, а старшая, Берта Александрович Бабина, та самая, что сказала «конвой ждет», родилась в 1886-м, а умерла в 1983-м году.

Кстати, надо сказать, что воспоминания Бабиной были напечатаны раньше и в более полном виде – во втором номере альманаха «Минувшее» (издательство «Атенеум», Париж, 1986).

---

\*Доднесь тяготееет. – М.: Советский писатель, 1989.

Всего в сборнике двадцать три участницы. Кое-что из напечатанных тут воспоминаний стало всплывать уже в 50-е годы, после XX съезда. До меня тогда дошли воспоминания Ольги Адамовой-Слиозберг. Помню мне сказали: кажется, она учительница... В Ленинграде ходили – не очень широко – воспоминания антропософки Гаген-Торн, переводчицы-чешки Хеллы Фришер (меня удивило, что она говорит о себе во втором лице, но мне сказали, что это, наверное, западная манера. Кое-где эта манера мелькает и в опубликованном теперь тексте. Мне кажется, что воспоминания Евгении Семеновны Гинзбург появились позже – в начале шестидесятых (помню очень непрофессиональную машинопись, плохую бумагу). Я не сомневалась, что таких воспоминаний существует множество.

Помню, А.С. Берзер показывала шкаф, стоявший в ее комнатке в «Новом мире».

– Доверху набит! А теперь все журналы просят поделиться!  
Это было после опубликования «Ивана Денисовича».

Помню недоумение в издательствах – как теперь быть? Один из редакторов, умный и понимающий человек из новых, сказал очередному автору лагерных рассказов:

– Думаю, еще два-три рассказа пропустят, а потом прикроют. Если в журнале пройдут, то и в книжку включить можно будет. Но это ненадолго...

И правда, первая ласточка не сделала литературной весны.

Но были люди, которые... Нет, я говорю не о писавших. Я о других – о тех, что сберегали рукописи.

Вот что пишет Семен Самуилович Виленский, составитель этой книги:

«За исключением краткого периода хрущевской оттепели, произведения, в которых отражались стороны жизни, не освещенные подцензурной литературой, квалифицировалась карательными органами как «клеветнические, порочащие советский государственный строй» – со всеми вытекающими для тех, у кого их изъяли, последствиями».

Пять и семь лет лагеря – за хранение. Иногда расплачивались

жизнью. А авторы – они продолжали свой труд. Опять цитирую С.С. Виленского: «...случалось, дописывали эти произведения, редактировали, и доработанные рукописи оказывались у старых, или... новых хранителей... иные приобрели почти фольклорную многовариантность».

Подтверждаю. Известные мне рукописи очень изменились. В них появилась новая, твердая тональность. Уверенность, что ли. Не в своей правоте, а в своем праве. В праве мерить торжествовавшую почти 70 лет идеологизированную действительность собственной судьбой и судьбой своих товаров. В праве говорить От Имени...

Об этой книге очень трудно писать. Все время просятся в текст восклицательные знаки, многоточия и прочие семиотические знаки взбудоражившихся эмоций.

Несколько цитат:

«Детей у нас не было (в тюрьму я попала беременной, мне насильно сделали аборт)» – Надежда Канель, врач.

«В больнице я родила мертвого ребенка» – Наталия Запорожец, аспирантка МГУ.

Письмо, полученное из детдома: «Мама, напиши нам, когда у нас день рождения и какая у нас национальность» – Хелла Фришер, чешка, переводчица.

И – стихи:

Мы герои, веку ровесники,  
Совпадают у нас шаги.  
Мы и жертвы, и провозвестники,  
И союзники, и враги.

Анна Баркова, просто поэт, и ровесница века.

Как классифицировать эти воспоминания? Социологически? Литературно? По национальному признаку? По партийной принадлежности? Сейчас ведь любят цифры.

Так вот, партийных (считая эсерок, конечно) – человек шесть или семь. Евреек – семь; если считать, как это теперь делается, половинок, то больше – наверное, еще четыре, русских восемь, чешка, полька, марийка... О возрастной шкале я уже говорила. О том,

кто за что – спрашивать нечего, много лет этого уже не делают даже дети (впрочем, внуки опять стыдливо задают этот вопрос: они вырастают в странах с иным общественным устройством).

Литературно?

Тут невозможно сравнивать. И прежде всего потому, что эта литература никак не игра. Тут каждой есть что сказать и вряд ли кто-нибудь из читателей найдет в себе силы отложить любую из этих повестей прежде, чем дойдет до конца. Потом вернется к предисловию – потому что каждой повести предпослано предисловие, иногда – два. Пишут люди, которые знали авторов. Иногда – там же, где разворачивается рассказ, – на Колыме, на Лубянке, на Воркуте. Иногда те, кто знал их «по воле», как говорится в лагерях, до или после заключения. У Юлии Соколовой это комментарий сына, Игоря Пятницкого, комментарий, врывающийся в дневник матери почти на каждой странице, душераздирающий, как и сам дневник. Надо сказать, что такого мне еще никогда не приходилось читать.

Игорь Пятницкий, который был посажен почти одновременно с отцом, старым большевиком Иосифом Пятницким, выжил, вернулся, дожидаясь возможности напечатать отрывки из дневника матери. Вероятно, книги он не увидел – умер в начале 1989 года, когда она только еще набиралась.

Во вступительной статье вдова Игоря Пятницкого пишет:

«В 1938 году конфискованный при аресте дневник послужил основанием для приговора (Как будто бы для приговора нужны были основания! Но благодаря этому он сохранился – вот что совершенно необычайно! – Р.З.) В 1956 году прокурор Борисов, который вел реабилитационные дела И.А. Пятницкого, Ю.И.Соколовой-Пятницкой и их старшего сына Игоря, отдал часть дневника, сохранившегося в ее следственном деле, младшему сыну Владимиру Пятницкому».

Почти протокольная сухость. Вероятно, только так и можно об этом писать.

«В мыслях о нем даже себе страшно признаться», – пишет мать об арестованном сыне. И комментирует сын, в скобках, тут же: «види-

мо мысли у мамы были о преступлениях НКВД или даже самого Сталина; поэтому ей было страшно дать себе отчет в таких мыслях».

И, может быть, самая страшная запись – слова тринадцатилетнего сына:

«Эх, мать, ну и сволочь же отец. Только испортил все мои мечты. Правда, мать?»

Это – семья, которая жила в «Доме на Набережной», где воспитывались дети с затуманенным сознанием. Отрезвление, даже в такой ситуации, наступало не сразу. Игорь Пятницкий пишет, что «стоит только попасть в камеру – и все становится ясно»... Но для большинства отуманенных это происходило слишком поздно.

Кстати, записки Юлии Соколовой-Пятницкой разрушили мою самую последнюю иллюзию. Откуда она взялась – не понимаю, наверное из советской литературы. Что гебешники не воруют. Грабят – да, убивают, пытаются – да. Но не воруют. Делят награбленное между собой, по ихнему закону – да. Но не воруют.

Оказывается – еще как! И в том самом тридцать седьмом году, когда награбленного, наконфискованного могло бы хватить с избытком на всех на них, на все их даже районные организации. И все-таки.

Цитирую:

«Все взломано... Портфель с деньгами и облигациями, патефон с 43 пластинками, детские ружья, готовальня... тетради, по 5 р. часы, книги, сберкнижка старика-отца на 200 р.» – Из дневника Ю. Соколовой.

«Эти деньги просто украли люди из НКВД», – объясняет Игорь Пятницкий.

Вот так. И ведь помню – у нас в комнате во время обыска (обыск шел без нас, мы уже сидели) пропала репродукция Гойи («Маха» одетая). В протоколе она так и не отразилась. Мне было забавно, что она кому-то понравилась. Но на мою последнюю иллюзию это не повлияло.

И когда в лагере говорил бытовик-бизнесмен: «все, ВСЕ можно купить за деньги. И вашу свободу можно было купить за деньги. Какая-нибудь совершенно другая Руфь Александровна села бы, а

вы бы гуляли где-нибудь – только, конечно, деньги для такого нужны были настоящие». Иди знай, что это, что это значило. Теперь закричали – коррупция, коррупция... Да всегда она была! Чего там!

Отуманенное сознание. В книге вы встречаетесь с этим на каждой странице. «Ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных людей...» (Слиозберг). Девушка дает показания на приемного отца, не понимая, что делает; другая – принципиальная комсомолка – на своего преподавателя... Каждая, входя, старается не смешиваться с другими: это преступницы, а я – по ошибке (дочь Марины Цветаевой, Аля, просто несколько дней просидела у двери, ожидая, что выпустят).

И одна поговорка на всех: «Лес рубят – щепки летят». Коммунистки находили в ней объяснение и утешение.

Все известно. Все уже давно известно – и тем, кто там был, и тем, кто не был. И все-таки...

Надежда Канель в 1940 г. подружилась на Лубянке с «девушкой, которая сидела у дверей»; обе были молоды, обе готовы были ехать в ссылку, «в Воронеж», считала Аля, видимо вспомнив Мандельштама. У нее было незаурядное чувство юмора. Н. Канель пишет: «Не помню, чтобы я когда-либо еще так много смеялась». Пожалуйста, читатель, поверь этому – в страшных тюрьмах, на пересылках люди смеялись. В 37-м смеялись и в 49-м тоже: мы на пересылке играли в фанты: барыня прислала сто рублей... Сроки были 10 лет и 25. А мы никогда так много не смеялись.

Канель отсидела два срока, в 53-м году сидела во Владимирской тюрьме... И вдруг ее вызвали на допрос и говорят ей: Ариадна Эфрон из Туруханска обратилась с письмом в Прокуратуру СССР, «и это ускорило разбор вашего дела».

На следующий день Канель уехала в Москву. «На такси» – пишет она. А Ариадна Эфрон долго еще, больше года оставалась в Туруханске.

Кажется, этого эпизода нет даже в прекрасной книге Марии Белкиной «Скрещение судеб».

И опять насчет смеха. Его вообще много на этих страницах – точнее, воспоминаний о нем. «Подчас всех охватывало веселье» (Заяра

Веселая об общей камере в Бутырках). Ну, Заяра и ее подружки – молодежь, еще не знающая, что предстоит и любопытная к любому будущему. Но вот Суровцева – опытная зечка, сорокалетняя женщина, (ее повесть, может быть, самая страшная) вспоминает о том, как три врача, вызванные в сыпнотифозный барак, сидели без штанов – штаны сожгли в прожарке: «Мы хохотали до слез».

Смех – это витамин.

Опять об отуманенных. Думаю: таких отуманенных в России было несколько поколений. Я выросла в скептической и насмешливой Одессе, где старожилы не называли сталинское правительство иначе, чем «эта банда» (это чуть-чуть отразилось даже в «Золотом теленке», в первом издании: «что наделали эти бандиты, Маркс и Энгельс!»). И все-таки могу ли я сказать, что жила с ясной головой? Могут ли это сказать мои сверстники, сверстники моих детей? Думаю – нет.

Адамова, «повторница» 49-го года, пишет о коммунистках, своих сокамерницах: «Ведь еще на свободе, не признавая с самими себе (разрядка моя – Р.З.), они потеряли ту безусловную веру в справедливость советской власти, которая была у нас».

Отуманенность помогала жить.

«...На воле я не встретила ни одного человека с ненадтреснутой верой в справедливость, с цельным мировоззрением», – пишет Адамова о 49-м годе.

А теперь обратимся к воспоминаниям Заяры Веселой. Дочь убитого писателя. Мать посадили в 48-м году. Сводные брат и сестра – в детдоме. Родная сестра, только что защитившая диплом – тут же, на Лубянке, взята в ту же ночь. Следователь объяснял ей, что «у нее могут быть антисоветские настроения», потому что родители репрессированы.

«Выходит, так надо... – думала я, – Конечно... Кто же станет спорить против очевидного: общественные интересы выше личных».

И опять, и все время «лес рубят – щепки летят».

Кстати, в 49-м году у следователей было другое любимое при-

слове (во всяком случае, в Ленинградской внутренней тюрьме):  
«Это не тридцать седьмой год!»

Так что – и следователи негласно признали дурную репутацию тридцать седьмого года. А московская студентка все еще поминает те самые щепки.

На пути в ссылку при ней рассказали о том, как, случилось, расправлялись у них в лагере с провинившимися: раздев догола, привязывали к дереву, оставляя на ночь в тайге – на съедение мошке и комарам.

«Я не поверила:

– В нашем лагере? Этого не может быть!

Старик коротко на меня глянул, усмехнулся – и промолчал.

Поняла, что сказанное – правда: этого не может быть, но – было».

«Мы с сестрой – пишет Заяра Веселая – были восприимчивыми воспитанниками советской школы и, главное, советской литературы».

И, вероятно, мать не позволяла себе дома высказывать свои мысли – чтобы не создавать у девочек двоемирия, чтобы они сохранили столь дорогую для советского начальства «цельность мировоззрения».

Отуманенность помогает жить. Матери хотели, чтобы их дети выжили. За свою жизнь я встретила только одну женщину, которая хотела, чтобы ее сыновья выросли активными борцами против советской власти.

Но ведь даже в то время подрастали неотуманенные. Я уже не говорю о латышских, литовских, эстонских гимназистках; подрастали «неотуманенные» и у нас. И где! В Алдане, вдалеке от городов-светочей. Девочка оттуда, преступная участница подпольного «Союза Друзей Свободы», была в нашем лагере. Рассказывала: после каждого выпускного экзамена шла к следователю на допрос. Кончились экзамены, и ее посадили. Объяснили, что таких преступников, как она, советская школа никогда не знала и не видела.

Но в книге Жигулина «Черные камни» тоже рассказывает про таких преступников – только не на севере страны, а на юге. И даже в воспоминаниях Адамовой, которая в 49-м году видела в Бутырках сестер Веселых, детей Косиора, племянников Бухарина (тогда шла «охота на детей» – не на волков), читаем,

как она говорила то одной, то другой девочке: «через пять лет его не будет, а вы будете жить и жить». За такие слова тогда могли дать статью 58–8 через 17 – двадцать пять лет! Но девочки отвечали: «Вы невероятная оптимистка! Как вы не видите, что дело не в одной личности, а в системе? Уйдет он, останутся его соратники. Вы, что ли, будете выбирать новое правительство?»

Этим было лет по двадцать в 49-м. И уже подрастали будущие наши шестидесятники.

Вот их голосов, голосов моих неотуманенных современниц мне и не хватает в этой книге. Видимо, в 37-м, когда брали тех, кому стало жить лучше и веселее, – скажем, еще лучше и веселее – таких голосов и в самом деле было мало. До нас донеслись только голоса последних эсерок, иногда прямо, иногда – через передачу их друзей. Их голоса и их имена: Мария Спиридонова, Ирина Каховская (да-да, внучатая племянница декабриста), Александра Измайлович...

В 49-м году в ленинградской тюрьме старая эсерка, арестованная в энный раз, раздраженно отодвинула протокол и сказала следователю:

– Господи, с самого девятьсот пятого года – все по тюрьмам, все по тюрьмам...

– А не бунтуй, – назидательно сказал молодой следователь. – Не бунтуй!

К «отуманенным» эти женщины не принадлежали. Это другая категория: те, кто боролись за лучшую жизнь для людей еще при царской власти. Как было записано в одном протоколе: «Занималась антисоветской деятельностью с 1905 года».

«Им было легче» – считали их сокамерницы: им все было ясно, они привыкли к тюрьмам, им было ясно, что революция погибла в 22-м году, что страна идет к краху; они презирали Сталина и ненавидели Ленина... Им было легче.

Это были деятельницы, не успевшие заняться государственной деятельностью, ибо сразу – или почти сразу – оказались в оппозиции.

Были другие деятельницы, «выращенные партией» (партия,

как известно, была только одна!), сделавшие политическую карьеру. Марийская крестьянка, ставшая учительницей, членом обкома, редактором республиканской газеты... Обвиненная в связи с буржуазно-националистической организацией, она говорила, что не могла идти против партии, воспитавшей ее и давшей ей образование: просила поверить в свою искренность.

Ей было 15 лет, когда она в лаптях отправилась на педагогические курсы. И, вероятно, первое, о чем она узнала, первое ее знание было о классовой борьбе. Первая наука – наука ненависти.

И она, и такие, как она, – тоже «отуманенные».

Я смотрю фотографии. Старух совсем мало – в основном молодые лица, какие прекрасные лица.

Для чего все эти женщины писали? Надеялись ли они на читателя? На печать?

Конечно же, надеялись. И отделявали свои записи, и редактировали их, и кое-где видны следы того, что они редактировались (самими авторами, разумеется) для печати эпохи первой оттепели.

Никто из них не был – да и не стал – профессиональным писателем. Все они талантливы, все оставят свой след в литературе. Каждая знала: я должна! Каждая верила, что ее прочтут. Пусть не сейчас – но прочтут.

И вот – мы читаем. Слишком поздно?

Неужели слишком поздно для того, чтобы понять их? Отуманенных? И не отуманенных?

В ту, первую, оттепель, часто говорилось: «чтобы это никогда не могло повториться».

Тяжкое это слово «никогда». Тяжкое для выполнения. Потому что пока существует на свете фанатизм, в какие бы он ни рядился одежды – будут существовать и отуманенные. А отуманенные становятся не только жертвами, но и палачами.

Для чего же мы читаем это теперь?

Да просто, чтобы поклониться этим женщинам. Живым и мертвым.



## **МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «СОПРОТИВЛЕНИЕ В ГУЛАГЕ»**

30 октября 1991 г. в День политзаключенного на Лубянской площади в Москве состоялся митинг, на котором было объявлено о проведении обществом «Возвращение» весной 1992 г. международного конгресса\* «Сопротивление в ГУЛАГе».

Из выступления на митинге председателя общества «Возвращение»:

«Теперь, когда историки задаются вопросом, было ли в стране сопротивление тоталитарному режиму, рукописи людей, переживших тюрьмы, лагеря и ссылки и не побоявшихся свидетельствовать о преступлениях режима, дают ответ: да, было! Взнявшиеся за перо вчерашние узники сознательно подвергали опасности себя и своих близких. Эти люди возвращаются к нам как участники и свидетели Сопротивления; безвестные, они обретают имена... Гражданское достоинство немислимо без исторической памяти. Новым поколениям необходимо знать судьбы тех, кто провидел гибельные для России последствия большевистского переворота, знать о неравной борьбе с тоталитарным режимом, на которую отважились одиночки, знать о восстаниях заключенных, сотрясавших ГУЛАГ. Некоторые из руководителей и активных участников этих восстаний еще здравствуют. К стыду нашему, сегодня они безвестны и одиноки. Московское историко-литературное общество «Возвращение», объединяющее бывших узников ГУЛАГа, авторов воспоминаний, готово провести

---

\* Это информационное письмо было составлено участниками Международной конференции Людмилой Новиковой, Семеном Виленским, а также французом Жаком Росси и немцем Хансом Швенке. Последние в своих текстах назвали нашу конференцию конгрессом. Это слово сохранилось в русском тексте.

в Москве встречу участников лагерных восстаний. Это люди разных национальностей из многих республик и из-за рубежа. Мы пригласим и узников фашистских концлагерей, участников европейского Сопротивления и тех, кто, рискуя жизнью, спасал обреченных на уничтожение. Думаю, сегодня в нашей раздираемой противоречиями стране такая встреча особенно желательна...»

В начале обществу «Возвращение» были известны только 20 имен активных участников забастовок и восстаний в ГУЛАГе. В процессе переписки с ними и с теми, чьи адреса они сообщили, удалось установить имена около 200 участников этих событий, живущих ныне как на территории бывшего СССР, так и в странах Европы, в Америке, Израиле, Японии. Кроме того, откликнулись дети и внуки заключенных, погибших при подавлении восстаний, расстрелянных по приговору суда, либо не доживших до наших дней. Присутствовали на конгрессе и потомки тех, кто мужественно держался на следствии и, несмотря на истязания и чудовищные меры психологического воздействия, отверг все лживые обвинения. В день открытия, среди 800 человек гостей и участников конгресса, таких людей было более 300.

Для участия в конгрессе съехались бывшие узники гитлеровских концлагерей, участники европейского Сопротивления. Наиболее представительной оказалась делегация Франции, прибывшая в Москву благодаря стараниям г-жи Элен Шатлен и г-на Жана-Рене Шовена. Прибыли делегации из Венгрии, Голландии, Украины, Литвы и Беларуси. Среди присутствующих можно было встретить литовцев, латышей, эстонцев, австрийцев, испанцев, французов, прошедших через ГУЛАГ.

Следует отметить, что вопреки распоряжению МИДа РФ консульская служба России в Германии отказала приглашенным на конгресс немцам – узникам советских концлагерей во въездной визе. По этой причине делегация Германии состояла только из молодых историков, имеющих постоянные въездные визы, а также членов общественной комиссии, ис-

следующих архивы Штази – тайной полиции бывшей ГДР\*.

Среди участников конгресса были люди, которым в разное время довелось стать узниками как нацистских, так и сталинских концлагерей.

## **Торжественное открытие конгресса**

19 мая 1992 г. Москва. Колонный зал Дома союзов полон света. Радостное возбуждение царит в фойе и широких коридорах. Здесь происходит регистрация участников конгресса. Многие из них встречаются впервые почти через сорок лет! Направляясь в зал, все проходят вдоль Стены Памяти, мимо фотографий своих погибших товарищей, участников лагерных забастовок и восстаний, мимо репродукций с картин узников ГУЛАГа Свешникова и Куткина. Зал полон. Меркнет свет. Звучат имена – мужчин и женщин, тех, кто выстоял в застенках Лубянки, имена находящихся в зале, их детей и внуков. Затем – минута молчания. Все встают, чтобы, склонив головы, почтить память миллионов жертв ГУЛАГа...

С приветствием к участникам конгресса обращается председатель общества «Возвращение» Семен Виленский. Он выражает надежду, что первая в истории встреча борцов сопротивления в ГУЛАГе, узников советских и гитлеровских концлагерей пройдет успешно.

Выступают: известный французский историк, узник многих гитлеровских концлагерей Жан-Рене Шовен; один из руководи-

---

\* Приглашение на конференцию было направлено и прокоммунистическому Союзу антифашистов, крупнейшему в ту пору объединению узников нацистских концлагерей. Руководство союза проигнорировало его. Спустя недолгое время представители «Возвращения» Светлана Бартельс, дочь расстрелянного в СССР немецкого коммуниста, и Семен Виленский посетили в Берлине Союз антифашистов. В беседе с его руководителями С. Виленский сказал: «Сама мысль о том, что в СССР были концлагеря, для вас непереносима. Вы отстаиваете свою монополию на страдания». В 1993 году на второй конференции «Сопротивление в ГУЛАГе» в составе немецкой делегации был вице-президент Союза антифашистов г-н Франк.



Москва. Колонный зал Дома союзов. 19 мая 1992 года.  
Торжественное открытие Международного конгресса  
«Сопротивление в Гулаге».

телей норильского 1953 г. восстания заключенных Евгений Грицяк; представитель литовской делегации Кястутис Лакицкас... В исполнении победителя конкурса им. П.И. Чайковского юного Бориса Березовского звучит музыка Иоганна Себастиана Баха. Выступают солисты Львовской оперы. Вдохновенно и скорбно поет хор ссыльных из Литвы. Затем на сцену поднимаются бывшие заключенные, авторы изданного специально к открытию конгресса сборника «Сопrotивление в ГУЛАГе». Звучит композиция, составленная из фрагментов их писем и воспоминаний. Перед участниками конгресса выступает всемирно известный скрипач Виктор Пикайзен. Завершает программу хор русского духовного пения «Пересвет».

Вечер. У выхода из Колонного зала, в самом центре Москвы, поет смешанный хор... Долго не расходятся участники конгресса...

## **Из программы международного конгресса «Сопrotивление в ГУЛАГе»\***

20 МАЯ 1992 Г.

Утреннее заседание:

История сопротивления в ГУЛАГе. Выступления участников лагерных восстаний, историков, заместителя Генерального прокурора России Г.М. Весновской

Дневное заседание:

Работают секции:

Сопrotивление тоталитарным режимам.

Освобождение от большевизма глазами политзаключенного.

Г.С. Померанц; Ю.В. Самодуров.

Проблемы ненасилия. Н.М. Пирумова.

Статус участников Сопrotивления в бывшем СССР и на

Западе. А.Е. Фельдман.

---

\* Рабочая часть конгресса проходила в РГГУ – в здании только что закрытой Высшей партийной школы ЦК КПСС.

Творчество в ГУЛАГе. В.Б. Муравьев.

Просмотр кинофильма о Кенгирском восстании «Людоед»  
режиссера Геннадия Земель.

21 МАЯ 1992 Г.

Вечер. Большой зал Консерватории:

Концерт памяти А.Д. Сахарова.

22 МАЯ 1992 Г.

Заключительное заседание:

Подведение итогов конгресса.

Заявление участников встречи и их обращение к  
демократической общественности.

Прощальный ужин для участников конгресса

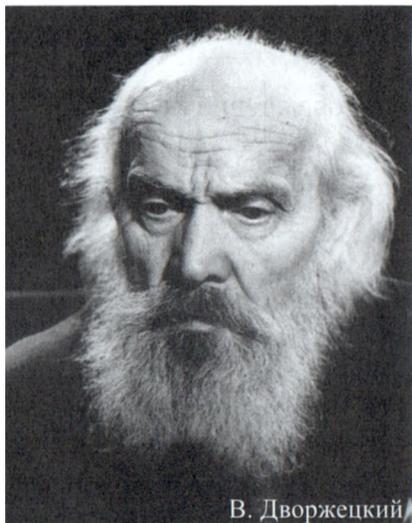
## **Постбольшевизм**

В работе конгресса главенствовали две темы: преодоление большевизма и статус участника Сопротивления в бывшем СССР. При углубленном рассмотрении проблемы оба эти вопроса сливались воедино. В самом деле, если до сих пор участники сопротивления тоталитаризму в бывшем СССР безвестны и одиноки, практически лишены возможности оказывать воздействие на происходящие в обществе процессы, если в большинстве своем они принадлежат к наименее социально защищенному слою населения, а многие из них до сих пор не реабилитированы\*, все это неопровержимо свидетельствует, что большевистские устои жизни на территории бывшего СССР сохраняются и поныне, за исключением государств Прибалтики, где большевистская нетерпимость проявляется теперь в ущемлении гражданских прав некоренного населения. В принятых ими ре-

---

\* На второй конференции (1993 г.) Г.М. Весновская сообщила, что все участники лагерных забастовок (восстаний) в Норильске, Кенгире и в Воркуте реабилитированы.

золюциях, участники конгресса, узники советских и гитлеровских концлагерей взяли за основу идею о самоценности человеческой жизни, уважения прав, достоинства личности, то есть все те принципы, которые они и отстаивали в нечеловеческих условиях заключения. Участники конгресса избрали в качестве общественного обвинителя для суда над КПСС и большевизмом узников ГУЛАГа: крупнейшего деятеля русской культуры Вацлава Дворжецкого, и французского писателя Армана Малумяна.



В. Дворжецкий



А. Малумян

Им предстоит свидетельствовать о преступлениях тоталитарного режима в Конституционном суде России, где будет рассматриваться правомерность указов президента Б.Н. Ельцина о запрете КПСС.

## Голос борцов Сопротивления

На конгрессе «Сопротивление в ГУЛАГе» было принято решение о необходимости проведения ежегодных международных встреч узников советских и нацистских концлагерей, участников европейского Сопротивления. Одновременно решено было не ограничиваться только лишь организацией конгрессов и международных конференций, но в кратчайшие сроки наладить постоян-

ное деловое сотрудничество. Участникам сопротивления в ГУЛАГе, живущим на территории бывшего СССР, необходима помощь их товарищей из стран Запада, и прежде всего необходимо перенять их опыт активного участия в политической жизни общества.

В этой связи общество «Возвращение» обращается ко всем российским и зарубежным фондам с просьбой оказать посильную помощь в аренде в одном из пансионатов ближнего Подмосковья на два года корпуса на 50–60 мест, где могли бы работать, общаться и отдыхать борцы сопротивления из различных государств. Предполагается также, что на полном обеспечении общества «Возвращение» будет воспитываться и обучаться небольшая группа детей-сирот, до полного их совершеннолетия.

## **Норильск – Кенгир – Воркута...**

Многие имена активных борцов против советского тоталитаризма впервые прозвучали лишь на конгрессе «Сопротивление в ГУЛАГе». Со временем эти имена несомненно займут подобающее им место в новой правдивой истории России XX столетия. К сожалению, Прокуратура РФ отказала организаторам конгресса в возможности ознакомиться с делами участников лагерных восстаний в Норильске, Кенгире, Воркуте. Общество «Возвращение» намерено добиваться полного открытия этих архивов. Многие проявления массового и индивидуального сопротивления в ГУЛАГе остаются неизвестными по сию пору. В выпущенном накануне конгресса сборнике «Сопротивление в ГУЛАГе» обнародована лишь малая часть подобных фактов.

Для сегодняшней жизни России характерна неоднородность некогда монолитных, скрытых завесой секретности карательно-полицейских структур. В этих условиях стало возможным предоставление работниками отдела реабилитации по Москве и Московской области МБ России для сборника «Сопротивление в ГУЛАГе» отдельных следственных дел политзаключенных, а также их впоследствии осужденных палачей. На основании полученных документов, с которыми знакомилась Ирина Осипова

и Нинель Новикова, можно отчасти воссоздать картину массового сокрытия преступлений режима, имевшую место в годы так называемой хрущевской «оттепели». Рассказы участников лагерных забастовок и восстаний обнажили методы, использованные руководством ГУЛАГа для истязания и разобщения заключенных.

## **Вечер памяти Андрея Дмитриевича Сахарова в Большом зале Московской консерватории**

Вечером 21 мая 1992 года в день рождения А.Д. Сахарова все участники конгресса были приглашены в Большой зал Московской консерватории на благотворительный концерт памяти А.Д. Сахарова. Сахаровский комитет решил передать весь сбор от концерта организаторам конгресса «Спротивление в ГУЛАГе».

Была исполнена Девятая симфония Бетховена под управлением Михаила Плетнева.

### **Из телеграмм и писем в адрес конгресса**

«Мы, участники австрийского Спротивления нацистскому режиму, приветствуем участников встречи «Спротивление в ГУЛАГе». Мы желаем успеха вашему мероприятию и всей вашей деятельности.

К сожалению, возраст и здоровье не позволяют нам принять в нем участие.

Генеральный секретарь – доктор Альберт Массичек».

«...Дорогие друзья! Как бы я хотел сейчас быть с Вами. Мы всегда были вместе, нас связывало множество политических событий, общие беды и надежды. Когда произошли восстания в лагерях Воркуты и Норильска, поднялся впервые на борьбу против советского коммунизма и народ ГДР.

Доктор Райне Хильдебрандт, директор музея Берлинской стены».

«...После разгона Штази члены Гражданского комитета Берлина занимаются раскрытием методов и структур этой всемогущей секретной службы правящей партии и исследованием менталитета,

правовых представлений и общественных механизмов, которые благоприятствуют возникновению тоталитарных режимов в недрах демократического гражданского общества. Мы очень заинтересованы в обмене мыслями и опытом с представителями других стран. Поэтому мы приняли приглашение на эту встречу.

Ханс Швенке, депутат Ратуши города Берлина,  
председатель Гражданского комитета Берлина».

«Все французские товарищи из нашей делегации, а также наш испанский друг были взволнованы присутствием на конференции общества «Возвращение». Важность поднятых вопросов, дискуссии и дружественный прием глубоко поразили нас. Эти несколько чрезвычайно насыщенных дней помогли нам лучше понять действительные проблемы вашего общества после долгой ночи террора.

Руководитель французской делегации на конгрессе  
Жан-Рене Шовен».

Мы воспроизводим лишь малую часть подобных приветствий и обращений. Диссонансом прозвучало письмо, полученное накануне конференции от Международного общества Прав Человека из Франкфурта-на-Майне.

Воспроизводим его текст полностью.

«Уважаемый господин Виленский!

Уважаемые господа!

В секретариат Международного общества прав человека пришло ваше письмо, из которого мы с интересом узнали о намерении вашего общества провести встречу узников ГУЛАГа. Из того, что мы прочли, нам стало понятно, что вы также пригласили узников фашистских концлагерей и участников европейского Сопротивления. Нам кажется, что установить взаимопонимание между людьми, столь различными по своим судьбам и политическим взглядам, будет практически непосильной задачей. Тем не менее желание восстановить забытые страницы истории крайне ценно, и мы желаем вам всяческого успеха в ваших начинаниях.

С уважением.

Зам. председателя МОПЧ И. Агрозов»\*.

---

\* МОПЧ в то время было связано с Народно-Трудовым Союзом.

Решение конгресса о необходимости постоянных контактов и совместных действий бывших узников советских и гитлеровских концлагерей, а также о проведении подобных встреч ежегодно 19 мая в Москве показало ошибочность мыслей, высказанных в вышеприведенном письме.

Мы уже не говорим о прощальном банкете, где звучали и молитвы, и песни, где были радость и слезы. Так сблизиться за несколько дней могли только люди общей судьбы.

### **Обращение участников конгресса**

К Верховному Совету и Президенту РФ  
от участников Московской международной  
конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе»

Участники конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе» – узники советских и гитлеровских концлагерей, участники европейского Сопrotивления, члены их семей – требуют проведения Верховным Советом России при участии президента открытых слушаний о характере и результатах деятельности органов ВКП(б)–КПСС в период 1917–1991 годов.

Считаем необходимым рассмотреть на этих слушаниях материалы и заключение авторитетных историков и юристов и заслушать свидетелей о том, какие именно функции – «инициатора», «руководителя», «исполнителя», «оппозиционера» – выполняли центральные и местные органы ВКП(б)–КПСС в следующих особо важных для народов бывшего СССР вопросах:

1) массовое физическое уничтожение и бесчеловечное обращение с людьми в системе ГУЛАГа и при раскулачивании, репрессирование целых народов;

2) разрушение укладов труда и жизни граждан, массовое уничтожение и ограбление их собственности – материальных и культурных ценностей;

3) подавление национальной независимости народов в СССР во имя имперских целей;

4) военная агрессия СССР против ряда государств, материаль-

ная и военная помощь СССР недемократическим режимам в зарубежных странах;

5) сверхэксплуатация и истощение природных ресурсов, милитаризация экономики СССР;

6) ложь и преступное манипулирование властей СССР сознанием населения;

7) уничтожение в России и других республиках бывшего СССР гражданских свобод, демократических политических и правовых институтов, преследование религии и верующих, организация всеобъемлющего контроля за жизнью людей, отстранение беспартийного большинства граждан от всех институтов управления.

Мы требуем, чтобы Верховный Совет и Президент Российской Федерации рассмотрели и соответствующим государственным актом установили меру ответственности центральных и местных органов ВКП(б)–КПСС и идеологии большевизма в преступлениях против человечности.

Москва, 22 мая 1992 года.

**Представители посольств, прессы, радио, телевидения и других организаций,** присутствовавших на встрече «Сопротивление в ГУЛАГе» в Колонном зале Дома союзов 19 мая 1992 года

ТВ России – Свиридов Л.Л.; Московский телетайп; «Куранты»; «Московские новости»; радио «Свобода» – Катя Метелица; радио «Марти» – Юрий Митюнов; радио ФРГ; радио Голландии; радио США; телевидение Германии АРД; телевидение Германии ЦДФ; «Тагесцайтунг»; «Берлинер Цайтунг»; агентство ДПА (Германия); «Известия» – Ашгерова; посольство Германии – атташе по культуре д-р Вайс; посольство Франции; посольство США; Институт Гете при посольстве Германии; Библиотека Конгресса США; газета «Новости» – Оганесов; французско-русский журнал «Деловые люди» – Осипов Г.В.; газета «Русская мысль»,

Франция – Александр Гинзбург; «Немецкая волна» – Корсунский; газета Львовского «Мемориала» «Зов совести» – Гупало; АПН – Игнатов; Гимгарц Денис, Израиль; пресс-группа Верховного Совета России – Пигарева, Соловьев В.В.; Демакин Константин, своб. видеооператор; пресс-атташе посольства Камбоджи – Сотхи; журнал «Путь» – Блауберг Ирина Игоревна; «Гласность» – Лащивер Ася Абрамовна; посольство Швеции – Люрвалль; ТВ Вильнюс – Антонас Сейкалис; «Московский комсомолец» – Ефремова; журнал «Родина» – Квашук; Элен Шатлен, Французское телевидение.

## Кто нам помогает

В первое время после своего создания общество существовало на личные сбережения его престарелых членов. Попросту говоря, они передали ему деньги, отложенные на собственные похороны. Все попытки общества получить от муниципальных властей Москвы какое-нибудь помещение или арендовать его за малую плату успехом не увенчались.

Видимо, процесс демократизации далеко не окончен, и для многих чиновников идея объединения участников Сопrotивления до сих пор оказывается чуждой.

Первым поддержал нас Фонд Сороса, передавший председателю общества, собирателю воспоминаний и составителю много-томного сборника «Доднесь тяготееет», компьютер, ксерокс и 20 000 рублей\*. Но в нынешних условиях, когда на издание одной небольшой книги требуется гораздо большая сумма, этого оказалось недостаточно.

На помощь пришли француженка Элен Шатлен и англичанин Джон Кроуфут, с чьей помощью были заключены контракты на издание сборника во Франции, в Англии и США. Оба они, вместе с американцем профессором Фредом Чоутом, немало сделали и для успешного проведения конгресса «Сопrotивление

---

\* Все это было передано через ЦК ВЛКСМ, ещё существовавший в ту пору. Но это были уже не ассигнованные «Возвращению» 20 тыс. долларов, а та же сумма, только в рублях.

в ГУЛАГе». Существенную помощь обществу оказали молодые американцы из Сиэтла Аби Райт и Ричард Грин. Известный американский предприниматель Фурман Мозли финансировал выпуск сборника «Сопротивление в ГУЛАГе» и ряда намеченных к изданию книг.

Все расходы по размещению и обслуживанию участников конгресса взяло на себя общество «Возвращение». Участники конгресса, живущие на территории бывшего СССР и не имеющие возможности оплатить дорожные расходы, прибыли в Москву за счет общества.

В связи с тем, что незадолго до открытия конгресса объявил о своем банкротстве бывший Внешэкономбанк СССР, где на валютном счету общества «Возвращение» имелась небольшая, но достаточная для проведения мероприятия сумма, организаторы конгресса оказались в отчаянном положении.

Существенную поддержку обществу в момент, когда конгресс находился под угрозой срыва, оказал первый заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич и ректор Московского гуманитарного университета Юрий Афанасьев, предоставивший несколько аудиторий своего университета для работы конгресса.

У общества нашлось немало друзей, например, хоровое общество Московской области, безвозмездно отдавшее на это время организаторам конгресса свое помещение и телефоны.

Министр здравоохранения России Андрей Воробьев организовал медицинское обследование бывших узников – участников конгресса. В сопровождении врача «Возвращения» Амаяка Тер-Абрамянца они побывали в московских клиниках. Некоторые из них, в том числе иностранные граждане, были приняты на бесплатное стационарное лечение в кремлевскую больницу.

Во время конференции помогли нам также и сами ее участники – французы и голландцы. Наиболее существенной была финансовая поддержка Жана-Рене Шовена.

Всем нашим помощникам общество «Возвращение» выражает глубокую признательность.



# ПАМЯТИ УШЕДШИХ

## **ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ НАРИЦА**

**(1933–2008)**

Трагически оборвалась жизнь нашего друга Федора Михайловича, унаследовавшего от своего отца Михаила Нарницы, писателя, узника советских тюрем и психбольниц, твердость духа и веру в человека. В Резекне (Латвия) Федор Михайлович создал мемориальный музей Михаила Нарницы и превратил его в просветительский центр, в котором нашлось место для постоянно обновляемой экспозиции книг «Возвращения».

В сложную, раздираемую взаимными упреками жизнь двух общин современной Латвии Федор Михайлович вносил умиротворяющее начало. Для него было равно неприемлемым отождествление русских со сталинским режимом и всех латышей с теми из них, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, служил в частях СС. Внимательный, чуткий, уважаемый врач с сорокалетним стажем Федор Михайлович сочетал в себе лучшие человеческие качества.

Выражаем глубокое соболезнование его жене и помощнице Людмиле Георгиевне, всем его родным и близким. Верим, что музей Михаила Нарницы устоит и даже расширит свою благотворную деятельность. Это будет лучшим памятником Федору Михайловичу.

*Члены общества «Возвращение»*



Федор Михайлович Нарича с Людмилой Георгиевной

Дорогая Людмила Георгиевна!

Примите мои глубокие соболезнования по поводу смерти Вашего супруга, талантливого и гордого человека! Мои соболезнования сыновьям и родственникам Федора Михайловича!

Как и его отец, писатель Михаил Нарица, Федор Михайлович исповедовал законы человеколюбия, подлинной гармонии, солидарности и настоящей, а не лживой демократии. Как и его отец, Федор Михайлович, верно, служил людям, претворяя в жизнь заветы писателя Нарицы: «Не смотреть, а видеть, не слышать, а понимать...» Федор Михайлович и сам был талантливым писателем, не только врачом, но и душе врачомателем. Не только исцелял людей от мук человеческого тела, но и своей энергией освобождал многих от трагедий человеческой души, от отчаяния. Звал к поиску справедливости и правды на нашей грешной земле, звал к гармонии человеческого бытия...

Пусть земля ему будет пухом, пусть душа его обретет покой. Он этого заслужил.

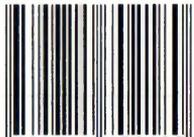
*Фридрих Незнанский*

*Март 2008 года*





ISBN 978-5-7157-0218-0



9 785715 702180 >

*Возвращение*